

192

ДРУЖБА НАРОДОВ

ЕВГ. ПОПОВ. Удаки. Несколько кратких историй.

М. ХАРИТОНОВ. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича.
Роман.

В. МЕДВЕДЕВ. Нечаянная революция.
Правда о Бухарском восстании 1920 г.

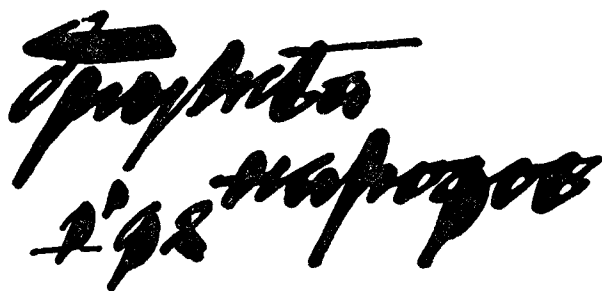
Забывтый жанр: СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ



С. ЮКИН. Хельмут Ханке. На семи морях. Иллюстрация.

**НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК**

*Основан в марте
1939 года*



Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Редакционная коллегия

*Главный редактор Александр РУДЕНКО-ДЕСНЯК,
первый заместитель главного редактора Юрий КАЛЕЩУК,
Юрий АПЕНЧЕНКО, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Евгений БУДИНАС,
Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК,
ответственный секретарь Игорь ЗАХОРОШКО,
Наталья ИГРУНОВА, Елена МОВЧАН, Елена СЕСЛАВИНА,
заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ.*

Редакционный совет

*Лев АННИНСКИЙ, Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Юрий В. ДАВЫДОВ,
Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль
ИСКАНДЕР, Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ,
Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ.*

*Коммерческий директор Олег КРАСИВСКИЙ
Главный художник Николай ПШЕНЕЦКИЙ
Технический редактор Анна СЕЛИВЕРСТОВА*

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.
Телефоны: главный редактор и первый заместитель главного редактора — 291-62-27,
заместитель главного редактора и зав. редакцией — 291-62-49,
ответственный секретарь — 202-52-03, отдел прозы — 291-63-63, отдел поэзии — 291-85-10,
отдел публицистики — 291-63-54, отдел критики и библиографии — 291-05-09,
редактор приложений — 291-64-50.

Сдано в набор 09.10.91. Подписано в печать 05.12.91. Формат бумаги 70×108½. Бумага кн.-журн.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,8. Усл. кр.-отт. 24,85. Уч. изд. л. 25,91.
Тираж 110.000 экз. Зак. 4278. Цена 3 р. по подписке, 5 р. в розничной продаже.
Издательство «Известия» 103798, ГСП. Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.
Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий» имени И. И. Скворцова-Степанова,
Москва, Пушкинская пл., 5.

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРОМ НОМЕРЕ «ДН»

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. Укрепленные города.

Эмиграция, «движение за выезд», диссидентство, Москва, Иерусалим, Лондон — «материя» романа Юрия Милославского «Укрепленные города», взятая в раздражающем, обескураживающем ироническом ракурсе. Первое издание романа в 1980 году в Иерусалиме вызвало бурю, споры о нем в русском зарубежье продолжаются и сейчас. «Крутая» лексика в нарочитом сочетании с традиционно-мелодраматической фабулой — во многом предвосхитили сегодняшние поисковые — рискованные произведения отечественной прозы.

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Рассказы.

И грустные, и ироничные маленькие рассказы одного из самых популярных сейчас российских писателей. Это о наших днях, о нашей сложной запутанной жизни.

ГВИНФОР ЭВАНС. Ненасильственный национализм.

Работа валлийского ученого и политического деятеля, удивительно созвучная нашим сегодняшним проблемам. Особая ценность ее состоит в том, что она позволяет привести отечественную «националистическую» терминологию в соответствие с той, что принята на Западе, снимая тем самым целый ряд распространенных недоразумений.

АЛЕКСЕЙ ПЕСКОВ. Мы (Некоторые исторические параллели).

В XVIII веке произошла дворянская генеральная репетиция советской идеологии. Речь в статье идет об идеологическом сходстве в мыслях, образах, мотивах, темах, которые ярче всего выражаются в художественной литературе, публицистике и программных документах. Обречены ли мы на движение по этому замкнутому кругу? Есть ли у нас иной шанс?

Евгений Попов

У д а к и

*несколько кратких историй
о к сожалению все еще встречающихся
иногда в нашей жизни временами
всегда отдельных недостатках*

Это — рукопись. Я ее нашел, когда лежал на полу. Я думаю, что нет смысла объяснять смысл. Ибо если ты не понял смысла, то смысла нет.

АВТОР. 1978 г.

Гриша. Миша. Коля. Толя.

— Я думаю про писателя, эдакую мерзкую сволочь, прислушивающуюся к своим ощущениям и ляпающую их на бумагу, — сказал Гриша.

— Шипящими и сосущими украшайте речь свою, о девушки! — сказал Миша.

— Ты удак, Миша, — сказал Гриша.

— Ты удак, Гриша, — сказал Миша.

Кулак и нэпман

Раздался долгий звонок, и в дверь их однокомнатной квартиры вступили некрасивые представители ЖЭКовской общественности: старуха в черном пиджаке, украшенном орденскими планками, еще одна — с багровым ликом и носом, увенчанном мясной шишкой, джинсовая кроха-секретарь и еще какой-то хрен моржовый в домашних тапочках, в коем без труда можно было узнать этого самого сукина сына, стучальщика в стенку Сашку Стрекача, плюгавого соседа, ответственного квартироръемщика.

Черная старуха откашлялась и зачитала:

— Итак, на нас, нам на вас было заявлено заявление, что вы избиваете пьяные свою жену, она орет, разводя пьянки, и мешаает людям спокойно жить, хорошо отдыхать, совершенствуясь после рабочего дня.

И замолчала в изумлении, потому что молча и строго глядели на нее супруги-пьяницы, оба чистенько и добротно одетые, мытые, ухоженные, и вообще в квартире было уютно: над тахтой висел индийский ковер ручной работы, скворушка по клетке ходил, ворсистые паласы под ногами пыли не давали, со стены злобно смотрел Эрнест Хемингуэй.

— Кто орет? — выдержав паузу, осведомился мужчина.

— Ты и орешь, — опробетливо сунулся вперед Сашка Стрекач.

— А он мне зачем тычет? Это кто такой? Я его не знаю, — приветливо обатился красавец к старухам.

Джинсовая кроха в этот момент, разинув рот, изучала полуобнаженный

печатный портрет бывшей японской жены безвинно укокошенного английского певца Джона Леннона.

— Они — сосед ваш и заявитель, — сурово молвили старухи.

— На что заявитель?

— На вас заявитель, что вы избиваете свою жену и что вы с ней все время пьяные, мешаете спокойно жить, отдыхать, совершенствуясь после рабочего дня.

Лицо мужчины изобразило деликатную неловкость и растерянность.

— Может, мы и сейчас пьяные?!

— Нет, сейчас вы не пьяные, — вынуждены были признать старухи.

— А разве, Маша... — голос мужчины дрогнул. — Разве я хоть когда-нибудь прикасался к тебе хоть пальцем, дружок?

Тут вступила в разговор и Маша. Нервная эта кошачья персона с золотыми серьгами, оттягивающими уши, сладко изогнувшись, поясняла вкрадчиво:

— Товарищ ошибается, товарищ сильно ошибается, ошибочно принимая репетируемую нами художественную самодеятельность за подлинную суть наших отношений. Потому что мы репетируем прощальный монолог Отеллы с Дездемоной и скоро будем его играть в художественной самодеятельности Дома культуры тарного завода, отдыхая на подмостках, правильно живя и тем самым, несомненно, совершенствуясь после рабочего дня.

— Ну, мы тогда и не знаем, — сказали в один голос старухи, а Сашка отчаянно хлопнул себя по колену, видя, что его дело проиграно в первой же инстанции.

— Я, впрочем, вас и узнаю даже, — сказал мужчина, внимательно приглядываясь к Сашке. — Я вас, вернее, по запаху узнаю. Это не вы ли, как нэпман, развели у себя на балконе свинью и отравляете тем самым все кругом на свете, в том числе весь наш дом и всю экологию, мешая нам, соседям, спокойно жить и отдыхать, совершенствуясь после рабочего дня.

— Врешь! — растерялся Сашка. — Ты сам — кулак, потому что у тебя денег много. Я свинью не разводил. Я купил на Рождество поросеночка, и от меня совершенно ничем не пахнет, потому что он очень чистенький, я его в ванне мою.

— А вот мы вас сейчас и обнюхаем, — сказали старухи.

И все принялись нюхать несчастного Сашку, от которого ну совершенно ничем, кроме водки, не пахло, но который от волнения оглушительно пукнул.

То-то было веселья! Хохотали старухи, сморкаясь в грязные платки, прыскала джинсовая чума с разваливающимися по прыщавому лбу волосами, тонко улыбались интеллектуалы. Лишь Хемингуэй молчал на стене, потому что он был американец и давно помер.

— Ишь, Хемингуэй, ишь ты, Эрнест, не любишь ты, еврей, русский народ, — строго сказал хозяин, наливая себе граненый стакан водки и с омерзением глядя на писателя, когда все ушли.

— Вот вечно ты один пьешь, скоро совсем сопьешься. пьяница! — наскочила на него Машка, гневно тряся серьгами.

— Молчи... сука! — вздохнул пьющий и отправил стакан в свою разверстную пасть.

— Вы представляете, один мужик купил мяса, говядинки по 2 рубля килограмм и, не дождавшись остановки, полез в летнем троллейбусе к выходу, пачкая сырým мясом голые девичьи ноги, — сказал Коля.

— Продавцы, уходя с работы, воруют мясо. Э т и, уходя с работы, прихватывают с собой свою власть, — сказал Толя.

— Ты удак, Толя, — сказал Коля.

— Ты удак, Коля, — сказал Толя.

Куковей Коркин

Врач-терапевт она была и любительница:

1. Поэзии Т.-С. Элиота, Гумилева и Мих. Кузмина.
2. Песен Д. Тухманова и ансамбля «Абба».
3. Живописи «Французов».
4. Кинофильмов: «Мужчина и женщина», «Под стук трамвайных колес», «Романс о влюбленных», «Кабаре» (не видела, но слышала).
5. Оригинальной кухни, создаваемой доступными продуктами по рецептам, вырезаемым из женских и просто журналов в переводах с иностранных языков братских социалистических стран.

А он, Коркин, этот кудрявый, рыжеватый, в аккуратненьких бачках, цветной хлопковой рубашке, замшевом пиджаке, вытертых джинсах «Рэнглер», башмаках на японской подошве, этот вечно молодой, неунывающий, сорокалетний холостяк без алиментов, казалось, изначально самой природой был застрахован от попадания в конфузную ситуацию, но вот поди ж ты!..

В тот вечер ели польский суп «Хлодник».

— Это окрошка, что ли? — спросил Коркин, облизываясь.

— Нет, тут гораздо много больше компонентов, тут еще имеется даже грузинская травка киндза, — ответила она, гордясь собой и киндзой. — А также все это замешано вовсе не на квасе, а на кефире пополам с кислым молоком.

— Но кислое молоко это же и есть кефир? — не понял он, потянувшись к ней смоченными губами.

— Кислое молоко — кислое молоко, а кефир — кефир... Осторожно... стол свернешь... давай сначала покушаем... глупенький!

Глупенький, лучась лицом, все аккуратно съел и искренне попросил добавки. Добавку выдали, сообщив при этом, что основой блюда является, конечно же, свекла молодая, пущенная в суп вместе с охвостьями, парниковый огурец превалирует, имеет место редисочка, что, впрочем, он и сам заметил, о чем и говорил, ласкаясь, являя собой восхищение...

— А в следующий раз я накормлю тебя португальским овощным супом, — посулилась она, и они бесстрашно нырнули в белоснежную ее, широкую деревянную кровать-постель, оставшуюся от спившегося грубияна-мужа.

Да, да, Коркин тоже грубоват, но он грубоват галантно. О Коркин-Коркин, дорогой ты мой человечек по фамилии Коркин.

...Зачем ты так груб, нежный Коркин?

нет мне... милый, ой, да...

все, и — включи, и давай

слушаем немного музыки...

А когда наутро луч света в царстве неразведенного врача-терапевта Резухиной невольно пробудил Коркина, светя фонариком сквозь щель в плотных шторах, тоже раскрашенных фонариками, фанзами и фазанами, то тогда со стоном усталости и блаженства по-тя-ну-у-лся Коркин, но тут же с ужасом понял, что почти весь «хлодник» именно в этот данный момент непроизвольного потягивания совсем и начисто вылился из него на льняную простынь, расположенную на пружинном ложе широкой деревянной кровати-постели, оставшейся от спившегося грубияна-мужа, находящегося на излечении в Лечебно-Трудовом Профилактории, и в животе остаточно хлюпало, крутило, булькало.

Потом холодным, хладным, «хлодниковым» покрывшись, умирая со стыда, натянув пуховое одеяло до подбородка, Коркин дождался наконец, что отворившаяся дверь предъявила его взору Резухину в очаровательном неглиже, дорогую и веселую его Светку с вьетнамским (все Азия-с) подносиком в руках, где дымящиеся чашечки, сухарики в сухарнице, маслице в масленке, джем в хрустальной вазочке для джема.

— Ку-ку-ку, Коркин, — лукаво кукукнула она. — Проснулся, засоня, наш куковей Коркин?..

И вдруг насторожилась, когда Коркин удушенным голосом что-то ей такое залепетал, после чего откинул пуховое одеяло.

Поднос выпал из рук честного и любящего врача-терапевта Резухиной на

немецкий ковер-палас, что под ногами пыли не давал, и она зарыдала, сильно откидывая назад небольшую овальную голову и поминутно топая маленькой полной ножкой. Тушь текла по ее румяным щекам из ресниц, которые она, оказывается, уже успела накрасить. И жалобно, и капризно кривились дрожащие, округлые и широкие губы ея. Она еще рыдала, а Коркин уже уныло собирал разбросанные кругом свои носильные изящные вещи.

Потом они, конечно, частенько хохотали нежно, вспоминая вышеуказанную эту, довольно-таки, прямо нужно сказать, малоэстетичную сцену, хохотали, игрались и лизали друг друга. Но все же, если честно говорить, если уж до самого конца говорить, до самого конца признаваться — не потянул, не потянул сорокалетний молодой человек, и неужто уж это настолько уж ослабел русский организм, коли не смог правильно переварить обыкновенную польскую похлебку? И кто же теперь посмеет предложить ему португальский овощной суп? Вот в чем вопрос быстротекущей сексуальной жизни врача-терапевта Резухиной и куковea Коркина, без решения которого их жизнь дает трещину и гибнет, как Атлантида. А муж? А ЛТП? Русь, Русь, куда все же несешься ты?

Нет ответа.

— К тридцати двум годам я разучился делать многое из того, что умел делать в примыкающие двенадцать лет. Я разучился: 1. Подбирать и складывать слова. 2. Выдумывать хлесткие, сочные названия. 3. Сплетать начала и концы, — опечалился Гриша.

— Без труда не вынешь... — радостно засмеялся Миша.

— Один мужик все время повторял «дык» да «дык», имея в виду фразу «дык что ж это я?». Он служил врачом в пионерском лагере. Его звали Лев. Он был очень толстый и очень робкий. Однажды он выносил помойное ведро, увидел у сортира красивую девушку, испугался и заулыбался ей сквозь толстые очки робко и щемяще, — растрогался Коля.

— Ты удак, Коля, — сказал Гриша.

— Ты удак, Гриша, — сказал Коля.

Волк

1

— Черная гора, — сказал он. — На горе стоит черный-черный дом! А в доме стоит черный-черный гробб!

— Детка, вы знаете, что в средние века санные красавицы грели эксплуататорам постели своим телом, здоровые молодые краснощекие девки. Чистые. Их для этого специально все время мыли в бане, — сказал он.

— А также в те века люди, предпочтительно хозяйки, такие же, как ты, юные женщины, жены, матроны, пекли, что ни день, коржи, пироги с вязигой, пышки, пампушки рисовые, точь-в-точь, как твоя матушка, когда она прошлым летом у нас гостила и которой я благодарен за все на свете, кроме того, что она родила тебя, а если уж и родила, то хотя бы научила стряпать коржи, пироги с вязигой, пышки, пампушки рисовые, как в средние века, — сказал он.

— Было много дураков, шутов и уродов. Все они были похожи на меня. Они лежали в постелях, звенели бубенцами и говорили королям, царям, министрам правду! Одну только правду! Ничего, кроме правды! О, это были смелые и отважные люди, они шли на плаху, надолго тем самым опередив в развитии свои средние века.

— Изобретались различные изобретения, как-то: летательные аппараты, самогонный аппарат, перпетуум мобиле, философский камень, очки, парики, вставные зубы. В этих смысленных головах зрели светлые мысли, но, к сожалению, мало, ой, как мало было бань, нечистоты выплескивались прямо на древние тротуары, дамы вычесывали вшей и блох специальными вошеблохочесалками, и зачастую интимные радости населения омрачались антисанитарным соприкосновением, чуть ли не слипанием грязной, скользкой от пота кожи, что,

однако, не мешало людям беспрестанно размножаться, о чем свидетельствует сильно понизившаяся ныне кривая деторождаемости...

— Катюша, Берестова! — крикнул он. — Я чувствую бывший жар ваших бедер под этим толстым пуховым одеялом!

Лежа в постели, он болтал, болтал, болтал, следя за ней краешком зрения, но женщина вопреки его ожиданиям слушала его весьма хладнокровно. Не крикнула: «Перестань городить чушь!», не сказала: «Прекрати говорить гадо-сти». И в нагретую постель она не возвратилась. Судорожно на работу собираясь, она золотила щеки сизой пудрой, маслянила красное сердечко овальных губ, синь и тень на глаза наводила.

Она сказала:

— Ну, я пошла. Разогреешь себе чего-нибудь.

И хлопнула дверью.

— Да я уж и сам встаю, — отозвался он. И тут же заснул. Он спал, и ему снился волк.

2

Случилось так, что Александр Эдуардович увидел во сне волка. Животное было страшно своей первобытной красотой и, желто светя немигающими глазами, долго дождалось в прибрежных кустах тальника с лохмами остаточного февральского снега какой-либо слабой подходящей поживы.

Прядая серыми ушами, скуля и повизгивая, оно с тоской думало о том, что сейчас загрызет кого-нибудь и потом хлынет густая кровь, и волк, измазав свой собачий нос в крови, уставится на луну и завоет.

Волк думал так, как думал Александр Эдуардович, что так думает волк, а между тем он неукротимо шел по снежной тропинке к прибрежным кустам тальника, а между тем и проснулся.

Он встал, разглядел в зеркале свое недовольное со сна лицо и выдавил сальный прыщик. Домашние отправились на работу, а Александр Эдуардович на работу не ходил, потому что он был в отпуске. К ногам его притерся громадный кот, дымчатый, с желтыми подпалинами, похожий на волка из сна. Проснувшийся обругал в сердцах животное нехорошим словом (за сходство), но все же угостил его в качестве компенсации толстым хвостом мороженой рыбы хек. Кот жрал рыбу, урча и кося жадным глазом, приваливаясь жадной усатой щекой к поедаемому продукту. Пораженный Александр Эдуардович долго разглядывал эту картину алчности, хищности и торжества идей Чарлза Дарвина, хотя видел ее каждый день. Он и сам немножко, как говорят, «подзаправился», покушал, как говорится. Съел сковородку жареной полтавской колбасы, залитой яйцом в количестве трех штук, съеденное запил крепким грузинским чаем с плавающей пенкой вчерашнего молока из бутылки. Славный вышел завтрак!

По телевизору профессор Капица из передачи «Очевидное-невероятное» совершенно стал похож на англичанина и Корнея Чуковского, отметил Александр Эдуардович, возвратившись на кухню и раздергивая жухлую штору грязенького кухонного оконца.

«Февраль! Достать чернил и плакаты!» Черный профиль кота, бегущего по тающей, ускользящей февральской тропинке... Перебирает лапками, как сверкает спицами. Веер лапок... Однако Капица-то, а? Да уж и не родственник ли он тому Капице, который...

Александр Эдуардович внезапно возжелал написать обо всем этом стихи и начал славно:

Без всякого ума иль толка,
Иль наяву, или во сне
Вчера, друзья, я встретил волка,
А дело шло уже к весне

Александр Эдуардович здорово умел сочинять стихи и мог бы ими исписывать целые тетради, если бы захотел.

Однако он не захотел, а он почему-то захотел средь бела дня снова лечь спать.

Он и лег. И вскоре после сонных недоразумений, малозначащих сюжетов, встреч, осколков фраз на первый план опять выдвинулась фигура волка.

Волк оказался очень добрый и, главное, разумный, понимающий, любящий и умеющий слушать. Спящий живо доказал ему, что раздирать живое мясо зубами, выть на луну нехорошо, что теперь этого уже никто не делает. А на робкий вопрос волка, как же ему теперь жить и что кушать, посоветовал ему питаться сеном и сушками. Волк с ним тепло попрощался, они взяли флаги и пошли на демонстрацию. Ликовала первомайская толпа, вздулся лед на реках, блеклые шары поглощались бездонным небом, играли оркестры, слышались душевные слова партии, правительства, и никто не обращал внимания на странную парочку. Ах, как было славно! Жаль только, что отпуск проходит, жаль только, что жизнь...

3

Проснувшись, он глянул на часы и пошел смотреть фильм «Служебный роман». Александр Эдуардович любил кино, и ему сильно понравилось это незаурядное произведение режиссера и сценариста Э. Рязанова, лауреата Государственной премии. Превосходна была игра А. Фрейндлих, А. Мягкова, даже музыка композитора А. Петрова ему понравилась тоже. История детерминированной любви современного «маленького человека» и стареющей его начальницы взволновала его до слез. «Тут есть какой-то секрет. Ничего не сказано, а сказано все. И этот быт замороженных служащих, и эта какая-то вечная, высокая нота, щемящая, обрывающаяся... Весь секрет, наверное, в том, что уж если о чем по возможности говорится, то говорится до конца точно. А о чем не говорится, о том и не говорится. И определенная, конечно, приподнятость, ложь, намек, сказка, искажение перспективы — гасят фальшь. Нет, определенно, определенно хороший фильм, определенно следует задуматься над этим творческим методом», — бормотал он, утираясь.

А когда возвратился домой, жена еще не вернулась. Он сильно удивился, что она еще не вернулась, но она в этот день не вернулась, потому что она не вернулась никогда. А за вещами ее приехал, предварительно созвонившись, какой-то щеголеватый молодой человек азиатской наружности, долго объяснял, что они бывшие школьные друзья, и первая любовь, как у Тургенева, вон оно чем обернулось, и что им тоже оставлены — тетья, жена, ребенок. Он очень старался быть чутким, и у него это здорово получалось, он прямо извивался от желания не быть гадом, и у него это здорово получалось, и он все просил, просил, канючил: ну, не сердитесь, не сердитесь, не сердитесь...

А и что на него сердиться? Нет, вы скажите, за что на него сердиться?.. Он что, если объективно разбираться, виноват, что — любовь? Хотя при чем здесь Тургенев? Эх, взять бы да жениться на его бабе, ребенке и тете для утверждения окончательного торжества гуманизма на земле! Взять бы, да и жениться... Жениться, жениться... Взять бы...

— Это кто? Это, детки, революционер. Он не выдержал свободы и скончался от счастья на переломе грядущего века, — злобно заметил Толя.

— Ты удак, Толя, — сказал Миша.

— Ты удак, Миша, — сказал Толя.

Золотая пора

У меня был один знакомый друг, которого я знал еще с детских лет, потому что учился с ним в одном классе. Еще с детских лет, с той золотой школьной поры он отличался незаурядным умом, добротой и талантливостью в различных

областях жизни. Он играл на татарской гармошке, писал стихи, поэмы, занимался боксом и фехтованием, а также рисовал красками картины абстракционистов, сам происходя из крайне скромной рабочей трудовой семьи служащих, где отец пропивал всю получку, а мать безвыходно лежала по больницам.

Всем был хорош мой друг, но и у него имелась с детских лет одна явная страсть-страстишка. Он, мой друг, с детских лет любил обожать различных знаменитостей, хотел вступать с ними в дружбу. Нравилось ему пить с ними водку, сухое вино и коньяк, быть в полном курсе их домашних и общественно-политических дел, появляться с ними в обществе, оказывать им мелкие посылные услуги. И как ни странно, знаменитости всех рангов тоже любили моего друга и весьма охотно с ним дружили. Пили с ним водку, сухое вино и коньяк, поверяли ему свои домашние и общественно-политические дела, появлялись с ним в обществе и униженными голосами просили его оказать им какую-нибудь мелкую посылную услугу: отвлечь жену, договориться о банкете на сто человек, почитать вслух какое-нибудь передовое произведение Аксенова, Бродского и Солженицына.

И так складывалось вовсе не оттого, что друг мой шел за лизоблюда, паршу, дерьмо, пресмыкателя и шестерку. Нет! Они, несомненно, общались на равных, ибо был он оригинальный двусторонний собеседник, сказитель пикантных историй из обывденной жизни советского народа, читатель и толкователь различных весомых книг, на все глядел собственным «острым глазком», а также являлся — что весьма немаловажно в наш низменный век — весьма верным дуэном (это от слова «дуэнья», извините за глупость, я глуп, но что делать, раз так придумалось...). Вот каков был мой друг!

И не удивительно, что и сам он к сорока — сорока пяти годам стал знаменитостью. Правда, имя его довольно редко поминалось официальной печатью, хотя он никогда не вступал с обществом в открытый конфликт. Зато у всех мыслящих людей нашего времени его фамилия всегда была на языке. Подчеркивалась его огромная эрудиция, полная независимость мышления, странный глуховатый юмор и глубокие духовные поиски. Бытовая сторона его существования тоже складывалась весьма удачно. На третий раз он наконец хорошо женился и как-то сообщил мне, что даже в самые гнусные времена всегда зарабатывал в месяц не менее двухсот-трехсот «чистыми». «При нынешнем бардаке, — хохоча, признавался он, — только идиот не может заработать в месяц двести-триста «чистыми». Если мне в конце концов отрежут все концы, то я подряжусь у нас в кооперативном доме мыть в десяти подъездах лестницы по субботам и воскресеньям, за что буду получать с каждой квартиры по два рубля, то есть все те же двести-триста «чистыми»...

И вот я встретил его. Мы приехали в Москву за продуктами и стояли на углу улицы Малой Грузинской. Я, моя жена Елена и ее сын от первого брака Марсель, воспитанник Суворовского училища. В этом месте столицы, близ метро «Краснопресненская», помещаются, видимо, какие-то художественные выставки и вернисажи, потому что вдоль по улице Малой Грузинской весьма густо текла к метро экстравагантная толпа, в основном, молодежи, одетой в джинсы, полушубки и т. д. Распахнувши новенькую дубленку, он шел к своей красивой машине, призывно и радостно заблестевшей при его появлении желтым лаком и белым хромированным металлом. Он шел, раскланиваясь со своими многочисленными знакомыми, но по дороге заметил меня.

Он за последнее время раздался в плечах, заматерел и толст стал, и пухл. Глаза его на широком лице стали совсем маленькие, а борода сделалась огромная, с седыми хвостиками, как горностаевая мантия у какого-нибудь там бывшего царя.

Он заметил меня, увидел, узнал, заулыбался и, раскинув для объятия больши толстые руки, двинулся мне навстречу.

И уже приближался, когда Елена вдруг полезла ко мне в карман.

— Позволь-позволь, — бормотала она горестно, — а где же твои новые замшевые перчатки?

— Отстань, — процедил я сквозь зубы, тоже двигаясь навстречу другу.

— Гад! — завопила она. — Купи ему новые перчатки, а он их тут же потеряет!..

— Ах ты дрянь! — все существо мое возмутилось, и я, размахнувшись, влепил ей добрую пощечину.

Елена зарыдала, размазывая слезы по худощавым щекам, мотая золотыми серьгами, оттягивающими уши, а мальчонка Марсель на виду у всей московской публики снял свою новую фуражку с красным околышем и каким-то, наверное, специальным ударом так двинул мне головой в живот, что я тут же вылетел на проезжую часть дороги, где меня тут же сбил легковой автомобиль, не нанеся, впрочем, никаких серьезных телесных повреждений, разрешающих претендовать на пенсию по инвалидности.

И завопило все кругом, зазвенело, заорало, засвистало, завывло.

Сирены... гудки... смазанные кол... ле-ле-ле... леблющиеся лица. Наклонялись... Что-то гов... говвориллли, беззвучно шевеля губами на фоне опрокинутого фиолетового неба.

А я искал глазами друга.

— Милый друг, — шептал я. — обними меня, мой милый, старый друг, и мы вспомним наше забытое детство. Детство-детство, пионерлагерь, сонный пруд близ деревни Сихнево, где утонула незамужняя дочь помещика, когда Россией правил царь, а не Коммунистическая партия, одинокая осина, малина, мельница, сарай, скалы, сосны, облако, озеро, башня, и в городском саду играет стилига Жуков, мимо станции проезжая, а Алик плюс-минус Алена равняется Бог есть любовь улетающего Монахова, хлещущего «Чинзано». Пора, мой друг, пора! Баста и ожог!

— Золотая пора — детство! — взвизгнул я. — Ведь правда же, ведь правда же — золотая? Нет, это я вас, суки и стервозы, спрашиваю — золотая или не золотая! Золотая или не золотая? — орал я.

Но не было друга среди лиц. А вскоре я уже лежал на больничной койке.

— Я им дал три телеграммы. **БЕСПОКОЮСЬ ОТСУТСТВИЕМ ДОГОВОРА БЕСПОКОЮСЬ ОТСУТСТВИЕМ ДОГОВОРА НЕСМОТЯ ПОСЛАННУЮ МНОЙ ТЕЛЕГРАММУ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВЫПЛАТИТЬ МНЕ ПОЛАГАЮЩИЙСЯ СОГЛАСНО ДОГОВОРА АВАНС СУММЕ СТО ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ,** — заныл Гриша.

Ермак Тимофеевич

На диком берегу могучей сибирской реки, близ места плотины будущей гигантской ГЭС, сидел полуголый человек в шлеме и длинной холщовой рубашке с дырками. Он тупо глядел в темную девственную воду. Голову его ломило от многовекового похмелья. Человек осторожно провел ладонью по мохнатуму лицу. Лицо... Он снял шлем и потрогал затылок. Затылок. Больно... Очень больно...

— Сука какая, — сказал человек и заплакал.

...Очнулся он от звонких голосов молодежи. Ермак Тимофеевич продолжил на всякий случай делать спящий и грозный вид, однако на самом деле внимательно слушал, что о нем говорят.

— Ты видишь, до чего они допиваются, бичары! Вот ты спроси, спроси ты у этого бича — где, бич, твои штаны, и, как ты думаешь, что он тебе ответит?

— Не знаю, — прошептала девушка.

— А ответит он какой-нибудь пошлой мещанской шуткой типа: «Мы с имя поссорились...»

Девушка хихикнула и вдруг забормотала:

— Ты куда, ты куда лезешь? Не надо...

— Ну что ты, глупышка ты, олененок, романтика, — убеждал ее молодой человек. — Ведь я тебя люблю, и ты меня любишь... Палаточный город плывет...

— Мне это без разницы, что там плывет, — сказала девушка, — хоть и романтика, а надо делать все путем, по-хорошему...

— Так, а какая разница, если все решено, — сказал молодой человек.

— Нет, есть разница, — возразила девушка.

Послышался треск раздираемого платья. Воин Ермак вскочил.

— А ну отвали на три буквы! — приказал он.

Молодой человек упруго развернулся.

— Ах ты, пидар! — запел он свою арию. — Ну, я тебе щас покажу!..

И он волком кинулся на могучего мужчину, но тут же получил такой ошеломляющий удар в нижнюю часть туловища, что — согнулся, замычал, взвыл, рухнул в могучую сибирскую реку и поплыл вон стилем «вразмашку», не успев даже вынуть кастета.

— Я с тобой, пала, рассчитаюсь, ты меня будешь помнить! — кричал он издали, вновь обретя голос, но обращаясь неизвестно к кому — то ли к отважному сопернику, то ли к девушке Нине, студентке-заочнице техникума низковольтовой аппаратуры.

— Не подходите ко мне! — взвизгнула девушка Нина, с ужасом и обожанием глядя на вздыбившуюся холщовую рубаху воина, когда они остались совсем одни.

— Хрен с лаптем, — презрительно возразил Ермак. — Сама придешь. А этот кутырь — пушай только попробует вернуться, колчужка, я ему, говну, попишу, падали...

— Это почему это я к вам сама приду? — заинтересовалась девушка, явно и зримо успокаиваясь.

— Потому что я тебя завоевал. Ты теперь моя, — простодушно сказал богатырь.

— Чего? — расхохоталась девушка. — А вот этого ты не видел?

И она сделала неприличный, но красивый жест.

— Этого я много видел, — улыбнулся Ермак Тимофеевич. — И твою увижу, — посулился он.

— Да вы кто ж такой будете важный, а? — удивилась девушка. — Я вас что-то не знаю.

— Я воин Ермак, покоритель Сибири, — сказал Ермак Тимофеевич.

— 'Объятый думой, да? — все смеялась девушка.

И Ермак, не вступая в дальнейшие объяснения, крепко сжал ее в своих железных объятиях.

— Куда, вы куда лезете? Не надо, — жарко зашептала девушка. — Вы не знаете Лешу. Он в тюрьме сидел. Они вас подколют.

И внезапно стала его страшно целовать. Отвернемся, читатель! Ну их!.. Давай лучше полюбуемся великолепными сибирскими пейзажами. Сизые сопки, прозелень и просинь тайги, марал лижет соль — все это будет смыто пришедшим на древнюю землю морем громадной ГЭС, а писатель Валентин Распутин получит Государственную премию за книгу «Прощание с Матерой».

Ночь! Плотным покрывалом укутала она будущую преображенную природу. И знала только ночка темная да рогатый месяц был свидетелем того, как студентка выцеловывала да расцеловывала все шрамы и все оспинки могучего воина.

— Мой? — шептала она.

— Твой, твой, лада, — шептал он.

— Я Лешку боюсь, — сказала она. — Они, знаете, какая шпана...

— Лешку я этого, сучару, изнахрачу и в пень загоню, вонючку, — лениво отозвался воин.

(...О жадные огни пожарищ покорения Сибири! О тело, тело, тело тающее, ускользающее! Горели костры, тревожно ржали кони. Азьятка чертова «с

раскосыми и жадными очами». Тело ее ускользающее, тающее... Перво стерво конца века XVI-го...)

— О чем думаешь, Ермаша? — тихо спросила Нина.

— Так, вспомнилось, — нехотя отвечал Ермак.

— Смотри у меня, я ревнивая, — лукаво погрозила она пальчиком.

Внезапно на диком берегу могучей сибирской реки появился отряд молодежи, вооруженный финками, кастетами и обрезками водопроводных труб.

И грянул бой! Враги со стоном летели в воду. Вот упал стильный юноша со стальной финкой, разваленный до пояса лихой казацкой саблей! А вот стройка лишилась одного из своих опытных бульдозеристов...

Но силы были слишком неравными. Ослабевший Ермак Тимофеевич бросился в студеную воду и поплыл. И в глазах у него темнело, темнело, темнело...

— Прощай, Нина! Прощай, последняя любовь моя! — крикнул он, напрягшись.

— Пошел ты на три буквы! — донес речной ветер тихий ее ответ.

Но ничего уже не мог слышать храбрый воин. Ибо Ермак Тимофеевич погиб вторично, согласно закону диалектического развития по спирали, который я проходил в институте и получил за это на экзамене пятерку с минусом. И согласно прогнозам, очнется снова, как это утверждают добрые языки, лет эдак через 200—300. Эту фразу я пишу специально для грядущего автора — удака, чтобы он не сильно-то задирал нос и не думал, что первым открыл Ермака Тимофеевича. Ибо Ермак Тимофеевич существует объективно. И не мы с тобой, удак-потомок, открыли Ермака Тимофеевича, а он нас, удаков, открыл. А когда захочет, тогда и закроет. На три буквы...

— Ночью и нищему крестьянину Ваньке достается то, что стоит миллионы, — мечтал Миша.

Любовный Δ

Чудовищно лицо продавца Вакулины! Глазки у ней маленькие, свинячьи, нос картошкой, на щеках ямы, бородавки, угри, губы узкие и злые — чудовищно лицо продавца Вакулины!

Зато во всем остальном она женщина что надо! Шея у нее точеная, лебединая, груди у Вакулины восьмого размера, хотя она никогда ничего не рожала, а также стоят без лифчика, бедра широкие, зазывающие, ноги — бутылочкой... Хорошие, мясистые ноги!..

И вот однажды к ней в скобяную лавку зашел художник Минша Ланшук, которого как раз выпустили из дурдома, и сразу же он подумал, художник Минша Ланшук: «О Господи! Чудовищно лицо этой женщины! Пойду-ка я лучше отсюда куда подальше, а то меня опять посадят в дурдом».

Однако Вакулина сразу же смекнула, что о ней думает молодой человек, и мгновенно стала певуче предлагать ему различные гвозди, шурупы и другие хозяйственные изделия, а также осознанно наклонилась над квадратным жестяным баком с керосином, и Минша увидел сквозь ее длинные груди коричневый керосин. Он и растерялся, не зная, что ему теперь и делать, потому что сразу же струсил — да уж не больна ли эта красивая девушка какой-нибудь пошлой венерической болезнью? Нет ли здесь декаданса?

Однако вскоре он совладал с собой, и после непродолжительной беседы об искусстве и Муслиме Магомаеве они закрыли лавку на обед и легли на группу веселых полосчатых тюфячков, что как дружные подружки помещались в углу магазина, образуя высокую лежанку для любви.

Когда все только началось, в дверь к ним уже лომились, а когда дело шло к концу и Вакулина уже два раза кричала, а Минша еще ни одного разу, дверь была сорвана с петель и вскочивший Минша облил сверху своей белой струей лицо директора этого магазина т. Свищерского, а также его красный билет, который он зачем-то держал в руке.

Директор был вне себя от гнева! Испорчены билет, костюм, лицо, не говоря уже о том, что он давно хотел на Вакулине жениться и даже жил с нею, намереваясь вскоре окончательно бросить семью, состоящую из четырех человек. Он не нашел ничего лучшего, как избить Миншу корытной доской, а Минша в ответ тоже сопротивлялся — примусами, мясорубками, мылом. Окровавленных, их увезли в милицию, где Свидаерский получил год за хулиганство и членовредительство, а Миншу снова посадили в дурдом, поскольку на него имелась справка, что он оттуда вышел.

Так что пользу от всего этого извлекла одна лишь Вакулина, которую тут же назначили директором этой скобяной лавки на освободившееся вакантное место.

Но Бог видит правду. Бог не фрайер, это знают все, кому нужно. Вакулина мгновенно проворовалась: пила коньяк, шампанское, ела цыплят, шоколадный зефир — и теперь тоже сидит в тюрьме.

Так что все наши герои, считая, нашли свое место в жизни. на чем наш «Любовный Δ » и заканчивается.

— Хотелось бы рассказать вам и про того странного гражданина, который работал говночистом в тресте очистки города. Нельзя было назвать его домашним тунеядцем, хотя он не умел делать ровным счетом никакой мужской работы, гвоздя вбить не мог. Зато он умел стирать, мыть полы и танцевать вальс. Это неизбежно наложило отпечаток на его характер и фигуру. Нельзя было сказать, что он бабоват, но никто не назвал бы его и мужественным, — вспомнил Коля.

СТРАШНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ, ПРОИСХОДИВШИЕ ОДИН ЗА ОДНИМ НА ШАХТЕ ИМ. ФЕЛИКСА К. В ШАХТЕРСКОМ ГОРОДЕ З.

На шахте имени Феликса К. в шахтерском городе З. внезапно стали один за одним происходить страшные сексуальные случаи.

Первый из них заключался в том, что работающий жил один сапожник, который очень любил свою жену, а она все пила да гуляла, пья все. что дадут, и давая каждому, кто об этом попросит.

И вот однажды, после получки, она зашла в общежитие молодых рабочих, где вступила в контакт практически со всеми молодыми рабочими, человек их было, наверное, пятьсот, после чего и отправилась домой, где ее уже очень долго ждал муж, приготовив по случаю получки вкусный ужин и купив 5—6 бутылок ее любимого вина «Кавказ».

— Дорогая моя! — кинулся он к жене. Но она молча отстранила его пьяной рукой, молча рухнула на спину...

Бессовестная! Несчастный глянул и внезапно увидел все! И все помутилось у него в голове — из скромного, кроткого мужа-инвалида второй группы он превратился в демона и борца! Он схватил кривую сапожную иглу, навошил суровую нитку и зашил развратнице все, чем она так гордилась. Ночь он провел без сна, лишь гораздо позже забылся, когда выпил все приготовленное для нечестной жены вино.

А наутро дурновыспавшаяся женщина, не помня ровным счетом ничего и не обратив особого внимания на странность своего положения, отправилась снова работать. То есть: стоя в резиновых сапогах у транспортерной ленты, зорко глядеть, какая руда идет с количеством пустой породы менее 50%, а какая с процентным содержанием более 50%, бережно отсортировывая нужную руду в складываемые кучи.

Когда она упала около транспортера и женщины осмотрели ее, то они подумали, что с нею случилось нечто обычное женское, и понесли ее на брезентовых носилках в фельдшерский пункт, которым управлял седой старичок, участник восемнадцати войн, включая сюда и кулацкие восстания. А

в помощницах у него служила девушка, студентка медицинского училища, которое она недавно закончила, выучившись тоже на фельдшера.

Студентка в волнении обратилась к своему старшему товарищу, признавшись, что ровным счетом ничего не понимает. Ибо там что-то такое, что она никогда еще в жизни не видела... какие-то нитки... белое-белое, вы чувствуете, дядя Леша? Дядя Леша сплюнул и взялся за дело лично.

А к фельдшерскому пункту бежали в это время молодые рабочие. «Несчастный случай на сортировочном участке»,— глухо повторяла собравшаяся толпа. Рассказавший автору эту историю дикий северный поэт Эдик Н. сидел в конторке и закрывал наряды.

Дядя Леша, сплюнув, конечно же, сразу разобрался и немедленно освободил пленницу от связывавших ее пут. Женщина слабо застонала и тихо спросила: «Где я?» Дядя Леша снова сплюнул и вышел к народу на одной ноге. Руки у него дрожали.

— Доктор, она будет жить?— выкрикнули из толпы.

Дядя Леша свернул самокрутку и сказал:

— 70 лет живу, но, конечно же, сразу разобрался...

И потом, в течение полутора месяцев, он был совершенно пьян и совсем запустил свою работу на фельдшерском пункте, потому что к нему каждый день приходили молодые рабочие, несли вино, водку, другие напитки и униженно просили, чтоб он рассказал им, что он там увидел. Он пил вино, водку, другие напитки и рассказывал. Больных за него в указанный период лечила девочка. Это стало для нее, комсомолки, прибывшей в этот тревожный край по велеанию горячего сердца, суровой, но жизненно необходимой школой.

А несчастный честный сапожник получил по суду три года. Но скорее не за то, что зашил, а за то, что при составлении протокола из тела пострадавшей было извлечено до сорока мелких и крупных заноз, ибо непосредственно перед актом возмездия он отходил неверную жену по спине шершавой доской-горбылем.

Но не успел еще притихший город осмыслить первый из страшных сексуальных случаев, как тут же случился случай второй, произошедший в выходной день, когда вся шахта замирала, отдыхая, и лишь студеный ветер бродил в терриконах, обдувая мелкие полярные цветы и ероша прически модникам, молодым рабочим, фланирующим беспечно по бывшему проспекту Сталина.

Слесарь Фиурин решил чегой-то-нибудь сделать для дома на своем рабочем месте и пошел туда имея в руках ножовку для металла.

Но в темноватом помещении его вдруг окликнул из-под верстака слабый голос дежурного по отдыхающей выходной шахте имени Феликса К.

— Иван!— слабо позвал его из-под верстака дежурный, инженер Н.— Не смотри сюда, Иван! Иван, помоги мне!

И наклонившийся Фиурин с возгласом: «Ешь твою!»— обнаружил под верстаком сцену, не знаю, как это называется по-медицински, но что, в общем, дежурный инженер Н. и дежурная уборщица М., отвернувшая со стыда лицо, никак и ничего не могут с этим поделать.

— Может, тебе ножовкой отпилить?— грубо пошутил Фиурин, а бедный Н. лишь укорил его тихо: «Иван...» Уборщица длинно выругалась.

И снова выла медицинская сирена. Разбрызгивая грязь, неслась медицинская «Волга». Выносимые, закрытые казенным одеялом, лежали на брезентовых носилках смиренно. Кряхтели санитары, крутили головами набежавшие свидетели. Опять случился случай, опять пало пятно на чистую одежду коллектива! И скверно стало шахтеру ездить в городском автобусе, потому что там его окликал кондуктор:

— Эй, ты где сходишь? На шахте имени Феликса К.? Тогда все понятно...

Что понятно? Ничего не понятно... И весь городской автобус громко хохотал.

Но, однако, самое серьезное испытание было впереди.

Еще один развратный человек, сменный диспетчер, являлся полным аналогом той, зашитой сапожником развратнице, но только, понятно, мужского пола.

Он тоже пропивал всю получку, тоже имел обильные внебрачные связи с другими женщинами, о чем его неоднократно предупреждала жена.

И вот когда однажды он в аналогичном развратнице виде явился поздней ночью домой, то жена его, тоже придя в свирепость, привела своего мужа в требуемое для этой цели состояние и одним взмахом опасной довоенной бритвы «Золинген» отсекала ему все, чем он так гордился. После она куда-то убежала и бегала по улицам, предварительно позвонив в «Скорую помощь», которая уже форменно изнемогала от всех этих случаев на шахте имени Феликса К.

Приехавшая «Скорая» заметила в комнате умирающего мужика, исходящего кровью, оказала ему свою первую помощь и стала искать по углам то, что еще можно было восстановить путем научного медицинского пришивания.

Обнаружено это было под кроватью, завернутое в выдернутый спешно листок из тетрадки дочери-третьеклассницы, отправленной на каникулы к бабушке. С зеркально отпечатавшимся на фоне косых линеек фиолетовым фрагментом «...рабы не мы» и красной отметкой 5, тоже изображенной зеркально.

Мстительница тоже пошла жить в тюрьму, а сменному диспетчеру все оставшееся было пришито, и вдобавок вокруг его гордости образовалось плотное хрящевидное кольцо, как вокруг планеты Сатурн.

Ужас! Но и это еще не все. В разврат оказались вовлеченными широкие слои городской медицины, так как многие достаточно солидные и морально стойкие (ранее, конечно) дамы при обходах и конференциях по обмену опытом не могли отвести глаз от волшебного кольца и повадились инкогнито являться к выздоравливающему на квартиру со смехотворной целью справиться о его здоровье. Он им тут же на деле доказывал, что уже практически здоров, но они не успокаивались. Приходили снова, дрались в дверях... Публичная драка случилась и в местном драматическом театре: врач Ирина П. выбежала на сцену и публично вцепилась в волосы Офелии. Какое уж тут искусство!

И наконец — правильно пишет плакат: «Опасайтесь случайных связей!» — сменный диспетчер попал в венерический барак и там сгинул. По крайней мере, о судьбе его больше ничего не было известно. Девочка так и осталась у бабушки, а с шахты имени Феликса К. его уволили по статье.

И затих, съезжился город. И поползли по нему странные, нелепые слова — «Уран», «ВЦСПС», «Мутанты», «Скоро все подохнем, а надбавки не платят».

И даже утверждали городские либералы, что не пройдет мимо таких вопиющих фактов и «Литературка». Откликнется абзацем в задорной полемической статье насчет сю-и потусторонних явлений, используемых мракобесами в меркантильных целях одурачивания сограждан, как экстрасенсы. Диссиденты дали интервью радиостанции «Би-би-си».

Однако все разрешилось очень просто и мудро. Провели собрание. На шахту имени Феликса К. приехал секретарь областного комитета и другие товарищи. Они что надо — хорошенько изучили, кого нужно — крепко пропесочили, кого требовалось — сняли, уволили, как могли — оздоровили коллектив. Коллектив, молодые рабочие, поверили в себя. Диссидентов посадили.

И тут же прекратилась вся эта чертовщина, поповщина, мракобесие и связанные с ними страшные сексуальные случаи. «Страшных сексуальных случаев на шахте имени Феликса К. в шахтерском городе З. практически не стало совсем», — так утверждал в беседе с автором дикий северный поэт Эдик Н. непосредственно по выходе из тюрьмы, где он просидел 9 месяцев за злостную неуплату алиментов и неуважение к осудившему его составу суда, выразившееся в кривлянии, а также отказе сообщить свою национальность и партийность. Страшных сексуальных случаев больше нет. Они изжиты начисто. Да здравствует справедливость!¹

¹ Свидетельствую, что шахта носила имя пламенного революционера, основавшего в городе З. советскую власть, но отнюдь не знаменитого критика-литературоведа, как могут подумать околотературные злопыхатели. Это совпадение относится к разряду случайных. Ведь я нашел рукопись около десяти лет назад, когда лежал на полу. АВТОР. 1988 г.

— Пролеткультовцы программировали действительно адекватное искусство. Но на них сразу же замахали перьями — настолько страшна была эта реальность, — пояснил Толя.

- Ты удак, Толя, — сказал Гриша.
- Ты удак, Гриша, — сказал Толя.
- Ты удак, Коля, — сказал Миша.
- Ты удак, Миша, — сказал Коля.

Без выигрыша

Один, имея гонорею,
Шел в Третьяковску галерею.
Но завернул на бильярд
И выиграл денег миллиард.

Из поэзии Н. Фетисова

Все мы — люди культуры. Поэтому я, человек культуры, довожу до вашего сведения информацию, полученную мной от одного армянина с неизвестными (мне) фамилией, именем и отчеством в общежитии для приезжих работников культуры на Красивом шоссе города Москвы.

Этот армянин, будучи администратором филармонии одного из известных городков РСФСР, строго сидел с утра на деревянной койке общежития, уже проснувшись и презрительно глядя, как мучается с похмелья его товарищ по культурным курсам повышения культуры для работников культуры. Товарищ... неизвестный режиссер другого неизвестного российского городка.

Третий жилец этой комнаты, сценарист-драматург, вертелся перед зеркалом, правя галстук и собираясь, как он выразился, «идти драть московскую бабу». «За что вы ее?» — разволнуется темный иностранец, а русский удак с удовольствием пожелает этому Сереге счастливого пути и удачи, потому как еще неизвестно, что выкинет московская баба до или после того, как покорится званому пришельцу.

А я, автор этих строк, вовсе не являлся четвертым обитателем комнаты, где воняло носками и обитали музы, заботливо опекающие средних лет представителей нашей многонациональной культуры. Которые за недолгое время курсов вновь помолодели до идиотизма, почти вновь превратились в студентов — чистили башмаки краем одеяла, по очереди жарили картошку на сале, использовали подряд практически любую женскую особь, случившуюся на их московском проезде пути, включая сюда и пожилых крашенных уборщиц, что с большим воодушевлением и немалым подъемом собирали у них пустые бутылки, таская сумками в близлежащие посудные ларьки. Я не был четвертым, я длительно ждал в коридоре одного родного человека, а они любезно пригласили меня зайти и предложили драный стул.

— Ну, чао-какава, — сказал сценарист-драматург, уходя.

— Господи, башка-то как разламывается! — метался режиссер, обожженно тряся кистями.

А администратор вдруг сорвался с места и, ни слова не говоря, исчез в коридоре.

— Желудок? — предложил я режиссеру свою версию.

— Ни за упаси Бог! — в отчаянье заговорил тот. — Он... у него... о Господи... у него на кухне... картошка, — чуть не рыдал он. А все потому, что винные магазины открывают нынче в одиннадцать часов утра¹.

Было утро.

— У меня пива есть четыре бутылки, не откажетесь? — спросил я.

¹ Когда я лежал на полу АВТОР. 1988 г.

— С ума я, что ли, сошел отказываться!— воссиял режиссер. И тут распахнулась дверь, и администратором была торжественно внесена громадная сковородка, пышущая жаром и отвратительно воняющая прогорклым жиром.

Говорили о том о сем. Режиссер постепенно пришел в себя и, хохоча, признался, что оконфузился вчера на банкете в ресторане «Прага», утянувши со стола бутылку польской водки; я ознакомил собравшихся с бытом бичей и других народностей Севера; армянин сказал, что прочитал сегодня в газете про разоблаченную группу всесоюзных виноделов, торговавших по городам и весям обильной Родины самогонным коньяком.

— Начинается статья, что слесарь дядя Саша пустил в канализацию стоведерную бочку коньяка с целью замести следы.

— Стоведерную?— ахнул режиссер, вновь схватившись за голову.

— Да,— солидно подтвердил рассказчик.— Стоведерную. Пахан получил «вышку», шестерки — согласно заслуг.

МЫ С РЕЖИССЕРОМ:

— Вышку?

— Согласно заслуг?

— Однако я не о том,— сказал администратор.— Я вам, вот что, к нам недавно приезжал с оркестром Юрий Филантьев и заработал за три дня 1900 рублей. Дал за три дня десять концертов, а у него концертная ставка — 190 рублей...

— Дал...

— За три дня...

— Ну, не может быть...

— 190. Я сам видел. Согласно решению Министерства культуры...

— А я вот читал несколько лет назад газету «Советская культура»,— сказал я.— И там было написано, что Вл. Басоцкий сильно халтурил на Алтае. У него что — тоже такая же ставка? Я интересуюсь.

— Не,— ухмыльнулся администратор.— Володя по-другому работает. Он у нас тоже был. А еще у нас была Валя Волкунова, и меня из-за нее вызывали в райком, потому что, как она запела «Стою на полустаночке в цветастом полущалочке», остановились станки, среди ткачих начались массовые прогулы... Валя-Валя, кого еще, как не ее, так сильно любит народ?

— А вот, говорят, Муслим Ярмагаев тоже за месяц в Казахстане заработал 300 000 рублей?

— Ярмагаев? 300 000? Вполне мог.

— А как?

— А вот так, что в Якутии один администратор спьяну заключил в Москве контракт с группой одаренных цыган, а те цыганы, оказалось, ничего не умеют, даже в бубен лупить... Администратор горит...

— Ну?

— Но не сгорает. Он тут же вызывает по телефону Количенку на десять дней. И уж тот, конечно, запросил, запросил... Он что, даром тебе в «нашенский край» полетел?

— А у нас один инженер изобрел машину для печатанья денег и продал ее персональному пенсионеру за 10 000. Пенсионер напечатал 300 рублей новенькими пятирублевками, а потом машина остановилась среди ночи и оказалось, что она была изготовлена из реле стиральной машины и другого дерьма с вложенными настоящими пятишками. Пенсионер чокнулся и пошел среди ночи в милицию. Под утро и взяли инженера в постели, где лежал. Милиция хохотала, старик показывал красный билет, инженер сильно матерился, что старик — идиот. Никогда, говорит инженер, не думал, что эта старая падла сама на себя в ментовку пойдет...

— Кому сколько?

— Инженеру — три. старому хрычу — условно...

Однако время тянулось и тянулось, а ко мне, наоборот, не шел никто. Вот уж и картошка была съедена нами, людьми культуры, выпито пиво, когда вдруг армянин поднялся и произнес глухо, как в танке:

— Никому не расходиться. Даю десять процентов!..

— Только десять процентов,— бормотал он, роясь в глубинах своего желтого кожаного чемодана.

Откуда и достал он пачку билетов лотереи «Спортлото-спринт», где выигрыш, как известно, определяется немедленно, путем надрыва и вскрытия.

* — Деньги, деньги! Все время про деньги говорили, обязательно мне должно наконец повезти!— вскрикнул армянин, раздавая билеты.

Которые все, конечно же, имели по вскрытию радужную надпись «БЕЗ ВЫИГРЫША».

.....

Ну что ж, настала пора каяться.

Каюсь, что я мечтал написать умеренно остроумный, но с глубоким подтекстом рассказ, хотел четко пропустить невидимую гуманистическую красную нить, дабы обличить мещанина во культуре и тем самым поднять ее (культуру) на некую лирическую высоту... С помощью явления родного человека, девушки, которую я столь длительно ждал. Хотел описать, как трогательно и приветливо смутились армянин и режиссер при виде нашей ЛЮБВИ и как что-нибудь горько-доброе приключилось со всеми нами, в том числе и с ушедшим к бабе сценаристом Серегой... Как у Эльдара Рязанова... Мечтал... Хотел... Много я чего хотел, мало ли о чем мечтал — как видите, совершенно ничего не получилось. Образов нет, начала и конца, остроумия, сюжета нет, текст безобразно расплылся, как клякса бывших в школе фиолетовых чернил.

А все почему? А все потому, что... почему? Я не знаю, почему. Я пишу это на исходе февраля 1978 года. За серым окном все зима да зима безо всякого подтекста, и деревья все серые да серые безо всякой красной нити, и когда будет весна неизвестно. Что ж, видно, прав был Иван Бунин — растоплю-ка я лучше печку торфяными брикетами, выпью-ка я лучше любимого вина «Кавказ» да загляну-ка в почтовый ящик — может, мне кто-нибудь уже написал, какое-нибудь душевное письмо, а я ему на это что-нибудь отвечу. Один буржуазный деятель культуры писал, что даже его харкотина — это искусство. Врешь ты, товарищ буржуазный деятель, врешь ты все, удак! Удак ты, а не буржуазный деятель культуры!

Девушка... Она в то утро так и не пришла. Хрустальная, но теплая девушка... Девушка... Ничего себе девушка, а? Я к ней приперся в 9 часов утра, мыкался в коридоре, а она так и не пришла. Еще не пришла! Как вы считаете, можно с ней иметь дело или нет? Можно в ней видеть родного человека, искать жизненную опору или не нужно? Я лично считаю, что никак нельзя, и вот уже развиваю эту тему в краткой статье для плаката «Опасайтесь случайных связей», что была мне недавно заказана Домом Санитарного Просвещения, потому что все мы — люди культуры.

— Товарищи! Вот я вас слушаю, и мне даже становится невозможно стыдно. Вы — красивые, относительно молодые, интеллигентные молодые люди, а только и несется от вашего слова, что «удаки» да «удаки», «удаки» да «удаки», — сказала, приосанившись, пышная и волоокая буфетчица Светлана Викторовна Немкова-Боев.

МАЛЮЛЯ—КУЛЮЛЯ, ИЛИ ПОРТРЕТ ИНВАЛИДА II ГРУППЫ, ВЛАДЕЛЬЦА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ С МОТОРОМ

ИЗ ПРОТОКОЛА. Владелец инвалидной коляски с мотором, инвалид II группы отдыхал в пивном зале и беседовал сам с собой...

— Ну, не вой ты, не вой, чего ж ты это, братка, воешь? Нас вон попросят из данного пивного зала, если мы так обоим сам с собой будем себя вести. Погляди вокруг — кругом радостные красные хари, пиво хлещет из кранов, с треском ломаются сушеный подлещик, и лишь ты один скучаешь на этом празднике народа, как Лермонтов или неродной.

— О, ты прав, брат мой! Я и в самом деле веду себя неадекватно, пушай и имманентно. Но я не виноват, не виноват, слезы душат меня, братка!

— А ты выпей пива и успокойся. Хочешь, я налью тебе в пиво из четвертинки?

— Хочу.

— А я и наливаю.

— А я вот уже и выпил.

— Мо-ло-дец! Мо-лод-чага!

— Ну, так я начинаю.

— А ты и начинай.

— Я и начинаю.

— Ты и начинай.

— Начинаю...

— Это... суки есть и курвы, которые призывали меня ни в ком случае не терять присутствия духа, и зачем-де я не женатый по сю (ту) пору? Уж не кроется ли здесь чего «сладенького»? А также спрашивают, не отношусь ли я отрицательно к самому институту брака. Спрашивали. Дураки!

Ведь я ко всем институтам, а особенно к университетам (острота), отношусь симо положительно. Слава Богу — сам восемнадцать лет учился неизвестно чему. Но чем звончей слышна была поступательная поступь прогресса, тем горше таяли мои силы и печальнее становилось на душе, особенно если это касается бытовых удобств, например, телефона, который мне установил за взятку Макар Сироньч.

А она была родной человек, спортсменка и занималась на острове плаванием, потому что там вырыли пруд, облицованный белым кафелем. У нас реку Е., впадающую в Ледовитый океан, уже всю обосрали: зимой и летом вода плюс восемь градусов, согласно построенной в Дивных Горах самой мощной в мире ГЭС. Вот на острове и вырыли пруд, облицовали белым кафелем, где они, ловко отталкиваясь пятками от тумбочки, быстро-быстро скользят туда, а потом оттуда скользят, коснувшись рукой. Мы встречались на мосту, ажурном сооружении из железа и железобетона, соединившем старую и новую части города, нашего громадного промышленного центра, уверенно растущего на глазах, как на дрожжах, ввиду звонкой поступательной поступи прогресса. Зажигаются вечерние огоньки, из раскрытых окон доносятся звуки песни «Хорошо», люди живут, дышат, радуются.

Вот и мне наконец поставили за взятку телефон, который мне установил Макар Сироньч. И моя пловчиха поздней ночью, когда гаснут теплые человеческие огоньки и зажигаются холодные космические звезды, она мне звонит, полагая, что звонит.

«Ты не спишь, малюля?» — «Я не сплю, кулюля!» — «А что ты делаешь, малюля?» — «Я читаю». — «А что ты читаешь?» — «Я читаю книгу «Архипелаг ГУЛАГ»¹.

Малюля-кулюля, кулюля-малюля! О воспоминания! О сладостный озноб сердца и ушей! Отбой, и — долго-долго помахивая головой, стоял и вдаль глядел, пред ним широко река неслася в Ледовитый океан (я жил тогда на берегу, в пятиэтажном доме). И ложишься спать со слезами счастья на усталых глазах, и думаешь о том, что скоро свадьба, зазвонят фанфары, сыграют Мендельсона, и шутливо усмехаешься, вспоминая ее строгих, но добрых родителей.

Как-то сложатся наши дальнейшие с ними отношения? Поймут ли они молодость? Не будет ли этих проклятых бытовых конфликтов или, наоборот — сытенького мещанского уюта, мешающего совершенствоваться после рабочего дня? И дремлешь, и засыпаешь, думая во сне, что непременно, непременно лично ты будешь жить вечно.

Однако нет ничего вечного в этом мире, кроме самого мира, брат мой! О

¹ А вот это ни к чему. Есть вещи, над которыми нельзя шутить. По крайней мере, были, когда я лежал на полу. АВТОР. 1988.

пловчиха! Лицо твое, облитое слезами! Твоя гусиная кожа, слипшиеся мокрые волосы, мокрая одежда. Сгубил телефон. Нет ничего вечного в этом мире, и какая-то тупая игла вонзается в мозг. О! Что? Что это? Это — телефон. Я бросаюсь. Слышна лихорадочная речь. «Это аптека?» — «Нет, не аптека». — «А что это?» — «Это не аптека». — «А что?» — «Это квартира».

А вот сумей-ка остаться добрым в этом мире! Ведь ясно с первых слов, что не аптека. И если тебе требуется лечение, то какая тебе разница, сукин ты сын, куда ты попал, если ты попал не туда? Зряшное и вредное любопытство. Отвлекающее, ослабляющее, истончающее.

«Но только он лег — звонок».

И — хрустящий, рыдающий, задыхающийся женский голос:

— Ну вот что я тебе скажу, мерзавец! Я долго терпела, но теперь всему пришел конец, и если ты хотя бы еще раз позволишь себе...

— Откуда?

— Чего?

— Куда звоните?

Пауза. Залепетала-защебетала:

— Пожалуйста, ради Бога простите. Я, очевидно, ошиблась номером...

«Очевидно...» Ради Бога я, конечно, прошу, но ведь сон-то, сон-то ведь весь насмарку! Я слаб, я когда-нибудь поседею, облысею, зачем же вы так со мною? Разве я Дон Гуан из Мадрида? Разве я капитан из полка? Как вам не стыдно! Вы живете для того, чтобы днем воздвигать чего-либо из железа и железобетона, а по ночам ругаетесь. Что? А не лучше ль вам просто любоваться окружающим миром, тихо вздыхать по ночам, играя на простых инструментах какую-нибудь скромную мелодию? К примеру, «Сурок» композитора Бетховена.

А днем — и того хуже. Днем берутся за дело шутнички, которым мало 16-й страницы «Литгазеты», которые задают вопрос:

— У вас вода идет?

— Какая вода?

— Холодная есть у вас вода?

— Не знаю.

— А вы посмотрите (смотрю). Идет? Тогда вымой ноги и ложись спать.

Короткие гудки. Массовая телефонизация в первом поколении.

Выключать непозволительно и нельзя — малюля-кулюля может позвонить. Выругаться матом только и остается, свинцовым русским матом. О, ругающийся свинцовым русским матом, бесцельна хула ваша!

Однако я все отвлекаюсь и отвлекаюсь, братка. Я собрался на вечернее свидание с пловчихой. Ширинку я не успел застегнуть, потому что вякнул телефон, и гнусавый голос осведомился, зоопарк ли это, а если нет, то почему он говорит с обезьяной.

Штаны застегнул, но был гол по пояс, когда меня попросили смерить длину провода. Стара шутка — смеряй провод и засунь его себе...

И уже на выходе, когда уже и в новом финском плаще, и в рубашке нейлоновой, и при галстукке, поймал меня в дверях последний звонок. Чуждый голосок поинтересовался: «Ну и как мы себя чувствуем?»

Ответил, медленно чеканя слова...

— Сука ты рваная! Если еще раз позвонишь, я тебя...

И тут, каюсь, посыпалось из меня... В рот да в нос, как говорится, коли лучше не сказать. Сказал про половые извращения, каюсь и не прошу себе никогда. Но ведь довели, довели, последним мерзавцем буду, если не довели...

И, опаздывая, пулей летел на мост, где свиданье. Почему? Да потому, что мост нынче — одно из самых укромных мест в нашем городе. Машины мчатся, урча, а пешеходам лень тащиться через реку Е. полтора длинных километра. Вот и бродят влюбленные по его пешеходной части, подолгу торчат в железобетонных карманах. Над головой — голуби, под ногами — чайки, буксир гудит, таща на юг кошельный плот леса. Наверное, в Узбекистан.

Уже издали защемило у меня сердце при виде ее голубеньких брючек, светлеющих в надвигающейся темноте.

И сердце забилось, и упало сердце, когда она явилась, потому что белым

было лицо ее, синеватым, как брючки, в искажающем цвета свете ламп дневного света.

— Ты так? — спросила она. — Так ты хочешь быть со мной, как твоя циничная, пошлая матерщина?

— Что ты, что ты, что ты? — забормотал я.

— Мы проверяли, — всхлипнула она, — с девочками, ребятами твою способность, тест на юмор. А ты вон кто? Прощай!

И она, перевалившись через перила; упала с двадцатиметровой высоты в восьмиградусную воду. Спасибо тебе, ГЭС! А я, а я, а я, безумец, бежал и пел неведомую песню, петляя по новому мосту к спасательной станции ОСВОДа и к «Скорой помощи», куда я не пришел, а меня уже привезли, потому что, петляя, я попал под машину «Скорая помощь», что мчалась, урча, туда, куда я попал.

Где и встретил ее, сидевшую на клеенке: отчаянные олени глаза, зуб на зуб не попадает, гусиная кожа, слипшиеся мокрые волосы, мокрая одежда.

— Не подходи ко мне, гад, не понимающий шуток! — выкрикнула она, с ненавистью глядя на меня.

— Да он и не сможет, — успокоил ее санитар. — Мы его сейчас будем на брезентовые носилки перекладывать.

Гаснущими глазами ловил я хотя бы тень расположения на лице родного человека. Но не было лица. Но, но — напра-а-а-сно! Не было лица.

— Да не бейся, не бейся ты головой об стол, тяжеловесная ты конструкция! Ну чего ты! Ведь нас уже вон гонят из данного пивного зала. Ты что! Что ты! Раскровянил нос, набил шишку. Так нехорошо делать. Миллионер глядит с улицы, ждет нашего возвращения из мира грез. Нет, братка, нехорошо, нехорошо! Чувствую, попадем мы с тобой в историю...

— Историю средних веков?

— Новейшую историю, свежайшую... Ой, да не щекоти ж ты меня, не щекоти — нашел время для шуток...

— А щас что — не время для шуток?

— Не время.

— А когда время?

— Никогда.

— Понял. Все понял. Тогда пошли, браток, к личному нашему автомобилю, инвалидной родной коляске. Прокатимся, убогий, с ветерком!

— А мы не разобьемся?

— Может, и разобьемся.

— А вдруг кого задавим?

— Авось не задавим — куда нам, инвалидам...

— Посадят.

— Посидим...

— Нет, все-таки давай не поедем, давай не поедем, а? Жизнь ведь и так прекрасна. Правда?

— Правда! Правда! Правда!

ИЗ ПРОТОКОЛА. Владелец инвалидной коляски с мотором, инвалид II группы, первоначально беседовавший сам с собой, действительно крикнул в пивном зале слово «правда». На что данное пивное помещение ответило ему голосами радости и одобрения, долго не смолкавшими...

ДОНОС (зачеркнуто, но исправленному верить. АВТОР.). ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Настоящим я, владелец инвалидной коляски с мотором, инвалид II группы, доношу на прогресс, науку, телефон, русских и евреев. Степень вины всех последних в вышеуказанном перечне пускай определяют компетентные органы.

АВТОР. В деле владельца инвалидной коляски с мотором, инвалида II группы, имелось множество других документов, а также магнитофонных записей. Хотелось бы описать инвалида всего, с тщательностью, достойной Пруста, Джойса, Катаева и всех других писателей, в том числе и советских.

Но, к сожалению, — это невозможно. И дело, и инвалида съела гоголевская свинья.

ГОЛОС ИНВАЛИДА. Ты удак, автор?

АВТОР. А разве я хуже других?

— Товарищи и граждане! Ваши руки лезут ко мне у брюки. Рупь кладут, два берут. Пройдемте, граждане, приехали, конец, как писал певец, и я вас заберу, насидитесь у меня, нахлебаетесь, потому что я — народная двужина, — сказал непотребный Светланы Викторовны хахаль и муж, бывший спортивный тренер Витенька Лещев-Попов.

— Виктор, сгинь, — сказал Гриша.

— Отвали, плешь, — сказал Миша.

— Не воняй, Витек, — сказал Коля.

— Хамы, — резюмировал Толя.

— Это кто хамы? — вдруг обозлилась не совсем трезвая Светлана Викторовна.

Планетарий

Да, в то время был я еще человек как человек. Так ведь в то время еще и мир был? Впрочем, неважно. Был я в то время, состоял в браке с некой Ф., дочерью гуманных и культурных родителей, что с них тут же осыпалось, естественно, как только речь зашла о сугубо житейских вопросах раздела имущества на несколько равнозначных частей. В частности, они еще довольно долго преследовали меня эпистолами и телефонограммами. В конце концов и действительно чем-то там навредили мне по службе в моем Департаменте Нравов, а чем именно — я теперь, признаться, даже и не помню. Потому что я теперь многое забыл.

Странно, странно... Когда рухнуло, когда шар стеклянный лопнул, и тьма подступает со всех мыслимых сторон, все видится и видится мелкий, нелепый этот осколок его, в котором вдруг отразилось синее небо, когда брызнуло, солнечный луч резанул в тот миготекущий момент, и он тут же навеки тоже потух, этот мелкий, нелепый, невзрачный осколок, втоптаный и растертый грубым крепким башмаком... Поэзия, знаете ли...

Вот и мне почему-то из всего длинного, нудного, хотя, может быть, и гораздо более интересного часто вспоминается почему-то именно этот нелепый день, да нет — зачем весь день? Осколок дня, неровное, с острыми краями количество, измеряемое часами, минутами и секундами момента.

Мы шли по летнему парку культуры и отдыха имени Цунами и дышали полными легкими.

Брак наш выдохся и подходил к концу, как выдыхается пиво, нехорошо пузырится перекишшее вино, изживает сама себя новогодняя ночь. В браке все равны — умный, глупый, смелый, трусливый, любящий и не очень. У глупого, трусливого и «не очень» даже имеется ряд преимуществ. Но это я — в сторону.

Повторяю, брак наш распался на глазах. Но не помню — знала ли об этом Ф., хотя я-то, конечно, знал и поэтому чуть-чуть нервничал. Потому что я в своей жизни женился бесчисленно и до, и после этого брака, отчего могу вполне квалифицированно утверждать (в сторону) — чувство этого распада необъяснимо. Оно уже есть, это чувство, как уже есть в воздухе, например, гроза, хотя ветерок ласкает по-прежнему мягко и облачка еще покамест где-то там, далеко за горизонтом. Все так, но все уже не так. Все раздражает, а потом оглядываешься и видишь — ничего больше уже нет. Нету.

И я был мрачен, а Ф. между тем наоборот — была весела, беззаботна, шутлива. Мы тогда сильно пили. Джин, виски и русский портвейн «Кавказ» не переводился у нас в шкапу. У нас было много денег, мы были молоды, у нас было много денег, и мы их тратили как нам только заблагорассудится, не отказывая себе ни в чем. Мы много путешествовали, ходили в парк, ели мороженое.

А между тем и на самом деле формировалась гроза. Помнится, что мы немного поспурили по ее поводу. Я сказал, что скоро будет гроза, а Ф. мне не верила и усиленно утверждала обратное, за что я назвал ее дурой. Ф. обиделась, надула округлые губы и сказала, что я в последнее время слишком часто и злобно (не шутливо, а злобно) ей грублю, придираюсь к ней гораздо более часто, чем она того заслуживает. Не значит ли это, что я хочу ее бросить и выжать из своего сердца? Она этого не снесет...

Собиралась гроза. Уж и облачки увеличились до видимых размеров, уж и ласковый июльский ветерок дул мелкими толчками. Я тогда велел, и мы зашли в какой-то деревянный, крашенный масляной краской зал, над которым и вывеска имела — ветхие, вызолоченные буквы «ПЛАНЕТАРИЙ». Часть букв была совсем съедена временем, и вместо надписи получалась какая-то чушь, каковую я не желаю реконструировать, дабы не разрушить сосредоточенность своего одиночества.

Там-то у меня и произошел этот нелепый разговор с реабилитированным Министром Временного Правительства, ныне Заслуженным Рыболовом Республики. А одной из формальных причин последующего моего разрыва с Ф. являлось то, что я надавал пощечин этой дурехе, которая утверждала, будто бы никакого Министра не было, будто бы ничего не было в о о б щ е, а был какой-то смурной зал, где какой-то нудьга тыкал указкой в карту звездного неба и нес квелую чушь про наших космических парней, наконец-то ступивших на Сириус, где теперь тоже гордо реет наш красивый флаг. Хотя... все может быть... Может, и не за то я ее ударял пальцами по лицу, а она в ответ ловко и быстро раскроила кожу моей физиономии длинными острыми ногтями, крытыми зеленым лаком. Так что когда я встал утром и, поцеловав портрет Эрнеста Хемингуэя, висевший у нас в изголовье, запел песню «Бригантина поднимает паруса, в открытом море не обойтись без кормчего», то мой взгляд упал в зеркало, откуда на меня глядело мое, но теперь совсем чужое лицо, изукрашенное чудовищным полунацистским корябаньем. Лишь тогда я решительно и мрачно выговорил ей, тоже трясущейся с похмелья: «Все! Вот теперь-то уж окончательно все! Все, засранка!» Ух, как она извивалась!.. Я не помню... Я расскажу то, что, как мне кажется, было. Расскажу, освобожусь и засну, натянув до самой макушки свое новое суконное одеяло с надписью «НОГИ».

В здании планетария проводился среди бела дня, как я тут же понял, вечер вопросов и ответов, устроенный общественной редакцией газеты «Вперед» и добровольным умственным обществом «Либерал». На сцене, в президиуме разместились густая компания интеллигентных людей, одетых по случаю жары в легкие безрукавки. Среди прочих я заметил довольно противную рожу заведующего отделом поэзии вышеупомянутой газеты. Я ему однажды принес стихи о синих марсианских цветах, которые собирает для Родины одна большеглазая девушка с глазами испуганного олененка. Стихи он хвалил, не напечатал, а меня теперь не узнал. Да мне и не надо было. Его звали Редакционный Друг.

Однако он был там совсем не главным, хоть и числился вице-председателем этого сборища. «Главным туточки будет наш уважаемый бывший реабилитированный Министр Временного Правительства, а ныне Заслуженный Рыболов Республики», — с улыбкой объявил Редакционный Друг, и все захлопали в ладоши.

— Так что давайте, ребятки, задавайте вопросы. Секите момент. Ведь не каждый же ж день вам удастся задавать вопросы Министру, пушай и бывшему, — тонко пошутил он, вызвав тем самым дружный, дружелюбный смех присутствующих.

Министр нахально улыбался. Это был крепкий еще старик с лысиной и проседью, тоже, естественно, в легкой безрукавке, почти и не пузатый, кряжи-

стый, модный такой старик с отвисшими щеками и голубенькими точечными глазками, как у крысы.

А публики-то и было нас всего, считай, человек десять, на сцене и то больше. Его вяло опрашивали, нашего добродушного старичка. Стандартная тема — что он думает о последних завоеваниях в космосе и вообще о Родине, о ее нынешних границах. Старик, естественно, отвечает, что он очень рад и доволен всем, что было, есть и будет. А отдельно он радуется тому, что у нас выросла умная и интересная молодежь.

Я тогда встаю и задаю, как мне кажется, очень «толковый» вопрос:

— А вот скажите, поселянин, дело прошлое, однако не повлияла ль случайно служба у Временного правительства на вашу дальнейшую биографию? Теперь вы Заслуженный Рыболов Республики, ваше имя знакомо всем нам буквально с детства, вам доверили такой крупный пост, а ведь вы были Министром...

Он же мне в ответ городит буквально следующее:

— Да, у меня был пулемет «максюта», и я сидел в кустах, стрелял направо, налево, вперед и назад. Автоматом Зеленина я орудовал, как лев. Меня тогда вызвал комбриг и говорит: «Ну, теперь можешь писать заявление. Я лично буду ходатайствовать за тебя...»

Наш диалог внезапно перебили. Вскочил смелый, горячий молодой человек и завопил:

— Нет, вы скажите, почему у нас в магазинах ничего нету?

Старик сел, а за молодого человека взялся сам Редакционный Друг.

— То есть как это нету, поселянин? — тихо спросил он, посерьезнев. — Очень даже есть. В магазинах у нас есть все. Поселянин может сейчас же покинуть наш зал, чтобы лично в этом убедиться.

А у того даже глаза на лоб лезут от такого чудовищного вранья.

— Как же... как же вам не стыдно лгать?! — орет он. — Вы что, дураков себе ищете? Почему в столицах все есть? Там, мне рассказывали, если в магазин привозят плохие яйца, то их просматривают через специальный дефектоскоп, и их тогда менеджер тут же с ходу отправляет обратно.

Неквалифицированный оратор! Потому что при слове «яйца» все собрание грохнуло и от смеха никто долго не мог выговорить ни слова. Молодой человек под конец и сам расхохотался, махнул рукой, сел на свое место и принялся дремать.

А между тем гроза точно должна была иметь место быть. В зале заметно потемнело. Хлопнули и заскрипели массивные резные ворота планетария. Министр спрыгнул со сцены и пошел их запираить. Я догнал его.

— И все-таки скажите, мы теперь одни. Было вам когда-нибудь больно? Больно! Больно! Больно! Адски больно! А еще скажите — а сейчас вам не больно? Не больно? Не больно? Не больно?

Министр, с натугой запирая ворота, ответил нехотя:

— Ну почему вы все такие глупые, молодые поселяне? Право, даже скучно становится... Учат вас, учат, удаков, а вы до сих пор не знаете, что боль — это секундное ощущение, а жизнь — минутное. Вот и весь ответ на все ваши глупости. Пояснить сказанное я могу следующим примером. Когда однажды в моем «максюте» перегрелась коробка скоростей, я вставил туда для охлаждения руку и у меня выгорела часть рукава, за что я получил орден, переходящий в медаль. Хотите убедиться? Вот орден, переходящий в медаль, вот часть рукава, которая выгорела у меня, когда я починал пулемет «максюта», а вот моя трудовая зачетная книжка.

Я глянул на него пронизательно.

— Спасибо. Действительно, это был лучший ответ на мой вопрос.

Седой Министр опустил голову, израненную микроэлектронными кнутами, и шутивно затынул, подражая церковному сторожу варварской эпохи:

— Запираем! Запираем!..

Мы и возвратились в зал сборища. Большая часть заседавших мирно заснула. Остальные тихо переговаривались.

И вдруг в полутьме зала что-то забелело. Я сильно удивился, обнаружив,

что это беленькая ладошка моей супруги Ф., про которую я даже как-то и забыл совсем в пылу политики и утонченного правдоискательства.

Министр тоже оживился и шутки ради (большой он оказался шутник!) обратился к Ф.:

— Вот вы кто? Что вы все на месте сидите? Встали бы да задали какой-нибудь вопрос.

Та мигом вскочила, как пружина, и зачастила, блестя своими круглыми глазами, уваженными черной тушью:

— Вы тут все болтаете, болтаете, а я — человек земной профессии. Я врач-терапевт, пловчиха и артистка. Тут есть некоторые, которые думают, что они умные, жизнь прожили, а сами двух слов связать не могут.

— И что же мне, по-вашему, в таком случае делать, красавица? — иронически прищурился Министр, явно наслаждаясь ситуацией.

— Выходить на пенсию и ехать в Белые Столбы, — отчеканила моя супруга.

— И где же я там буду жить? — растерялся Министр.

— В земле!

И она дерзко показала пальцем на землю.

И наступило страшное молчание, потому как все знали, что это означает, когда показывают пальцем на землю. Я покраснел от стыда. Мне захотелось сделать себе хакари или хотя бы попытаться что-нибудь совершить во имя Родины. Попробовать, например, как-то возратить назад хотя бы часть того, что отняли у нее злые пришельцы... Чем не благородная задача?

И вдруг Министр расхохотался.

И Ф. расхохоталась.

Они хохотали и показывали друг на друга пальцами.

— Молодец! Молодец! — в восторге повторял Министр. — Какой молодец! Ну просто молодец!

И все уже совсем спали. И гроза прошла, не разразившись. И что было дальше — я совсем не помню. Шар стеклянный лопнул, погас осколок, и дальше я ничего не помню.

Я сейчас вообще многое забыл. Да и к чему множить всякие глупости, когда планета почти опустела, сам я сед, стар, лыс, неоднократно сидел в дурдоме, через каких-нибудь 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лет меня тоже совсем не будет. Кто множит глупость, тот множит скорбь. Гораздо важнее, что вот я лежу у костра, журчит ручей, а на сквородке жарится хлеб, в лесу воет волк, в деревне мужик гонит самогон, а надо мной — громадные красные звезды неба моей Родины, моей обильной могучей Родины...

— Это кто хамы? — вдруг обозлилась не совсем трезвая Светлана Викторовна.

Удаки

— Я думаю про писателя, эдакую мерзкую сволочь, прислушивающуюся к своим ощущениям и ляпающую их на бумагу, — сказал Гриша.

— Шипящими и сосущими украшайте речь свою, о девушки! — сказал Миша.

— Ты удак, — Миша, — сказал Гриша.

— Ты удак, Гриша, — сказал Миша.

— Вы представляете, один мужик купил мяса, говядинки по 2 рубля килограмм и, не дождаввшись остановки, полез в летнем троллейбусе к выходу, пачка сырым мясом голые девичьи ноги, — сказал Коля.

— Продавцы, уходя с работы, воруют мясо. Э Т И, уходя с работы, прихватывают с собой свою власть, — сказал Толя.

— Ты удак, Толя, — сказал Коля.

— Ты удак, Коля, — сказал Толя.

— К тридцати двум годам я разучился делать многое из того, что умел делать в примыкающие двенадцать лет. Я разучился: 1. Подбирать и складывать слова. 2. Выдумывать хлесткие, сочные названия. 3. Сплетать начала и концы, — опечалился Гриша.

— Без труда не вынешь, — радостно засмеялся Миша.

— Один мужик все время повторял «дык» да «дык», имея в виду фразу «дык что ж это я?». Он служил врачом в пионерском лагере. Его звали Лев. Он был очень толстый и очень робкий. Однажды он выносил помойное ведро, увидел у сортира красивую девушку, испугался и заулыбался ей сквозь толстые очки робко и щемяще, — растрогался Коля.

— Ты удак, Коля, — сказал Гриша.

— Ты удак, Гриша, — сказал Коля.

— Это кто? Это, детки, революционер. Он не выдержал свободы и скончался от счастья на переломе грядущего века, — злобно заметил Толя.

— Ты удак, Толя, — сказал Миша.

— Ты удак, Миша, — сказал Толя.

— Я им дал три телеграммы. **БЕСПОКОЮСЬ ОТСУТСТВИЕМ ДОГОВОРА БЕСПОКОЮСЬ ОТСУТСТВИЕМ ДОГОВОРА НЕСМОТРЯ ПОСЛАННУЮ МНОЙ ТЕЛЕГРАММУ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВЫПЛАТИТЬ МНЕ ПОЛАГАЮЩИЙСЯ СОГЛАСНО ДОГОВОРА АВАНС СУММЕ СТО ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ,** — занял Гриша.

— Ночью и нищему крестьянину Ваньке достается то, что стоит миллионы, — мечтал Миша.

— Хотелось бы рассказать вам и про того странного гражданина, который работал говночистом в тресте очистки города. Нельзя было назвать его домашним тунеядцем, хотя он не умел делать ровным счетом никакой мужской работы, гвоздя вбить не мог. Зато он умел стряпать, стирать, мыть полы и танцевать вальс. Это неизбежно наложило отпечаток на его характер и фигуру. Нельзя было сказать, что он бабоват, но никто не назвал бы его и мужественным, — вспомнил Коля.

— Пролеткультовцы программировали действительно адекватное искусство. Но на них сразу же замахали перьями — настолько страшна была эта реальность, — пояснил Толя.

— Ты удак, Толя, — сказал Гриша.

— Ты удак, Гриша, — сказал Толя.

— Ты удак, Коля, — сказал Миша.

— Ты удак, Миша, — сказал Коля.

— Товарищи! Вот я вас слушаю-слушаю, и мне даже становится немножко стыдно. Вы — красивые, относительно молодые, интеллигентные молодые люди, а только и несется от вашего стола, что «удаки» да «удаки», «удаки» да «удаки», — сказала, приосанившись, пышная и волоокая буфетчица Светлана Викторовна Немкова-Боер.

— Товарищи и граждане! Ваши руки лезут ко мне у брюки. Рупь кладут, два берут. Прийдемте, граждане, приехали, конец, как писал певец, и я вас заберу, насидитесь у меня, нахлебаетесь, потому что я — народная дружина, — сказал непотребный Светланы Викторовны хахаль и муж, бывший спортивный тренер Витенька Лещев-Попов.

— Виктор, сгинь, — сказал Гриша.

— Отвали, плешь, — сказал Миша.

— Не воняй, Витек, — сказал Коля.

— Хамы, — резюмировал Толя.

— Это кто хамы? — вдруг обозлилась не совсем трезвая Светлана Викторовна. — Это мы с Витенькой хамы? А ну, Витенька, свисти в свисток! Свистнуть, а? Свистнуть, а? Свистнуть, или как?

— Свистнул бы, да не свистит, — расхохотался Витенька.

— Ну ты, Витек, молодец, даешь стране угля, мелкого, но много, — расхохоталась Светлана Викторовна.

Тем временем и ночь незаметно наступила. Совершенно пьяные они отправились по домам. Толя потерял портфель, на Колю случайно вылили из окна горшок с нечистотами, Гриша начал писать роман, а Миша по дороге избил гомосексуалиста.

А всему виной то, о чем мы каждый день имеем право читать в местных и центральных газетах, издаваемых в СССР...

...пьянство и другие, к сожалению, все еще встречающиеся иногда в нашей жизни временами всегда отдельные...

Обижен бедный горох

— Если кто в жестяных банках изготавливает зеленый горошек со смальцем, того нужно тут же расстреливать у стенки, как лазутчика, потому что он делает больно всем. Вот ты глянть — среди севрюги, огурца свежего, парникового, болгарского, ростбифа, каменной колбасы — он ежится и ссыхается от позора, этот бедный горох, крытый тусклой пленкой с белыми, отвратительно стылыми жиринками. Он мучается, и я ничем не могу ему помочь...

Так размышлял один естествоиспытатель, ужиная с родным человеком за праздничным столом в ожидании ночи под звуки симфонии № 40 композитора В.-А. Моцарта, что напечатана на пластинке фирмы «Мелодия» с двух сторон.

— Понимаешь,— сказал естествоиспытатель родному человеку.— Я считаю, что аристократизм — это ощущение своего места в пространстве и времени. Мир — он в любом месте полон, в любом времени. Каждый, кто на своем месте,— аристократ. Кто не на своем месте — плебей. И я говорю о том, что естественность — лучше правды, выше оценок, честнее нравственности.

— Нравственности,— подтвердила родной человек. Она хорошо понимала естествоиспытателя.

А он вдруг затрясся от жалости, и трясся, и слезы от плача падали в поедаемый им горох со смальцем по цене 35 копеек банка.

— Смотри, за окном как белым-бело,— сказала родной человек.— Это и есть белая ночь. Белая ночь — это серая ночь. Моцарт. Огурец. Севрюга с хреном...

— Горох ты мой, горошек! — вскричал естествоиспытатель.— Обижен бедный горох! А впрочем — сам, сам виноват,— махнул он рукой.— И все несчастные — свиньи, как писал цитируемый ученый...

— Белая ночь,— шептала родной человек.— Белая, серая она — вливается, вливается, вливается...

— И смерти нет, да? Ну скажи, скажи, ляпни еще, что и смерти нет, ну скажи, скажи,— пристал естествоиспытатель.

— Нет,— подумав, сказала родной человек.

— Нет? — воскликнул естествоиспытатель.

— Никогда,— ответила женщина.

— Вот и хорошо,— резюмировал мужчина и погасил электричество.

Прекрасным, нездоровым светом наполнилась комната. Аква, аква, аква... α, β, γ ...О, плыви, плыви, плавай, шевели жабрами медленно! И, о Господи, неужели мы навсегда рыбы, неужели мы никогда не умрем, неужели это счастье, неужели еще можно жить?.. Целую тебя, я тебя целую... Ты слышишь?

— Я все слышу,— ответила женщина.

— ...недостатки отдельные всегда временами назад вперед вниз вверх право лево в нашей жизни иногда все еще встречающиеся к сожалению...

О чем мы каждый день имеем право читать в местных и центральных газетах, издаваемых в СССР.

Янис Рокпелнис

**В шуме крови
прилившей...**

Поэзия

С латышского.

Перевод Сергея Морейно

* * *

сколь тучен август каждый в нем богат
бегом бегут из переревших комнат
мой стол скуднее август так горяч
а я себя в другое время помню

с таким достатком нечего начать
когда в плоды перерастают брызги
я звездный свет собираю по ночам
покуда пахотой осенней лоб не выжгло

вновь по дорогам запахи идут
и воздух пересыщен пряным соком
в опавших яблоках слова жирея ждут

и ветер гонит развивая кокон
меня с жалейкой-посохом в руке
до самых зимних кленов налегке

* * *

Тянет дымом вселенных нездешних,
В Мирозданье зияет дыра.
Бьет кометой хозяин крошечный,
Я лижу ему руку, как раб.

Спину гну перед вечностью крепкой,

Годы выводком злобных барчат
На меня налетают и треплют,
Только песенки славно звучат.

Тянет дымом вселенных бывших,
И я помню всех, меня бивших.

* * *

я встретиться с тобою готов
на бойне цветов

мясник обходительный
потчует нас
пирожками с цветочным мясом

о как в ваших глазках хорош пион
тебе доверительно скажет он
сколько просите за килограмм
и голуленьких двести грамм

ты глаза
опускаешь долу
прячешь последнюю грядку в подол

все напрасно
он требует мяса
ваши цветы забила трава
они и дышат едва-едва

мясник закатывает рукава

кто ему дал такие права?

* * *

так любила что одеяло
от сигарет забытых сгорало
едким дымом нос забивало
так любила что покрывало

нашу любовь огня покрывало
пламя ноги уже покрывало
так любила что зыбывала
то что так нам любить не пристало

* * *

осень

глаза мои кто-то заводит в хлев
и доит

осень

алой дробью рябина
целит парню пониже спины
а тот вспархивает птицам вдогон
унося лук и стрелы

осень

под каждым деревом в продаже грусть
за красные жетончики листьев
и вдруг продавцы косяком
снимаются с места

осень осень

вот мое время
когда ангелы сватают бабу-ягу
и их черно-белые дети
купаются в первом снегу

* * *

сверкать мечу короткой клятве длиться
и грому грохотать еще не раз
но росчерк молнии забыть стремится глаз
во имя капель на зеленых листьях

неразличим на мокрых облаках
тебе подписан приговор короткий
чернила цвета молнии поблекнут
и дни печатают гусиный шаг

одно мгновенье для тебя мерцает текст
с прикосновеньями усталыми борясь
и снова в небесах грохочет клятва

в пологости часов секунды всплеск
хоть древней клятвы неизбывна власть
ее значенье никому не внятно

* * *

нас связывают вместе хутора
и рассекают как ботву дома-колодцы
тот сеятель их сеял не вчера
но вот посев его нас видно не дождется

за домом дом и в окна вставлен крест
вновь ветры шастают и обирают ветви
и лампочки под потолком прощальный треск
так одиночество на мне затянет петлю

где всходы вытоптаны одиночество цветет
и в щели заползает понемногу
еще на кухне мне балладу мышь поет

ей отвечают доски у порога
их скрипы знаю я наперечет
и разбредаются дома по всем дорогам

* * *

я к тебе приبلудился
а ты не замечаешь
сквозь истлевшие листья
сквозь крики чаек

сквозь крики чаек
сквозь многие лица

у всех причалов
я лаю хрипло

подожди меня слышишь
дай к себе приبلудиться
в шуме крови прилившей
в истлевших листьях

Агаси Айвазян

Рассказы

С армянского.

Перевод Каринэ Халатовой

Ташуха

В парке на скамейке сидели два старика, носками ботинок уткнувшись в ворох золотой листвы. Земля вся пожелтела, ветер шебаршился в облетевших листьях.

Старики замерли-застыли на скамейке, лишь изредка исподлобья косились друг на друга.

Наконец у одного из них шевельнулись под ворохом листьев тяжелые ботинки и он показал ногой на землю:

— Зенон, кого тут только нет...

Зенон обвел взглядом мокрые стволы деревьев, опустил глаза и посмотрел себе под ноги.

— Самые знатные, самые богатые, самые почтенные люди Тифлиса... Государственные мужи, генералы, купцы, судьи, тайные советники, князья, врачи, ученые, красивые дамы, благочестивые барышни...

— Когда ж это было, Габо? — спросил Зенон.

— Когда на месте этого парка было кладбище. Ты что, не помнишь?

— Ну как же не помнить!

— Я их всех и перехоронил... Я был за «губернатора» кладбища, полновластный хозяин. Выделял им участки, размещал, размежевывал. Кладбище у тифлисцев было на хорошем счету. Отдавали богу душу и напрямик сюда, так и не насытившись, не надышавшись жизнью. Да Тифлисом разве насытишься? За девяносто перевалило, ан нет, им еще столько же пожить хотелось да Тифлисом любоваться. Ну и чудачки были, им-то казалось, что на Тифлис можно будет и отсюда глядеть целую вечность, глаз не отводить от своих улиц, домов... Вон там, чуть-чуть левее того дерева, Ходжапарухов покоится со всем своим семейством, посередке сам устроился. Помнишь Ходжапарухова? У него были дома в Сололаки¹, склады напротив Сионской церкви... По утрам, перед выходом из дому, он обычно раздавал прислуге по золотому...

Зенон беззвучно засмеялся, смех был отрешенный, к словам собеседника безучастный, смех сам по себе.

— Видишь вон тот ларек — «Мороженое»? — Габо показал на синюю будку. — Так вот под ним похоронен учитель Марангозян, царство ему небесное. Святой был человек, грехи его обходили. На кладбище тесновато стало, так я кое-как выкроил местечко, вырыл могилку. Ни копейки не взял. Сам он нищий был. Я свой долг перед совестью выполнил, — и из уголка глаза у Габо скатилась не слеза, так, капелька.

— Помню, княгиня Долгорукова дала мне золотой червонец, чтоб я ее возлюбленного похоронил в семейном склепе. Молодой был парень, красивый,

¹ Армянский район в Тифлисе.

рослый... С мужем ее и похоронил. Ну а потом рядом с ним похоронил и княгиню. Любовь у них была. А где любовь, там и чистота... Ничего же такого не было, любовь только... а?..

Габо взглянул на Зенона — взгляд у того витал где-то далеко, и из этого далека ему словно хотелось выудить беззвучные голоса.

— Избранными людьми были мои покойники, краса и гордость Тифлиса, — продолжал Габо. — Вон под той каруселью Шаншиев покоится...

— И Шаншиев тут? — но удивления в этих словах не прозвучало, слова лишь вздрогнули зябко в холодном воздухе.

— А где ему еще быть?.. Все приличные люди здесь... — Габо обвел взглядом павильоны и карусели, припоминая и выискивая чьи-то могилы. — Под теми синими качелями — родители сироты Гурджи. Он до последнего дня навещался сюда, придет, поставит бутылку вина на могилу, произнесет несколько слов, потом сядет со мной рядком-ладком и стихи читает... Кладбище снесли, а он все равно приходил. Пока не разбили парк, я эту могилку как зеницу ока берег... Я многие могилки хорошо помню, а кладбище-то большое было, — Габо повел головой. — Отсюда вон туда доходило, — и взглядом показал за косогор.

Зенон, не глядя в ту сторону, скривил губы.

— Нет, там мое было кладбище.

Габо показалось, он ослышался.

— Что ты сказал?

— Говорю, там было мое кладбище...

— Какое кладбище? — не понял Габо и подумал: сейчас Зенон выдаст что-нибудь заумное и после паузы сказал: — Не было там кладбища, ничего там не было...

— Было, Габо, было.

— Постарел ты, Зенон, и шутки у тебя дурацкие.

— Помнишь, где я работал? — не сразу спросил Зенон.

— Ну да, кому, как не мне, помнить, — чуть запинаясь, сказал Габо. — Ты же в тюрьме работал...

— Верно. А что я в тюрьме делал, знаешь?

— Ну что обычно делают в тюрьме: заключенных охраняют, раздают еду, ну что еще...

— Нет, Габо, — пожеывая губами, произнес Зенон. — Покойников хоронил...

— Как это? — перешел на серьезный тон Габо.

— Обыкновенно. В тюрьме умирали, мы вывозили трупы на этот пустырь и тайком, подальше от людских глаз, закапывали. Ни одна живая душа не знала. И ты не знал... Ты же спал по ночам, а на моем кладбище работа шла ночью. Оно за тем косогором было, в ущелье, за чертой города, а потом разрослось, дотянулось сюда.

Габо обвел взглядом окрестность, ему показалось, что Зенон недоверчиво улыбается, хотя на лице у того не было и тени улыбки.

— Хоть бы какое-нибудь надгробье поставили, крест какой-нибудь... — сказал Габо.

— Какое там надгробье, какой еще крест над безбожниками... Говорю же тебе, тайком хоронили... В тюрьме расстреливали или вешали, бывало, голову отсекали, а мы укладывали трупы на телеги, накрывали брезентом и, как стемнеет, везли хоронить. Никто ничего не знал, даже родные покойников, если они вообще были. Хоронили-то, в основном, бандитов, убийц... Помнишь Тавада?

— Еще бы, весь город трясся от одного его имени...

— Был еще дагедский Гогор.

— Да-а-а, Гогор... — отозвалось эхом и стихло.

— А ты, поди, думал, что без вести пропадали.

— Верно. Я никогда и не задумывался, куда они исчезают...

— Вдвоем хоронили, я и грек Ставрон. Он у тебя на кладбище похоронен.

— Знаю, — вспомнил Габо. — Прямо тут, метрах в десяти от скамейки.

— Надо ж. не повезло ему... — мимоходом пожалел Зенон. — В той же компании остался.

— В какой еще компании?

— Преступников... Тюремных мертвецов...

— Что тут делать преступникам? — Габо сжалился над Зеноном: память у старика подводит. — Склероз у тебя, Зенон. Я ж говорю, тут он, рядом со скамейкой.

— Ну да, у этой скамейки... Мое кладбище сюда дотянулось...

— Что ты городишь? — проворчал Габо. — Я помню, в восемнадцатом году где-то здесь похоронили князя Цуцуляна.

— Ца, — слабо прищелкнул языком Зенон, — здесь кончалось мое кладбище... В последний раз мы привезли ночью двух молодых парней. Когда живы были, никто при них и пикнуть бы не посмел. Ни стыда, ни совести не знали, страха не ведали, не было у них ничего святого... Ограбили почтовый поезд, уйму золота унесли. Одного здесь же на улице и пристрелили, другого в тюрьме повесили. Потом женщина какая-то приходила, просила его могилу показать. Тогда-то я и оставил тут опознавательный знак.

Зенон поднялся и, не отряхнув с себя облетевших листьев, зашел за скамейку, долго шарил там под ногами, всматривался в землю.

Габо встал, подошел к Зенону.

— Вот тут кончалось мое кладбище, — вороша ногой багровые листья, сказал Зенон, продолжая что-то выискивать, а потом сделал еще пару шагов, нагнулся.

— Ну что, нет ничего? — ухмыльнулся Габо. — И не будет. Здесь мое было кладбище, сказал и умолк, потому что вдруг знакомое заросшее травой место показалось неузнаваемым.

Старики еще долго выискивали границы своих кладбищ среди деревьев, цветов, трав, которые с обеих сторон срослись, сплелись — лист с листом, ветка с веткой и разъединить их было невозможно.

— Ташуха!.. — вразяжку выдохнул Зенон, но ни ему, ни Габо непонятно было это несурзное, невнятное слово. Оно словно нечаянно проклюнулось в воздухе, занесенное ветром, который гнал по земле желтые листья. И старики, шаркая ногами, снова вернулись и сели на скамейку.

Белый рай

Рафик Арзуманов и Гога Хворостян были самыми волосатыми мужчинами на ялтинском пляже. Оба лейтенанты, оба в элегантной, внушительной форме НКВД, однако Гога, обнажившись, как бы понижался в чине. Волосатость же голого Арзуманова делала его еще представительнее. При всем при том обоих роднило пристрастие к белотелым женщинам. В одном только они различались: более благопристойный Рафик предпочитал скрывать где-нибудь в тенечке свою волосатость и из укрытия оценивать женские прелести. Гога же был одержим такой сладострастной лихорадкой, что метался взад и вперед по раскаленной гальке. Обоих прежде всего интересовала белизна женской кожи — белый рай. А белокожих да еще стройных и грациозных на ялтинском пляже хоть пруд пруди — в этом-то и была загвоздка.

Но вот на пляже появились две балерины, точь-в-точь во вкусе Рафика и Гоги. Две еврейки: ослепительно белоснежная пухлая Ева Вайсброд и костлявая рыжая Сара Битлер. Обе одесситки, обеих уволили из кордебалета — одну из-за лишнего веса, другую из-за худобы. Распаленный дородностью Евы, Рафик выбрался из своего укрытия.

— Она моя. Гога джан... ради меня потерпи дней двадцать, перебежся как-нибудь с той выдрой, — срывающимся голосом попросил Рафик Арзуманов.

Ретивые кавказцы настолько сблизились с одесситками-балеринами, что со скрипучих коек небольшого дачного домика все вместе перебрались в Ереван — на не менее скрипучие кровати.

Не без помощи лейтенантов Ева и Сара поступили в Ереванский театр

оперы и балета, и ежедневно после представления Арзуманов и Хворостян ожидали их у служебного входа.

Была середина 41-го. Началась война. НКВД Армении получил закрытое письмо с инструкцией собрать всех граждан немецкой национальности и подготовить к выселению из республики.

Но, кроме армян, курдов, русских, айсоров и нескольких греков, никого найти не удалось. Однако, следуя верноподданническим чувствам, НКВД Армении нашел спасительный ответ: «Немецких инженеров на строительстве Севангэса сослали еще в тридцать седьмом году».

Следующая инструкция прозвучала в телефонной трубке: «Забрать вместе с немцами и тех, кто их покрывает».

Вторая инструкция не на шутку встревожила НКВД Армении, и в целях самосохранения поступили хитро, передав дело испытанным чекистам Арзуманову и Хворостяну. Рафик с Гогой принялись выискивать немцев и составлять списки.

— Жена Абовяна¹, кажется, была немкой, — сказал Гога. — Мы в школе проходили.

Рафик начал список с Абовянов: «двадцать человек» — написал он против фамилии. Гога переправил «двадцать» на «тридцать».

— В Армении много Абовянов, — сказал он.

Из психиатрической больницы поступило сообщение, что некто причисляет себя к арийцам и распространяет слухи, что он немец. Доставили куда следует арийца Мацака Мхитаряна, а следом за ним и все его семейство.

Список все равно составлялся с трудом, и как-то утром Арзуманова и Хворостяна вызвали в кабинет наркома. Нарком протянул Рафику телефонную трубку, в которой раздался голос Берии:

— Сукины сыны, где немцы Армении? Кто вам мешает? Или вы ждете... — и посыпался поток отборной брани, от которой на лице Рафика, а потом и Гоги с наркомом расплылась улыбка. — Если для требуемого мною количества не доберется хоть одна душа, внесешь в список свое имя... — и снова последовала ругань.

— Слушаюсь, Лаврентий Павлович... Приложу все усилия, — Рафик уже разговаривал с гудком в трубке, а за движением его губ следили нарком и Гога.

Как Арзуманов с Хворостяном ни тужились, как ни мусолили список, двоих все равно не доставало. Если бы требовались не двое, а трое, возможно, мысль у Гоги сработала бы в ином русле, однако от числа «два» взгляд у него напрягся и встретился с еще одним настороженным взглядом. Они поняли друг друга.

— «Вайсброд» — по-немецки означает «белый хлеб», — после паузы произнес Гога.

— По-немецки?

— По-немецки.

— Откуда знаешь?

— Ева сама говорила.

«А Битлер?..» — хотел поинтересоваться Арзуманов, однако в уме его «Б» моментально сменилось на «Г» и, недолго думая, он дополнил список двумя именами.

Ночью Еву Вайсброд и Сару Битлер через служебный вход оперного театра увезли во внутреннюю тюрьму НКВД. Несколько дней спустя балерины уже в качестве немок шагали по заснеженным дорогам Сибири.

Летом капитаны Арзуманов и Хворостян вновь отправились в Ялту.

На седьмое лето, в 1949 году, когда Арзуманова и Хворостяна включили в списки армян, Гога вспомнил о своем славянском происхождении и лез из кожи вон, стараясь раздобыть нужные документы. Но все происходило впопыхах, и по нелепой случайности Рафик с Гогой вместо Ялты угодили в Сибирь. Там они долго еще расспрашивали у всех о двух еврейках-балеринах.

¹ Известный писатель и общественный деятель.

Семен Липкин

Пламя

Тадзия

* * *

Ты самому себе не лги,
А только слух свой напруги,

Когда внезапно занедужится
И голова твоя закружится.

Попробуй заболеть, прилечь,
Из грубой глухоты извлечь,

Как будто весть потустороннюю,
Не только речь, но и гармонию.

И мысль твоя заговорит,
И ты почувствуешь, что слит

С тем, что есть ты и есть незримое,
Творящее, а не творимое.

Кесария

Кесария, ты не забыла
Тех, столь разно одетых, людей.
Как недавно все это было:
Крестоносцы, а раньше Помпей.

Как недавно все это было,
Если зорким глазом взглянуть.
Преходяща земная сила,
Вечен духа высокий путь.

Легион уходил с легионом,
Отступал с отрядом отряд,
Но под тем же стою небосклоном,
Что синел столетья назад.

Тот же ров перед мощной стеною
И театр слепит белизной,
Но мне кажется: солнце иное
Да и самый воздух иной.

Там, вдали, замирание зноя,
 Вечность сводится к счету минут,
 Здесь волна гудит за волною:
 — Вы уйдете, другие придут.

Но в незримом, неведомом хоре
 Неожиданный слышится гром:
 — Замолчи, Средиземное море,
 Никогда никуда не уйдем!

1929

Когда я приехал в столицу,
 Она еще розовела,
 Закат зажигал светлицу,
 Внизу, по оврагам, звенело.

Хранил переулок Учебный
 Полудеревенский обычай,
 Смотрел он, еще не ущербный,
 На чудный Новодевичий.

А там, где златились клены,
 На круг листочки роняя,
 Свои начинал трезвоны
 Семнадцатый номер трамвая.

Пляж Химиков. Весело вместе
 Мы с Юрой Домбровским купались,
 О разуме, совести, чести,
 Оглядываясь, трепались.

И чем неожиданно летней
 Московская осень казалась,
 Тем вкрадчивей, незаметней
 Грядущее к нам прикасалось.

Плавание

Голубь, вышедший на берег,
 Не пришел обратно.

Инна Лиснянская

Под тяжестью туманов мгlistых
 Сперва мы уживались мирно.
 Семь чистых пар и семь нечистых,
 Мы плыли по воде обширной.

Ей не было конца и края,
 Воде, которая с разбегу,
 Мощь яростную набирая,
 Хлестала злобно по ковчегу.

Но где ж прибежище земное?
 В безумном блюде, в гнусном сраме
 Кровосмесительного гноя
 Мы стали вечными жильцами

Разведчик с нами разминулся
Или погиб, чураясь гнили?
Обратно голубь не вернулся,
И мы давно о нем забыли.

Идет весна

Дальний, робкий ветер веет с юга.
По временам
Окликают ангелы друг друга
По именам.

Не они, а мы их так назвали,
И до сих пор
Здесь, внизу, понятен нам едва ли
Их разговор.

Здесь, внизу, мелодия крамолы
Бедна, больна,
Но, хотя еще деревья голы,
Идет весна.

И хотя грядущий день пугает, —
На радость нам
Ангелы друг друга окликают
По именам.

Пламя

Когда Творящий цвет огня,
Меж прочими делами,
Взглянул внезапно на меня
Горящими глазами,

Мне стало страшно и светло.
Питомец беззаконий,
Я видел: пламя обожгло
Всеvyšнего ладони.

И это пламя вдруг во мне,
Как зарево, зарделось,
И засияло в вышине,
И в бездне загорелось,

Покрыло мир, за пядью пядь,
Пылающим покровом
И затвердело, чтобы стать
Неколебимым словом.

Марк Харитонов

Третья

Линии судьбы, или Сундучок Милашевича

Р О М А Н

1. В потемках

1

«Подплывая к калитке, я испытал вдруг укол странного, смещенного чувства, какое бывает, когда в пути спросонья не можешь понять места. Словно ты оказался перенесен на чужую планету: звон прозрачный в ушах, в воздухе серый свет, пахнет уксусом. В древесных коробчатых оболочках прячутся от сырости местные существа, через трубу на темени выходит дым внутренней жизни, в глазницах попарно горшки с цветами, уставленные через водную гладь на своих визави, на заборы цвета заноз со следами меловых знаков: вроде бы латинские буквы икс, игрек, но дальше вместо зета черт знает что — не прочтешь».

2

Так начинается один из самых странных рассказов Симеона Милашевича «Откровение», занятой судьбе которого Антон Андреевич Лизавин посвятил наиболее заинтересованные страницы своей кандидатской диссертации о земляках-литераторах 20-х годов. Для его темы, правда, это была предыстория: появился рассказ еще в 1912 году, в первом и единственном номере петербургского альманаха «Дали», но он объясняет многое в дальнейшем, а потому и нам удобно с него начать. Обрывистые эпизоды не связаны здесь переходами и объяснениями, так что несколько растерянный поначалу читатель лишь задним умом берет в толк, по каким это бредовым водам подплывает к своему жилищу рассказчик, словно по венецианскому каналу. Речь идет всего-навсего о луже, что разливалась весной и осенью в городе Столбенце ниже торговых рядов, на скрещенье Лебедянской, Псаревской и Солдатской улиц, подходя вплотную к заборам и покрывая пешеходные мостки. Лужа не просыхала вполне и летом, она казалась такой же вечной, естественной частью пейзажа, как близлежащее Столбенецкое озеро. Чтобы в разлив добраться с этой стороны к рядам и Базарной площади, приходилось делать крюк через Аптекарьскую горку, пока предприимчивые мальчишки не приспособились перевозить желающих за пятак на самодельном плоту. Юмористическую сценку перевоза Милашевич опубликовал однажды в столичном

журнале «Сверчок», и в «Откровении» мальчик с шестом тоже незримо присутствует за спиной плывущего.

3

А в следующем эпизоде укол невнятной тревоги, как бы предчувствие, получает объяснение: нечаянный гость поджидал рассказчика в доме, товарищ прежних лет, университетский однокашник, проездом оказавшийся в городке. Они пьют чай. На оттоманке в углу, поджав под себя ноги и зябко укутав плечи румынской коричневой шалью, молча пристроилась Шурочка, жена хозяина. Гость представлен не по имени, а студенческим прозвищем Агасфер, которое, впрочем, можно счесть и нелегальной кличкой. (Тонкое насмешливое лицо с нервным вырезом ноздрей, возбужденный блеск глаз, дорожная щетина.) Лизавин по некоторым намекам предположил, что этот человек добирается откуда-то из ссыльных глубин к Столбенецкой железнодорожной станции. При нем сундучок, столь драгоценный, что он даже не доверяет его прихожей, держит все время при себе, у ножки стула. Этот многозначительный сундучок то и дело навязывается нашему взгляду: величиной с футляр от швейной машинки «Зингер», только поплотнее, описанный, в манере Милашевича, до обшарпанных уголков, деревянной ручки и позеленелых латунных гвоздиков — недаром оттиснется его объемный вид в памяти Антона Андреевича. Так иногда в кино монтируют кадр, все более укрупняя, под тиканье часов, наводящее на мысль о взрывном механизме, во всяком случае намекая, что в этом тикающем предмете кроется нечто существенное. Но в кино такой предмет рано или поздно должен взорваться или хотя бы раскрыться, ублажив душу зрителя музыкальным разрешением, осуществлением догадки. Увы, Милашевич нам такого естественного удовольствия не доставляет.

4

Свою роль сундучок, впрочем, сыграет: по ходу рассказа становится ясно, что пришелец болен, романтический блеск глаз оборачивается вполне материальным жаром, ему нельзя дальше идти, как он ни уверяет в обратном (сундучок где-то ждут), и бывлой товарищ, чтобы успокоить его, сам вызывается доставить нетерпеливую ношу на место. Он воспринимает этот неожиданный поворот с несколько даже комичным облегчением — до сих пор все ждал и не знал, какой тревогой обернется это вторжение. Дело в том, что всех троих, как нам исподволь открывается, связывает давняя история. Когда-то заезжий студент подбил юную девушку бежать из родительского дома в Москву, но сам вскоре исчез, поручив беглянку заботам приятеля; теперь, после долгого отсутствия, он нашел обоих на столбенецких берегах, и новоиспеченный супруг не зря озабочен душевным покоем женщины. Хотя бы потому, что этот Агасфер распространяет вокруг себя дух смущающей, насмешливой трезвости, от него жухнут на подоконнике листья отцветшей герани, проступает в углах плесень, оголяется взгляд... Но пересказ тут мало что даст, лучше прочесть Милашевича. У него существен всегда не сюжет — он, считай, уже весь изложен, — а тот самый «укол смещенного чувства», который заставляет разбирать по-латыни заборную надпись, над собой же при этом посмеиваясь, существен сухой полумрак за спинами сидящих, свет керосиновой лампы, игра всполошенных теней, причудливых мыслей — зыбкий воздух повествования. Весь мотив неуверенности, тревоги, сомнения в ценностях угретой жизни, а, может, и затаенного соперничества, мотив скорее музыкальный, чем сюжетный, передан через обращение к домашней тубфле с мятым помпоном, с отошедшей, как губа, подошвой; трогательным пугливым зверьком она выглядывает из-под кровати (где край свесившегося покрывала оказывается грязноват и обтрепан до бахромы), замороженная и смущенная чужеродным присутствием, близостью элегантного, несмотря на грязь, ботинка (грязь элегантность эту даже усилила), загадочностью сун-

дучка, который все рвется куда-то дальше, в непогоду, под ветреные небеса. Ничего, ничего, время от времени ободряет герой взглядом робкое существо. Мы знаем свое, они — свое. Они знают вовсе не больше нас. Этот запах уксусный — от тоски; я вас от него избавлю. Я всех вас, бедненьких, не оставляю, я вам вас самих объясню. Совсем без защиты, под голыми-то небесами — так трудно, так страшно! Только начали согреваться, куда же еще? Отовсюду потянет вернуться, я знаю заранее, да ведь силы не у всех одинаковы... Занятно, что разговора вслух мы по сути не слышим, какой-то спор (похоже, не сейчас начатый), совершается как бы сам собой — взять хотя бы эпизод, где герой, как к мысленному доводу, обращается к ощущениям детства, «когда нам дано ведь было обитать среди комнатных вещей, словно в дебрях мироздания, между ножек столов и стульев, в пыльной пещере под кроватью, за одеяльной завесой, за крепостной стеной из подушек». Но что-то происходит с милыми предметами на наших глазах. содержимое жилья начинает заполнять пространство, пухнет, отнимая воздух у дыхания, самовар горит во лбу, лезет остьями пух сквозь ситец наперников, набивается в глотку, тикает что-то в висках, в сундучке, в воздухе — нам передается жар заболевшего человека, и тут уж не о доводах речь, надо что-то по-человечески сделать, облегчить общее состояние.

5

Он выходит на улицу, в сапогах с галошами, в одной руке зонт, в другой сундучок. В прихожей зеркало проводило его попутным насмешливым отражением — единственный раз мы видим этого человека со стороны: «Мордочка печальной обезьяны в пенсне, перышки растительности вокруг увеличенных губ». К ночи прояснело, взошедшая луна освещает лужу, плот, брошенный у берега — нелепый путник кое-как утверждает на нем, пристроив сундучок между ступней, чтобы не соскользнул. Он берет в руки шест и плывет по отражениям звезд, освещенных окон, плывет долго, как бывает во сне. Берега размыты, стены домов растворяются в темноте. Там, в драгоценных светящихся ореолах вокруг ламп сидят у самоваров люди, они набирают ложечкой малиновое варенье, колют ножом на столешнице голубой сахар, тянут с блюдечка чай выпяченными губами. Там пьяный маляр, лежа на низком топчане и пристроив на полу лампу, метит разноцветной масляной краской выползающих на свет тараканов, чтобы, дав затем каждому имя и даже отчество, наблюдать в суетливой их жизни, передвижениях и встречах смысл и сюжет. Там приезжий мужик, член загадочной секты дыромолов, просверлив в перегородке отверстие, а может, использовав пустой глазок в древесном узоре, молится шепотом, разносящимся под небесами: «Дыра моя, изба моя, спаси меня!» Боже, думает плывущий на плоту, сколько веры, силы души и мысли нужно для такой молитвы, которую не поддерживает ни дивное искусство иконы, ни музыка псалмов, ни роскошное убранство церкви! — достаточно внутреннего убеждения, чтобы наделить скважину божественным слухом. На кровати, освещенной багровым пламенем из печи, никак не может разродиться женщина, ее уже поили мыльной водой и совали в рот собственные потные волосы, чтобы рвотой ускорить схватки — по-животному измученная, она сама не способна почувствовать того великого, что совершается с ней, простой бабой, а вернее, через нее, думает плывущий. Ибо все мы бываем божественны, никто не прост, но этого не понять со стороны, вот в чем дело. «С инопланетных-то чужеродных высот как увидеть — ну, хоть безумие любовников Клеопатры? Существо некое вставляет отросточек тела своего в отверстие другого тела, дабы о него потереться, после чего оказывается лишено головы, а с ней — признаков жизни. Изнутри — любовь, потрясение, тоска и смерть, а с высот — насекомое копошение... Я понял, я все вдруг понял, — бормочет повествователь. — Всю философию. Только так сразу не скажешь. Ничего. Подождите. Вернусь, чайку попьем, выйдем на берег. Я объясню».

6

Критик Феноменов, единственный, кто удостоил новичка упоминания в своем ежемесячном обзоре, не без оснований отметил в рассказе невнятность, претендующую на многозначительность. Кто таков герой, как и зачем попал из университета в захолустье, чем здесь занимается, куда, черт возьми, нужно так спешно доставить сундучок и что все-таки в нем? Бессмысленно задавать столь реалистические вопросы. Здесь все намеки, обиняки, декадентское шевеление пятен, туманный символизм — ведь и сундучок этот, и туфля с помпоном, конечно же, не столько реальные предметы, сколько символы, признанные выразить идею рассказа: столкновение неких жизненных сил или позиций. Но опять же: считать ли всерьез идеей эту апологию убогого, косного и все же милого прозябания в противовес стремлению покончить с ним, изменить и улучшить жизнь, пусть даже что-то разрушив, кому-то причинив боль? Все здесь сомнительно. Причем отдельные частности свидетельствуют о явном таланте автора — может потому, независимо от его намерений, именно в этой невнятице, порой чуть ли не бредовой вязкости, в этой невыявленности мысли и формы, как в невольном зеркале, отразились не случайные черты времени. Тут следовали рассуждения Феноменова о симптомах неблагополучия, и не только литературного, об отказе от строгости, духовной и внешней, как проявлении распада, о соблазне саморазрушения, о тяге современного сознания вспять от цивилизации к мутной, женственной, болотистой стихии. Похоже, умному критику рассказ дал повод высказать заветные соображения, и весьма кстати, серьезные, только Симеону Кондратьевичу они оказывали, пожалуй, слишком много чести.

7

Все предстало в свете куда более заурядном, когда в «Русском утре» появился фельетон известного Корионского «Литературные перепродажи», где неопровержимо, с попарной подборкой цитат, показывалось, что сюжет попросту украден Милашевичем у провинциального автора Богданова. У того рассказ назывался «Пришелец» и напечатан был тремя годами раньше в мало кому известном городке Нечайске, в типографии Ганшина, домашним тиражом 20 экземпляров — при таких обстоятельствах плагиатор, а по-русски, что жеманничать, вор, мог надеяться, что его не схватят за руку. Тем более, что он, как у этой братии водится, позаботился о перекраске и перелицовке: изменил заглавие, подсунил пришельцу сомнительный сундучок вместо чемодана заграничной работы, нарезал помельче и переставил куски, что-то убрал, а кое-что и подшил из собственного материала, особенно по части философствований. У Богданова звучит все реалистичней, серьезнее, проще, а некоторую недоговоренность, непроясненность намеков вполне можно объяснить осторожностью известного рода. Герой, недоучившийся студент, увез из Москвы любимую женщину (здесь ее зовут Верочкой), чтобы хоть на время укрыть ее от опасностей и тревог, которые вновь вторгаются в дом вместе с полубольным гостем: их связывало не простое знакомство, тут нелегальщиной попахивает куда явственней; в калейдоскопе мысленных картинок мелькает однажды воспоминание героя об уличной стычке: на мостовой студенческая зеленая фуражка и шляпка женщины, у нее выпали шпильки, распустились светлые волосы, а близорукий герой не видит ничего, у него сшибли с носа очки, он на ощупь, по стеночке, поднимается на ноги и лицом упирается в шинель городского... И мотив всколыхнувшейся ревнивой неуверенности здесь куда отчетливей, и сомнение в своей способности составить счастье любимой; но главное, в порыве помочь обесилевшему другу сказывается, помимо всего, чувство возобновленного долга, а может, и попытка нового самоутверждения перед женщиной. Да вот хотя бы мелочь: свое отражение с увеличенной областью вокруг губ герой видит не в зеркале, а в усмешливом самоваре — не правда ли, такой портрет выглядит по-другому?

8

Но обо всех подробностях, вплоть до характерных исправлений языка, желающие могут посмотреть в кандидатской диссертации Лизавина, который многое в этой истории объяснил. Он прежде всего установил, что никакого плагиата на самом деле не было, перед нами авторская переделка собственного рассказа. Богданов была настоящая фамилия Милашевича, обычная фамилия незаконнорожденных (отчество таким дается по крестному отцу, а имя захолустные батюшки любят прописать помудренее — отсюда Симеон вместо Семен). Вымышленным же именем он впервые назвался, видимо, при аресте, а потом оставил себе как псевдоним. Да, был за ним и арест; Лизавин даже сумел отыскать в московском архиве следственное дело, по которому тот проходил — «о заговоре с целью покушения на железной дороге». Это было и впрямь как будто о другом, неожиданном человеке — если не держать в уме обстоятельств злостного рассказа. Там фигурировала засада на раскрытой московской явке и чемодан с двойным дном (все-таки чемодан), где кроме револьвера и бумаг нелегального центра оказался взрывной механизм (все-таки тикало). При аресте Симеон Кондратьич, не имея при себе документов, назвался и был записан Милашевичем, «из мещан Пензенской губернии», родившимся 16 мая 1884. Без малого неделю он твердил, что чемодан был ему ненароком подменен в буфете Николаевского вокзала, на вопрос, каким же образом он явился с ним точно по адресу и даже произнес заветное словцо, сочинил уж нечто вовсе неубедительное о подслушанном разговоре, и что по этому адресу он, дескать, думал найти хозяина чемодана. Его сочли за столь важную птицу, что поместили в одиночку для особо опасных террористов с окном, замаскированным посеребрившими белилами — Симеон Кондратьич ее потом поминал. На шестой день родилось собственноручное признание, которое можно считать первым наброском рассказа о нежданном госте, только здесь дело происходило в московских номерах Ильина, женщина отсутствовала, а вместо гостя был заболевший сосед, просьбу которого пришлось уважить из невольного человеческого сочувствия. Он назвал свою настоящую фамилию, запирательство же объяснил отчасти испугом, отчасти глупой романтической фантазией. Эта история, видимо, имела некоторый успех, во всяком случае, временный, поскольку пребывание Богданова в номерах подтвердилось и даже найден был оставленный там паспорт. Протокол последующего допроса напоминал Лизавину игру, знакомую по литературоведческому опыту: следователь добивался подробностей, слыхом зная, каких именно хочет, а чуткий арестант с готовностью их поставлял. Он постепенно вспомнил внешность постояльца, с усиками, узкой бородкой; на вопрос, не было ли над переносицей родимого пятна, вспомнил и родимое пятно. На этом допросе том следственного дела обрывался, в следующем Милашевич-Богданов уже почему-то отсутствовал. Возможно, он был выделен в особое производство, которого разыскать не удалось, так что о приговоре мы узнаем лишь косвенно от самого Симеона Кондратьича: неизвестно, какое осталось за ним обвинение, но обошелся он трехлетней административной ссылкой в Нечайск, родной город Лизавина, где в 1909 году напечатан был рассказ Богданова, а затем перебрался поближе к железной дороге, в уже упомянутый Столбенец.

9

Сопоставление этих обстоятельств с рассказом, конечно же, поощряло воображение, которым Антон Андреевич был, надо сказать, не обижен. Он задавался, например, вопросом: не означало ли пятидневное запирательство, что именно этот срок недоучившийся медик рассчитанно выжидал, пока выздоровеет и исчезнет из его дома (или номера) заболевший человек? Возникли и другие попутные мысли, их, возможно, еще будет случай упомянуть. Но если вернуться к делам литературным, тут озадачивало другое: почему Симеон Кондратьич тотчас не поспешил объяснить возникшее недоразумение? Никто в столице не мог и не обязан был знать его обстоятельств. Он только перебрался

сюда после ссылки, перебивался фельетонами, жанровыми картинками и «провинциальными фантазиями», печатая их в журнальчиках разного пошиба. Что мешало ему хотя бы показать обвинителям свое лицо, с которого, судя по единственной дошедшей фотографии (тюремный фас, профиля в деле почему-то не оказалось), довольно правдиво срисовано было насмешливое отражение? (В первоначальной попытке приписать его самовару есть какая-то грустная самозащита, от которой автор потом гордо отказался.) Между тем скандал, видно, всерьез подорвал для него возможность литературного заработка — многие редакционные двери, как можно понять, оказались закрыты перед сомнительным типом. Не имея других средств к существованию, Милашевич одно время бедствовал не на шутку. Именно в тот год была нажита им язва желудка, которую он с таким знанием дела живописал в одном позднейшем рассказе. Герой рассказа, кассир, из-за своей неосторожной, неверно истолкованной шутки оказывается заподозрен в растрате, отстранен до проверки от должности, да потом так и не восстановлен. Знакомые от него отворачиваются, прислуга разговаривает через цепочку, он закладывает вещи в ломбарде и пестует свою язву, но сам объяснить невинность свою не желает — отчасти из самолюбия, отчасти из вязкого, как во сне, чувства, что проще жизнь изменить, подогнать под однажды сказанное слово, нежели от этого слова отказаться — больше того, он даже испытывает анекдотическое удовлетворение шутника, удачно всех разыгравшего.

10

Разумеется, беллетристика — не документ, пользоваться ею для суждений об авторе можно лишь с понятными оговорками. Беда в том, что надежных документов о Милашевиче почти не дошло. О целых периодах его жизни можно судить лишь по косвенным отголоскам. Взять то же следственное дело. Вот, казалось бы, документ — но много ли извлечешь из него положительного? Не больше, чем из рассказа. Хорошо, нашлась фотография, подтверждающая достоверность отраженного портрета, но разве и объектив не балуется иногда самоварным эффектом? Он ведь тоже выпуклый. Как и глаз, впрочем. Особенно глаз художника. К началу работы все сведения Антона Андреевича о Милашевиче исчерпывались единственным мемуарным свидетельством, о котором еще будет речь, да незавершенным автобиографическим наброском 1926 года. Ну, этот документ стоил показаний в следственном деле. Дата рождения здесь указывалась уже другая: 14 мая 1886 года. По ошибке ли перепутаны цифры, а если Милашевич умышленно соврал, то где именно? Остается гадать. Да, может, и сам точно не знал. По поводу незаконного своего происхождения и бесприютного детства автор лишь мимоходом роняет фразу о родственном чувстве ко всем, «выпавшим из связи, общности, нигде не своим». Затем, не в порядке хронологии, а по случайному ходу мысли, сообщается факт недолгой учебы в Московском университете, сперва на естественном, затем на медицинском отделении. Тягу к естественным наукам Милашевич объясняет воспоминанием о детском чуде — увеличительном стекле и туманной мечтой о микроскопе. Здесь автобиография превращается в некую хвалу оптическим приборам. «Они ведь не только укрупняют предмет, но выделяют его из светного пространства и фокусируют на нем взгляд. Обычно-то жизнь не воспринимаешь вплотную, как не воспринимаешь иной раз книгу, хотя водишь глазами по строчкам. И вдруг — волосатое брюшко мухи в цветочном раструбе, граненые угольные глазищи, крупички пыльцы на точеной выделке тычинках, уходящих в нежную сказочную глубину». Далее, однако, читаем о разочаровании микроскопом, который скорее смутил, чем обогатил взгляд; можно подумать, что из-за этого именно разочарования автор не закончил даже второго курса, а не из-за участия в студенческих беспорядках. «Я все больше убеждался, что дело именно в обособлении, а не в укрупнении». И тут, после отступа, как это любит Милашевич, неожиданным эпизодом возникает описание странного дерева с перепончатым стволом и травянистыми листьями, похожее на растение доисторических болот, оно покачивается на ветру. Если смотреть, не отрываясь,

можно увидеть, как оно растет, наслаждается влагой, как съезживается от похолодания, вздрагивает от упавшей тени, от каких-то внутренних чувств, как потрясает его туша летучей чудовищной твари, от тяжести которой наклоняется ствол — и лишь тогда, не выдержав, наблюдатель предпочитает признать в твари навозную муху, а в дереве — травинку, выросшую на подоконнике, перед щелью, верхней, царапиной в белом замазанного краской оконца. Мы наконец понимаем, что Симеон Кондратьевич описывает впечатления камеры-одиночки — важный урок обособленного взгляда, который и впрямь не нуждается в микроскопе, даже противопоставляет себя миру точных наук и положительного знания. Ему важнее другое. «На лугу вы бы этой травинки и не увидели. Можно ведь и луг пройти, не увидев». О самой же истории говорится скороговоркой в придаточном предложении: «когда я сидел здесь по делу о политическом покушении». И той же скороговоркой, под конец, сообщается о ссылке в Нечайск: «Так я впервые попал в родные места моей жены, Александры Флегонтовны. Им суждено было со временем стать и моей второй родиной. Здесь мы после разлуки воссоединились окончательно с подругой моей жизни, здесь я пишу эти строки, прислушиваясь к ее дыханию за занавеской». Кстати, имя и отчество — единственное, что мы знаем об этой женщине, остальное приходится домысливать по рассказам, где безмолвное присутствие Шурочки ощущается не столько прямо, сколько во всяческом рукоделии, салфеточках, наспинных подушечках, равно как в вареньях, масленичных блинах и прочих радостях провинциального быта, которые так любовно вставляет в свои описания Милашевич.

11

Здесь, между прочим, задевает вот что: оказывается, героине рассказа, явно не лишённого автобиографического звучания, оставлено было подлинное имя любимой женщины. Конечно, жены художников, как говорится, особая статья, им обычна и роль натурщиц, и все же — не так это, знаете ли, просто. Как не просто у Милашевича и с автобиографизмом. В одном рассказе у него есть рассуждения о литературе как способе сказать про себя именно глубочайшую правду, не разоблачаясь перед публикой. Порой возникает впечатление, что сам Симеон Кондратьевич больше всего старается не выдать что-то действительно душевное, оттого все фокусничает, сочиняет — примерно как в разговорах со следователем — вплоть до совершенной фантастики. А как проговорится взаправду, уже не всегда и уловишь. Притом он постоянно сбивает с толку пристрастием к повествованию от первого лица. Занятна одна его миниатюра, этакий юмористический этюд про человека, который вел одновременно пять дневников от пяти разных лиц, и каждый был о себе. Или взять концепцию «переносного глаза», как это называл Милашевич. Речь идет о стремлении воспринимать мир изнутри других существ, проникаясь их внутренней правдой; как, например, в рассказе про тополь, срубленный, чтобы не заслонял свет фикусу на окошке, вернее, про фикус, которому застил свет тополь, тут существование именно его, фикусов взгляд. Без предуведомления сразу не поймешь, кто это жалуется, требует сочувствия, тоскует, укоряет — и вдруг полный вздох, восторг освобождения: да здравствует солнце, да здравствует свет, богатство и радость жизни! Вот улица видна и браться-лопухи на ней, вот собака подходит к забору задрать лапку. Под конец фикус начинает даже изъясняться стихами: «Свобода, блаженство и дали открыты для нас!»

12

Нет, в выходке с подлинным именем есть что-то для Милашевича необычное. (Да еще в рассказе, где как раз очерчивается стремление освободиться от гнета строгой реальности.) Как бы ее ни объяснять, думал Лизавин, позволить себе такое можно было лишь в совершенно чужом Петербурге. В Нечайске или Столбенце, где тебя могли узнать, Симеон Кондратьич старался ограждать семейную жизнь от нескромных взглядов. Тем более, что Александра Флегон-

товна и родом была откуда-то из этих краев. Но тут интересно еще вот что. Оказывается, в Столбенец Милашевич впервые попал лишь после событий, нашедших отзвук в рассказе, перед арестом он еще проживал в Москве. Стало быть, провинциальный оттенок привнесен в тему уже задним числом, причем именно в петербургском варианте это звучит по-настоящему вызывающе. Очевидно, как раз к той поре стали оформляться черты того, что Лизавин называл провинциальной философией Милашевича. Идеи ее нигде не изложены систематически, а приписаны разным беллетристическим персонажам. Она вообще чужда всяким системам и не нуждается в доказательствах. Ее правда — в способности обеспечить внутреннюю гармонию и наделить чувством счастья независимо от внешнего устройства жизни. Она не претендует на величие, ее сила — именно в общедоступности. «Все философии создаются для нас великими людьми, — рассуждает у него один персонаж, — а кем же еще? — по своей мерке, вот начало несоответствия. Они, эти великие, могут искренне заботиться о нас и звать куда-то к привидевшейся им истине, только меркой своей не поступятся, вот исток разочарования, тоски, неприкаянности». Важно сразу подчеркнуть, что провинция у Милашевича — не географическое понятие, а категория духовная, способ существования, она коренится в душе человека независимо от места жительства. И все-таки в этой поэзии незамысловатого мещанского уюта, печного тепла, летней пыли, весенней грязи, вечернего мытья ног, чаепитий в саду под яблонькой слишком много связано с миром Нечайска и Столбенеца; когда их певец сам пытается обосноваться на правах литератора в столице, это, согласимся, придает несколько отвлеченный оттенок провозглашенному как будто в «Откровении» обещанию вернуться. Лизавин позволил себе на сей счет кое-какие психологические домыслы. Возможно, именно петербургский эпизод положил конец каким-то колебаниям Милашевича. Только представить себе этого природного провинциала, близорукого, путаного, нескладного, в белом летнем картузе, горячих пыльных сапогах, потной косоворотке... нет, не мог он себя почувствовать своим среди отутюженной столичной публики. Возможно, в литературном недоразумении он увидел подсказку, этакий направляющий шлепок судьбы, который убедил преодолеть малодушный соблазн, самолюбиво и гордо вернуться к себе в Столбенец, где можно было без оглядки на чужой вкус выстраивать вокруг себя мир непритязательного счастья и доступной, как в детстве, гениальности.

13

Конечно, домыслы есть домыслы; тут законен вопрос: не подгонял ли отчасти Антон Андреевич под собственное понимание автора, к которому с первого же знакомства ощутил душевную симпатию, даже родственную близость? Не станем сразу возмущенно это опровергать. Не занимаемся ли мы все чем-то подобным, когда толкуем книгу всякий на свой лад? — ведь она говорит нам то, что мы предрасположены или склонны услышать. Лизавин в душе не чужд был даже и сочинительству. Порой ему мерещилось нечто совсем уж рискованное. Например, что вынужденная разлука с Шурочкой оказалась для Милашевича более долгой, чем он сам дает понять, что нотка ревнивого соперничества, особенно в первом варианте рассказа, выдает уязвленные чувства, однако уже петербургский вариант свидетельствует о новом самоутверждении, и подлинное имя вновь обретенной женщины вставлено как сигнал торжества, тайно обращенный куда-то в пространство... Но это уже, как говорится, вовсе литература. Заметим лишь, что не случайно, видимо, в юмористических философствованиях Милашевича такое место занимает тема судьбы, которая осуществляется через самые невероятные случайности. Как причудливо складывается до поры собственная жизнь этого человека (насколько мы о ней можем судить): необязательная учеба, неточные, пробные увлечения, и вот однажды нежданный гость, его болезнь, вынужденный уход из дома, поневоле затянувшееся отсутствие, ссылка и возвращение, недоразумение с плагиатом, как будто нарочно придуманное — а в результате он приходит к тому, для чего, как теперь кажется, был предназначен по устройству души и ума.

14

Как бы там ни было, после недолгой отлучки, вынужденный искать средства пропитания вне литературы, Милашевич снова оказывается, теперь уже добровольно, в месте своей бывлой ссылки. Лизавину Столбенец был хорошо знаком. По неизвестным причинам железную дорогу продолжили когда-то в трех верстах от города и там учредили станцию. У Милашевича есть забавная сценка, где подвыпивший пассажир, высажаясь в Столбенце и не обнаружив окрест города, пугается, что не там сошел. С годами город и станция постарались подтянуться друг к другу, растеклись вдоль дороги жиденькими строениями — как амебы, что ли, подтягивающие друг к другу отростки — пока не слились. Благо место было пологое, дававшее простор, не то что в Нечайске. Столбенец распластался почти вровень с озером, климат тут считался нездоровым, особенно в жару, когда вода зацветала. Зато на озерном донном иле и лыве — земле из перегнивших водорослей — выращивали редкостные урожаи знаменитых «белобочных» огурцов. Близость железной дороги делала Столбенец по сравнению с Нечайском центром городской цивилизации. Здесь раньше появилось электричество, было даже кино — электротheater «Грезы» (нынешний кинотеатр «Прогресс»), а среди промышленности, обычной для мелких городков, то есть дублирования кож, обжига кирпичей да извести-кипелки выделялась карамельная фабрика Ганшина, снабжавшая сладким товаром всю губернию.

15

В краеведческой книге о Столбенце, изданной в 1922 году, есть фотография тогдашнего города: скопление серых, как сараюшки, построек (вспоминается «цвет заноз» у Милашевича) вдоль такого же серого озерного пятна. Тусклость отчасти надо, конечно, отнести за счет ужасной печати; тот же Милашевич свидетельствует, что лучшие дома, во всяком случае, были когда-то окрашены в модные «съедобные» цвета, а именно шоколадный, крем-брюле или сливочного мороженого. Да и главы трех видных на снимке церквей наверняка были нарядней (одна до сих пор уцелела), и озеро отражало же небеса, а в благодатное время года разливалась и зелень. Можно, конечно, считать, что листва, а тем более цветы, как слова поэзии, прикрывают и несколько приукрашивают скудную основу жизни, — но кто сказал, что в оголенном пейзаже больше правды? Сделан краеведческий снимок, по всему судя, с холма, где сохранились остатки городища с земляными валами. Городище называлось «столпье» и дало имя городу. Когда-то валы были излюбленным местом прогулок, на памяти Лизавина заняты больше картофельными огородами и грядками, они подступали даже к фигуре солдата — памятнику погибшим в последней войне. Солдат был гипсовый, крашенный серебрянкой — цвет провинциальной монументальности. Постаментом же ему служил гранитный, из земли росший камень, в нем различимы были замазанные цементом стилизованные славянские буквы: «Герою Отечества — благодарные столбенчане». Надпись по содержанию подходила, но предназначалась очевидно не солдату. Лизавин еще застал на камне вождя с бронзовыми усами и в сапогах того же материала — но и он лишь занял опустевшее место. Тот, кому посвящена была надпись, сохранился лишь неясным силуэтом в левом углу устаревшей фотографии — столбенецкий купец Степан Колтунов, который будто бы соперничал в подвиге с самим Иваном Сусаниным.

16

На эту историю стоит слегка отвлечься, чтобы еще раз показать, в каких непростых отношениях с истиной бывают даже свидетельства документальные. В 1912 году местный ревнитель древностей учитель Семиглазов обнаружил в бумагах Воскресенского мужского монастыря челобитную колтуновского зятя «Ивашки Кваши со чады, Игнашкой да Фомкою». В челобитной, меченой мартом 7128, то есть 1620 года, говорилось про мученическую смерть Колтунова от руки поляков семь лет назад, зимой 1613 года, когда купец забирал поташ в окрестностях Костромы и был захвачен в проводники отрядом, искавшим цар-

ственного отрока Михаила Романова. Сводилась же челобитная к просьбе освободить в честь такого подвига от непосильных пошлин наследников убиенного. Подлинность бумаги сомнений не вызывала, но по каким-то причинам до Москвы она не дошла, и потому имя героя оставалось в забвении без малого триста лет. Находка счастливо совпала с близким юбилеем царского дома и слухами о возможном приезде в Столбенец государя; наконец, сам камень, служивший, наверно, еще язычникам для жертвоприношений, давно требовал над собой монумента. Сбор средств объявили тотчас, но пока чугунная фигура купца отливалась в Саратове, о подвиге его завязался спор. Костромской историк Погорелов, явно раздраженный явлением конкурента своему земляку, заметил в печати, что челобитная, даже если она не поддельная, еще не свидетельствует ни о чем, кроме попытки родственников купца получить для себя льготы. Откуда известно, что погиб он от поляков, а не от воровских людей, коими кишели тогдашние дороги? Семиглазов отпарировал мгновенно: не такие ли точно сомнения высказывали разные Соловьевы и Костомаровы о подвиге самого Сусанина? Они требовали доказательств, что под Костромой вообще появлялись поляки. Но такие вещи надо принимать душой, как приняла царица Марфа челобитную сусанинских родственников. Погорелов, сердчая все больше, ответил, что, возможно, слух об успехе этой челобитной и побудил Квашу два года спустя к попытке самозванства, что одно дело местный крестьянин, другое — заезжий купец, который лесов здешних не знал и заблудиться, если уж на то пошло, мог безо всякого героического умысла... Тем временем памятник установили, но государь до Столбенца так и не добрался, ученый же спор через несколько лет утратил смысл из-за нагрывших событий.

17

Милашевич вспоминал об этом эпизоде провинциальных умственных кипений в годы, когда древний камень уже опять пустовал — но вовсе не потому, что колтуновский соперник сумел доказать свои исключительные права. Нет, на какой-то срок соперник сам заколебался, словно в зыбком мареве; оба оказались не нужны для обновленной истории, где спасение царя уже не считалось заслугой, даже наоборот, и почти растворились, растаяли в воздухе, причем Колтунов растаял, можно сказать, непоправимей, не имея за собой устоявшегося предания, со стихами и операми, да вдобавок отягощенный неудачным купеческим происхождением. Так что когда история вновь заинтересовалась духом государственного патриотизма, к бытию вернулся лишь один из них, более привычный. Его в конце концов вполне хватало. В рассказе Милашевича об этом философствуют разные персонажи. Важна идея, говорит один, а образ так или иначе стусит из нее, используя для воплощения любой пригодный материал, обретет имя, черты, возвышенную речь и даже чугунную весомость. Со временем он перестанет нуждаться в доказательствах достоверности, наоборот, сам будет важнейшим и достаточным доказательством. Другой заявляет, что механический факт ничуть не ближе к истине, чем смутное чувство, слух, видение. Мы-то знаем лучше других, как молва и сон могут превратиться в плотное — да еще какое весомое! — вещество жизни. Факты могут присутствовать в слухах и версиях, как в жидкой глине камушки, но когда вместе засохнут, у них общая прочность. Если не подвергать эту прочность чрезмерным испытаниям, можно, в конце концов, обойтись одной глиной — из нее удобней лепить. Мы умеем жить музыкой, а не эвклидовой геометрией, — предлагает свой образ третий. Быть может, провинция своим пониманием вообще предвосхитила мироощущение века, из которого уже возникает и новое искусство, и новая мораль, даже новое понятие о реальности и новая теология. В финальном эпизоде слышится как бы стон самого исчезающего Колтунова: «Помогите же! Дайте посуществовать!» А опустевший камень уже томится по новой тяжести, уже предчувствует ее над собой, до зуда — из этого зуда она вот-вот и стусит

18

(Поздней, в бумагах Милашевича Лизавин нашел одну странную, задевшую его запись:

«Что было со мной, пока я не умер? Не помню. Это и есть смерть».

Черновой вариант, развитие колтуновской темы? Кто знает.)

19

Да, с историческими свидетельствами тоже не всегда выходило просто. Что семнадцатый век! В той же краеведческой брошюре Антон Андреевич встретил имя некоего А. Н. Ганшина, местного социалистического деятеля и пропагандиста. В его доме, рассказывал автор, собирались на тайные совещания революционеры из ссыльных окрестностей, находили пристанище беглецы. Девятью страницами раньше упоминался без инициалов другой Ганшин, пресловутый здешний фабрикант, помещик и меценат, отпрыск княжеского рода Ногтевых-Звенигородских. Совпадение не могло не заинтересовать Лизавина еще и потому, что с фабрикантом Милашевич был знаком; в нечайской типографии Ганшина, как мы помним, напечатан был первый его рассказ, в столбенецкой публиковались другие дореволюционные его сочинения. Но лишь занявшись темой вплотную, Антон уяснил то, чего не мог бы понять читатель брошюры, а возможно, не знал уже и автор: владелец обеих типографий, а заодно карамельной фабрики, электротeatра «Грезы», помещик, старательно разорявший наследственные лесные угодья, и социалист, проповедник революции, был одно и то же лицо, Ангел Николаевич Ганшин, а нелегальные совещания происходили в его усадьбе в двенадцати верстах от Столбена. Случай, как известно, отнюдь не исключительный для России.

20

В поздней прозе Симеона Кондратьевича возникает под разными именами отяжелевший атлет со щеками в курчавой бородке: «Она производила впечатление окладистой, хотя на самом деле окладисты были щеки. Где-то внутри них прорисовывалось другое лицо, тонкое, нервное. Казалось, будто стремительный живой человек обложен сырым трясущимся слоем и движется, преодолевая его тяжесть». Описание лучше известных фотографий позволяет увидеть этого усталого отпрыска аристократии и эксцентричного фабриканта; он бродит по страницам Милашевича походкой больного слона, в зарослях одичавшей сирени, сплошь о пяти лепестках. Глазки заплыли, краснеет воспаленная кайма понизу белка; левую половину груди и толстое плечо стягивает кожаный фехтовальный доспех на ремешках, штаны обвисли на заду. В кадке с бронзовыми фигурными обручами растет родословное дерево без листьев, со множеством засохших отростков. Его болезненно тяготит неподвижность, особенно летом, он тоскует от невозможности существенной новизны. Мебель в его доме то год от года растет, надеясь хоть грандиозностью пронять увядшие чувства хозяина, то заменяется легкими устройствами, которые специально придумывал некий опередивший время гений, так что их можно было разбирать на части и переиначивать. Усадьба постоянно перестраивается, подвижные зеркала ненадолго обновляют пространство, в саду устроен грот с эхом, которое не повторяет звуков, а живет самостоятельной прихотливой жизнью, призрачные фигуры из проволоки и жести перекатываются на ветру, меняя при этом вид и наводя суеверный страх на окрестных жителей, а в оранжерее высеяны семена растений, чьих названий хозяин не хочет даже знать, надеясь на сюрприз.

21

Милашевич долгое время жил в усадьбе на правах то ли друга, то ли приживала-развлекателя; он, впрочем, занимал место садовода, возился в ганшинской оранжерее, а также придумывал для его карамельной фабрики конфетные обертки, или фантики, как их называют дети. Эту фабрику Ганшин поставил как будто наобум, не позаботясь об отдаленности сахарного сырья. Однако выписанный из Вильны инженер-управляющий, немец Фиге сверх ожиданий наладил вполне доходное производство на местной картофельной патоке. Милашевич успех предприятия объяснял отчасти популярностью фантиков. Эти

бумажки занимали его как феномен провинциальной культуры, как средство просвещения и воздействия на умы. Кроме рисунка (в два-три цвета) и названия, на них печатались полезные советы, сельскохозяйственные рекомендации, мудрые изречения, приметы погоды и предсказания на год. Была карамель «Гадательная» с изображением карточных мастей: «Туз бубен означает, что задуманная тобой особа честна, благородна. Предвещает перемену жизни к приятному». Была карамель «Опохмельная» с добавкой секретного травяного экстракта и увещательными виршами пьющему. Карамель «Именинная» выпускалась на разные имена, преимущественно женские, с изображением белокурой или черноволосой красавицы (впрочем, на одно и то же лицо), выпиской из святцев, а иногда и поздравительным стишком. Трудно предположить, что каждому виду фантиков соответствовал свой сорт продукции — слишком их выходило много. После революции, когда фабрика надолго остановилась, оказалось, что их напечатано впрямь на несколько лет. Было время, когда оборотная сторона этих неразрезанных полос оставалась в окрестностях единственной бумагой. Ее использовали для писем, листовок, мандатов и продвольственных карточек. На крупных листах в 1920 году было напечатано несколько номеров столбенецкой газеты «Поводырь» (справа от заголовка, поясняя его, мускулистый рабочий в фартуке вел за руку к восходящему солнцу крестьянина с запрокинутой головой слепца). Лизавин держал в руках даже денежные боны из фантиков.

22

«Провинциальный вкус может меняться, — проповедует у Милашевича в одном из рассказов перед богачом-меценатом человек, называющий себя «придумыватель картин». — Но во все времена большинство людей будет от рождения знать наизусть «У попа была собака», и эта собака будет занимать в их душе место рядышком с Пушкиным. Не стоит ею свысока пренебрегать, иначе мы не поймем внутренней жизни нового сиротского слоя, что все больше заменяет прежнее крестьянство, не поймем тот народ будущего, который восторжествует при любом повороте истории. Не поймем, наконец, чего-то существенного в самих себе». «Верно ли стыдиться общих мест? — продолжает он время спустя. — Есть смысл и прелесть в открытии известного еще египтянам. Музыка выражает то, чего не смогут выразить слова. Как глубоко, как прекрасно замечено! Это вы сами придумали? В том-то и дело, что сами, впервые, и не имеет никакого значения, что это уже тысячекратно звучало до вас. Поверьте. Открытие каждый раз гениально, как любовь, когда всякий заново уверен, что ничего подобного еще не было до него за века человеческой истории. Умирали тоже миллионы до нас, но вы-то умрете впервые и единственный раз, почувствуйте это». И в другом месте: «Именно первоосновы жизни банальны. В искусстве человек жаждет узнавать знакомое, себя самого, за то и гениев ценит: как верно подмечено, господи! Вот и у нас так же, и мы все это испытывали. Мы ценим в гениях, по сути, то же, что и в цыганском романсе: совпадение с собственной душой, оправданность ожиданий — ну, конечно, обновленных складностью, даже изяществом выражения, нам не всегда доступными».

23

Постоянное обновление чувств — вот главная забота этого персонажа. Ему смешны механические приспособления, меняющиеся с помощью пружин и ветра; он предлагает свои рецепты. Больной меценат в «Сказках для Ангела» готов отречься от изысканных вкусов, от привычных ценностей, французских книг, он покупает расписные коврики у местного живописца Босого, из неудавшихся маляров, и вешает их по стенам, он собирает коллекцию кустарных поделок, а вдохновенный рассказчик предлагает ему в музей все новые экспонаты: косой луч солнца в туманном лесу, птичий щебет, вздох на скамейке, гармошку, играющую «Расставанье» на столбенецком вокзале, каталог самоценных мгновений, изъятых из времени и истории. «Счастье доступней людям

без родословной, не отягощенным виной предков и даже чувством первородного греха». — «Да, прочь все, — нетерпеливо откликается слушатель. — Забыть себя, от всего отказаться. Пусть будет, как у них»; он согласен даже на вшей, даже на гибель, только бы поскорей. Ганшин явно впадал иногда в своеобразное и уже старомодное народничество; но революционные томления его, видно, порождались не столько идеями, сколько все той же психологической потребностью в переменах. Он писал некий трактат «Утраченный сад, или О неизбежности революций» и предлагал заезжим конспираторам средства и оружие, чтобы объявить социальную республику в двух ближних уездах, не дожидаясь столиц; даже при неудаче глухость и отдаленность мест позволила бы здесь продержаться изрядно. (Спустя всего несколько лет, как эпитафия над его прахом, возникла недолговечная и загадочная Нечайская республика.) Он готов был превратить в крепость собственную усадьбу и уже начал обносить ее каменной стеной, но выстроенная часть внезапно провалилась в землю, где обнаружились полые пространства: остатки хранилищ или подземных ходов, устроенных кем-то из предков. Обвал случился в день смерти Ангела Николаевича; оба события оказались отмечены в одном и том же номере газеты «Столбенчанин» от 1 июля 1914 года.

24

Сообщение о смерти Ганшина было озаглавлено в духе провинциальной сенсации «Самоубийство, убийство или несчастный случай?» Тело нашли 28 июня в оранжерее с выбитыми стеклами и завядшими растениями. В револьвере, выпавшем из руки, не хватало пули; загадка была, однако, в том, что самой пули не нашли ни в теле, ни около. На виске имелся синяк размером в копейку, но ни орудия смертельного удара, ни посторонних следов также не было обнаружено. Револьвер наводил на мысль о задуманном (и как будто осуществленном же!) самоубийстве. Тем более, что на письменном столе оказалась записка, которую можно было расценить, как предсмертную: «Завещание в ящике», но больше не прояснялось ничего. Если существовали другие подробности, их затоптали неумелые провинциальные следователи, а может, переврали увлеченные газетчики, и не дело литературоведа, в конце концов, было доискиваться до упущенной ими загадки. Но с этой темой для Антона оказался связан один непроясненный намек — обрывочная запись в бумагах Симеона Кондратьевича.

25

«Это произошло не только в один день, но даже час в час с выстрелом Гаврилы Принципа. В чем мне себя винить? Бессмысленно видеть во всем причину и связь. Просто совпало: обострение кризиса, вынужденное отсутствие, созревание плодов, обвал. И все-таки, все-таки... Можно было понять, почувствовать сразу. Я не уловил. Безобидный экспромт, розыгрыш на привычную тему. Его это иногда встряхивало. Дескать, в народ нынче не ходят, но как вы отнесетесь к идее взять народ на дом? Смотрите, какой со мной славный сиротка, не приютим ли на время? Я ждал, что запах заставит его поморщиться, уже наготове была шутка. Нет, он даже ничего не заметил. И как было не залюбоваться малышом, этими кудрями, личиком херувимским. Так было все хорошо, я не спешил с объяснением. Единственная несчастная возможность просто прошла мимо моего понимания. Пришлось объясниться, вот и все. Но эта дрогнувшая улыбка, эти страдальческие глаза...»

26

Что это? набросок очередного сюжета? Упоминание о сараевском выстреле прямо связывало запись с датой смерти Ганшина, только разобраться в этом не было никакой возможности. Поздней Антону Андреевичу случалось

возвращаться мыслью к проступившим здесь намекам. Воображению начинало что-то мерещиться, но эти фантазии были уж так произвольны, что и упоминать их не стоит. Больше об этом периоде жизни Симеона Кондратьевича мы ничего не знаем; между тем он еще сравнительно ясен. С 1914 по 1926 год идут почти сплошные потемки. Известно лишь, что перед самой революцией он служил письмоводителем в столбенецкой управе, потом был недолгое время хранителем в Музее старой жизни, который устроили в бывшей ганшинской усадьбе. Усадьба потом горела, от нее сохранилась лишь фотография. Во времена лизавинского детства ее бывшие окрестности назывались «запретной зоной», и до сих пор Айтон Андреевич, вообще неплохо знавший свой район, не побывал в местах, куда приезжал отходить от депрессии этот злополучный «отяжелевший ребенок», как любовно называл его Милашевич. Рассказы ганшинского цикла почти все остались в рукописи, напечатаны были между февралем и октябрём 1917 года только два. Это были тоненькие, как всегда, для немногих изданные брошюры на хрусткой фантичной бумаге с фантичными же картинками посреди белой обложки: на одной красавица с лейкой, на другой мальчик с кудрями и личиком херувима (таким невольно представлял себе Антон упомянутого в обрывке малыша; впрочем, и у женщины было точно такое же лицо — сказывался то ли вкус, то ли неумение местного художника рисовать иначе). Эти две картинки, словно знак домашнего издательства, присутствовали на всех книжках, выпущенных Милашевичем, очевидно в столбенецкой типографии. «Очевидно», потому что ни типография, ни место издания на большинстве из них не указаны. Вряд ли Симеон Кондратьич подозревал, что его изящные курьезы станут со временем букинистической редкостью; у любителей эти издания получили впоследствии название «конфетных» — именно они, книжники, а не литературоведы помогли сохранить о Милашевиче память.

27

Так уж получилось, что попытка придерживаться в рассказе хоть какой-то хронологической последовательности лишь теперь позволяет нам упомянуть давно обещанный мемуар, из которого Антон Андреевич, собственно, впервые узнал о существовании Милашевича. В 1965 году в Москве вышли воспоминания известного библиофила Василия Платоновича Семеки, к тому времени уже покойного. Он начинал до революции как критик, перед самым февралем основал издательство «Домино», продержавшееся девять лет, а когда оно потом влилось в государственное объединение, остался при нем же на неопределенной должности «консультанта». Но знаменит он был больше своим собранием книг. Особенно славились его раритеты; он был из числа тех коллекционеров, чья книга привлекала тем больше, чем она безвестнее. Ни у кого в Москве так полно не был представлен раздел, который на языке библиофилов называется «Idiotika». Хотя как бывший издатель и тем более критик он отнюдь не был равнодушен и к литературе. Совмещение в одном лице таких ипостасей порождало разные толки; злословили, например, что иные диковины Семека у себя же в издательстве и фабриковал, выпуская при надобности в единственном экземпляре и разыскивая по провинции творения неизвестных чудачков; что именно букинистический доход окупал, и с лихвой, издательские убытки. На фотографиях в книге — круглое лицо с актерскими брыльцами, пятнышко усов под носом, купеческий пробор; пахнет бриолином, свежим бельем, словами «расстегай» и «балык». Он и рассказывает вкусно, может, слегка присочиняя — даже наверняка присочиняя и даже не слегка; подозрительно новенькими выходят из его памяти целые страницы диалогов. Перед нами проза, не без таланта, но к достоверности ее не стоит предъявлять чрезмерных претензий. Так вот, одна из глав его «Записок книжника» повествует, как попали в его собрание «конфетные» брошюры Милашевича. Семека наведался в Столбенец, прослышав об апокрифах, которые будто бы видели в окрестностях здешнего разоренного монастыря. Сосредоточась на этих надеждах, он как-то и не думал о Милашевиче; лишь задним числом дошло до него, почему казались такими

знакомыми эти крики торговков на станции («А вот лещ копченый, с дымком! Бери, гражданин, щука жареная, еще горячая!»), и пыльная дорога к городу мимо приземистых складов, и осевший земляной вал, даже лужа, по которой, как по озеру, шла крупная рябь. Словно уже здесь бывал и все это видел; впрочем, не возникает ли подобное чувство в любом провинциальном городке? Лишь после того, как он убедился, что с апокрифами его кто-то опередил, вид заведующего местной читальней напомнил ему о Милашевиче, вдохновив неунывающего книжника возможностью другой, попутной удачи.

28

Надо отдать Василию Платонычу должное, он выразительно описывает персонаж, как будто сошедший со знакомых страниц: пенсне, обвязанное у переносицы ниткой грязного цвета, свежестираную толстовку с подмышками, испорченными потом, плетеный шнурок вместо галстука, жестяной наконечник, оберегавший грифель карандаша, который торчал из оттопыренного нагрудного кармана, седеющие перышки вокруг большого рта. Нам ценны здесь все подробности: голые стены в лиловых чернильных пятнах, стриженный мальчик — единственный посетитель, листавший подшивку «Красной газеты», жестяной бак для кипяченой воды с кружкой на цепочке. В библиотеки и читальни Семека везде навещался непременно, здесь нередко и торговлишка книжная велась, а уж разговор о книгах возникал сам собой. Имя Милашевича он упомянул сперва просто так, для завязки: дескать, был когда-то и у здешних мест свой поэт — но тотчас уловил, как что-то дрогнуло при этих словах за блеснувшими стеклами, хотя самой темы собеседник не поддержал. Инстинкт книжника приучил Семеку не выдавать подлинного интереса, он лишь вспомнил к слову сюжет-другой из Милашевича, и можно поверить ему, со вкусом — несколько брошюрок не просто имелись в его коллекции, но читались и были ценимы. Мы так и видим, как библиотекарь слушает его недоверчиво и напряженно, наклонив голову и глядя снизу, из-под стекол, как потом он снял пенсне, чтобы протереть, и незащищенные глаза его с выпуклыми красноватыми веками оказались растерянными, беспомощными. «Странно, — проговорил он и откашлялся, — странно увидеть вдруг собственного читателя». Тремя вопросительными знаками передает Семека свою немую реакцию, на которую последовало объяснение: «Я, видите ли, и есть Милашевич».

29

«Он сказал это, понизив голос и почему-то покосившись на мальчика в углу, как будто опасался свидетелей такого признания», — замечает не без юмора Василий Платоныч. Эта доверительность голоса (дескать, между нами, не выдавайте), этот воспаленный взгляд произвели на него в первый миг впечатление, будто сказано было: «Я и есть Наполеон». Психологически можно понять перекокс восприятия: к 1926 году Семека уже не представлял автора «конфетных» брошюр живым человеком. Почему же исчез? Не печатал ли новых книжек? — этот вопрос прозвучал теперь естественно и бескорыстно. Нет, книжек не появлялось уже много лет. «Неужели больше не пишете? — Как не писать! — Он усмехнулся и почему-то похлопал себя по оттопыренному карману с карандашом в наконечнике. — Все время, каждый день. Без этого нет жизни». И вот тут Семека нашел (или, если верить молве, применил очередной раз) тот поворот разговора, который отчасти и порождал двусмысленные толки: он завел речь о необходимости попытать издание сборника в Москве, может, совместно из новых и старых вещей (в упоминании «старых» был, конечно, уже намек и на «конфетные» книжки), дал понять и свою причастность к издательскому миру. Они договорились встретиться после шести в чайной — Симеон Кондратьич сконфуженно извинился, что домой пригласить не может, сославшись на нездоровье жены и вообще беспорядок. Ах, как нам это досадно!

Хотелось бы, право, взглянуть посторонним взглядом на Александру Флегонтовну, на обстановку жилья — увы, приходится довольствоваться, чем есть.

30

С тем большим вниманием примечаем мы подробности разговора в чайной: несвежий прокуренный воздух, в меру замызганные скатерти, но на возвышении балалаечник в русской косоворотке, и подают в сметане знаменитых здешних карасей, и водочка довоенной, сорокаградусной крепости, есть даже коньячок — время нэпа. Жадно разглядываем мы Симеона Кондратьевича, который явился в белом картузе, начищенных сапогах и ради новой встречи сменил плетеный шнурок на короткий галстук с заплаткой. Эта заплатка, признаться, настораживает, нищенская аккуратность провинциала как-то анекдотически здесь демонстрируется, и если Семека эту подробность не присочинил, возникает вопрос, не представлялся ли перед ним слегка Милашевич. Он, кстати, отказался не только от выпивки, но от колбасы и даже от рыбы, подтвердив достоверность своего провозглашаемого в прозе вегетарианства. Но существенней всего для Семеки был, конечно, газетный, перевязанный бечевкой сверток, который принес с собой Симеон Кондратьич. Кроме двух рукописных тетрадок, в нем оказался десяток книжек, в том числе шесть никому не известных в Москве; зато многих известных, к удивлению коллекционера, у самого автора не нашлось. Более того, автор не всегда мог понять, какие имелись в виду, и когда собеседник напомнил ему названия и даже содержание некоторых, всерьез удивился: разве у меня про это есть? Семека упоминает, например, рассказ о человеке, который на вершине счастливого чувства снял с часов стрелки и не вернул, хотя часы продолжал заводить регулярно: «Трудно передать очарование этой метафизической шутки». Среди книг Симеона Кондратьевича Лизавину действительно разыскать такой не удалось — не напутал ли чего-то, в самом деле, Семека, приписав Милашевичу чужой сюжет? — так, похоже, готов был считать сам Симеон Кондратьич. Он как будто давно перестал думать о публикациях и о читателях. «Которые были, тех нет!» — «Но вы говорите, что пишете все время, — напомнил Семека. — Для кого же?» — «А есть для кого, — оживился в ответ Милашевич и даже повторил, многозначительно подняв палец: — Конечно, есть. Не для себя же». Где-то с этого момента мы начинаем чувствовать, что столичный гость несколько разочарован личностью, в которую, так сказать, воплотилось имя, куда более привлекательное на типографской обложке, что он относится к собеседнику скорей снисходительно. Тем более, что непосредственная цель достигнута, желанные книжки в руках. (Искренность Семеки при этом вне сомнений — сборничек «Провинциальных фантазий» вскоре вышел в Москве его стараниями, мало того, с небольшим его предисловием, возможно, даже снизив цену букинистических диковин, хотя — при тираже в 180 экземпляров — вряд ли сильно). Он теперь подмечает, что картуз аборигена можно назвать белым лишь условно, что запах его стираной толстовки все же не совсем свежий, что пальцы его грубы и черны от копания в земле, что речь его полна мнимозначительных намеков, которые любят именно провинциалы, как интуитивный способ самоутверждения: дескать, и мы здесь не так просты, мы у себя в библиотеке даже от мировых проблем не отстаем. Хотя если начнешь вникать, что за этими намеками — только головой покачаешь. «Что же вы такое пишете? — продолжал интересоваться Василий Платоныч уже больше из вежливости. — Небось, что-то большое?» — «Не знаю, как и сказать. Это само растет, как живое, в разные стороны. Только следи». — «Но писать, не печатаясь, без широкого читателя — все-таки противоестественно». — «Это если о литературе думать. Я же не для нее пишу, — отвечал Симеон Кондратьич, и можно бы решить, что он этак приbedняется: где уж нам! — если бы тут же не дал понять, что знает про себя нечто поважнее печатанья. — Бывает, только подумаешь слово, а оно уже существует, да еще как!» Здесь Семека, правда, признается, что украдкой успел все же плеснуть собеседнику в чай немножко коньячку — для оживления беседы; может, уже сказывалось.

Пошла уже совсем подозрительная речь про научные опыты восприятия мысли, а там — про чуткость растений, про индийского ученого Бозе, который при пересадке усыплял саженцы хлороформом, как людей или животных, чтоб безболезненной приживались, и даже про то, зависят ли свойства навоза, используемого для удобрения, от свойств лошадей. Лишь когда Симеон Кондратьич стал толковать про бразильца Сикейроса, который придумал кормить коров листьями кофейного дерева, чтоб получать сразу кофе с молоком, Семека что-то заподозрил и догадался расхохотаться — собеседник, довольный, рассмеялся с ним вместе. Как знакомо было Лизавину это забавное, а впрочем, двусмысленное смущение, которое Милашевич мог вызвать в самый неожиданный момент и самым простодушным манером — это двойственное, близкое к замешательству чувство, возникающее, когда ты закрывал последнюю страницу или, как Семека, прощался с ним. «Мы вышли на светлую еще улицу. Перед забором, обклеенным объявлениями, стояла коза. Край одной бумаги отстал, но она и не думала его жевать, смотрела долго, внимательно. «Что-то нашла», — сказал Симеон Кондратьич. Я засмеялся и подошел к забору; коза посторонилась, чтобы я тоже мог прочесть: «Козам и мелкому скоту произвести прививки до субботы под угрозой штрафа».

31

Лизавину мемуары Семеки попались на глаза, когда он уже писал свою диссертацию о земляках, губернских и областных литераторах, не подозревая о существовании Милашевича. Стоит ли говорить, что он тотчас поспешил разыскать не только «Провинциальные фантазии» неведомого ему прежде автора и все дореволюционные его книжицы, перешедшие к тому времени в библиотеку из собрания Василия Платоновича, но просмотрел в московском литературном архиве и фонд покойного Семеки. Там оказались в сохранности рукописи еще нескольких неопубликованных рассказов Милашевича (среди них почти все «Сказки для Ангела»), а сверх того — неопубликованный же автобиографический набросок, здесь уже упомянутый. Набросок и еще два-три текста были присланы по просьбе Семеки позднее, издатель хотел предварить сборник сведениями об авторе, но для печати и это, видимо, не подошло. Та встреча с Милашевичем была единственной, больше, пишет Василий Платонович, он об этом человеке не слыхал. Он не откликнулся даже на присылку вышедших книг — видимо, умер, заключает автор. Выяснить это подробнее не дошли руки. Лизавин грешным делом подозревал, что Семека не очень и старался выяснить, отсутствие отклика уже в ту пору было неприятным знаком. Самому Антону Андреевичу удалось узнать несколько больше. Он откопал кое-какие журнальные публикации Милашевича, в том числе злополучное «Откровение», наконец, следственное дело, а в нем единственное изображение Милашевича, тот самый фас, переснятая копия которого с тех пор стояла в деревянной рамочке у него на столе. И этим его находки исчерпались. К смущению Лизавина выходило, что после всех его стараний, полуслучайных удач и даже восторгов ему оставались неизвестными целые полосы в жизни писателя, о котором он толковал, даже дата и обстоятельства его смерти. Домовые книги тех лет не сохранились, в гражданских архивах, в кладбищенских записях ни Милашевича, ни Богданова Симеона Кондратьича обнаружить не удалось. Он ухитрился остаться не запечатленным ни в каких долговечных бумагах. Не возникало его тихое имя даже в местных газетах, которые, правда, и сохранились не полностью. Архивы здешние многократно пострадали, особенно от разных послереволюционных упразднений, не говоря уже о том, что они и в Столбенце, и в Нечайске горели по меньшей мере дважды при больших городских пожарах, причем второй раз одновременно, засушливым летом 1928 года, и эта одновременно породила громкий, несколько загадочный процесс о поджоге. Более же мелкие пожары возникали тут едва ли не ежегодно — оба городка могли предъявить целую коллекцию. Деревянная страна, — меланхолично думал иногда Антон Андреевич, — ненадежная память. В каком-нибудь каменном европейском монастыре можно по

бумагам восстановить каждый день жизни за несколько столетий: кто обитал да кто приезжал, что покупали и продавали, что ели и пили, с кем переписывались и вели тяжбы, о чем рассуждали и спорили на диспутах, сколько извести, камней и позолоты пошло на храм... да что говорить! В Столбенце, впрочем, Воскресенский монастырь тоже был каменный и от пожаров не пострадал, но тут прошли другие опустошения. И времена-то вроде близкие... впрочем, с ними иногда бывает хуже, чем с давними.

32

Но можно еще захватить живых свидетелей, расспросить, — уже спешит подсказать кто-то. Да уж, не сомневайтесь, Антон Андреевич и этого не упустил, но энтузиазма для таких поисков ненадолго хватило. Начать с того, что старожилов и в Столбенце и в Нечайске осталось немного, и люди эти были обычно не из числа тех, кто мог в дореволюционное время читать Милашевича. Пропали, переселились куда-то бывшие гимназисты, их родители и учителя, и ревнивый историк Семиглазов, первым попытавшийся создать в Столбенце краеведческий музей, исчез детский врач Левинсон, основавший здесь знаменитый приют-пансион с передовым методом самовоспитания, растворились бесследно бывшие заседатели, акцизные, телеграфисты, инспектора и прокуроры, не говоря уже о лицах духовного звания, монахах, монашках и тому подобных. Если кого-то из них можно было разыскать, то скорей в столицах. Новое население прибыло в городки больше из деревень — среди них была и мама Антона. Да и расспрашивать старожилов было немного толку. Не в том была беда, что старички эти морщили лбы и качали головами, когда им говорили про Богданова или Милашевича, местного писателя, садовода и вегетарианца. Хуже, если вдруг начинали вспоминать — как однажды однорукий Хворостинин, бывший печник... «Кондратьич, что ли? Так я его знал. Ну как же! Его колдуном звали». — «Почему колдуном?» — «А он вроде из Сареевских, что-то такое умел. Знаешь Сареево? Там раньше колдунов считалось полдеревни, да и сейчас. Самый суеверный район был наш, уезд по-старому. Колдуны, сектанты. Он там у кладбища жил, в бывшем поповском доме. Поп тоже расстригой оказался, табак выращивал». — «Постойте, у какого кладбища?» — спрашивал Антон, уже заранее тоскуя; действительно, выяснялось, что Хворостинин говорил о Нечайске, а не о Столбенце. Но Милашевич-то после революции в Нечайске не жил, печник его с кем-то путал. «Потом говорили, с макарьевцами связался». — «С кем?» — «Макарьевцы, секта жила такая в лесах. Целый город, говорят, земляной построили, их с самолета нашли. И этот Макарий, поп, то есть расстрига, у них был за главного. Они в голод, когда все тут горело, что делали? Собирались на кладбище, вырывали из могил мертвецов, которые еще свежие, варили как мясо, а потом от этой еды дурели, ну знаешь, допьяна, и плясать пускались, вытворяли всякие безобразия, пока сами не падали мертвые. Дикость была... А поп, говорят, в Америку сбежал, еще сейчас по радио выступает».

33

Нет, не стоит упрекать Лизавина, что он с этими попытками не слишком усердствовал. Право. Где мог, покопал и понемногу продолжал копать — не потому, что был склонен к таким архивным разысканиям, просто из добросовестности. В нем архивной этой жилки как раз не было, он по природе предпочитал домысливать и даже к сочинительству с некоторых пор примеривался. В уме у него сложился образ захолустного самоучки-философа, проповедовавшего незамысловатую гармонию, ценившего фантазию, юмор, снисходительность и доброту, и в образе этом было столько близкого, приятного, что если уж на то пошло, не очень даже хотелось осложнять и замутнять его добавочными, да скорее всего лишними подробностями. Он даже вздрагивал, когда на печатных

страницах или в документе попадалась фамилия Богданова (не такая уж редкая) и, убедившись, что это не Милашевич, испытывал облегчение. Однажды посмертно возник сразу Милашевич-Богданов, да еще в каком контексте! Лизавин увидел эту двойную фамилию (правда, без инициалов) в столбенецкой газете «Путь вперед» от 2 ноября 1930 года, которую просматривал случайно, по другой надобности; от совпадения екнуло сердце. И хорошо, если это было лишь совпадение. Статья была подписана К. Диалектический и называлась «Когти Пуанкаре в заволжских лесах». В ней говорилось про обострение классовой борьбы в уезде, поминались осужденные поджигатели 1928 года Свербеев и Фиге, а также «те, кто с помощью религиозного дурмана пытались саботировать великую борьбу по ликвидации кулачества как класса». И среди них — Милашевич-Богданов. Нет, конечно, совпадение (но двойное, надо же!). Во-первых, религиозная тематика никогда его всерьез не интересовала, тут он был (как и во многом другом) далек от модных увлечений эпохи. Во-вторых, невозможно и представить себе, каким образом Симеон Кондратьич мог иметь отношение к деревенским делам. Хотя Столбенец окружен был деревнями, и жизнь в нем, особенно в слободах, была полудеревенской, Милашевич крестьянской темы был принципиально чужд. В-третьих... значит, и в-третьих был ни при чем. Не стоило даже об этом думать. Разве что проверить, посмотреть соответствующие дела. Но добраться до них было посложней, чем до следственных жандармских документов. Лизавин и не пытался. После той статьи он, честно сказать, уже и вовсе не усердствовал с поисками новых обстоятельств. Лучше не надо. Не обязательно. Не монастырской историей воспитаны. Смиримся, как с данным условием, что нет больше документов. Не знаем же мы до сих пор, кем был, скажем, на самом деле Шекспир, хоть целая армия исследователей кормится этой проблемой. И ничего. Для диссертации ему, в общем, хватало; даже того, что нашел, было, по чести, достаточно, чтобы успокоить научную совесть. В конце концов, не об одном Милашевиче, как уже было сказано, шла в диссертации речь. Более того, Милашевич занимал там заслуженно скромное место, несравненно более знамениты были другие местные уроженцы и деятели. Другое дело, что Милашевич из всех оказался Антону Андреевичу по-родственному близок. Хотя, как говорят на ученом жаргоне, он был фигурой не шибко диссертательной; не откопай Антон в его биографии революционного эпизода, стоило его вовсе исключить. Зато он не был обычной диссертационной темой, из тех, кого, получив диплом, больше не перечитывают, так они успевают обрыднуть. Другие были как попутчики в купе, с ними проводишь время, по возможности приятное и полезное, а все же необязательное. Симеон Кондратьевич лег на душу. Некоторая невыявленность его образа не только не мешала, но была приятна воображению. Может, и наша история влечет тем же? — подумал как-то Антон Андреевич. — В других-то, каменных, сохранных, все слишком очерчено, только выписывай, к ним другой интерес; наша до сих пор не изжита, в ней провалы дразнят.

34

И надо же было случиться: когда диссертация была почти готова, Лизавина угораздило найти в областном архиве, среди бумаг, активированных за отсутствием ценности и предназначенных, судя по всему, к сожжению или, скорей, к сдаче в макулатуру, целый сундучок с бумагами Милашевича. Верней сказать, бумажками: беспорядочный набор тех самых фантиков, использованных на обороте, в них разбираться можно было не один год — хоть откладывая защиту. Теперь-то уже не грех и признаться, что в первый момент Лизавин ощутил, кроме радости первооткрывателя, еще и смущение, и досаду, и странную тревогу. Эти противоречивые чувства усугублялись сомнительными обстоятельствами, при которых фантики попали в его собственность; как тут ни объясняясь и ни крути, он их, мягко говоря, похитил из хранилища — но об этом лучше рассказать особо. Однако уже при первом просмотре выяснилось, что никакой принципиальной информации листочки прибавить к его диссертации не

могут. Это были в основном всевозможные черновые заметки, наброски, а то и отдельные словечки, мысли, выписки и тому подобная, не всегда удобопонятная всячина, а документа — ни одного. Их можно было считать особой темой, которой стоило вплотную заняться потом, да и времени уже не было. Так он и поступил. А потом чем дальше, тем больше возня с фантиками стала вытеснять другие его научные занятия. И чем больше он зарывался в оберточный ворох, тем меньше в Милашевиче понимал. А главное, чем дальше тем больше нарастало чувство неясной поначалу тревоги, неудобства какого-то внутреннего. Правда, для душевной смуты у Лизавина прибавилось причин и помимо ученых занятий, однако ему порой казалось, что ход этой работы и обстоятельства собственной жизни связаны какой-то неслучайной зависимостью.

35

А может, эта тревога была порождена несколькими странными записями, на которые Лизавин наткнулся при разборе; непонятные, смутные, они однажды составились под его руками в нечаянную связь — и слова вдруг кольнули, будто обращенные к нему:

Что со мной было, пока я не умер? Не помню. Это и есть смерть.

перемена памяти

Зрячие, подробные пальцы слепца ощупывают темноту, выявляя в ней очертания

вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу. Господи! Каждый шаг отдается во мне дрожью

сближает, сводит с разных концов, все ближе, все ближе... ах, только бы не пронесло!

столько ждать, беззвучно, не шелохнувшись

Так больно, так тяжело. Неужели не слышишь? Ну вот же я, вот! Ты трогаешь пальцами вещество моей души, моего ума.

да не оглядывайтесь же, Господи, это я вам!

2. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича

1

Как вы хорошо в одном месте сказали, Симеон Кондратьевич: зря мы, люди пишущие, стесняемся совпадений, которые могут показаться подстроенными и слишком многозначительными. Мы сразу начинаем оправдываться, ссылаться на жизнь, где таких совпадений куда больше, ведь в самом же деле, сплошь и рядом. Да еще не на все мы обращаем внимание, они там для нас ничего не значат, бессмысленные, тогда как в литературе нагляден замысел и умысел. Но ведь оборачиваясь на прожитое, мы и в переплетениях судеб можем выявить будто бы некий узор, оформленный, как оформлено все в живой и неживой природе, заставляющий думать: не сходятся ли доступные нам представления о смысле и красоте в некоей изначальной общей точке? Другой вопрос, существует ли он взаправду, этот узор. Для кого как, — отвечают некоторые. Быть может, совпадение вознаграждает способность уловить среди мировых шумов обращенный к тебе голос, даже если ты сам не понял этого? Бываем же мы гениальны в любви, когда единственное слово или даже движение порождает необъяснимый отклик, но если он не состоялся, значит слово не угадано и

любви нет, развеялась в воздухе. Чтобы удостоиться отношений с судьбой, надо, быть может, верить в нее. И если у тебя из-под носа ушел трамвай, будь внимателен: не без умысла ли подсунут тебе следующий; хорошо, если душа окажется в нужный момент чуткой и напряженной. Впрочем, это хорошо в любом трамвае, да только быть чутким все время не хватит сил. И тогда с трезвой усмешкой мы признаемся, что смысл и узор вообще лишь привиделись нам задним числом, что связный сюжет жизни — уловка малодушного ума, а на деле есть навал обрывков, и женщина, которой ты в единственный миг не заметил, дожидается не тебя — почему? стоит ли, в самом деле, искать смысл, причину, вину, возвращаясь по цепочке нелепиц и совпадений, которая изменила твою жизнь, может, уже тогда, когда ты по ошибке сунулся не в ту дверь и набрел на сундучок, сгустившийся из литературного сна?

2

Искал тогда Антон Андреевич в областном архиве совсем другое: сведения о столбенецком поэте-самоучке Ионе Свербееве, деятеле Нечайской республики. Про эту республику Лизавин тоже не знал ничего, кроме названия, но в каталоге ему случайно попалось упоминание о папке с относящимися к ней документами: он захотел ее посмотреть — и почему-то ему ее сразу не выдали. Главное, хоть объяснили бы толком причину — нет, как всегда, нужна была многозначительная уклончивость: дескать, подождите, там кое-что сперва надо выяснить. И вот что еще интересно: он ведь без этой папки мог вполне обойтись, прямого отношения к его теме она скорей всего не имела, — но поди ж ты, настаивал, хотя всей кожей неприятно ощущал уже осторожность хранителей местного исторического сырья к постороннему, который зачем-то вздумал лично коснуться необработанных и возможно небезвредных для здоровья залежей. Зачем? для какого умысла? не проще ли обратиться к уже извлеченной, обезвреженной и даже полезной продукции на искомую тему, продукции, которую поставляют профессионалы, имеющие проверенный иммунитет для работы с сырым веществом? Впрочем, может, все это ему и почудилось. Воспитание Антона Андреевича, увы, начиналось в годы, когда и газеты старые выдавали в библиотеках не сразу, требуя объяснений и письменных подтверждений. И хотя сейчас Антон имел, что предъявить — на бланке, подкрепленном печатями и подписями, с этой последней папкой его мурьжили полтора месяца, а он все не решался потребовать объяснений более внятных. Какое там требовать! Лизавин испытывал в этом здании необъяснимую робость. Она начиналась уже в прихожей бывшего особняка с фанерной стенкой между ободранными колоннами, где всегда дежурила женщина-милиционер пугающей гренадерской комплекции. То есть, конечно, не одна, их там сменялось несколько, может быть взвод кариатид, но все, как на подбор, таких же статей, с могучими бюстами под синим форменным сукном, сержантскими лычками на ватных плечах, яркими, в общий цвет крашенными губами. Эта одинаковость породы и помады, портупейная сбруя, блеск хромовых сапог вызывали почему-то мысль о казарме ампирно-конюшенной архитектуры. Ему было совестно за это ничем не обоснованное видение, но духи их пахли лошадиным потом, волосы уложены были у всех в сетки по моде сороковых годов — как будто с тех пор и несли они неженскую свою стражу, не старея, не рожая детей, лишь разбухая и раздаваясь. Душный запах обволакивал его, предъявлявшего пропуск и раскрывавшего для проверки папку; он не проходил, а протискивался мимо, весь как-то уменьшаясь, съеживаясь, с чувством, будто великанша может всего его при надобности промять, прощупать и только пока пренебрегает его ничтожеством.

3

Кто хочет, волен, конечно же, посмеяться над пугливым воображением провинциала, воспитанного для занятий скромных и непритязательных. В

оправдание свое Лизавин мог бы сказать, что в других хранилищах он подобных чувств не испытывал. От себя добавим, что такого рода пугливость родственна воображению, она им рождается и его поощряет, так что может иногда обернуться художественным достоинством. Но вообще — что говорить! Антон принадлежал к разряду людей, которые постучав в дверь, и даже легонько, но безуспешно толкнув ее, поворачивают обратно или ищут другой проход. Особенно если на двери висит какая-нибудь строгая табличка. Хотя дверь надо было просто потянуть на себя, а табличку эту, может, повесили временно бог знает когда, да так и не позаботились снять — она вроде ископаемой надписи, предупреждающей богатырей о запретной, но потому и соблазнительной дороге. Будто вдруг припекло, вот ведь что интересно. Все-таки о диссертации шла речь, о кандидатской степени, а значит, о хлебе насущном — так он распался сам себя, презирая собственную слабость, и эта взвинченность стыда, пожалуй, больше сомнительных доводов о хлебе способствовала дальнейшему. Словом, он толкнул, наконец, плечом указанную ему служебную дверь с запретной скрижалю — и то ли в самом деле ошибся, то ли недослышал дальнейших объяснений, но очутился не в кабинете, а в неопределенном коридорчике или предбаннике, из которого вели две другие двери. Постучал в левую — оказалась заперта, открыл правую, по инерции спустился с трех ступенек... Вот тут бы ему надо было, конечно, вернуться, переспросить, но он прошел еще, а когда надумал вернуться, за спиной, как теперь помнится, оказалось сразу три двери, и он не был уверен, в какую лучше идти... — ах, как выходило неловко, досадно, нехорошо, одна теперь забота была — выбраться, но увидев на горизонте фигуру местного служителя, окликать постеснялся, не хотелось объяснять, как сюда попал, не стоило привлекать слуха кариатид, как-нибудь сам... вот три ступеньки вверх...

4

вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу. Господи! Каждый шаг отдается во мне дрожью... сближает, сводит с разных концов, все ближе, все ближе... ах, только бы не пронесло!

5

Да, теперь-то, Симеон Кондратьич, когда заранее знаешь, что вы друг друга нашли, в самом деле представляешь себе, как некий воспетый вами глаз с красными сырыми прожилками следит за блужданиями нелепой фигуры по запущенному лабиринту: вот не туда было подался... но нет, вернулся... еще немного, Антон Андреевич, уже теплей, теплей... и даже дверь, спружинив, с грубоватой бесцеремонностью подталкивает заколебавшегося было странника в спину. По тесным служебным внутренностям, как будто вглубь. Грязные окна по брови уходят в асфальт, на голых кишках, на отопительных сосудах набухают капли. Под ногами хрустит осыпавшаяся известка. Может, кто-то даже и заметил его, но не обратил внимания, такой у него был интеллигентный, свой вид. Курточка, галстук, борода, папка в руках... Нет, папки, помнится, не было. Но не оставил же он ее в читальном помещении? Ничего не оставил, ничего у него там не пропало. А и прийти без папки не мог. Или мог? Вот ведь, Симеон Кондратьевич, поди суди о достоверности чужих свидетельств, если сам спустя всего лишь несколько лет не можешь твердо сказать, была ли у тебя тогда в руках папка. Да и бородаки вроде еще не было... но это можно уточнить по датам. А вот чувство свежо. Лицу неприятно ощущение липкой паутины — она была прозрачна, как здешний воздух, и зарастала тотчас же за спиной. Залежи папок, сплюсненные черепа. Вдруг споткнулся о банную шайку, подставленную на полу под капель — теперь осталось сделать еще несколько неверных шагов, чтобы увидеть перед самым носом такую же шайку в медвежьих когтистых лапах и услышать недовольный голос:

— Явился, наконец!

6

Медведь стоял на задних лапах, облезлый, похожий на дворника, в островерхом матерчатом шлеме на голове и с козьей ножкой в пасти; шайку он держал перед собой, как блюдо старинного гостеприимства. Окна в полукруглой зале на треть забиты фанерой. За спиной медведя виселся громадный глухой шкаф с приклепленной к дверце афишей: «Волшебный фонарь. Вечер удивительных сенсаций и иллюзий в натуральную величину». На шкафу был виден сам этот фонарь, а еще пыльный стеклянный цилиндр с рукописной надписью: «Человеческий мозг в спирту». Ни того, ни другого в банке, однако, не осталось, только усохший комок прилип к стеклу. Остальное пространство было загромождено кипами бумаг, папок, газет, перевязанных бечевками и сваленных одна поверх другой прямо на полу. Спрессованное собственной тяжестью, это слоистое вещество слипалось в одну неразделимую первобытную массу, кое-где оно оползало, как тесто. Прозрачные мокрицы слизывали следы выдвленных чернил, имена незнатных жителей земли, от которых не оставалось теперь даже голосов; копошились внутри трупные черви, превращая в труху остатки жизней и загадки смертей, шепотки доносов, объяснения в любви — все исчезало бесследно, как не исчезают даже людские тела, а разве что гриб, не оставляющий после себя и твердой косточки. Подгнившим временем пахло здесь, заплесневелой порченой памятью, мышинным пометом и отсырелым водочным перегаром. Не эти ли запахи чуял Экклезиаст, говоря о земной тщете?

7

Но все это мы ощутим потом, когда немного придем в себя. Вначале же Антон увидел лишь плохо выбритое болезненное лицо служителя в сером рабочем халате.

— Почему один? — спросил тот. Красные глаза его были подернуты мутной пленкой служебного безумия. Лизавин открыл рот, чтобы ответить, но на служителя напал вдруг неудержимый чих. Где-то вдали насторожилась, наострила уши кариатида. — Пр-р-так, — мотнул головой служитель, избавляясь от последнего приступа и вытирая нос полой халата. — Каждый раз одно и то же. Как хочешь, начинай пока один, ждать некогда. Да тут немного.

И прежде, чем Лизавин успел осмыслить его слова, он продемонстрировал будущему кандидату наук всю бредовую простоту ситуации — безо всякого ключа открыл высокую дверь, выходящую прямо во двор, как анальное отверстие, которое есть ведь и у кариатид наряду с недремлющим скульптурным зрачком. Впритык к дверям стояла телега. Возница равнодушно ожидал погружки.

— Вон из того угла носи, — сказал служитель, и Лизавин, представьте себе, принялся таскать пачки, заменяя или оттягивая этой нетрудной помощью объяснение, даже с глупым, почти благодарным чувством, что эта деятельность как-то оправдывает его проникновение в запретные места и зачтется в случае чего.

8

Как он углядел среди этих оползней свой сундучок? Теперь даже не вспомнить, что его потянуло в ту сторону. И он сам поначалу не понял даже, что узнал этот футляр от швейной машинки «Зингер», только поплотще, эти зеленые от плесени гвоздики и латунные уголки, будто виденные во сне, в беспамятном младенчестве или еще до рождения — ложное воспоминание о не виденном никогда. Замка на сундуке не было, деревянная ручка полуоторвана. Стенки как будто испачканы черным — обгорели. Из-под крышки высвободился запах, хранившийся бог весть сколько лет: запах лампового керосина, гари, клопов,

запах болезни, прели, сухих, но уже подгнивших трав — проба воздуха, нечаянно попавшего сюда на хранение, вздох исчезнувших времен, а может, и частица дыхания того, кто наклонился над сундучком последний раз, закрывая его наглухо... — приготовиться бы заранее, уловить в пробирку, чтобы потом вникать в состав, способный много сказать душе... Неужели и это прибавило воображение после? — трезвый ум требовал предположить, что сундучок уже открывали, должны были открыть хотя бы для того, чтобы решить судьбу содержимого. Но либо здесь неуместен трезвый ум, либо остатки запаха все же держались, как держалась в углах поволока седой паутины, в ней невесомые мумии двух паучков — верные до конца стражи уцененных сокровищ. Несколько фантиков были перевернуты исподом вверх, и почерк вставил сердце Лизавина вздрогнуть.

9

Когда он обернул к служителю растерянный взгляд, тотпил лекарство из медицинской мензурки с делениями.

— Чего нашел? — неустойчивые кроличьи глаза восприняли наконец Антона. Взял из медвежьей пасти цигарку, пососал, не закуривая, и вернул обратно. Запах спирта, испарившегося, должно быть, из цилиндра и уже испорченного в перегар, понемногу перебивал все прочие. Обостренный сыростью, он щекотал ноздри, и Лизавин не сумел ответить — теперь вдруг на него напал чих. — Что за сундучок? — наклонился тот над крышкой. Изнутри она была тоже оклеена разноцветными фантиками. — Инвентарного номера нету? Ну, не трожь пока, оставь. Хотя сбоку горелый...

— А-а, — беспомощно показал Лизавин внутрь, на содержимое, но закончил столь же беспомощно: — пчихи!

— Собираешь? — без слов понял служитель и взял в пальцы несколько фантиков. — Так они ведь испорчены. На обороте-то.

— А-а, — продолжал мучиться Антон Андреевич, и, удивительное дело, собеседник понимал этот его язык даже лучше членораздельного, как собственный, проникая помимо слов не то что в мысли (Антон о таком и не думал), а в подсознание.

— Ну, бери, если нужно. Тогда здесь вынеси, там могут не пустить. А сундучок пока оставь. Тара у тебя есть своя?

— А-а, — приступил Лизавин, но от неожиданности или от чего другого не закончил — чих прошел так же внезапно, как начался... То есть какая могла быть тара в святилище, куда запрещен был для проноса любой портфель? Антон вспомнил, однако, про сетку-авоську, которую всегда носил в кармане для магазинных okazji. Фантики, освободясь, расползались, как опара. Бдвоем запихивали их, сосредоточенно сопя друг другу в лицо перегаром, сталкиваясь лбами. (Ах, кому не знакома эта способность хмелеть от чужой выпивки и заражаться чужим безумием! У некоторых она бывает развита до смешного.) Под фантиками показалась сложенная вчетверо афиша, она очень пригодилась для обертки, потому что бумажная мелочь продавливалась в ячейки сетки. Время со слезным звуком капало в таз, в отдаленной конюшне еще не почувляли тревоги, но Лизавина сосала тоска авантюры, в которую его вовлекал непонятно кто и непонятно зачем. Сказать бы, чтоб это оставили здесь, и потом здесь поработать... Но с другой стороны, кому это покажется ценным, кроме него? Сожгут. Неизвестно чья ерунда. Если спросят, скажу, как было... мол, заблудился, попросили, я не мог отказать... Господи! сочинить можно правдоподобней, а это выглядит прямо как сюжет Симеона Кондратьича. Нехорошо. Лучше что-нибудь другое, ну, скажем...

10

Дверь захлопнулась за спиной. Большая лужа натаяла посреди двора. У сарая лежали остатки истраченной за зиму поленицы. Процокала по бульж-

нику лошадь. Возле покосившихся ворот, на заборе трепетали полуоборванные ссохшиеся объявления, афиша с тонконогими буквами заголовка в черных тяжелых калошах по моде начала века.

11

«МАССОВАЯ ВСТРЕЧА 1923 ГОДА

начнется в 12 часов ночи по сигналу оглушающего взрыва заряженного динамитом прибора и светло горящего над городом фейерверка.

На площадь Свободы (бывш. Торговая) движется украшенная темным цветом и черными флагами с лозунгами важнейших событий 1922 года повозка. На ней сидит фигура, изображающая дряхлого старика (старый год). Фигура громким голосом объявляет прошедшие события 1922 года. Участвующие массы шумными овациями провожают фигуру. Звучит погребальный салют: три залпа ружейных выстрелов. После салюта от клуба имени Красного героя товарища Перешейкина по тому же пути медленно движется ярко разукрашенный красными флагами и лозунгами предполагаемых важных событий 1923 года автомобиль. На нем стоит светящаяся фигура юного мальчика. Фигура громким голосом объявляет события, намеченные в 1923 году. Сбравшиеся принимают ее овациями и криками «Ура!»

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях урегулирования жилищного вопроса предоставить всем гражданам, проживающим в частновладельческих домах, право самоуплотнения до 15 апреля с. г. с тем, чтобы на каждого жильца приходилось не более 16 кв. аршин».

«Ввиду того, что вывешиваемые плакаты, воззвания и объявления беспощадно срываются и уничтожаются как контрреволюционными элементами, так и бессознательными озорниками, предупреждаю, что виновные лица будут арестовываться и предаваться суду

Начальник милиции АРЕСТОВ».

12

Афиша и несколько объявлений, заскорузлых от грязного клея, кое-где ободранных с мясом, свидетельствовали о коллекционерском азарте. Об этой самоотверженной страсти заставляли размышлять и некоторые фантики. Около десятка из них, например, имели надпечатки денежных талонов, вернее, именно безденежных, они так и назывались: «Талон на безденежную выдачу» — хлеба (5, 10 и 20 фунтов), дров, керосина, ржи, каждый со своим рисунком; особо были детские талоны на патоку (тянучка «День Ангела» с изображением знакомого херувима). Чтобы оставить талон в коллекции, надо было, возможно, отказаться от продуктов. Если угодно, вот еще духовный всплеск: на фантичном боне ценой в тысячу рублей дарственная надпись: «Дорогой Роксане на долгую память». На обороте — черноволосая красавица с лейкой из популярной песенки ушедших лет:

А наутро она уж улыбалась
Под окошком своим, как всегда,
И рука ее нежно изгибалась,
И из лейки ее текла вода.

Упомянем также и отстуканный на машинке фантичный билет «На прослу-

шивание радио в течение 2 мин., цена 1500 руб.», фантичный мандат «Нечайского санитарного диктатора», а из бумажек другого рода — обрывок чье-то памятного списка со словами: «Об исцелении рабы Божьей Евфимии, о замужестве Степаниды, для Меланьи о разрешении от бесплодия, для Федора Иваныча о защите от притеснений (и новом котле)», четвертушку из именного блокнота с виньеткой почему-то в виде палитры и кистей (очевидно, другой не нашлось в запасе типографии), прочесть можно было только:

Губернский
тов. Карл
уполномоченный
по борьбе

На обороте неизвестной рукой были выписаны в столбец четыре крестьянских фамилии (*Меринов Федот, Загребельный Иван, Губанов Илья, Викулов Пров*). Вообще же все чистые обороты листков, даже иногда с переносом на сторону с рисунком, были заполнены почерком Симеона Кондратьевича. Видно, в какой-то период бумажки подбирались им не только из коллекционерского интереса, но еще из нищенской нужды.

Об этой нужде свидетельствовала и старая, почти выпотрошенная амбарная книга купца Басалаева; в сущности, там оставалось четыре листа, и то оборванные. На первом еще шел хвост старого списка, который начинался рожью, а заканчивался далматским порошком от клопов. Тут же, в конце листа рукой Милашевича были выписаны несколько неизвестно к чему относящихся заголовков — возможно, перечень неосуществленных замыслов: «*О словах, или Начало новой веры*», «*Ум цветка, или Попытка счастья*», «*Федор Иванович и Гертруда*», «*Ковчег, или Камень еще пригодится*», «*Утраченный сад, или Божья хитрость*» и т. п. (Симеон Кондратьич любил старомодные двойные наименования). Последний заголовок, между прочим, перекликался с названием упоминавшегося ганшинского трактата, но непонятно, какое он имел к нему отношение. Еще менее понятно, что значил тот же «Утраченный сад» в другом списке, на следующей странице. Несмотря на оборванное начало, ясно было, что Милашевич составлял здесь черновую опись предметов, сохранившихся в разоренной ганшинской усадьбе, ко времени создания в ней музея (фламандский кабинет, декорированный черепахой на фольге, данцигская резная рама от зеркала и т. п. — вплоть до какой-то мерной линейки с насечкой). Разными чернилами и, очевидно, в разное время в этот список добавлялись предметы, которые Симеону Кондратьевичу удавалось разыскать по деревням; среди них граммофон фирмы «Пате», а также машинка для тасовки игральных карт, мухоловка с часовым механизмом и, наконец, этот самый «Утраченный сад» с пометой в скобках: «3 куска». Эти «3 куска» окончательно сбивали с толку; ну, да и бог с ними. Полстраницы занимали в книге маловразумительные записи беглых садоводческих наблюдений: «*27 апр. № 2 семядольки. № 4 нет всходов*» и т. п. Особого интереса ничто в этой книге не представляло, и Лизавин довольно быстро отложил ее в сторону.

13

Упомянем также чье-то письмо на четырех листках хорошей бумаги, испанной с обеих сторон некрупным ровным почерком. Начало и конец с указанием адресата и подписью отсутствовали, но по содержанию вычитывалось, что пишет мужчина к женщине, с которой встретился неожиданно после двадцати лет разлуки; когда-то их связывали сложные, видимо, любовные отношения, но потом он женился на другой, она тоже вышла замуж — письмо звучит как запоздалое объяснение «*вдогонку, после прощания*». («*Мы ухитрились при*

встрече даже не задать друг другу вопросов, которые висели в воздухе»). Тут любопытна сама ситуация встречи: женщина, как можно понять, в замужестве сменила фамилию, и он, приехав к ней, должно быть, по делам, не предполагал, кого увидит: «Я, видимо, оказался растерян, просто не готов к такой встрече. Фамилия, которую я знал по бумагам, с тобой не связывалась никак. Прими, кстати, запоздалые поздравления, за все годы сразу. Я даже это упустил сделать». Похоже, что и после двадцати лет встреча вызвала в нем смятение, отчасти комичное: «Почему я не остался хотя бы на ночь?» — считает нужным оправдываться он и сам называет свое поведение «бегством». Из письма возникает образ усталого, ослабевшего, но когда-то, видно, незаурядного человека, дореволюционного эмигранта, не нашедшего места в новой жизни; он рассказывает о своем не слишком счастливом и не слишком долгом браке — все прошло, жизнь не сложилась, бывшая жена и сын теперь неизвестно где, но он никого не винит, ни о чем не жалеет. Ну, и в том же духе. Лизавин так и сяк пробовал примерить это письмо: не Александре ли Флегонтовне оно адресовано — нет, не сходилось. Возможно, Милашевич хранил его, собираясь как-то использовать в литературных целях, сказать трудно. Ни к каким известным сюжетам его жизни оно явно отношения не имело, а потому, увы, пришлось отложить его в разряд посторонних.

14

Чтобы покончить с разделом сравнительно крупных бумаг, из чисто научной добросовестности (право, не знаем, что посоветовать тому, кого такой ученый уклон вгоняет в скуку; разве что пролистнуть сразу дальше; но Лизавинто себе этого позволить не мог), — итак, опишем еще мятую, замызганную, белыми нитками сшитую тетрадку in octavo, без обложки, опять же без начала и конца. Эту Милашевич подобрал разве что из любви к курьезам. Почерк коряв, как будто пьян, буквы чем дальше, тем все крупней и невразумительней, чернила грязные, слабые, кое-где почти невидимые, заменяются со второй страницы химическим карандашом, но он грязен еще более (там, где употреблялась слюна), а где слюна не употреблялась, совсем плохо различим. Поверхностный взгляд на эти строки, почти без знаков препинания, заставлял предположить в писавшем человека не шибко грамотного, но чтение наводило на мысль, что он был скорей — как бы это сказать помягче — не вполне умственно благополучен. «Если нарисовать молекулу она устроена как планетная система Или атом забыл Неважно Представим что на планетах невидимых как на нашей кишит жизнь...» Какой-нибудь местный Циолковский. Добавим, что страницы были перепачканы и склеены какой-то коричневой гадостью, без запаха правда, но все равно, можно понять, почему Лизавин брезговал даже расклеивать их. И зачем, собственно? С трудом разобрал он на последней обрывающиеся каракули: «межзвездная пустота нагромождение камней Нужна все время энергия...». Надо бы это вовсе выбросить, но Лизавин все не позволял себе — из упомянутой добросовестности, надеясь когда-нибудь все же прочитать, преодолеть брезгливость. А может, из жадности — он тоже любил курьезы.

15

Перейдем к вороху, покопаемся вместе с Антоном Андреевичем — хотя бы бегло; что делать, без этого не понять дальнейшего. Неровности и заусеницы от ножниц, различимые невооруженным глазом, свидетельствовали, что фантики нарезались иногда от руки или отрывались по сгибу из крупных полос, вроде тех, на которых печатался одно время «Поводырь». Это подтверждало мысль, что Милашевич для некоторых целей сам предпочитал мелкий формат, а не пользовался им вынужденно. Исписаны листки были то густо и мелко, хорошими чернилами и, очевидно, в домашнем уюте, то явно кое-как, на ходу, а

может, и на тряской телеге, химическим наслонявленным карандашом и почерком соответственным; вся запись порой состояла из оборванной, для себя, полужапы (с маленькой буквы и без заключительной точки) или даже единственного невразумительного словца. Были бумажки испачканные, как будто подобранные с земли, а к одной пристал засохший кусочек несомненного навоза; на ней, кстати, значилась загадочная и не совсем приятная надпись незнакомой рукой: «От Троицкого». Немало листков было помято; это заставляло вспомнить поэта, хранившего рукописи в знаменитой наволочке, на которой спал. Симеон Кондратьич наверняка предпочитал спать удобнее, но к такому сравнению располагали некоторые собственные его пассажи.

16

«Мысль, застигнутая врасплох, впечатление, пойманное на лету... нет, не пойманное — в пальцах осталось перышко, а то и пушинка. При методичности можно собрать из них подушку или даже перину — перышко к перышку, отборную».

«Можно накопить перышек и составить чучело, совсем как живое, — варьировалась та же мысль на другом фантике. — Нет, жизни-то в нем не будет».

Это звучало как философствование о жанре, достаточно уже известном — жанре коротких фрагментов, остановленных и укрупненных мгновений. Симеон Кондратьич со своим пристрастием к луле явно знал в нем толк. На фантиках встретишь и осу в жарком колоколе цветка, и нежную пыльцу на тычинках, и стук ложечки о стакан, шорох конфетной бумажки — радости провинциального чаепития; гудит печка, колеблется в плошке фитиль, огонек, отражаясь в стекле, переносится во внешнее пространство, будто надеется обогреть его даль. Все приобретает значительность, укрупняется: глоток горячей жидкости, шаг на улице, домашняя стирка, *гроздь пены в тазу* и еще мельче: *перепонки пены*. На ту же тему были и некоторые обрывки мыслей, вроде, скажем, такого: *«Даже не слово, а возглас, междометие, попытка слова. Евангелия составляют потом ученики»*. Или: *«ты все можешь принять, все вместить: небо, траву, клумбу, и растекшееся солнце»*... — дальше целый перечень, который можно опустить; но не о том же ли это самом: о возможностях фантичного жанра?

Однако далеко не все фантики поддавались толкованию в духе сознательного жанра, вообще какому-либо толкованию. Отчасти тут был род записной книжки, инструмент и документ повседневной многообразной работы, плод литераторского рефлекса, когда прихватываешь для надобностей или впрок всякую попутную мелочишку. Иногда Лизавин живо себе представлял, как этот библиотекарь в пенсне, в толстовке и со шнурком вместо галстука достает из оттопыренного нагрудного кармана коробок (или, допустим, портсигар), набитый фантиками, и, отделив один, делает выписку из газеты; как он, в сапогах и белом картузе, сняв с химического карандаша жестяной наконечник, останавливается по пути у забора, чтобы переписать стишок, или на кладбище надпись: *«Здесь упокоен бывший раб божий, а ныне свободный божий гражданин Никита Фокин»*; как он на базаре, на собрании, на ходу, задумавшись и забыв согнать муху со вспотевшего лба, заносит на листок мелькнувшую мысль, подробность, словцо, — повседневный мусор жизни... — и что же делает с этим дальше? Придя домой, бросает в сундучок? Или как-то использует? Может быть, как материал для той самой книги, о которой говорил Семеке?

В иных фантиках явно можно было увидеть черновые наброски к неизвестным, а иногда знакомым сюжетам — уточненную деталь, поворот действия, реплику персонажа. Вновь возникало видение памятной лужи: *«Плот подплыл, мы на него всходим, и кормчий нас ждет. Осторожно, говорю я, не оступись»*. Как будто Милашевич примеривал продолжение, торжественный эпилог к давнему рассказу, с возвращением и сбывшейся встречей: *«Ну, вот, говорил, еще будем чай пить?»* — есть и такая строка. Кстати, мы забыли еще раз

упомануть листок (не фантик) с записью о выстреле Гаврилы Принципа и херувимского вида мальчике: так вот, очень похожий малыш появляется несколько раз на фантиках: то играющим среди цветов и трав, то в серой левинсоновской курточке, то есть форме столбенецкого свободного пансиона; слюнка любопытства и самозабвенного усердия стекает с детской губы. Собирался ли Милашевич развить неясный сюжет? Сказать невозможно, как невозможно бывает понять, кого обозначает на фантике первое лицо. Некоторые фразы передают ощущение то ли ребенка, то ли просто человека маленького роста; кто-то ходит в сапожках с каблуками внутренними, скрытыми, высокая шапка помогает казаться почти вровень с другими, кто-то тянется на цыпочках, дергая дверную ручку вниз — на себя, с трудом удается. *«В сумерках колени больших людей, незнакомый запах, в голой руке приближается пряник, сладость глазуриной корочки на языке, и через дверной проем из полутемной прохлады снова в кипящий свет»*. Что это? Конечно, ощущение детства, мгновение непонятного счастья: ребенок с улицы вошел в комнату, его угостили пряником, неизвестно кто, ему и не надо знать, знание не даст такого сияния чуда. Но кто этот ребенок? Сам Симеон Кондратьевич? Или тут просто очередной опыт «переносного глаза»? Можно предположить у незаконнорожденного сиротское, не слишком счастливое детство — не потому ли он предпочитает связной истории мгновения, изъятые из связи? — в таком остановленном качестве они скорей могут дать желанное чувство. Фантики, помимо всего, демонстрировали странное, но довольно последовательное отношение этого философа ко времени.

17

Если бы можно было хоть представить себе хронологический порядок записей, из них, глядишь, само собой сложилось бы нечто вроде движущейся картинки, и мы ощутили бы какую-то цельность жизни в ее развитии. Но даже садоводческие непонятные заметки в амбарной книге, отмечая числа и месяцы, годом пренебрегали — что говорить о клочках. Сам способ ведения этого, с позволения сказать, дневника характеризовал именно художественно беспорядочную натуру, а не точного естествоиспытателя. О датах кое-где можно было судить лишь косвенно, например, по надпечаткам на обороте фантиков. Так, надпечатка на «Опохмельной» — «Долой пьяный угар» позволяла датировать запись не ранее чем годами нэпа. Встречались косвенные указания иного рода. Взять, скажем, начало переписанного откуда-то стихотворения: *«Уже идет девятый год Как мы имеем всех свобод»*. (На обороте карамели «Юбилейная»). Ясно, что это 1926 год. Ну и что с того? Нет, в этом невнимании к датам была своя система; некоторые записи можно было даже сгруппировать под общим заголовком.

О ВРЕМЕНИ

Длительность времени создается веществом жизни, которым это время заполнено. Для души и памяти вечность неотличима от мига, в ней все присутствует одновременно.

Что если наше устройство ума не единственно возможное, и последовательность нумерованных чисел условна?

Протянул руку — когда это было? И вот ладонь оперлась на мою. А что вместилось между началом движения и концом?

всей нашей жизни — четыре времени года, детская карусель

Семь старых рублей сейчас на миллионы считают. Так и семь Божьих дней переведи по научному исчислению.

Последняя запись, кстати, поддавалась косвенному, хотя и приблизительному датированию. К ней можно было присоединить еще вот такую: *«время, когда берешь в долг пятьсот рублей, а через неделю вынужден отдавать миллион»*; она, помимо прочего передавала характерное для Милашевича ощущение разорванных связей, усугубленное революцией. Подбиралось еще несколько подобных фантиков, где время описывалось по приметам: *«легендарное время, когда в дальних деревнях бутылку продавали за полтинник, а в ближних и того дешевле»*; *«время, когда не вырабатывалось новых вещей, а шло проживание, латание и переосмысление старых»*. Или такой: *«Это было в год, когда Голгофер снова стал шить кошельки»*. Эпический зачин без продолжения; найти ему место — значило его понять, как и такой, скажем, образ: *«место преступления перед временем»*. Или еще короче: *«брызги времени»* (между прочим — не о самих ли это фантиках? Стоило поразмыслить). В одном перечислении упоминались часы без стрелок — что-то из гипотетического рассказа. Иные строки давали Антону Андреевичу, так сказать, повод для медитации. Например: *«конца нет, начало искать бессмысленно»*. Можно было сопоставить эту запись с другой: *«По цепочке порождающих причин доберешься до основания мира, а все равно ничего не объяснишь»*, — и увидеть здесь убеждение человека, который отказывается думать о происхождении, связях, истории, искать в них истоки настоящего, как отказывается думать о смерти... Но можно было в первой фразе увидеть просто замечание о тетрадке без обложки, то-то и оно...

18

Антон Андреевич обзавелся двумя десятками картотечных коробков и постепенно рассовывал в них фантики, выделяя такого рода подборки. Например, диалоги, зарисовки пейзажные (*«Воздух настоен на винных парах, от одного дыхания кружится голова»*) или портретные (среди последних встретилось, между прочим, и знакомое отражение грустного обезьяньего личика, словно автор поспешил выбрасывать однажды найденное и приберег для нового употребления вместе с горячим самоварным боком), афоризмы (*«Чужая слюна — плевок»*), заметки на садоводческие темы, включая ботанические приметы и суеверия (*«Столетник увял — к чьей-то смерти»*) и на темы вегетарианства. Особый коробок понадобился для всяческого фольклора, в том числе записанных андекдотов и разных стишков — от рифмованных призывов: *«Чтобы избежать холеры муки, Мой чаще хорошенько руки»*, до длинного пророчества, начинавшегося строками: *«Близок, близок этот час, Бездна вод обступит нас»*. Был раздел литературных заметок (*«Вот то-то. Не в первый раз та же история. Или ты зажмурься, тресни, ослепни — или признавай, черт возьми, реальность, отражай, что показывают»*), были очевидные выписки и цитаты (*«Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?»*, *«Они жили счастливо и умерли в один день»*). Выделилась, скажем, целая подборка о запахах: *«От него пахло кремом «Олоферн»* — (как краткая метка для памяти, вроде той, что употребляли индейцы какого-то племени: они носили на поясе набор пахучих веществ и нюхали в момент, когда надо было что-то запомнить; много лет спустя запах позволял восстановить всю полноту события) — или вот это, знакомое:

Запах уксуса, прикосновение тоски, в какой прозябают души где-нибудь между раем и адом, но еще не в чистилище, в преддверье не начавшейся еще жизни, а может, смерти не состоявшейся.

способность улавливать из воздуха недоступное другим

Сборщик податей, урядник — скверно пахнет, не правда ли? А вот: фининспектор, милиционер.

Последний фантик, впрочем, можно было поместить в другую подборку, о

словах («слова-козлища и слова-агнцы» или даже — «слова от боли») — составила и такая. Особо подобрался раздел об именах. Кроме коллекции разных частностей и курьезов в ней оказались также общие размышления:

Значащие имена — не выдумка классицизма. То ли возникали они из прозвищ, которые даются ведь не зря и говорят о свойствах, закрепившихся в наследственном веществе? То ли они влияют вдогонку, заставляя оправдывать ожидания?

Возможно, имя таинственным, неизвестным пока науке путем производит воздействие на сам телесный состав и даже на извержения телесные.

Все бы ничего, да имя неосторожное! При таком-то росте! А и на понятную уже нельзя. Вот беда, Господи!

Тут, признаться, начиналось что-то не очень понятное. Или еще, скажем: «Такое имя не помянешь вслух на улице, замахиваясь кнутом, да по матушке добавляя». Едва ли не в каждом разделе находились такие странные, неизвестно к чему относящиеся записи. Что значит «волны ваши, навоз наши»? Или вот это: «нужен финн, чтобы напоминать о счастье»? Тут можно было только ломать голову — если, конечно, решить, что это имело смысл. Какие-то сравнительно крупные записи, видно, не умещались на одном фантике и переносились на другой — переносы иногда удавалось разыскать, но это лишь прибавляло недоумений. Так, уже упоминался перечень, начинавшийся словами: «Ты все можешь вместить: небо, траву...» — последним стоял у самого края листа «выездной шарабан без колес» — и на другом листке перечень возобновлялся словами: «с петухом на козлах». Чернила, почерк — все подтверждало, что это писалось одним духом; ну, а дальше что?

19

Среди портретных зарисовок у Милашевича были наброски отдельно глаз, носа, бровей, их так и хотелось приставить друг к другу. И не только их. Одну группу фантиков Лизавин даже озаглавил «Половинки сравнений». Они начинались сразу с «как будто»: «как будто ты расставил на доске свои шахматы и вдруг заметил, что у противника расставлены шашки»; «как будто его, ржавешего без дела, точно деталь ненужного механизма, подобрали, протерли керосином и вставили на прежнее место». Вот, если угодно, еще: «так льдины рассыпавшегося поля с обломанными кромками пробуют совпасть, соединиться опять»; или: «словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет за облако», или: «так рождается под растопыренными пальцами младенца нечаянный, еще не объясненный мир», или: «это как заряд электричества в туче, пусть и не возникло молнии». Антону иногда чудилось: он знает, о чем это, и может найти недостающую половинку, во всяком случае соединить сравнение с собственным чувством. «Забава на вечерах в Общественном собрании: — словно подтверждал такую возможность Милашевич, — держа в руке половинку разрезанной карточкой, найти в танцующей толпе человека со второй половинкой — он, небось, тоже ищет, тычется невпопад и не может осуществить целое: «Что кому, а зуб неймет». У Симеона Кондратьевича, видимо, был интерес к подобным забавам. В одном его рассказе дети развлекаются известной игрой: рисуют по очереди на загнутых частях бумаги один голову, другой туловище, третий конечности, не видя нарисованного друг другом, так что в результате возникают немелкие монстры то с птичьим клювом, мохнатым брюхом и рыбьим хвостом, то наоборот, с рыбьей головой и крыльями, но с человеческими ногами в башмаках — нечаянные гротески, какими полна жизнь, утраченные на древнюю, как мир, тему. Многое у Милашевича напоминает такие гротески: из фантиков вдруг выглядывает рогатое лицо с человеческими зубами, над клумбой, как цветок, поднимается раструб граммофона. Иногда за этим Лизавину чудилась какая-то игра, не обязательно даже умышленная, порой спо-

собная удивить и озадачить самого писавшего. Антон Андреевич подумал об этом однажды, когда стоял в очереди за майонезом; она была не такой уж большой, до угла, но почему-то совсем не двигалась, и он несколько раз порывался уйти, посмеиваясь над своей кулинарной слабостью, но каждый раз жалел уже потерянного времени и терял его все больше; а потом выяснилось, что майонеза уже не дают, да кажется, и не давали, только обещали выбросить — и вдруг все это соединилось с фразой «Место преступления перед временем». Как разгадка с загадкой. Слово для этого и была задумана. Если тут и впрямь была игра, то неизвестно, с кем и для чего затеянная. Но может, это вышло случайно, и не стоило искать здесь связи более глубокой, подозревать иногда чуть ли не шифр. С таким же успехом (и смыслом) можно было подбирать совпадения неровностей и заусениц на разрезах, точно составлять из черепков ископаемую вазу. Так ведь вопрос, была ли ваза? и не предупреждал ли сам Милашевич против имитации чучела? Кстати, записи о чучеле и перине тоже ведь стали рядом не сразу и не сами собой — попробуй, как Лизавин, подбери их из вороха, который, выпроставшись, разросся и стал настолько больше своего бывшего вместилища, что вряд ли влез бы обратно.

20

«Всякий ли нос ко всякому ли подбородку приставишь? — записал однажды Антон на небольшом листке. — А если уж соединились такой нос с таким подбородком, то это определяет устройство гортани, а может, и пищевода, зубов и желудка». Между прочим, он стал носить с собой в кармане такие же листочки на случай мелькнувших попутно мыслей и наблюдений. Повлиял ли на него пример Милашевича (как повлиял на стиль, на построение фразы, что естественно и даже неизбежно при многолетнем близком соприкосновении)? Антон Андреевич над этим не задумывался, пока сам не обнаружил эту свою новую манеру, перебирая собственные разрозненные записи.

«Морозные цветы на стекле, оказывается, тоже не совсем произвольны. Они растекаются по невидимым глазу направляющим царапинам, а законы составления ледяных кристалликов вычисляются математически».

«Что мы можем сказать о другом человеке — не отдаленном от нас временем, пространством, условиями, нет, о любом, живущем рядом? Нам доступна лишь открытая взгляду поверхность, внешние факты, и мы толкуем их в меру своей способности и предрасположенности. Если вообще удосуживаемся толковать».

«Более того, достоверно ли мы знаем о себе сами? И почему с недоумением оглядываемся, обнаружив, что с нами произошло?» — записано было на другом листке, стерженьком другого цвета, и, видно, в другое время, но явно в связи с предыдущим, хотя обе записи он успел с тех пор забыть — как и вот эту:

«Мы барахтаемся в потоке, не чувствуя ни вещества его, ни направления. Да есть ли оно, направление?»

Антон Андреевич нигде не проставил дат, но мог поручиться, что некоторые из этих записей разделяют месяцы. Почему, однако, он не позаботился о датах? Может, сам того не сознавая, повторял и здесь Милашевича — а теперь убеждался, как складно может все ложиться подряд, как будто так и задумано. Вот, у него и об этом нашлась бумажка:

«Связь может устанавливаться как будто сама собой. Обернешься — кажется что жизнь все-таки обладает единством и направлением, о котором сам не подозревал. Возвращаешься из года в год все к тому же, нечаянно уточняешь, наращиваешь все то же понимание — или все то же недоумение».

21

Отобрав страничек пять наиболее эффектных и самостоятельных фрагментов: мыслей, зарисовок, юмористических афоризмов, — и снабдив их предисловием о Милашевиче, Антон Андреевич попробовал как-то предложить это для публикации одному журналу; прием, который он там встретил, заставил его

skonфюзиться. Что ж, — объяснил он сам себе, — на людей посторонних не производит впечатления набор перышек. Мыслишку или словцо способен выдать каждый из нас, иной раз не хуже, чем знаменитость. И образы, глядишь, приходят в голову, и метафоры, и сравнения — хоть издавай. Кто может, так и делает, печатает при жизни страницы из записных книжек или из дневника; читаешь — ая, не звучит. И не хуже, чем у великих, а не звучит. Надо быть птицей, тогда и перышки заиграют. А для кого существовала такая птица, как Симеон Кондратьич?.. Он сидел иногда над этими рассыпными листками, как над пасьянсом, где колода была неохватна, а карты — непонятных мастей; чтобы сложить его, надо было что-то знать о жизни Милашевича — но томило и обратное чувство: можно что-то понять в Милашевиче, составив листки. Что значил этот столбец странных пар: *«мужчина и женщина, имя и человек, конфета и фантик, голос и отзвук, замысел и история»*? — к чему относилось это восклицание неумного мистификатора: *«Обманули дурака на четыре кулака!»*? — о чем этот стон боли и возглас блаженства? и вопрос: *«разве мы рождаем только тела?»* — и заклинание: *«еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбудется, разрешится»*? Кто смеялся на одном листке так долго, не в силах остановиться? Чей это фантастический диагноз: *«Должно быть, там внутренний в теле порок. Каверна, трещина. Скорей всего, в голове. Потом разошлось дальше. К весне накопились воды, потекло из подмышки»*? Кто был этот квадратный, с кривыми ножками и шишечками на лбу? *«Серп и Молот стал грозен, с ним лучше не связываться»*. Укол смещенного чувства, смещенный язык, который надо понять. *«Это входит щекоткой сквозь поры, проникает в нас с ветром, из земляного навоза, течет в волосы»*. — *«Волос, впрочем, вовсе не осталося»*, — пристраивалось случайное, бессмысленное продолжение, явно не о том, но в другой раз предлагала себя другая связь, уже на что-то похожая: *«Вот В. В., до восьмидесяти дожил, и ни одного волоска седого»*... Забавно, что говорить. Можно было без конца поворачивать, примеривать сцепления, выстраивать иногда целые цепочки, но какой-то осторожный инстинкт подсказывал Лизавину, что слишком усердствовать тут все же не надо — бессмысленно, бесполезно и малость уже отдает сумасшествием. А под руку, словно дразня, в ответ тут же подвертывалось что-нибудь этакое: *«Зачем тебе туда? Разве там лучше? Но озадачивает и притягивает твердость прозрачного воздуха, и силишься пробить его головой, проникнуть за мнимый предел вместо того, чтобы пировать в комнате, где с блюда еще не доедено варенье»*.

22

Строки перемешивались в памяти, выросло ощущение месива, непонятной жизни, там булькали болотные пузырьки, выявлялись нераспознанные существа, в загончиках за временными перегородками густо шевелилась живая плоть, колыхалась мякоть, соприкасалась с другой, вываливалась на улицу, росла, расплывалась, сохла, портилась, старела, переставала быть теплой, чернели на глазах стебли, сворачивались обугленные стручки, плакал на камне герой, бледная почка раскрывала ресницы, отбрасывала решетчатую тень непонятная башня, звенели разбитые стекла, там сияли холмы и белые долины, шевелились в ущельях реки из чистого дыхания облаков, распаренная земля наливалась молочным соком и в лунном свете кто-то приплясывал на кривых ногах, сам для себя издавая музыку, таяли призраки домов, ветвей, деревьев, растекались в почву белые корешки, страх и торжество, боль и восторг были смешаны, как в любовном сонтии... Лизавин погружался в этот насыщенный раствор, как в воздух полудремы: что-то здесь шевелилось, колобродило, звучал в пространстве разлитый, невыявленный голос. *«Еще немного, еще чуть-чуть... вся наша жизнь была невольным сопротивлением этой легкости и свободе... найти слова, чтобы сравняться с ней хоть на миг... Бесплотные частицы, избавившись от силы тяжести, от умственных объяснений, готовы были свободно испробовать друг друга, как это дается в гениальные мгновения сна. Не хватало лишь ниточки, чтобы вокруг нее начали выделяться, выстраи-*

ваться кристаллики. Иногда Антону казалось, что он уже будто угадывает ее, надо было только ухватить ее и вынести из глубины. Но, вынырнув на поверхность и придя в себя, он с усмешкой узнавал в своей добыче не более чем слова прилипчивого куплета:

А наутро она уж улыбалась...

Только в груди отзывалось как будто гудение оборвавшегося конца: *Так больно, так тяжко. Неужто не слышишь? ну, вот же я, вот...*

23

После долгого пребывания в воздухе Милашевича Лизавин возвращался в окружающий мир с чувством легкого головокружения. Комната казалась не совсем знакомой, тень двигалась своим путем по изломам пространства, отнюдь не повторяя движений твоей руки, и не замирала, когда замирал ты, бумажки на столе были далекими и мелкими от расстояния. «Металлические опилки без магнита», — записал на листке мелькнувшее чувство Антон Андреевич. Пододвинул коробок, чтобы поместить эту запись, под руку попался другой листок: «частицы в напряженном пространстве». Он усмехнулся чему-то, взял опять ручку и дописал, уточняя ощущение: «Силовое поле времени, линии судьбы».

3. Детские игры

1

Так писал Антон Лизавин, сидя за столом у лампы. Свет ее оставляет неразборчивой обстановку окружающей жизни, зато с непривычной резкостью лепит лицо, склоненное над бумажками. Не сразу его узнаешь, право. То ли тени под глазами увеличивают их — нездоровые, страдальческие даже? и щеки в таком освещении выглядят запавшими. То ли борода не стрижена дольше обычного и отросла чересчур, пожалуй; в нее словно ушел запас волос, а залысины врезались глубже, увеличив выпуклый лоб. Складки прочертились резче, у крыльев носа и особенно между бровями — но опять же не сразу поймешь, контрастность ли это теней или время постаралось.

Сколько, в самом деле, прошло с тех пор, как он, и. о. доцента в областном пединституте, по случаю собственного тридцатилетия с иронией, но не без удовольствия оценивал анкетными пунктами этакую скульптурную завершенность своего состояния и очевидность предстоящего пути? Можно, конечно, посчитать, напрячь арифметическую мысль, вычестить из цифр цифры. Не у нас — у него самого это потребовало бы именно специального напряжения. Для памяти прожитое время вообще сгущается неравномерно, есть пустоты безразличные и потому как бы выпадающие из счета — не в арифметике дело; а тут еще сказывалась умственная усталость от многомесячных и, должно быть, не совсем безвредных занятий: когда начинаешь вдруг говорить вслух с несуществующим собеседником и слишком знакомым становится чувство одновременности жизни, помянутое Милашевичем. Видения, возникавшие из букв, строк, снов, из игры воспаленного воображения, занимали в ней место более близкое, чем фантомы институтской поры или даже нынешняя библиотечная служба. Выстроить в ряд цепочку событий, перенесших его из одного состояния в другое, и то оказывалось непросто. Вроде и цепочки-то никакой не было. Была круговерть, растерянность после внезапных похорон отца, было стечение обстоятельств. Была многодневная бессонница — туман, паутина, мутная взвесь вместо мыслей и чувств. За стеной у старухи-соседки, дальней родственницы Лизавиных, жила женщина, едва знакомая по Нечайску. Антон подобрал ее на столбенецком вокзале, растерянную, на перепутье, ушедшую с легкомысленным чемоданчиком от мужа — не к нему, он-то знал, что не к нему, но подхватил, пристроил рядом с собой на время — как будто мог объяснить, зачем и как с ней быть дальше... Нет, конечно, поиск первопричин следовало начи-

нать еще дальше — когда он зашел с Максимом Сиверсом, заезжим гостем, случайным московским знакомцем, в дом к Косте Андронову, нечайскому радиомастеру, и там оба впервые увидели эту Зою, Костину жену. То есть Антон-то ее знал еще девчонкой, но впервые увидел женщиной, странной в своей болезненной красоте. В Нечайске знали, что эта бывшая библиотечкаря вскоре после замужества перестала говорить, что-то с ней случилось после гриппа, скорее всего на нервной почве, хотя кое-кто и опровергал это мнение, уверял, будто слышал, как на базаре она своим голосом спрашивала, почем чеснок. Во всяком случае, немота ее была странной: у Антона все время оставалось ощущение, что она в самом деле может и заговорить, если понадобится, просто ни разу не возникало такой необходимости, другие в ее присутствии становились говорливы за себя и за нее, даже с избытком, особенно Костя, простодушный байбак в тренировочном костюме, уже вздутом на животе, добрый малый, которого угораздило же влюбиться в женщину, непонятную и, в сущности, недоступную, хотя она и считалась его женой. Антон видел ее тогда единственный вечер. Он уехал из Нечайска раньше Сиверса и мог лишь догадываться, что у них там произошло, но необязательно ему было даже знать, он ведь потом сам встретил Зою на вокзале не совсем случайно, он ехал к ней в Нечайск и потом искал ее в Столбене, хотя не сразу согласился себе в этом признаться. Это было нелепо, если угодно, безответственно — после единственной-то встречи — у него ведь уже назревала своим естественным чередом женитьба на совсем другой женщине, вопрос был только во времени. А тут все сошлось в несколько дней — сорвалось, захватило внезапно, как смерть отца, с ней совпало, переплелось. Тогдашнее состояние Антона можно было, конечно, назвать ненормальным; не в его натуре все же было искать приключений, и за звездами с неба он вроде не тянулся, вполне хватало радостей устойчивой жизни. Какие-то его поступки, движения, даже неподвижность и впрямь могли вызвать недоумение, он порой способен был дать себе в этом отчет, и тогда видел себя со стороны дураком, а ее дурочкой больной, бессловесной, красоту которой к тому же явно преувеличил. Тут, правда, не обошлось без подсказки; эти слова вымолвила за него однажды женщина, уязвленная, что ни говори, внезапной, нелепой изменой такого, казалось бы, надежного, прирученного любовника. Но эта нелепость даже облегчала ей беспристрастное понимание и уверенность превосходства.

— Ну, милый, — усмехнулась Тоня при случайной встрече. — Знала я, что мужчины бывают слепы, но ты... Бедненький ты, бедненький.

Что мог ей ответить Антон? Что зря она так? Что ничего и нет на самом деле, только затмение ума — глядишь, временное? Что он сам себя не понимает? Нет, в слова ничего не укладывалось. Он лишь отводил взгляд, как нашкодивший, но упрямый, не обещающий исправиться щенок.

— А ведь это не по тебе, — поджала Тоня острые губы. — Ты плохо кончишь.

Помада у нее была темная, веки подсинены по столичной моде, а кожа лица уже немолодая — Антон впервые это увидел, и во всей ее подтянутой фигуре почувствовал ему уязвимость. «Бедные мы все, бедные», — вот с чем он соглашался искренне.

2

При всем том не следовало ему остальные дела, житейские и служебные, считать пустяками и недоразумением. Тут он был неправ. Смерть и всякие там чувства — это, что говорить... и говорить нечего, только склонить почтительно голову. Но и отчет о выполнении кафедрой соцобязательств по повышению уровня тоже требовал уважения. Неясная история с бабой, которую он поселил у себя (пусть за стеной, даже, если быть точными, через коридор) породила почти мгновенно анонимное письмо в институт. С одной стороны опять же мать какая-то, не стоило разговора. Но с другой стороны на кафедре ждали как раз проверочную комиссию, и такие сигналы, хочешь не хочешь, портили картину,

требовали какой-то галочки. Мог бы и сам понять. Его и трогать никто не собирался — что с того, что Клара Ступак устала именно на него, цитируя тезку-классика? — «В человеке все должно быть прекрасно», — как будто лично Антон Андреевич особо отвечал перед Антоном Павловичем за выполнение этих щекотливых пунктов. «И лицо», — выдержав жесткую паузу, напоминала Клара Ступак, председатель месткома, а Лизавин, все еще не принимая взгляда в свой адрес, в туповатой рассеянности, которой было отмечено все его тогдашнее поведение, смотрел на сослуживцев. Свет, бледный, пыльный, придавал воздуху стекловидность увеличительной чечевицы, но лица успевали привычно скрыть все, что могло в них высветиться изнутри, под поверхностью непрозрачной плоти: лишь крупные поры на сыром ландшафте, сок жирных выделений, ущелья и складки в наносах потной косметики, волоски, точно отдельные прутья, и во рту не у всех, увы, жемчуг, разве что золото — но кто же виноват, господи, кто виноват, что слепой торец стены за окном загородил небо и землю, что время жизни прокисает на собраниях и в очередях за растительным маслом? Несправедливо... Нельзя с нами так. «И одежда», — переходила Клара Ступак к следующему пункту обязательств. Тут Лизавин другим заведомо уступал, и осматриваться было излишне, но ведь это кто как может достать. С этим, может, еще трудней. Хорошо Кларе, она сама шьет, хотя стоило бы ей делать платья чуть длинней, чтобы прикрывать все-таки стародавические свои коленки, выпуклые, как наколенники. При всем том незачем было ему так упираться в эти коленки тяжелым бессмысленным взглядом, от которого она вдруг осеклась и, словно задохнувшись, не могла добрую минуту вспомнить пункт следующий.

— И душа, — подсказал Антон Андреевич. Из самых сочувственных побуждений, ей-богу. Все в той же, можно сказать, рассеянной задумчивости. Но опять же лучше бы ему промолчать, он сам это понял тут же, увидев, какая передернула ее судорога; а у всех прочих осталось впечатление намека, непристойности или вызова.

— Да! — исходила, текла в истерике Клара. — Да, Антон Андреевич, и мысли, и моральный, товарищ Лизавин, и морально-политический!..

3

Паутина, квасная отрыжка, дыра на пустом месте. В перерыве завкафедрой Голуб Спартак Афанасьевич удивился: «Ты куришь?» — подхватил успокаивающе под локоток, повел по коридору между мужским туалетом и кафедрой. Но сбоку посматривал настороженно, испытующе на этого новоявленного курильщика: не таит ли он за пазухой еще сюрпризов? Над дверями кафедры и туалета висели электрические часы, причем туалетные спешили на двадцать минут, а кафедральные в какой-то момент показали точное время, но по чистой случайности, ибо они вообще стояли. Станным образом тон и даже словарь их беседы менялся с приближением к одному из этих географических полюсов. «Нервы, нервы тут ни к чему, — добродушно ворковал Голуб у туалетных дверей. — О чем вообще речь? Отнесись с юмором». — «Повысим уровень юмора за пятилетку, — постарался попасть ему в тон Лизавин. — Если можно записать в обязательства моральный уровень...» — «Ты что, против сообязательств?» — «Почему?» — сбился Лизавин; уже чувствовалось что-то не то, уже действовала близость кафедры. «Сам же голосовал». — «Голосовал, конечно». — «А если вдруг коснулось вас лично, так уж сразу». — «То есть... причем тут лично?».. — но уже достигнут пункт поворота, уже на горизонте туалет, и Голуб расстегивает пуговицу под галстуком, облегчает надувшийся кадык. О чем в самом деле речь? Только об этом. О совпадении и рефлексе, об игре в пароль и отзыв, смысл которой: устойчивость, самосохранение, спокойная общность со всеми. «Ты что, считаешь себя лучше других?» — спросил, наконец, Голуб, прищурясь. «Почему лучше? — постарался Лизавин найти ответ как можно более скромный, располагающий и успокаивающий: он ведь тоже хотел отвести неясную, но ощутимо набухавшую угрозу. — Я просто

другой. Особенный, — добавил он для юмора. И, чувствуя с тоской, что вместо юмора получается все хуже, поспешил поправиться: — Как всякий человек».

4

Да, это уже было совсем зря. Почему произнеслись такие слова? Антон не вкладывал в них никакого глубокомысленного подтекста. Но вдруг, по пути домой, понял, что еще недавно это вот так ненароком не выговорилось бы. Что-то с ним происходило. Так голые стволы окружены были среди весны оболочкой уплотненного, ожившего тепла, его пульсирующая напряженность готовилась потянуть в рост листы из почек. Он ощущал эту оболочку как тесноту кожи, из-за нее опрокидывал, не прикасаясь, предметы, как будто занимал больше места, чем сам думал, и вызывал к себе отношение там, где прежде проскальзывал гладко, не хуже других. Хотелось шевелить лопатками, чтобы изгнать неуютные мурашки. *Передернуло ознобом крыши и колокольню. Вороны под встревоженными небесами — пародия на трагический хор...* почудилась в воздухе музыка, но исчезла, прежде чем ее удалось узнать. Река несла в себе мусор и муть, щепки, бензиновую пленку и ноздреватые облака. Прошлогодня падалица между корней окончательно перегнивала в почву. Листва обновляла смысл деревьев — без них, считай, деревья сполна не было, только ствол да ветки. Более того, его нет без этой оболочки тепла, без этой готовности и тревоги, похожей на радость, что ли? Шевелятся листы сухих газет, ветер несет над землей одушевленный мусор. *Никто нас не гнал, мы бежали сами, томясь оскоминой...* Стайка шумных мальчишек взбаламутила тишину криком, услыла дальше, но перетолченный воздух не успокаивался еще долго.

5

Дорога через детскую площадку. Девочки, прервав «классики», спорят о нарушенных законах: «Неправда, не так! Пятая проклятая, шестая золотая!» Две малявки вслушиваются с отдаления, вбирают мудрость и порядки жизни, в которую жаждут войти; у младшей золотые капельки в ушах. Мальки снуют в трепетной влаге, юркая нежная плоть, набухающие отросточки, нетерпеливость и обещание. В консервных кастрюлях каша из голубого песка, в магазине отвешивают на качающейся доске твердые камни картофеля. Богатый владелец велосипеда устанавливает очередь благодетелей. Строитель защищает от покушений свою башню из камня и песка, огрызается, отталкивает, нагромождает сверху еще немного, еще немного, сколько выдержит, чтобы наконец, дернув шнур, привязанный к основному камню, уничтожить все великолепным взрывом: «Бум-бурум-бурум, бум-тарарах!» — «Дяденька, а я, смотри, как умею! Смотри, как я, дяденька!» Тщеславие и соперничество, стыд поражения, ревность, неравенство — разве не проходим мы эту школу, когда неравны уже по возрасту, а значит, по росту, силе и могуществу? Все позднейшее прибавляет только опыта, а дяденька улыбается сверху их страстям: они для него все равны. *На ощупь, наугад, в гулкой пустоте, удивляясь и не понимая целого, с тревогой и любопытством.* Мы тычемся в потемках взрослого мира, трогаем воздух, толкуем, боясь обознаться, задыхаемся на дне кучи-малы: растащи ее, дяденька, прости руку с небес, ты еще помнишь легкими этот ужас утопленника-первоклашки, себя, придавленного толщей тел! Цветы радости на свежей траве, нежная пленка, растопыренные пальчики ловят мяч, счастьем и прелестью сияют глаза. Человеческий громадный детеныш душит пальцами тело бабочки-капустницы, лепечет любовно: «Бабочка милая, бабочка моя хорошая!» — и слово «жестокость» еще не изобретено человечеством. Боже, сколько возможностей на простой дороге, усыпанной камнями и бутылочным стеклом! Можно пройти ее из конца в конец только по кирпичам, не ступая на землю! Можно собирать пивные пробки для игры или, скажем, марки, а потом, разбогатев, купить за миллион даже марку острова Маврикий, вся ценность которой создана

опечаткой гравера — из-за этой опечатки шли на преступления, подделывали завещания, и кто скажет, что это обладание бессмысленней других? В глубине площадки асфальт был разрушен недавними работами, там начинались рытвины, прошлогодний бурьян, там на костре испытатели природы плавил в жестянке олово, а за хильми деревьями, на железнодорожной насыпи девочки собирали в букет мать-мачеху, первые, жалкие, еще не покрытые жирной пылью и гарью города цветы, их желтизна густеет к серединке, будто стекает туда — ах, Симеон Кондратьич, вы бы оценили, вы бы меня поняли. *За что тебе такое...* Додумать Антон не успел, проволочная пулька из деревянного оружия ужалила его в щеку. Хорошо, что не в глаз. Оглянулся: бурьян был дремуч и пуст, своя жизнь шла там на этаже, недоступном взрослому взгляду, под кронами прошлогодних трав, в золотистых резных дебрях, где пухлый всадник несется на звере с красным ртом, помахивая игрушечной сабелькой, гордясь движением; глаза фарфорового херувима выпучены бессмысленно. Сверху кроны шевелил ветерок, улетал дальше. В трепетной дымке на горизонте высились заводские трубы, вздымались, как горы, городские ущелья и белели над ними круглые облака.

6

С соседями Антон старался в те дни сталкиваться по возможности меньше. Даже чай себе кипятил не на кухне, а в комнате, в электрическом чайнике. Но то и дело наткался все же если не на них самих, то на их физически ощутимые, как бы охотничьи, взгляды. В отвлеченных своих чувствах кандидат наук и не подозревал, что его уже обкладывали, подстерегали, искали способ вывести его из числа претендентов на жилплощадь соседки-родственницы. Вера Емельяновна давно не покидала своей комнаты, ходить совсем не могла, почти все время лежала, но сколько она еще проживет, никто не знал — а этот и дожидаться не стал, всех, проныра, опередил. И ведь не имел со старухиной комнатой даже общей стенки, так подселил туда свою девку; теперь она ухаживала за больной, вытеснив других, имевших давние права приносить ей по утрам манную кашку да выносить горшки, не говоря уже о том, что их комнаты составляли когда-то со старухиной общую площадь. Ну, с девицей-то справиться было не проблема, она пока боялась и нос высунуть за дверь, а высунув, помалкивала, что бы ей ни говорили в спину; но этот мог предъявить дальнейшее родство по матери, да кандидатскую книжечку — а может, и еще какие козыри? Главное, никто не ожидал от него такой прыти. Видно, почуял, что дело близко, да эта еще, глядишь, и ускорит... Вот какое напряжение сгущалось вокруг Антона Андреевича, и он мог сколько угодно считать его химерой. Дескать, раз ему ничего подобного и не снилось, значит, этого нету на самом деле. Философ. Можно даже сказать, идеалист. Именно неправдоподобная его простоватость казалась особой хитростью. Между тем у супругов Титько уже материализовался — можно пощупать — финский гарнитур для ожидавшейся комнаты; у них шла своя работа ума. Мебель загромодила коридор, выперла на кухню. Обернутая бумагой и укрытая полиэтиленовыми чехлами, она имела вид модернистских скульптур. У книжного шкафа в брюхе уже созрели готовые собрания сочинений.

7

Пленка на мебели поблескивала живой слизью, превращая коридор в подобие извилистых кишок, кухню — в желудок, чулан — в аппендикс, и все внутренности дома — в отделы некоего тела; как в средневековом анатомическом описании, в каждом шла своя жизнь, и отработанные части должны были извергнуться, освобождая место. Возле Веры Емельяновны, отгороженная от соседских ядов лишь тонкими стенками, сидела, прикорнув, Зоя, чужеродная, случайная, временная песчинка. Неожиданная роль сиделки оправдывала ее

пребывание здесь, даже не позволяла тронуться дальше — нельзя было оставлять больную. Они тоже приспособились разогревать еду в комнате на плитке, много им было не надо. В форточку завела клейкая прохлада, она перебивала запахи болезни, дух телесных выделений. Комната была тесная, со старомодной скудной мебелью и вещами. Стена против кровати увешана была разнокалиберными фотографиями в рамках — лица воспитанников, прошедших через руки Веры Емельяновны в разнообразных учреждениях, где она работала, еще два пухлых, в розовом плюше альбома лежали на комодe, на салфетках с вышивкой «ришелье», кем-то подаренных. Такими же салфетками покрыт был стол и подушечки на продавленном диване, где спали в разные годы сироты, подобранные и приведенные ею прямо в дом, а теперь сидела, поджав ноги, Зоя, восхищавшая в своей немоте старуху умением слушать.

8

Приход Антона всегда прерывал ее как будто на одном и том же рассказе: про кого-то из этих детей со стены, успевших с тех пор постареть, умереть, оставить новых несмышленишей, которые в памяти все больше путались. Болезнь лишила ее подвижности; костистое некогда тело расплылось, но в путаном уме все не могла перебродить упрямая энергия времен, которым открылась было возможность окончательного устройства жизни — если бы только не вмешивались обстоятельства, не сбивались с пути неудачно взрослевшие дети. Мир приютов, коммун, колоний, детских домов выглядел в этом рассказе разумней и безопасней окружающей жизни, здесь верней обеспечивалась справедливость и норма хлеба, а главное, можно было всегда вмешаться, защитить, если что, направить на путь. Бессилие начиналось, когда они выходили из-под опеки, повзрослев лишь на вид, но имея взрослые возможности и средства для всяких глупостей, несправедливостей, обид, для преступлений и войн. Тетя Вера сокрушалась об этом, как о собственной недоработке. Она, пожалуй, все больше заговаривалась и Зою иногда принимала за кого-то другого, требуя вдруг подтверждения: помнишь? да ты его знала — но Антон зря боялся неловкости: та серьезно кивала, и тетя Вера не могла остановиться. Казалось, ей важно что-то объяснить, досказать неожиданной благодарной слушательнице; трудность была лишь в том, что всякая малость оказывалась слишком переплетена и перепутана с другими, не удавалось высвободить из-под навала лиц, обстоятельств, историй какую-то объединяющую мысль.

— Сейчас, сейчас, — сказала она вошедшему Антону в день, когда он вернулся после заседания кафедры, — точно он явился поторопить, и она оправдывалась за задержку.

— Ну что вы, — показал Лизавин великодушным жестом; лишь потом, в воспоминании, скребнули его эти слова и эта интонация. Вера Емельяновна заканчивала какую-то историю про пожар в приюте, про жестокую выходку мальчишек, заперших в кабинете директора.

— Да, еле выбрался, жив... Но доискиваться, кто сделал, не стал. Уж так их любил, так баловал! Карамель для малышей всегда в кулечке носил. Только нельзя было собирать в доме одних мальчишек, я ему говорила... — Лизавин слушал рассеянно, видения детской площадки стояли перед глазами, одновременная жизнь шла в детском доме, который расцвел краше прежних в губернской столице, в восстановленном и отмытом полицмейстерском особняке. — Ты знаешь, ну, вот тот, что против «Европейской», против гостиницы, — там Вера Емельяновна встретила вскоре Людочку с накрашенными до бесстыдства губами, ту самую маленькую пугливую Людочку, что прибыла с эшелонном ленинградских дворян, ее с таким трудом удалось отучить от привычки грызть ногти; оказалось, двое детишек остались у нее без отца, вот и вздумала выходить к «Европейской» — ну что такое, говорю, господи!.. — Антон заметил, что тетя Вера уже очень устала, ей становилось трудно ворочать языком слова. — Сейчас, сейчас, — предупредила она его успокоительное движение, и по взгляду Зои он понял: лучше дослушать. Что-то главное оставалось все же не выска-

зано, не давало Вере Емельяновне успокоиться. Соскакивала игла на слишком сжатых бороздках, лица теснились, как на вокзале, где безумная женщина пыталась накормить грудью, опустевшей без своего ребенка, чужого Петюню Сиротина с головой в зеленых болячках. Все та же жизнь смотрела со всех фотографий, прокручивалась все та же пластинка, надо было снова брать за руку неслухов, глупых, беспомощных, чтобы не одичали, не заросли грязью беспризорничества, да ведь эту же руку и кусали, бывало, вон какой шрам остался...

Рука ее не шевельнулась, она лишь думала, что показывает, и Лизавин, наконец, понял, что это уже бред; тетя Вера лишь думала, будто объясняет что-то, важное для них, которым предстояло без нее остаться.

— Ведь я что хочу, я всегда говорю, прошу все время, парами станьте и за руки покрепче, если не понимают, милые вы мои. Нет, вечером вьюшку открыли. Один Сашуля сумел проснуться. До самой войны кашлял от угара. Это который тут в середине. Премия недавно получил. Грамоту и этот... магнитофон. С песнями... борясь и побеждая. Что за музыка, не понять. А это скорость такая. Ну, один писк мышинный. Не в ту сторону. Он с мышами опыты ставил, я смотреть не могла, так было жалко. Пустил крутиться. Быстрее, быстрее. Вперед лети. В коммуне остановка... Нет, не получалось. Красноглазые мышки дергались и замирали. Состав сквозил на ходу. Взлетала на качелях девочка в пятнистом от листвы и солнца сиянии. Может, вот это. — Лица сидевших у кровати становились прозрачными, как занавески. — Так ярко... прямо в глаза. Сейчас, сейчас. Только передохнуть.

9

Точно в ответ желанию, лампа, дернувшись, раз-другой, стала светить вполнекала. Подбородок старухи ослабел, приоткрыв черный рот, но она еще смогла вспомнить себя и сжала губы. Лицо стало строгим, удлиненный профиль Дон-Кихота обращен к потолку, слеза выползла на сморщенную кожу. Возле ноздри села воскресшая к лету муха. Антон осторожно смахнул ее. Вера Емельяновна не вздрогнула, и Антона кольнул испуг. Это был испуг от мысли, что тетя Вера уже умерла, а если еще нет, то может умереть сейчас, не когда-нибудь, а вот так, на его глазах, просто, отбормотав что-то непонятное, среди дурного запаха отломится частица жизни, исчезнет со своей заботой, нетерпением, безумием, любовью, только муха будет царить на посторонней умершей коже. А ты думал? — только и всего. Но еще он поймал себя, что смотрит жадно, не отрываясь; он никогда еще не видел, как умирают — двойной испуг был от этой чужой, непозволительной мыслишки; что-то ужаснее самой смерти сквозило за ней. Это продолжалось мгновение; он уже увидел, что тетя Вера просто уснула. Встал; колени были утомлены до дрожи, будто он помогал вкатывать в гору увертливую тяжесть. За окном, оказывается, стусилась темнота. Он попрощался шепотом, избегая почему-то смотреть на Зою. Хотелось курить. Слизь лабиринта белесо отблескивала в полутьме. Мебель переминалась нетерпеливо: скорей бы кончилось это промежуточное томление, все равно, рано ли, поздно; вещи были готовы сами перелиться через щели в пространство, еще занятое человеком, они лучше людей понимали равнодушие продолжающейся жизни. Боже, боже, что же это, — не подумал, а застонал о чем-то Лизавин.

10

Потом он стоял на крыльце. Створки дома отгораживали двор от улиц. Веревки, протянутые между балясинами и тополем, перед нужником, перечеркивали светящийся воздух; источник света существовал невидимо. Кого мы жалеем больше, думал он, умирающего или себя, которому остается горевать и страдать? Поскорей улизнуть, чтоб не вникать в свои чувства. Она и родителей его помнила еще с тех лет — со времен Милашевича, от которых пыталась

вывести какую-то связь, да все упускала. То же усилие. Еще немного, еще чуть-чуть... Ведь было даже за бредом ее что-то, он чувствовал, только уловить не мог. А может, и не следовало стараться, нельзя, непозволительно, запретно — попробуй, охвати умом все, что вызревало сейчас, каждый миг, в этом холодном сочном сиянии, пока люди волновались во сне, старались спрятаться друг в друга или просто дышали, раскрыв рты, из которых пахло отрыжкой дневной еды, сладким молоком детства, юной свежестью или гнилью. Червяк скрипел, внедряясь головой в древесину. Шевелились, прорастая, язычки глянцевого листьев. Пузырьки черной влаги толклись, набухали и лопались в утробном пространстве — мириады слепых жизней присутствовали в нем одновременно, не умея, на свое счастье, толком ощутить и испугаться единственного мгновения. В квадрате окна женщина унашивала беззвучного младенца, то приближаясь в свете ночника к синтетической прозрачной завесе, то угасая в глубине. Накалялся и затухал сигнальный огонек сигареты. Внятной дрожью полнился воздух, и Антон не услышал приближавшихся сзади шагов.

11

— Ты? О, господи!.. Ничего не..? Я подумал: она уснула, и тебе тоже надо... Нет, не это, мне просто стало не по себе. Не знаю... От всего сразу. А тебя там оставил, думал... нет, опять не то. Хорошо, что ты не отвечаешь, не можешь или не хочешь. — Он бормотал, стараясь подавить нарастающую дрожь; потом заметил, что и она дрожит — вышла в одном халатике, и не было пиджака, чтобы на нее накинуть. Надо было уйти в дом, поставить чайник, согреться, но оба все стояли на крыльце, и он обнял ее за плечи, чтобы стало хоть немного теплей, и говорил, говорил, чтобы унять дрожь — слова помогали, они приходили без усилия, сами. *Слова от боли* — то есть порождаются ею? или могут ее заговорить? *Сравнять с собой это беззвучное, разлитое в воздухе...* Вспыхнула зарница, вновь показалось что-то ясным, но тут же погасло. — Почему-то вспомнилось, как маленьким испугался один в пустом доме, думал, никто за мной уже никогда не придет. Страх потерянности. И еще, знаешь, на чем себя сейчас словил? Что я хочу понять жизнь, хочу в ней что-то почувствовать, постичь, но я боюсь ее испытывать. До сих пор все надеялся что-то объехать на кривой... на юморе, уме, на воображении. В этом тоже есть своя правда. Был один человек, он объяснял, что иные вещи надо оставлять профессионалам. Забой скота, например. Или обхождение с мертвецами. У них приспособлены чувства, им ничего. — Почему вдруг вспомнился Симеон Кондратьевич? Все казалось тогда связано: ночь, тетя Вера, ее недосказанная тревога или неизбытая забота, вспышки зарниц и листки Милашевича в комнате, куда они наконец вошли, не выдержав зябкой прохлады. Чайник стоял на включенной плитке, но при таком накале вряд ли мог скоро закипеть. Стены дрожали в ознобе, и они прижимались друг к другу тесней, и он все говорил, чтобы она не исчезла, — не заметив, в какой миг стал бормотать уже не вслух, про себя: все совершилось само собой, с ними, но не их усилием. — Вот так, вместе легче, ведь и тебе тоже? И тебе. Люди тянутся друг к другу, чтобы не так страшиться потерянности. Чтобы укрыться, прижаться, вжаться. Страшно, о да, но мы ищем проникновения, чтобы за ним успокоиться. Мы тянемся к успокоению, как к концу, и лампа сама собой гаснет, ненужная, и время растекается лунным соком, разливается музыкой, благодарностью и восторгом, нежностью скрипки и нежностью смычка... Вот так. Как все теперь просто. Даже странно — что почудилось там при свете зарницы? Чем смутилась душа? Теперь вот все взаправду, с взаправдашними заботами и проблемами, конечно, да это уж ладно. С этим как-нибудь справимся. Теперь надо представлять и устраивать реальную жизнь с этой настоящей, незнакомой, в сущности, женщиной, которую ты перехватил и увлек, когда она не тебя искала — ну что уж теперь; вот замерла, уже не дрожит, даже не шевельнется — женщина, не сказавшая с тобой до сих пор ни слова, так что все удивительное, необыкновенное, что привиделось тебе, может, было порождено лишь твоим же чувством?..

12

И свет, вспыхнувший внезапно — словно вышвырнувшийся в пустоту, где вместо музыки грохотали капли из крана: бах, бах! — в трезвость, беспощадную, как вид пустой одежды на стуле и на полу, мучительную, как обруч, стиснувший голову. Коридор пустой, гулкий и страшный. В комнате Веры Емельяновны, на столе, отодвинутом вбок, высился гроб, украшенный бумажными цветами, два венка с траурными лентами прислонены к ножкам стола и закрывали их. Тетя Вера лежала со сложенными на животе руками. Длинные черные волоски успели вырасти на ее подбородке и под носом, завершив сходство с дряхлым и уродливым гидальго. Под прикрытым левым веком белела полоска неживого глаза с застывшим в зрачке последним видением: толпа перевернутых крохотных детей, сиротливых на бесконечной дороге. Кровать была уже вынесена, в стене слева открылась боковая дверь, тайно всегда существовавшая под обоями, клочки их свисали с рамы. Супруги Титько помогали протиснуться сквозь пролом серванту, пока без посуды, но уже заставленному сувенирами стран, которые они посетили или собирались посетить. Эльфрида Потаповна в домашнем халате и бигуди налегала сзади, супруг приподнимал низ мебели над порошком. Он был в пижамных штанах, но в парадном пиджаке со значками и планками государственных наград. Торчал полосатый зад, колыхался избыток недоброкачественной, как нарост, плоти; рты были раскрыты, но хрюканье натуги совершалось безмолвно. Безмолвно. Справа тоже разверзлась стена, бывшая актриса Каменецкая отстала, не могла втащить одна трехстворчатое трюмо. Оно застряло в проходе, увеличиваясь за счет распахнувшихся частей, хоть поди помогай старушке, но страшно было, шевельнувшись, привлечь соседские взгляды и оказаться перед ними нагими. Свет накалялся все ярче, до невыносимой белизны; непонятно было, как выдерживают лампы, и Зоя уже с чемоданчиком, через руку зимнее еще пальтецо на рыбьем меху, свет пронизывает ее, она растворяется в нем, готовая исчезнуть, и не удержать ее было, как в сновидении, когда веки уже пронизаны светом дневного солнца. Косметика текла по лицу Эльфриды Потаповны, лицо оплывало, теряя черты, а Каменецкая, за неимением жира, усыхала совсем в крохотную старушку. Наконец сервант перевалился через порог, зад отставного полковника столкнулся с сухоньким задом артистки — легкого движения хватило, чтобы соперница утратила равновесие. Она сидела на полу рядом с непокорным своим трюмо, как кукла, разведя ноги и кулачком размазывая по щекам бессильные, поджеченные тушью для ресниц, слезы. Такса Долли скулила с ней в лад, как человеческий уродец.

13

Почему она исчезла, не сказав ни слова, не оставив даже записочки с объяснением, исчезла, пока он бежал оформлять бумаги для похорон, но ее вещицы, то есть чемоданчик и пальтецо, оставив у себя в комнате (где еще стоял запах перегоревшего, расплавленного чайника, из которого выкипела вода), и ее попросив никуда не выходить, даже запереться, если захочет? Все казалось уже решенным без слов, связанным теперь лишь с житейскими проблемами, которые были его заботой, и если даже на какой-то миг он испытал смущение, то ведь не выразил его никак, не могла же она слышать случайных мыслей — именно случайных, влезающих без спросу, от них никто не замкнет себе ушей, просто надо не считаться с ними. Что произошло? Что он сделал не так? Вот что-то приоткрылось — или почудилось? — и вновь мучительная невозможность восстановить сон или вспомнить слово, как бывало перед россыпью фантиков, и знакомое, обостренное до крайности недоумение похорон, когда знаешь, что душа твоя не дотягивает до значительности происходящего. Воды сомкнулись, горит над поверхностью солнце. Что-то было не так, что-то все время было не так. Антон

испытывал это чувство за все множество людей, которые пришли проститься с тетей Верой и вместо знакомого лица видели чужое, измененное смертью.

Наверно, он не мог назвать себя трезвым еще до того, как вошел, взъерошенный, через зеркало в потный воздух поминок, неизвестно кем и неизвестно где устроенных. Кажется, на кладбище кто-то полужнакомый ему поднес, как родственнику, граненый стаканчик, и он выпил, даже не осознав, что пьет, а потом куда-то ехал в тряском похоронном автобусе, и вроде бы сперва не туда попал. Хруст веток, дремучий ломкий сушняк неясных разговоров лез в уши, в щеки, Антон протискивался куда-то. Кругом теснились оставшиеся без тети Веры сироты. Сосредоточенно жевала за столом толстая женщина, рядом с ней мальчик, уменьшенное ее подобие, и в ней самой тоже угадывалось маленькое существо, наголодавшееся когда-то на всю жизнь. Надо есть, пока угощают, кто знает, что будет потом? Однорукий инвалид пытался надуть воздушный шар, пьяный друг мешал: кончай, дурак, сейчас лопнет. Не успели поиграть в свое время. В какой-то момент Лизавин заметил, что сидит за маленьким столом на опасно хрупком детском стульчике. На стенном коврикe петух с косою шел сгонять лису с чужой жилплощади.

— Что-то не так, — сказал Лизавин соседу, и тот кивнул, соглашаясь. Посреди комнаты начинался танец, и там, наконец, Антон вдруг увидел знакомое лицо, несомненно знакомое, только не мог сразу вспомнить, а было очень надо. Как же это?.. Сейчас... вот:

*Руку в руку, станьте рядом,
Топот ваш войдет в века,
Вы побегу новой жизни,
Выплюнутой из стручка.*

Откуда это пришло? И что-то еще надо было вспомнить? Почему казалось знакомым это чужое лицо с начальственными бровями? Оно вызывало смутное беспокойство, которое тоже требовалось разрешить:

*Наши лбы набухли мыслью,
Наши груди дышат хрипло,
Скорбный разум наш кипит
Нетерпением и криком...*

Топтались среди пира сироты с усердными застывшими лицами, создавая музыку подошвами, голосами, ладонями, томились внутри громоздких тел обморочные существа, требуя что-то вспомнить, а между тяжелых ног, мужских и женских, скакал, ничего не боясь, младенец с куриной костью в розовом кулачке:

*Здесь, в ковчеге средь сирот,
Твой начнется к счастью взлет...*

Петр Гаврилович! — вдруг узнал наконец Лизавин: это был Петр Гаврилович, Тонин отец, большой человек в городе, Антон его прежде видел лишь мельком; значит и он тети Верин Петюня? и он осиротел? От этого внезапного понимания захотелось податься к нему (пискнул под подошвой резиновый еж), взять за плечо, объяснить, как же так вышло с Тоней; я ведь ее обижать не хотел, вы не думайте, но вышибло из колеи, понесло, никакой связи, хрен знает что, ведь это же бред, в самом деле, что даже подуманное слово уже существует — каким это образом? — так было бы невозможно жить, зачем так?.. и уже с холодком в спине, понимая, что вновь занесло не туда, что ты уже сорвался, куда-то летишь — но что же еще вспыхнуло в последний миг, пока нога скользит к краю и ты лишь выставил ладонь, оберегая глаза?..

4. Свободное падение

1

Нам придется еще на время зависнуть в не слишком благоуханном пространстве, где сила тяжести отменена, разрозненные части человеческих тел торчат сверху, снизу, с боков: пальцы в продранных липких носках, перхотное плечо пиджака, кисть руки в грязном манжете без запонок, татуированный торс без головы, а голова отдельно постигает ощущение арбуза, стиснутого на пробу ладонями. И все это, оказывается, можно объяснить простой формулой «Присадка № 3», потому что Кеша Бабич, человек со ста четырнадцатью записями в трудовой книжке, лично выпивал с химиком ликерного завода, который избрал двенадцать присадок к водке.

— Присадок? — переспрашиваем мы.

— Ну, добавок, значит, а по-научному присадки. У каждой особое действие на личность. Присадка номер первый: ты становишься разговорчив, как блядь. Все тормоза долой, считай себя готовой находкой для первого встречного шпиона. Номер второй: действие совершенно обратное. Ни слова из тебя не выжмешь, хоть за яйца подвесь. Молчишь, как Герой Советского Союза на допросе. Можно заранее готовить звездочку. Посмертно. Далее, присадка номер три: на шесть, десять или двенадцать часов, смотря по дозе, у тебя начисто отшибает память.

— Почему?.. при чем тут присадки? — пробовал Антон вспомнить какой-то нездешний резон и даже чуть встряхивал головой, чтобы собрать вместе рассыпанную мысль. — На разных людей разная доза просто по-разному действует. Зависит еще от состояния. — Но зря было даже оглядываться за сочувствием и поддержкой. Лишь чье-то лицо в грязном поту опустилось с нар пониже к центру беседы. Нет, в здешнем измерении достоверны были именно подпольные и таинственные возможности жизни.

— Я с ним говорил лично, вот как с тобой. Большой был раньше человек. Ему за эти присадки полковника дали и премию. Еще тогдашнюю, Сталинскую. — Большой Кешин палец показывал куда-то за перхотное плечо, в прошое, а движение брови напоминало, что тогдашняя премия была не чета нынешней, как монета старинной полновесной чеканки. — Государственный же смысл, усеки. Угощают тебя, дают выпить, а на другой день говорят: вчера, в таком-то часу ты убил человека. И все. Ты в руках. Ничего опровергнуть не можешь, потому что отшибло начисто. Где, что было с тобой в этом часу? Может, и убил. Провал.

2

Ныла струна или жилка в животе, под сердцем. Уже и зацепиться не за что, и оглядываться бесполезно — позади пустота, слепое пятно. Если очень напрячься, оттуда высвечивался еще изжелта-белый ноготь ноги, похожий на изуродованное, отдельное от тебя существо, в четком электрическом ореоле, слизь кафеля у щеки, в чьи-то лица вглядываешься с жадным стыдом, как в зеркало. А эта милovidная ровесница с рубиновыми сережками могла ли взаправду быть судьей? Все что-то писала, милая, склонив голову и наморщив усердный лобик, толстый домашний милиционер диктовал ей про трамвайного безбилетника, нецензурное оскорбление и даже физическое сопротивление. Интересно, о ком это? Второй вопрос: как пишется «безбилетный», вместе или отдельно? Вопрос понятен, это ты, кажется, знал, это ты даже с радостью — хоть проясняется, что случилось. Но ненадежно, ах, ненадежно было заполнять жизненный провал с чужих слов, милиционер оказался не тот, трамвай пришлось заменить квартирой, но все же с физическим сопротивлением и даже с разбитым зеркалом (боже мой, боже мой!) — оборвать бы на этом! Ведь протокол уже заполнен, так хорошо, без грамматических ошибок, может, не стоит переписывать? Суток все равно пять, а зеркало можно оплатить так просто. Я со

своей стороны — всегда. Если чем смогу быть полезен. Еще бы попросить — услуга за услугу — чтоб не сообщали по месту службы. Потом проснуться, как ни в чем не бывало... о, Господи!

3

Но было еще другое: холодок свободы, обвевавший незащищенную голову, трусливое и отчаянное замирание сердца, запретный восторг невесомости, испуг новизны, на которую сам бы никогда не решился, разве что в безответственных видениях, когда примериваешь что-то этакое, недозволенное (хотя где тебе!). Теперь нечего было решать, возможность выбора осталась в другой жизни, там где верх и низ. Когда еще грохнешься! а, может, и пронесет как-нибудь, может, овладеешь падением, как полетом, и окажется, что несет тебя не вниз, а куда-то вдаль. (*Пусто, чисто, холод в небе, тяжесть тела исчезает...* прикосновение невнятной музыки.) Случившееся было невероятно, ужасно, постыдно, поскорей бы отсюда выбраться, как из кошмара; но если договаривать честно, то, что ожидало там, наяву, после пробуждения, казалось еще ужасней, хотелось эту неизбежность оттянуть, не думать о ней — и черт побери, уже оклемалось и любопытство, заставляло вслушиваться, жадно вбирать зарешеченное мутное окошко, груды окурков под нарами, «Моральный кодекс» в рамочке на стене, мглистый воздух вокруг негаснущей голой лампы — и утром в сиянии солнца развороченный марсианский пейзаж, бредовую конструкцию из труб, увенчанную белоснежным писсуаром, красочный плакат на заборе: «Чередуйте умственный труд с физическим» — и другой, поменьше: «Тормозная жидкость «Нева» — яд»; мятые, патлатые фигуры с лопатами, носилками и тачками среди рытвин и ям. Их возили разравнивать и прибирать площадь для каких-то торжеств, на которые ждали высокого столичного гостя; конструкция из труб оказалась остовом будущей трибуны для руководящих лиц, писсуар был, оказывается, его необходимой принадлежностью, а ты как думал, без него там долго не прстоишь, не помашешь ручкой, особенно в возрасте, когда организм утратил выносливость — непонятливому кандидату наук и это, наконец, объяснили, и он впервые с недоступной ему прежде стороны оценил, почему руководящие тяготы и почести посильней мужчинам, чем женщинам. Как многого он, оказывается, прежде не знал! Он не слышал о присадках, не представлял, откуда в закрытом милицейском учреждении могла найтись возможность опохмеляться среди работы, не подозревал, что в вареную колбасу евреи на местном комбинате подмешивали для веса туалетную бумагу — ну как же, недавно суд был, в газете писали, потому и бумаги нет, и колбасу есть невозможно. И не стоило поспешно опровергать, что колбасы тоже не прибавилось, а в газете вроде бы писали другое, что все это... как бы выразиться осторожнее? — миф, что ли? Как будто не знаешь сам, что газеты надо читать тоже умеючи, а не слово в слово, как будто по роду занятий не приходилось тебе убеждаться, что так называемые мифы бывают для истории и жизни реальной так называемых фактов — даже странно, что Кеша Бабич должен был напоминать такие вещи тебе, толкователю фантиков. Нет, правильно было склонить ум, доверчивый, недостаточный и расслабленный, причаститься к общей религии — худо отщепенцу, некрещеному среди крещеных, трезвому среди успевших похмелиться, такому рубля не подадут.

— Ну, чего стоишь, как пидарас? На, бери, выпей.

4

Хрипела из репродуктора музыка. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Культурные трудящиеся с плаката над забором смотрели вдаль, куда-то поверх сомнительных землекопов, которые пристроились в теньке за кучей земли — но взгляд плакатных людей все же косил слегка вниз на бутылку с переходящим стаканчиком, на расстеленную газетку, где лежала буханка, соль в спичечном коробке, зеленый лучок, соленые огурцы и даже та самая колбаса из туалетной бумаги. Нам не страшны ни льды, ни облака. Лизавин чувствовал себя здесь глупее всех, он стыдился своей неспособности к мату и слушал, не вмешиваясь,

поразительные разговоры о технологии превращения в выпивку шеллака и политуры, о начальстве ближнем и дальнем, о загадочных явлениях жизни, о женском коварстве, об удивительных ухищрениях заработка и воровства. «А мне воровать незачем, — высокомерно заметил кто-то. — У меня баба в гастрономе десятку в день ч е с т н ы х имеет, на одной оборточной бумаге». — «Все воруют, — зашумели вокруг недовольные заносчивым таким чистоплюйством. — Вот ты? И ты вот — воруешь?» То был неприятный момент: кандидат наук уразумел, наконец, что вопрос обращен к нему и, смешавшись, пожал плечами. «Мне нечего», — пробормотал сконфуженно. Разве что скрепки с кафедры, бумагу иногда, тут же поспешно стал вспоминать он, чтоб оправдаться вдогонку. Боже, какая мелочь!.. хотя позвольте! а фантики Милашевича? — целый, если угодно, ворох бумаг унес из государственного хранилища, это, знаете, тоже. Надо бы сказать... Но пока он переживал, огонек разговора переметнулся уже на другие материи. Да, думал кандидат наук, вслушиваясь в нараставший внутри гул, как будто именно сейчас готово было открыться ему давно зревшее понимание. Надо взглянуть другим умом. Что есть истина и что наоборот? Не в том совершенно дело. А в чем тогда? В путанице жизни, вот в чем. Надо было сперва сравняться с общей температурой, причаститься к гениальности нетрезвого состояния, самой доступной — не случайно же нет актеришки, который не сыграл бы с блеском пьяную роль. Откуда берется гротеск, остроумие, точность? — плохо лишь, что ничего затем эта гениальность не открывает, а непосредственно переходит в маразм.

5

Сидели и лежали, облокотясь, как древние греки, слесарь и газовщик-монтажник, шофер, рабочий погребальной конторы с пальцами в перстнях и кольцах, пенсионер, грузчик, продавец мебельного магазина и Кеша Бабиш со ста четырнадцатью записями в трудовой книжке рассказывал, как хорошо зарабатывать, изображая в кино немцев, которых советские солдаты и особенно разведчики били прикладами по голове. Его били по голове в двенадцати фильмах, он на этой работе потерял зубы, зато считался незаменимым, получил звание заслуженного, имел московскую квартиру, жил с артистками и ужинал каждый день в ресторане. Разговор вновь переходил на темы еды и выпивки, кто-то вспомнил про охоту на уток в городском парке: «Ничего уже, пхля, не бояться, ручные. Только цоп за шею, хрясь»... — да, но когда ощипали их и зажарили, само мясо на вкус оказалось таким же бензиновым, как вода, в которой они плавали, которую пили и которой пропитались до мелкой клеточки. «И что?» — «Схавали, что. Под водку очень даже неплохо». — «Я с ней ложиться не захотел, — вел между тем другую тему кто-то за спиной Лизавина, — так она разоралась, сука, рожу сама себе расцарапала»... Да, да, — пытался выявить точней восхищенную мелодию Лизавин. — Мы сами уже неизвестно из чего состоим. Но ведь не погибнем, нет. Мы — чудо приспособления. Возможно, зря нас пугают будущим? Микробам, насекомым уже нипочем ядохимикаты, они их переваривают, как пищу. Разве в сточных водах прекращается жизнь? Она, может, перерождается в новые, небывалые формы. Над всеми странами и океанами. «Да, — встревали голоса беседы за спиной, — бабе посадить мужика раз плюнуть. Вот, я знаю, один жениться раздумал, из института научный работник. А у ей папаша начальник не начальник, в торговле тоже заправлял. Услышал от дочки, что тот другую привел»... Нет, постойте, пробовал довести свою тему Лизавин. О чем я? Да... может, в наших переименованных генах зарождается с недавних пор какой-то особый разум, выше прежнего — и вот мы уже не хотим отсюда и боимся другой жизни. Наш желудок уже переварил и усвоил этот жиденький клейстер на водиче, с катышками непроваренного зерна, нашим легким могут, оказывается, служить воздухом эти испарения, извержения грязных тел, настоенные на табачном дыме и запахе порченной олифы, а бредни, рассказы, обрывки слухов, газетных фраз вполне способны заменить... «Я, говорит, не только тебя, падлу, засажу, ты у меня с работы слетишь и диссертацию хрен получишь». — «Вы это про кого?» — не

выдержал наконец кандидат наук и повернулся лицом к говорящим. Ему ответили не сразу, видимо, не очень довольные вмешательством, наконец кто-то пояснил, соглашаясь принять в слушатели: «Да вон, рассказывает, как одного ученого баба засадила». — «Но диссертация причем?» — с неуместной, пожалуй, горячностью настаивал на уточнении Лизавин. «Ну, он уже кандидат считался или, не знаю, доцент». — «Я сам кандидат. — без надобности погордился Антон Андреевич. — Какое отношение может иметь одно к другому? Тут, понимаешь, диссертация, там, понимаешь, торговля. И как это можно так засадить человека?» — «А тебя как засадили? — отвечено было ему, и все засмеялись охотно. — Сперва на пять суток». — «А потом?» — совершенно уже бессмысленно любопытствовал Антон Андреевич; он хотел сказать совершенно другое, а именно: «Меня никто не сажал», и тут-то понял, что именно этот подтекст и зацепил его, заставил вмешаться в разговор, который к нему, конечно же, не имел никакого отношения. «А потом»... — отвечено было ему и добавлено в рифму, но невоспроизводимо, опять же к общему удовольствию. Лизавин сам засмеялся вместе с другими над собственной глупостью, над глупой тревогой, которая без причин отравила почти уже обретенную легкость и при всей вздорности своей стоила ему бессонной ночи.

6

Гнойный свет немеркнувшей лампы, полуголые тела в черном поту отблескивали, как поверхность грязи. С хрипом, клекотом, кашлем, с астматическим свистом набирались они из вязкого воздуха энергии для завтрашней жизни, и облачка сновидений возникали над ними, как пар таинственной работы.

— А, Симеон Кондратьич? что же это, в самом деле? — О чем вы? — Обо всем об этом. Поди вот, суди о давней чужой жизни, когда в собственной вчерашней оказывается слепой провал, и его, может, уже не заполнить с уверенностью. Слыхали? — как будто предложили мне собственную же историю, но в каком виде! Бред, чушь. — Ну и не надо об этом. — С другой стороны, мне теперь вспомнилось, как на похоронах один мой знакомый, Волчек, местный журналист, вдруг подошел, стал расспрашивать, как дела и не интересуется ли меня другая работа? Открылись, мол, как раз неплохие вакансии в обществе «Хочу все знать» и в областной библиотеке, очень приличные, туда не так просто попасть, но он бы, мол, мог посодействовать, у него связи, потеря в зарплате при моей кандидатской степени сравнительно небольшая и можно подработать платными лекциями. Ерунда, вы понимаете, совершенная, как можно менять на такое мою работу? И, главное, с чего? Я подумал, он это как бы шутя, и тон у него был соответствующий, но все же с оттенком, я теперь вспоминаю. Если, говорит, что, имейте в виду. Что он подозревал? Или знал? — Интересно, Антон Андреевич, интересно. А вы спросите у него при случае — И потом, он хорошо знает Петра Гавриловича, Тониного отца, того самого — Смотрите, как складно у вас получается. Не зря упражнялись на моих фантиках составлять всяческие сюжеты. Может, вы и в квартиру ту угодили не сами по себе? — Какую чушь мы с вами несем, Симеон Кондратьевич! — Виноват, если что не так. Я просто ваш тон поддерживаю. Так о чем же вы тогда? — О том, можно ли в жизни что-то понять вообще. Почему все рассыпается, все выходит не так? Почему она все же ушла? Как мне ее искать? И искать ли? — Да, вы теперь способны это понять.

*Оборвалась пуповина,
С гноем вытекла трава,
Под ногою нет опоры,
Пусто, ветрено и страшно.*

Не вспомнили еще откуда? — Что это? — Неважно. Но музыка, Антон Андреевич! Теперь-то слышите? Мелодия жизни потрясенной, перевернутой. Зачем так? Я этого не хотел... Кто подслушивает наши желания?... Пришла и пленила меня... Пленила... Мелодия потери и мелодия возвращения. — При чем тут это, Симеон Кондратьевич? Я засыпаю. Не надо. Я хочу спать. Боюсь, это

вообще не по мне. Не по силам, не по способностям. — Боже мой, — в тоне философа послышалась нервность. — Да погодите же. Неужели вы еще не поняли, Антон Андреевич: происходящее с человеком объясняет, кто он такой? Если с вами что-то случилось, значит, это про вас. Раньше почему-то с вами такого не случилось? — Однако, Симеон Кондратьич! Значит, вот что про меня? Вот чего я достоин? — Не надо, Антон Андреевич. Не притворяйтесь, будто не поняли. Именно сейчас, пожалуйста...

7

Если б ему еще дали время чуть-чуть подумать, прийти в себя! Нет, он только пытался вспомнить, вернуть провевшую, как ветерок, растаявшую мелодию, когда за ним явился спаситель, тот самый Волчек, журналист, на второй уже день буквально увел за руку, озабоченно, а впрочем, улыбочиво покачивая головой, доброжелательный, загадочный, и Лизавин даже не спросил, откуда у него нашлись такие возможности, связи, тем более что и не надеялся получить ответ. Он все вслушивался во что-то, когда рассеянно и безразлично писал под диктовку заявление о переводе на новое место, где никто не обратит внимания на стриженую голову новичка, потому что не знал его прежде и мог думать, что он так всегда ходил из прихоти вкуса. В какой-то миг дрогнуло было сомнение, не слишком ли он спешит и нельзя ли устроить дела как-то иначе, — никто его не подталкивал, кроме Волчека, который будто бы руководствовался каким-то знанием. Но это сомнение растворилось в более общем: где выбор и где неизбежность. *Страх пониманья... Зачем так? Я этого не хотел...* Он вслушивался в неясное бормотание, уже вернувшись в прежнюю жизнь, но как бы с другого хода, вслушивался, выхаркивая из легких накопившуюся за два дня мерзость, перебирая карточки в библиотеке и заваривая себе чаек в обеденный перерыв — а холодок предчувствия уже касался кожи. *Словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет за облако...*

5. О словах, или начало новой веры

1

словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет за облако

разлетелись бумаги на столе и упала чернильница

ухом приникнув к земле, к стене, к стволу дерева

вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу, Господи! Каждый шаг отдается во мне дрожью

Плот подплыл, мы на него всходим, и кормчий нас ждет. Осторожно, говорю я, не оступись.

Протянул руку — когда это было? И вот ладонь оперлась на мою. А что вместилось между началом движения и концом?

Длительность времени создается веществом жизни, которым это время заполнено. Для души и памяти вечность неотличима от мига, в ней все присутствует одновременно.

середина вырезана, как на кинематографической пленке, концы склеились

Костяшки пальцев белеют сквозь напряженную кожу, уже посиневшую от холода. Без кос. И пальтецо нездешнее, легкое для нашей-то осени

сгустилась, как снежинка из ноябрьского воздуха

Пришла и пленила меня. Я знал, что так будет. Я думал, я хотел, я старался.

Кто подслушивает наши желания? Страшно быть не так понятным. Лучше ничего не хотеть.

Мальчик приоткрыл рот, слюнка любопытства и самозабвенного усердия стекала с розовой губы. Он не понимал, он единственный из нас ничего не понимал.

Старики на берегу сбились в кучу. Кто-то, подняв ногу, пытался попасть в увязшую галошу. Ветер треплет седые бороды. Рябь на воде.

передернуло ознобом крышу и колокольню

вороны под встревоженными небесами — пародия на трагический хор.

2

Сейчас, сейчас, только унять биение сердца... до сих пор не удается думать об этом спокойно. Как, из какого столкновения мыслей, невнятных голосов или чувств высеклась среди темноты крохотная поначалу искорка? — настолько крохотная, что Антон не сразу и взгляделся в ту сторону. Он все пытался вспомнить автора застрявших в уме стихов, и вдруг всплыла перед глазами какая-то давняя тонкая книжица о революционных событиях в Столбенец; стерлось название, но ясно увиделся старый грязный шрифт и неровные строки, бумага ломкая, рябая от древесных соринок, даже место на первой странице вверху, где вспыхнуло, наконец, имя: Иона Свербеев — тот самый поэт-самоучка, будущий деятель Нечайской республики, подробностей о котором Лизавин безуспешно доискивался, как мы помним, в архиве, да так и обошелся без них, вообще без Свербеева, только вот попутные строчки, оказывается, прилипли. (Сейчас, сейчас, тут хочется не упустить сцеплений.) Это были воспоминания в сборнике, выпущенном всего года через три после событий, еще не правленные, по тогдашним временам, редактором, и потому сохранившие подлинность полуграмотной речи и свежее ощущение хаоса, из которого рождалась история. Автор прибыл из Петрограда вместе со Свербеевым и еще какой-то женщиной в Столбенец ускорить захват власти. Местных большевиков в городе было всего трое, и хотя в столице революция уже совершилась, они пока готовились к отчаянным боям, вербовали себе сторонников, вели пропаганду в казармах Овчинной слободы, где квартировал резервный полк, добывали оружие у проезжавших через станцию дезертиров — Лизавину в основном запали попутные подробности, вроде того, что пулемет системы «кольт» можно было в те дни купить на базаре за триста рублей, или как перед самым Столбенец дезертиры в поезде чуть не ограбили спутницу Свербеева, она выиграла время, сама вынув из ушей и отдав им золотые сережки, а пока те пробовали золото на зуб, подоспели товарищи. Вся подготовка местных деятелей оказалась, однако, излишней; едва узнав о приезде вооруженных людей из столицы, командир полка с офицерами скрылись без всякой попытки сопротивления — то ли не разобрались, что прибывших всего трое, приняли за вооруженный отряд всю толпу, что вывалилась из поезда на стоянке, но в город не собиралась? — задним числом и недоразумение выглядит неизбежностью, а сила и слабость в мире подобных событий мерится не числом винтовок. Вождь столбенецкой ячейки Федор Перешейкин, который погиб в тот же вечер, как сообщала история, при подавлении контрреволюционной вылазки, оставив свое имя городской улице, а также рабочему клубу, был столь поражен легкостью переворота, что при

известии о бегстве полковника расхохотался и хохотал минуту, другую, третью, покуда автор воспоминаний не догадался поднести к его стучащим губам стакан воды... Сейчас, сейчас... Антон даже не ожидал, что столько запомнилось; говорят, в мозгу нашем хранится память, о которой мы сами не подозреваем, но чтобы извлечь ее, нужен какой-то электрический укол именно в это сцепление нервов, в точку как будто на задворках сознания. Имя автора, и то испарилось; этот человек пробыл в Столбенце всего три дня, а потом уехал по железной дороге творить историю дальше. О некоторых тогдашних событиях он упоминал с чужих слов, например, о том, как была арестована среди заседания и препровождена в тюрьму городская управа во главе с детским врачом Левинсоном. Вспомнив этот эпизод, Антон впервые представил себе путь арестованных от нынешнего исполкома к острогу в конце бывшей Солдатской, нынешней Красноармейской, то есть скорей всего через ту самую памятную лужу; еще автору, помнится, рассказали, что среди арестованных оказался муж прибывшей женщины, с которым она не виделась много лет — вон как довелось встретиться...

3

Нет, раньше мыслей и слов, точно услышанная во сне, сквозь карканье осенних ворон, под взбаламученным, перевернутым небом захолустного ноября возникла мелодия тоски и любви, мелодия утраты и возобновленной надежды. *Так льдины распавшегося поля с обломанными краями пробуют совпасть, соединиться опять...* Едва выбравшись из передраги, не успев привести в порядок своих дел, не прочувствовав даже толком потрясения от удара о реальность, Антон Лизавин потянулся в библиотечный каталог, как будто и на новую службу переместился именно для того, чтобы поскорее, поскорее узнать, вспомнить, называлась ли в той книге фамилия женщины. И так безогляден был этот идиотский порыв, сделавший на время второстепенными вещи куда более близкие, что судьба решила, наверное, без надобности не мелочиться, не оттягивать находку, до которой он все равно бы рано или поздно добрался — уступка была пустяковой, у нее в запасе имелось достаточно других каверз. Сборник удалось найти, вычислить заглавие почти сразу, и статья некоего Н. Сухова была в нем, и фамилия женщины упоминалась, даже с инициалами: Парадизова А. Ф. Но это что! Подарок был не в этом. Лизавину позволено было и дальше не слишком рыться в справочных изданиях, хотя нужная ему фамилия нашлась еще лишь в единственном указателе к довоенному выпуску Ученых записок его собственного (в прошлом) пединститута. С дрогнувшим сердцем прочел он: «Парадизова Александра Флегонтовна, участница рев. событий в г. Столбенце. До 1917 г. в эмиграции». На месте дат рождения и смерти стояли знаки вопроса.

4

Независимо от дальнейших разысканий, даже именно потому, что они так мало прибавили, Антон Лизавин уже знал, что тут не просто совпало имя с достаточно редким отчеством (а фамилия, поповская, семинарская, осталась за ней, видно, девичья). Сгустившаяся из пустоты догадка (*снежинка из ноябрьского воздуха*) сама собой обрастала подробностями и обоснованиями. Симеон Кондратьевич служил тогда в управе письмоводителем и мог быть ненадолго прихвачен вместе с начальством — Лизавин видел, как он привстает за своим канцелярским столом цвета морилки, приподнимается, уставившись на дверь, видел парящие в медленном воздухе бумаги и расплывающееся озерцо чернил, видел берег лужи, деревянные мостки, вбитые в грязь настольку, что едва угадаешь ногой наощупь разбегенную колею, увязшую галошу, управских старцев на ветру, под конвоем, колокольно над Торговой площадью, плот, сделанный из старых ворот, не выдерживающий больше троих: он протянул ей руку, чтобы помочь взойти или сойти на берег — как когда-то, мгновение назад,

в другой действительности, которая соединялась с прощальным рассказом прихотливей, чем можно было вообразить. Потому что дело было не просто в том, до чего надолго он, оказывается, ушел из дома с чужим сундучком (или чемоданом, как настаивает документ, но сундучок для нас более реален, мы его видели), ушел, оставив жену с большим и потом почти неделю выжидая, когда можно будет назвать себя без опасности для обоих. Нет, дело было в том, что ушла от него она, тогда же или время спустя, при неизвестных нам обстоятельствах — а кто остался по какую сторону порога, имеет теперь так же мало значения, как для Милашевича цифры лет, прошедших до встречи — теперь, когда склеились начало и конец пленки, а середку можно вырезать и опустить. С ума сойти! Он будто ждал этого, ждал уверенно, пренебрегая промежуточным временем, не сомневаясь в направленной работе судьбы — как будто даже мировые события и катастрофы служили осуществлению его личных замыслов и семейных дел, как будто себя считал причиной и целью этих событий. Нелепый, самолюбивый шутник с мордочкой печальной обезьяны — с такого все станется. И пусть сейчас подобралось, составилось что-то пока наугад, не совсем к месту; все равно можно было представить, как именно в тот день, оказавшись ненадолго в тюремной камере, карандашом на случившихся в кармане фантиках — именно на них, они были сподручны для этого — и потом, дома, уже чернилами и хорошим пером он пытался запечатлеть трепет и влагу еще не просохших мгновений, остановить их, осмыслить, ибо все обретало теперь для него цену: надтреснутый голос ветра над стылыми водами, потревоженные небеса, вечерний путь домой мимо загоравшихся окон, пьяный запах новых времен.

5

Воздух настоен на винных парах, от одного дыхания кружится голова — может быть, в тот же вечер, когда оставшиеся без командиров солдаты разбрелись по Столбенцу и скоро вместе с обывателями стали громить винный магазин и склады Сотникова на Губернаторской, где хранились пять тысяч бочек вина и спирта, не считая бутылок. Всю зиму на пятьдесят верст в округе стараниями возчиков и солдат спирт пили, как воду. Время, когда в дальних деревнях бутылку продавали за полтинник, а в ближних и того дешевле — с этого воспоминания можно было начать отсчет эпохи. В ее первую ночь несколько человек с Перешейкиным во главе попытались остановить погром, они разбивали прикладами бутылки, выпускали из бочек в сточные канавы темную холодную одуряющую жидкость. Ночь, когда ходили по пояс в вине и напивались из лужи. Кто-то, видимо, чиркнул спичкой, может, спьяну решив закутить — точнее он уже никому потом объяснить происшедшего не мог, став первым поленом пожара, в котором заживо сгорели четверо, включая товарища Перешейкина, и погиб — не в последний раз — злополучный архив. На тему пожара можно было при желании подобрать достаточно разных картинок: черные призраки домов, ветвей и деревьев таяли в ярком веществе, улыбался огню, словно медный божок, кто-то с отблесками на лице, в ватной шапке с оторванным ухом... но мало ли было еще пламени в Столбенце и вокруг? Может, это и о другом. Или вот: не из той ли ночи: — Зазвенели разбитые стекла. Я вскопчил, стал нашаривать спички у изголовья. Пока удалось засветить плошку, раздалась еще два выстрела, что-то просвистело у самого уха...

6

так рождается под растопыренными пальчиками младенца нечаянный, еще не объясненный мир

от прикосновений слепца возникают из темноты очертания и объемы

обломок торса, гладкое плечо, застывший смех, окаменелая, непонятная жалоба

зрячие пальцы любовника

на ощупь, наугад, в гулкой пустоте, удивляясь и не понимая целого, с тревогой и любопытством

7

Не видно было дальше пути. Догорали, дымились последние головешки революционной ночи, щекотал горло кислый запах пожарища, а мы едва успели разглядеть при единственной вспышке женщину в легком — для европейской погоды — пальто, с побелевшими от холода ли, от напряжения костяшками пальцев (и что в пальцах-то? неужто оружие? — не видно). Как эта встреча на мифическом плоту среди лужи перешла в другую, после которой она осталась с ним, в его доме? — а она, видно, осталась, у нас нет оснований не верить Симеону Кондратьевичу. Можно, конечно, усмехнуться лукавству слов автобиографии о «воссоединении после разлуки»; у этого человека, похоже, и впрямь был для времени свой счет; в конце концов, не так уж он грешил против истины. Но как, почему вернулась к нему — такая женщина? ведь теперь ясно было, что с Милашевичем ее подравнивало до сих пор лишь наше собственное воображение — по его подсказке, о да, хотя и тут он мог быть по-своему искренним, представляя ее уязвимой, слабой, домашней, созданной для семейных радостей, для провинциального покоя, нуждающейся в его защите. В конце-то концов, в конце-то концов! Но вернувшись при таких обстоятельствах, после стольких лет, и каких лет! — остаться окончательно с ним, неизменным, словно после недолгой супружеской размолвки? То есть не просто остаться, а перейти как будто в новое существование, перестав быть собой настолько, что уже не оставляла и собственной тени, собственного следа? На скрижалях местной истории почему-то не сохранилось дополнительных сведений об Александре Флегонтовне Парадизовой. (Ах, и о ней тоже? — уже слышится голос, насмешливый и недоверчивый. — Да, и о ней тоже, что ж тут поделаешь. Смиримся и с этим заранее, как с условием, Лизавин тут не виноват.) Но именно это, если хотите, парадоксальным образом подтверждало, что она — та самая, кого годы спустя Милашевич назовет в автобиографии подругой своей жизни. Почему? А прикинем сами. Погибни она сразу, как Перешейкин, продолжи свой особый, запоздало приоткрывшийся нам путь, она даже при не самой удачной судьбе оставила бы след отчетливый и стойкий, достойный человека таких заслуг; незаметность ее была необъяснимей всего. Вспышка не только ничего не осветила вокруг, но лишь стусила мрак, усугубив загадку или тайну, заставив задним числом пересматривать прошлые знания. Знала ли она, едучи в Столбенец, что Милашевич там? К нему ли ехала? Или просто была сюда послана как местная уроженка, и встреча вышла случайной? Но тем более, тем более! Чем мог ее покорить, пленить, убедить этот захолустный философ и фантазер с неразгаданной улыбкой на укрупненных губах? — так что надо еще разобраться, кто оказался чьим пленником на плоту среди пародийных столбенецких стихий. А пока примем как факт: значит, было в нем что-то, в этом человеке, к которому мы с Лизавиным просто испытывали по привычке симпатию (потому что мы — это и Лизавин, и мы с вами, сливающиеся иногда до отождествления; тут, наверно, пора объясниться и, может, попросить извинения у тех, кто чувствует иначе — но ведь это и есть сотворчество, к которому бывает причастен всякий читающий в иные, родственные любви, мгновения). Да, что-то в нем было, требовалось заново жгиться в душу и мысль этого странного, все еще нераспознанного персонажа, надо было переместить из одного времени в другое и переосмыслить многие фантики о блаженстве совместной жизни — уже не просто из литературного интереса, о нет, но чтобы утолить томление собственной души, все более насущное.

8

Еще в самом начале Антону примерещилось, сперва смутно, будто где-то он уже читал очень похожую историю: про женщину-революционерку, участвовавшую в аресте собственного мужа. Это смахивало на ложное воспоминание, но Лизавин сумел добраться до истоков его и убедился, что сюжет действительно был использован в литературе, а именно местным писателем Исполатовым. Более того, это оказалось отнюдь не случайным совпадением: автор новеллы «Встреча» вдохновился тем же эпизодом из воспоминаний Н. Сухова. Он рассказывал потом в книге своих литературных размышлений, как поразила его вычитанная у Сухова история: «дыханием античной трагедии веяло от нее»; как он безуспешно пытался узнать дальнейшие подробности о героине (о, тут Лизавин его понимал, хотя новелла писалась в 1932 году, по свежим сравнительно следам); как выяснил лишь, что она погибла год спустя после описанных событий, кажется, от тифа (самоуверенная поспешность, впрочем, простительная — он не знал Милашевича); как он, стараясь восполнить пробел в знании о ней, по всем толстовским канонам перетолок судьбы нескольких реальных женщин, приписал ей мятежную юность в семье религиозных фанатиков (использовав материалы дела о секте молчальников, на шумевшего в губернии в начале века), доверчивую любовь к студенту (а ведь похоже, похоже!), с которым вместе поклялась когда-то бороться за лучшее будущее. «Ведь разразится же когда-нибудь очистительная буря, смоет с тела земли, словно коросту болезни, эту мерзость, убожество, грязь, и над обновленной землей засияет омытое солнце!» Сильней всего в новелле сцена в тюремной камере, где героиня напоминает об этой их клятве любимому некогда человеку; теперь он брюзжащий интеллигент, не желающий понять величия происходящего. Вообще вся драма изображена впечатляюще, и в чертах героини что-то напоминало ту, которую представлял себе Лизавин; возможно, подспудное воспоминание о «Встрече» даже подтолкнуло каким-то углом его собственную догадку. Единственным, но для Антона, увы, решающим недостатком было лишь то, что соединить все это с Симеоном Кондратьевичем не удавалось никак.

9

Надо было, наверное, поискать следы Александры Флегонтовны подальше от Столбенца, может, даже в анналах эмигрантской истории, благо, и фамилия всплыла. (Но может, в иные времена у нее фамилия была другая? — тоже вопрос. Кто был ее спутник скрытых от нас лет? — человек, возникший однажды на страницах Милашевича под прозвищем Агасфер?) Такие поиски, однако, возможны были только в Москве, приходилось дожидаться отпуска, и если признаться совсем уж честно, не очень как-то тянуло в ту сторону — в мир политических страстей и интриг, партийной борьбы, эпохальных замахов, программ, жертв, войн, потрясений. Он одной крови с нами, Антон Андреевич, мирной крови провинциала, а если кто поспешит отвергнуть такое отождествление — что ж, ради бога, берем тотчас свои слова обратно и не настаиваем. Только сперва все же стоило бы взглядеться в себя: так ли мы в самом деле рвемся под холодные небеса, на трагические просторы истории? не предпочитаем ли в искренней глубине существа материи более соразмерные? — то есть в самом ли деле над нашей душой совсем не властна провинция? Что было с обоими, то было; возможно, со временем лучше выявится (если еще сохранилось, чему выявляться), но теперь-то Симеон Кондратьевич жил со своей Шурочкой в Столбенце, который со всеми обитателями перешел кое-как в новую эру существования, вот куда хотелось взглядеться больше всего, — и Антон Лизавин, перебирая фантики, старался распознать, на каких же еще из них осели ощущения тогдашних событий. Он уже не сомневался, что по крайней мере некоторые записи были все той же попыткой запечатлеть уколы мгновенного чувства, уже на ходу преображавшегося в строки возможного произведения — но выделить их уверенно не мог. Вот дымились головешки пожарища, торчали, как дурные грибы, черные остовы печей. В дымном свете нового дня

из-за калиток, из-за отодвинутых занавесок осторожно выглядывали мятые, зеленые, небритые, пугливые лица. *Новое слово уже звучало, но что оно значило для умов?* Управских старцев увозили на плоту через вечную лужу под улюлюканье и свист с берегов, заплыванных подсолнечной лузгой, приезжая женщина встретилась после разлуки с бывшим мужем, вернулся с войны солдат, которого считали погибшим, в казенке перебили бутылки, пили из бочек и луж, горели в пожаре. Остальное — слова, к первому прибавлялись другие, да еще музыка поределого оркестра пожарных, да гроб покрыт красным полотнищем; но как во все времена идет перед гробом городской дурачок Вась Васич, сунув за пазуху ватную шапку и улыбаясь привычной радости: люди как всегда умирали да умирали, а он как всегда их хоронил, сам оставаясь жить. Значит, и переворот жизни не отменил этого закона.

Да, как бы там ни было, важнее всего была окрепшая теперь убежденность, что фантики все же имели отношение к реальным событиям — пусть не все, пусть непонятно какое, в этом еще надо было разбираться. Здесь запечатлен был способ думать и воспринимать мир, возможно, связанный с профессиональной привычкой, здесь откладывался, невольно преображаясь, мелкий сор повседневной жизни, которым Милашевич мерил наполненность времени и который был ему изнутри просто ближе и доступней эпохальной политики, программных речей и грома орудий. Соединяясь, этот сор мог очертить контуры происходившего с ним или вокруг него, как очерчивают, допустим, приставшие ракушки днище корабля: когда он сгниет, они могли бы дать представление о его форме — если б только удержались, не рассыпались сами. Приходилось, конечно, опять склеивать крупички знания слюной домыслов, но что мы знаем до конца, исчерпывающе даже в близкой, доступной нашему взору жизни? Вопрос только в соотношении. Надо было укрупнять, наращивать эти крупички. «Главное Шлиману было поверить, как в видение, в реальность гомеровской Трои, — записано было у Лизавина на одном из листков, — чтобы потом, покопавшись, найти черепки, слои пепла и полусгнившие обломки». Трудно теперь вспомнить, что хотел этим сказать Антон Андреевич; если имелось в виду сравнение, то оно, конечно, не совсем подходило. У него поэмы-то не было, вместо гекзаметров — клочки рваные, стружки с неизвестно существовавшего ли изделия. Да и черепки в свежей почве не так надежны, как на глубине — глядишь, то подменено, это подновлено. И пепла уж слишком много. И все-таки, все-таки... Может, самое главное даже не в этом. Что, по сути, открыл нам Шлиман? Разве Трою гомеровских гекзаметров? Но ведь и не Трою же посудных черепков, каменных стен, погребенной утвари или пусть даже золотых украшений. Он открыл — и утвердил в нас — сознание и чувство связи между гекзаметрами и черепками, глубинной, невыразимой, как музыка, связи между нами, перебирающими черепки, сегодняшними землекопами, страдающими от лихорадки, от дурной воды — и вечным духом человеческого рода.

10

О чем эта музыка? О ноябрьском ветре, об ознобе, передернувшем, как кожу, поверхность вод, о мятущихся облаках и крике ворон, о женщине, исчезнувшей и обретенной, о нежности и тоске, о встрече и узнавании, о листках с пророчествами, которые ветром выдуло из пещеры, чтобы их подобрал толкователь?

Она — о том, что может ноябрьский ветер сказать про тоску и нежность, а человеческая душа — про вороний крик и мятущиеся облака. Она — о том, что заставляет нас печалиться об утрате, случившейся до нашего рождения, и видеть в давнем возвращении зернышко новой надежды и нового понимания, о том, что связывает человеческую душу и посвист ветра, тоску и нежность.

11

В свободное, а иногда, признаться, и в служебное время Антон листал теперь газеты, книги воспоминаний, сборники документов: не мелькнет ли где

ненароком еще и фамилия Парадизовой (или как ее могли звать?). Это было малоосмысленное занятие, но оно обеспечивало и заполняло уединение, к которому Лизавин тянулся, чтобы поменьше бывать дома, в людных местах, не встречать старых знакомых, не отвечать на их праздно-любопытные, равнодушно-сочувственные, да пусть даже искренние вопросы. Он наведлся в столбенецкий архив, но лишь для того, чтобы еще раз убедиться, сколь безнадежно выгорели фонды тех лет. И все же попутно Лизавин извлекал для себя из этого чтения кое-что любопытное. Он проследил, например, как Перешейкин, одноглазый конторский служащий ганшинской фабрики, после смерти произведен был в рабочие и чем дальше, тем больше обогащался подробным жизнеописанием, даже новыми фотографиями, с которых смотрел на потомков двумя ясными глазами — не в пример Ионе Свербееву, своему недолгому соратнику и дорожному спутнику Александры Флегонтовны, которого угораздило дожить до лет, когда он оказался одним из обвиняемых по делу о большом столбенецком пожаре вместе с бывшим управляющим ганшинской фабрики инженером Фиге, и который в результате исчез из истории вовсе. Только и осталось от него, что десяток напечатанных в разное время стихов да темное известие о Нечайской республике; потом он, кажется, недолго руководил детским домом, устроенным в бывшей ганшинской усадьбе — вот и все. В воспоминаниях Н. Сухова этот человек, имя которого, словно попутная мелодия, то и дело возникало почему-то рядом с темой Симеона Кондратьевича, был помнят как местный уроженец, солдат, отравленный на германском фронте газами — дома его уже не ждали, считали погибшим, мать даже успела справиться по нем заупокойную... Антон помнил, как перечитывая однажды эти сведения, вдруг ощутил, что строки будто раздвигаются и он проваливается, погружается сквозь них в мир, из которого его совсем было вытолкнуло.

12

Среди персонажей Милашевича был столбенецкий маляр и живописец, но более всего пьянчужка по прозвищу Босой Летарь. Вторая часть прозвища намекала на особую способность Босого летать без крыльев. Слава была насмешливая: имелось в виду, что он ухитрялся не разбиться, падая даже с самых высоких питерских крыш — дело вообще нередкое у маляров, тем более пьющих. Босой, однако, шуток на эту тему не допускал, будучи весьма драчливым; казалось, он про себя знал что-то взаправду, и среди насмешек кто-то даже готов был подтвердить, будто сам видел однажды, как тот завис рядом с водосточным желобом и начал плавно снижаться. Тогда Босой еще был подростком, одним из тех, кого матери отдавали на учебу в артель отходников: он поднимался в пять утра ставить самовар мастеровым и подмастерьям, растирал краски, мыл кисти, чистил посуду, бегал в москательную лавку за материалом и — тайком, чтобы не накрыл хозяин — в казенку за водкой для мастеров, но сам себя подпаивать не давал, щупленький, доверчивый, беззлобный. Зимой, когда у маляров работы не было, он ходил учиться к вывесочнику и уже тогда начинал рисовать, бесконечно копируя картинку из книжки, где легкие худенькие существа с детскими личиками порхали среди крупных цветов и резных трав. Не это ли видение запало ему в ум и порождало шутки? Не оно ли возникало перед глазами, когда он среди работы застывал вдруг с кистью в руке, чуть подавшись вперед, зрачки расширены, и лишь удар по затылку да смех возвращали его к делу, а может, предотвращали падение? Во всяком случае, с этой картинкой оказался косвенно связан единственный засвидетельствованный очевидцем полет. В то утро он обнаружил, что все рисунки в его потайной укладке за печкой похабно размалеваны, парящим младенцам прибавлена растительность во всех возможных местах, да кое-что сверх того. Он кинулся с кулаками вслепую на первого, кто подвернулся — с трудом оттащили взбесившегося, а несколько часов спустя сорвался с крыши. Это было жарким июльским днем, когда раскаленная жесть пекла босые пятки, краска мешалась с потом, а подрядчик, укрывшись в тени трубы, поглядывал на небо и поторапливал, опасаясь дождя. Очевидец оговорился, что в тот миг у него самого закружилась

голова от зноя или запаха краски, и признавая полувсерьез, что полет какое-то время длился, добавлял уже с полным смехом, что под конец парнишечка все-таки рухнул с высоты третьего этажа. Когда к нему сбежались вниз, он уже сам стоял, правда, пошатываясь, без кровинки в лице, но и без следов ушиба, смотрел на всех, будто не узнавал, будто от удара о землю что-то стряхнулось у него в уме, а на другой день исчез из артельного дома, ухитрившись напоследок поджечь его. Объявился пропащий в Столбенце лишь три года спустя. Его привезли за казенный счет с этапом и сдали в волостное управление, долговязого, пропитого, босого, с юной неопрятной бородкой; рубаха в разноцветной засохшей краске отвердела, как панцирь, и не рвалась, а ломалась. Самый горький позор пришлось ему тогда испытать от детей. Другие, возвратясь из Питера в сапогах и галошах со скрипом и блеском, по обычаю привозили для соседской ребятни столичных пряников; он угостить никого не смог, за что и ославлен был на всю слободу и весь город прозвищем Босой. «Босой Летарь! — кричала, увязываясь за ним, ребятня. — Босой Летарь, куда летал?» И эти детские насмешки — но только их — сносил Босой терпеливо, даже как-то виновато, хотя с тех пор всегда старался носить в кармане какую-нибудь сладость для угощения и откупа; другим дразнить его не стоило.

13

По убеждению Симеона Кондратьевича, в те секунды первого падения или полета Босой действительно испытал или увидел что-то, о чем никому не мог потом рассказать (тем более, впрочем, что редко с кем беседовал после того трезвым). Это были, объяснял Милашевич, мгновения, превышающие обычное время, их нельзя было втиснуть обратно в общие для всех секунды, в них можно было озираться всю жизнь, различая или вспоминая новые подробности яркие, ясные, пронизанные светом и беззвучной музыкой, мгновения, где не было ни страха, ни муки, но было небывалой синевы небо с небывалыми радужными облаками, и виденья сияющей жизни, и нежные лица, и цветы — тут, впрочем, возможно, вмещивалась картинка из книги. Беда была в том, что от столкновения с землей как бы рассыпалось связанное чувство, и повторить его потом ни разу не удавалось. Единственное, что Босой мог вполне передать словами — это отвращение к лицам, вдруг обступившим его, к их волосам, прыщам, морщинам, дыханию, запаху; видеть их было невыносимо и оскорбительно после испытанного, как будто они напльили и вытеснили видение, не оставили ему места. Так, во всяком случае, переводил Милашевич на язык своей прозы вряд ли очень внятные речи пьянчуги. Так он сам объяснял, почему на картинах своих рисовал лица только детские. Они у него хорошо получались, он имел ценителей и, будучи не лишен таланта, в Столбенце не малярничал, а рисовал по заказам вывески, иногда портреты; среди его заказчиков в одном из рассказов поминался сам Ганшин. Читая у Милашевича описания этих картин, Лизавин представлял себе некоторые рисунки на фантиках — возможно, Босой к ним имел отношение. Дети для него были единственно приемлемыми и высшими существами среди остальных, уже безнадежно отравленных жизнью. Подобно многим пьющим он объявлял жизнь отравой, алкоголь же — доступным противоядием и работал в перерывах между запоями, когда возобновлялась нужда в деньгах. Жил холостым — да кто бы рискнул за него пойти? — и как будто все выжидал впереди чего-то. Увы, с началом войны Босого забрали в солдаты. Милашевич писал о нем, как уже о погибшем на германском фронте — возможно потому и позволил себе рассказ о человеке, реально знакомом читателям.

14

А в чувстве, что он существовал реально, Антон Лизавин утверждался теперь не меньше, чем в том, что человек этот остался жив и снова появился в родном городке. чтобы отменить, наконец, прошлую мерзость — отпетый матерью и воскресший в едва узнаваемом облике, хоть крести заново, отравленный немецкими газами, навсегда протрезвевший если не после них то уж после

винного разгрома. Поврежденная рука теперь, видно, не бралась за кисть, но для выражения дозревших чувств подошел карандаш или, может, пишущая машинка. В стихах Ионы Свербеева сильней всего звучит презренье к отжившему, отравленному, проклятому миру. А возникавшие иногда образы паренья, невесомой свободы и легкости, сияющих облаков, детского невинного счастья на чистой цветущей земле казались теперь не просто фигурами абстрактной словесной утопии, одной из тех, что изобильно рождались в ту бурлившую пузырями пору. Здесь дышало живым чувством; казалось, впечатления фронта однажды помогли Ионе заново пережить испытанное в детстве и найти для этого, наконец слова:

*Оборвалась пуповина,
С гноем вытекла отравка,
Под ногою нет опоры,
Пусто, ветрено и страшно.*

В этих стихах героя взрывом вышвыривает из окопа, возносит над испогащенной, развороченной землей, над кучками людей, и за огненной вспышкой, за вспышкой пустоты вдруг открывается ему виденье дивного мира — в пронизанном светом воздухе он различает счастливых собратьев будущего, нестареющих, прекрасных, для которых полет естествен, ибо сами тела их свободны от прежней скверны и тяжести.

15

Здесь сладость вкушают лишь те, чьи щеки не осквернены волосом, а дыхание табаком, — вдруг приставил Антон Андреевич всплывший на поверхность фантик. Он подошел нечаянно, но впору, как будто Милашевич переводил на прозу какую-то мысль Ионы Свербеева или записал что-то свое после разговора с ним. Ведь он вполне мог встретиться и говорить с давним своим знакомым после своего возвращения в Столбенец, даже не мог его ни слышать, ни читать. Наверное, в ворохе крылись и другие заметки, способные подтвердить это. Вот, скажем: *«Они совершеннее нас, у них нет кишок, тягостенных навозом, а то, что мы прячем, как срам, у них прекраснейшее, благоухающее».*

16

Гм, гм... ну, допустим. С разгону Антона Андреевича, что говорить, иногда заносило, он после сам в этом убеждался и с готовностью над собой посмеивался. Но это был уже смех человека, который может позволить себе частные ошибки и неудачные вылазки, ибо убежден в главном. А главным было нараставшее чувство, что фантичный ворох все-таки связан одновременно с миром реальным и с миром, который творил Милашевич; больше того, тогда он впервые подумал, что это, может, вовсе не материал для книги, упомянутой в разговоре с Семеккой, может, в самих листках Симеон Кондратьевич видел эту неявную саморастущую книгу. Здесь крылись какие-то невыявленные его персонажи, как крылся еще не до конца угаданный Иона Свербеев, он же Босой, бывший маляр и живописец, вечный солдат и стихотворец, деятель неизвестной республики и покровитель детей. Словно нить, опущенная в раствор, это имя начинало обрастать, обогащаться подробностями и живыми чертами:

Выходец с того света. В английских ботинках с обмотками. Рябая кожа на обтянутых скулах — как зернистый камень, сверху малость заглаженный.

Кровь не успокаивалась прозрачным веществом в глазах, растравленных газами до сырого мяса. Такие глаза пренебрегают ближними предметами, они смотрят вдаль.

Ноздри бледные, тонкие, трепетные. Их чутье возмещает ущербность зрения.

*Что важнее чутья в такие времена, когда ни ум, ни знание не дают опоры, когда лучше не полагаться на собственные глаза и уши?
способность улавливать из воздуха недоступное другим*

Дар без всякой науки на расстоянии угадывать, кому повилать хвостом, а кому показать клыки, если сам не поспешишь откупиться.

17

Ну, пусть опять не все подходило бесспорно. Ничего, как-нибудь уточнится. То была пора, когда возбужденная мысль Антона Андреевича растекалась одновременно в разные стороны, увлекаемая любой попутной ложбинкой и выемкой. (*Вода себе путь найдет, ей все равно через кого течь*, — задержался однажды Лизавин на не совсем внятной фразе; он этот фантик отложил когда-то в раздел «О судьбе и случае», увидев здесь мысль о неизбежности, которая для своего осуществления в истории может использовать любую, просто самую близкую или восприимчивую фигуру; но теперь подумал с усмешкой, что это подходит и для его поисков.) Не находя прямого подступа к загадке воссоединившихся супругов, он так и сяк пытался заглянуть хоть через окошко в их деревянный столбенецкий дом (скорей всего деревянный и при этом одноэтажный, вроде того, что он описал в провидческом рассказе, где только примерял в воображении, как мог бы жить, как будет жить когда-то именно в этом городке с женщиной, которой тогда уже не было рядом) — и сквозь щель ставни, в тесноте натопленной комнаты различал при свете — не керосиновой лампы, коптилки — знакомое личико философа и садовода, он поливал из чайника рассаду в деревянных длинных ящиках (как удавалось сбересть от холода домашний цветочный рай?), а где-то за его спиной, не в тени, не в сумраке — в слепом пятне угадывалась, почти подразумевалась едва различимая женщина с коричневой шалью на плечах, она должна была там присутствовать, еще не выдохнувшая до конца из легких воздух Лондона или Парижа, но что делала? — подкладывала в печь полено (хотелось думать, что хоть дров им хватало?), заваривала липовый, по рецепту Милашевича, чай? штопала? — не видно, не видно. Огонек фитиля, отражавшийся в стекле, угасал, зато из темноты понемногу проступал город, сквозил на нежной детской заре пустотой решетчатых заборов, беловатозубыми прутьями ветвей. Лодки уткнулись носами в берег, как в материнское брюхо. Верх обгорелого дома разобран на дрова. На окнах первых этажей глухие ставни. На кирпичной стене выцветший лозунг: «Все на борьбу с вошью». Камень из-под Колтунова стоит на Столпье пустой, позорная надпись затянута красной (когда-то) материей; но материя прохудилась, камень со временем оботыют досками, по праздничным дням будут обставлять, как трибуну, портретами, а пока в «Поводыре» обсуждают вопрос, как все-таки понимать слова «разрушим до основания», включительно или нет? В электротеатре «Грезы» вечерами крутят фильм «Как цветок и сердце вянет». Снег сходит, на улицах толстый слой навоза и грязи. Хорошо, когда еще подмерзает — вот кто-то в приличном пальто и барашковой шапке, наверно из бывших, не решаясь ступить с мостков, осторожно пробует дорогу сперва палкой, потом подошвой резиновых бот. Еще приходит к своим пациентам врач Левинсон, пешком, повозку и лошадь у него реквизировали, но все бы ничего, если б не грозный пёс по прозвищу Серп и Молот. Конечно же, это был пёс. Неведомые озорники выжгли ему по короткой шерсти эмблему раскаленной проволокой — из озорства ли, из идейного усердия или наоборот, в насмешку, думая оскорбить символ. В последнем случае они просчитались. *Как он воспрям, пугливый, затравленный, последний из всех, как ощутил покровительство и новое свое место!* — добавлял Лизавин штрихи к сюжету. Грозен стал Серп и Молот, даже собакам лучше с ним было не связываться. Да его и не собаки интересовали. Сила его была в редкостной способности определять, с кого требовать контрибуцию в виде съестного. Дар без всякой науки на расстоянии угадывать...

18

Может, имя загадочным, неизвестным пока науке путем производит воздействие на сам телесный состав и даже на извержения телесные, — вдох-

новляясь, примерял дальше Лизавин, но опять чувствовал, что тут кажется, нет пути. *Все бы ничего, да имя неосторожное. При таком-то росте!*. Нет, это уже явно не становилось. На неверный миг выпростался из вороха новый сомнительный персонаж — и тут же растворился в сырой мгле столбенецких улиц. Лизавин подался было за ним, но потерял след. Вновь он чувствовал себя нетвердо, вновь соскальзывал на зыбкую почву и оказывался всего лишь перед бумажной россыпью. Вместо музыки вырвался из-за окна треск мотоцикла, и паутинкой еще дрожал, тянулся тающий звук.

19

Пальцы перебирали бумажки в коробке «Имена». *Мыльников меняет фамилию на Мельников... О словах, или Начало новой веры.* А это как попало сюда? Это надо бы в раздел «О словах». Или «О религии»? Был у Антона Андреевича и такой, один, впрочем, из самых скудных и сомнительных. *Новая вера начинается с новых слов.* Ну, конечно, это ложилось сюда же.

Даже не слово, а возглас, междометие, попытка слова. Евангелия составляют потом ученики.

религия для народа

Верующие в расположение звезд от него погибают, неверующие обходятся.

Это были заметки во всяком случае человека нецерковного; Симеон Кондратьевич и по части религии держался особняком от модных поветрий времени, в своей прозе особого интереса к этой теме не проявлял; а такая, например, запись на фантике: *«то, над чем, казалось, дана была власть одному Господу, мы делаем повседневно»*, — выдавала просто горделивое чувство современного человека. Кстати, и слово Бог он не всегда писал с большой буквы, точно с некоторого времени для него, как и для других, это стало вопросом правописания. Другой вопрос (как всегда), свои ли мысли, слова, полужапы записывал он здесь, или они исходили от кого-то пока непроявленного. Вдохновленный опытом с Ионой, Лизавин попробовал и для роли носителя религиозной темы примерить подходящую фигуру. В писаниях Милашевича встречался где-то на заднем плане единственный священнослужитель, причем автора он больше интересовал как огородник и ученый цветовод, то есть в некотором роде коллега. Этот персонаж и прежде заставлял Антона Андреевича к себе присмотреться, поскольку звали батышку Макарий — как и руководителя позднейшей секты, о которой до сих пор хранилась у старожилов смутная память. Но тут, конечно, могло быть только лишь совпадение, ведь если даже и предположить у литературного героя прототип, звался он наверняка иначе. Повторить с ним опыт одухотворения не удалось, лишь механически подобралось еще несколько листков на тему. Например, отголосок религиозного диспута о возможности сотворить мир за семь дней (*Семь старых рублей теперь за миллионы считают. Вот и семь Божьих дней переведи по-новому исчислению*), невнятная полумысль (*Это как Бог, внутри. А извне приходит случай*), стихотворное пророчество и знакомый памятный список: для кого просить о выздоровлении, о замужестве, о разрешении от бесплодия и защите от притеснений. На некоторых фантиках, кстати, записаны были обрывочные впечатления о паломничестве к такому-то святому месту, но опять же неизвестно чьи и куда.

20

Рака хрустальная, прозрачная, изнутри вся сияет. Только постоять с чувством не было никакой возможности. Что успеешь пробормотать наскоро, то и ладно.

И то сказать, очередь версты на полторы. Не то что со всех концов — из разных стран тянулись. Всем было что-то нужно, и в спину поторавливали: проходи.

одно дело взывать к образу рисованному, другое видеть телесно, к кому взываешь

Тела их даже после смерти благоуханны

Пускали по одному, без толчеи. Надо было приклонить ухо вплотную, оттого казалось, что каждому нашептано что-то свое, особое. Ну, что тебе было сказано? — допытывались у выходявших на монастырском дворе.

не говорить об этом, но сказать о корове или даже навозе так, чтоб было об этом

21

Лизавин помнил, как держал в руке именно этот фантик, когда с ним что-то произошло. Он пытался уразуметь, почему это оказалось среди религиозных заметок. Имелась ли здесь в виду та благоговейная, целомудренная стыдливость, которая не позволяет произносить иные слова или имена всуе, которая противится любой теологии, то есть логическим рассуждениям о божественном? Или, может, это было вообще о нежелании прямо формулировать какую-то мысль или чувство? — потому что есть мысли и чувства, которые противятся прямому называнию, они начинают кривляться, как ребенок в смущении, и допускают только образ, подобие... да, именно там, где мысль у Милашевича выражена прямо, ей не стоит особенно доверять, еще неизвестно, с чем она соединится.

сравнивать с собой это беззвучное, разлитое в воздухе

Он сидел, что-то еще примеривая, перекладывая, пока не обнаружил, что думает уже совсем о ином, что придает чужим строкам смысл, которого они иметь не могли, потому что ведь были о ком-то другом, не о нем, но от этого, своего смысла теперь нельзя было освободиться, как если бы на рисунке среди двух ваз по закону иллюзии он увидел человеческое лицо и уже только его способен был дальше видеть, а вазы пропали и не восстанавливаются. Словом, он уже не о Милашевиче думал; восторг первого проникновения иссяк — хотя ему казалось, что это ради Симеона Кондратьевича понадобилось ему неотложно в Москву, в московские библиотеки, ради него он хитроумно выцыганил себе полукомандировку, полуотпуск в счет отгулов прошлых и будущих — горазд человек хитрить сам с собой; а что за мысль его погнала туда в самом деле, кого он собирался здесь искать и почему здесь, Антон до конца признался себе уже лишь тогда, когда поднимался по лестнице старого московского дома.

6. История болезни

ЛИЦА

время, когда студента можно было узнать не только по фуражке и тужурке, когда еще не смешались типы и по лицу можно было угадать принадлежность к сословию

Надлом веков рождает такие лица, время, облюбовавшее для живописи своей Саломею, роковую плясунью, поцелуй в мертвые уста

бледные ноздри утонченного выреза, пот болезненной прохлады на прозрачных, с голубизной, висках

личико цветка: двойной бугорок лба, щечки, подбородок

неподвластные времени ангельские черты

1

Звонить не понадобилось, дверь в квартиру оказалась приоткрыта. За светящейся щелью вместе с табачным дымом клубились голоса — банный гул многолюдного сборища. Некто с потной лысиной и бородой деловито перенял из руки вновь вошедшего бутылку.

— А что, водки не было? — спросил он, как будто они перед тем договаривались о водке. Лизавин виновато пожал плечами: дескать, что мог. Дескать, я вообще не думал, что застану здесь общество, случайно вышло... Но объяснения тоже были ни к чему, лысина уже уплывала с бутылкой вглубь, к невидимому застолью. Антон неуверенно огляделся: туда ли попал? Вроде туда, все было похоже. Да, вот и портрет хозяина парил в табачном облаке у двери, узкое молодое лицо с усмешливой родинкой в уголке губ. Из кухни появилась с кастрюлей дымящейся картошки женщина, скользнула по Лизавину озабоченным, невидящим взглядом — потом, через два шага, до нее дошло:

— Антон! О, Господи! Наконец-то! — радость в ее голосе была неподдельна, она даже подбородок над кастрюлей приподняла и губы подставила — Лизавин, не сразу догадавшись, заставил ее мгновение удерживать эту трудную позу, но тут же, быстро наклонясь, поцеловал. А что ему оставалось делать? — Как хорошо, что вы объявились. Я уже не знала, что и думать. Проходите.

С каждой минутой кандидат наук чувствовал себя все глупей. Она, видите ли, не знала, что и думать... Единственный раз до сих пор он был в этом доме, заглянул по адресу, который оставил ему мимолетный, можно сказать, уличный московский знакомый (именно уличный: на улице в Москве встретились, случайно разговорились, заинтересовались друг другом), но самого Максима Сиверса не застал тогда, провел вечер за беседой с его женой, Аней, этой вот хлопотливой женщиной — единственный вечер, а теперь она говорит «Наконец-то!» и подставляет губы для поцелуя.

2

Застолье встретило его появление оживленным шумом, кто-то даже крикнул «Ура!», какая-то красивая женщина хлопала в ладоши, и Лизавин слегка раскланялся в разные стороны, как дурак, потому что приветствовали, конечно, не его, а картошку, выплывавшую из-за его спины. Максим не вышел навстречу, и взгляд Антона никак не находил его среди множества лиц. Сидящие пододвигались, ужимались, высвобождая место, вот он уже устроился перед чистым прибором, в керамический стаканчик налито.

— Ну, давайте за него.

«Господи, уж не на поминки ли угодил?» — внезапно похолодел Антон Андреевич. Так все одно к одному показалось похоже. Испуг был, конечно, глупый, короткий: лица вокруг оживленны (так ведь и на поминках смеются)... Нет, и Аня опять же...

— За Максима...

Ну конечно, на поминках так не пьют. Не чокаются.

— За именинника.

Отлегло. Вот, значит, что. Немного прояснилось. Но где, однако, застрял сам именинник? На кухне пропал? Пора бы появиться. А спросить было вроде неловко, особенно после этого испуга. Антон пока оглядывался. Какие все интересные лица. Ну, то есть, чем интересные? Сразу не скажешь. Мужчин много бородатых, не то что у нас. Нет, не в этом, конечно, дело. Но что-то в них было, право, особенное, что-то... как бы это сказать... московское, вот именно, отпечаток значительности, интеллигентности, пленившей когда-то провинциала в Максиме Сиверсе. И женщины какие-то такие... И разговор не сразу поймешь.

— ...причина простая. Как вышибли нас татары из колен, так до сих пор мотает, не можем вправить.

— Ну, знаете! На шестьсот лет предопределение...

Нет, чтобы впустить в себя разговор, надо было сперва сравняться с температурой застолья, где на тарелках сигаретный пепел уже припорошил селедочные косточки и ошметки в свекольных потеках, где беспорядок сборной посуды, бутылок и лиц развивал тему длинной, когда-то девственной, скатерти, где голоса всплывали поверх белесого дыма, как разрозненные пузыри.

— ...есть в конце концов исторические случайности, своеволие личностей, вмешательство чуждых сил.

— А вам не кажется, что это вечное вмешательство и своеволие тоже как будто запрограммированы? Самовоспроизводится способ осуществления власти. Помните, как выразился Максим?

— Максим имел в виду другое...

Где же он все-таки? Выйти бы на кухню посмотреть, спросить. А то впечатление, будто собрались без именинника и поминают заочно. Неуютно и непонятно как-то. Антон наскоро взял в рот еще кусок и, дожевывая, стал выбираться из-за стола.

3

Аня курила на кухне у окна, как человек, давший себе передышку. Еще одна женщина курила за столом, третья мыла у раковины посуду. Увидев смутившегося у двери Лизавина, Аня приветливо поманила его к себе, взяла под руку, но с присутствующими не познакомила, возможно, потому что надо было договорить.

— ...дело в том, что принимают теперь только пять килограмм. А ему главное табак. Хоть все пять килограмм табаком.

Как изменилась, отметил Антон. Совсем другая женщина. Даже курит. Нет, ну как теперь спросить?..

— Сало надо обязательно. Оно не портится, — сказала сидевшая за столом и посмотрела при этом на Лизавина, как будто спрашивая его авторитетного мужского подтверждения.

— Да, сало не портится, — подтвердил Антон Андреевич. Зачем-то попросил сигарету и прикурил у Ани.

— А верно, что к Лифшицу вчера приходили? — спросила та же. Она опять обращалась к Антону — то ли видя, что его приблизила к себе хозяйка, то ли авторитетность его произвела впечатление.

— Не знаю... я не в курсе. Я только приехал в Москву, — пробормотал кандидат наук.

— Говорят, по радио передавали.

— У меня приемника нет. Сломался, — ухватился Лизавин за возможность сказать чистую правду, не роняя себя и одновременно уводя от скользкого, непонятного места. К счастью, пришли из комнаты за чашками. Судомойка, наспех вытерев руки, пошла хлопотать, сидевшая за столом придушила окурков о пепельницу и тоже последовала за ней. Аня осталась еще на несколько затяжек.

— Вы удивлены? — взглянула она сбоку на Антона.

— Не то чтобы... но как-то...

— Да, столько народу. Я не ожидала. Половину сама вижу впервые. Даже большинство. Пришли с деньгами, сами всего накупили. Максим ведь для многих столько сделал... видите, как его любят.

— А... а где он сейчас? — наконец воспользовался удобным поводом поинтересоваться Антон.

— Пока все там же, — сказала она устало и грустно. Затушила окуроч, на миг прикрыла глаза.

— Аня! — позвал кто-то из комнаты. — Аня, на минутку.

— А вам я вправду обрадовалась, — сказала она. — Вы не останетесь немного потом, когда все разойдутся?

— Не знаю... Я как-то...

— Аня! — крикнули еще раз.

— Иду!.. Оставайтесь, если можете. Я хотела с вами поговорить... показать кое-что.

4

Это решило дело. Признаться, Антон Андреевич уже был не прочь улизнуть. Не потому, что все менее уютно становилось ему от догадок, которые не требовалось и подтверждать, разве что уточнить подробности. Но просто — что было делать среди чужих столичных людей приезжому провинциалу, который к их неведомым делам не имел никакого отношения? В самом же деле никакого, это он мог и объяснить, и доказать, если потребуется. Он оставался в квартире из интереса главным образом личного. Однако позицию себе Антон даже внешне обеспечил посторонне-наблюдательную: за стол, в тесноту, не вернулся, а стал в двери у притолоки, с дистанции как бы обозревая сцену и пытаясь вникнуть опять в смысл разрапанного спора.

— Только не говори мне, что нация есть коллективная личность. Коллективная личность — это ансамбль песни и пляски.

— Но человек не может быть сам по себе...

Похоже на фантики, с усмешкой подумал вдруг Лизавин. Всюду фантики. Я, кажется, помешаюсь на них: осколок подслушанного разговора, обрывок чьей-то жизни вне контекста — везде преследует, мерещится мне то же чувство. И так ли уж я рвусь соединить? Может, по-настоящему я просто робею, вот как сейчас. Может, каких-то связей, смыслов я просто иногда не хочу допускать в сознание...

Ночевать здесь Антон Андреевич вовсе не собирался, однако гости разошлись за полночь, и то не все: еще троим оставшимся Аня стала устраивать постель на полу — энергичная, улыбчивая, доброжелательная. Как расцвела, как воспрянула, отметил Лизавин. Жена, признанная друзьями мужа. Единомышленница. Преданная подруга. Он дожидался ее на кухне, прибирая остатки посуды.

— Оставьте, я сама, — сказала Аня, появившись. Достала сигарету, закурила опять. — Тоже приезжие, — объяснила она, движением головы показывая на стену, за которой устраивались на ночлег гости; говорить приходилось тихо, и этот полусшепот создавал ощущение доверительности. — Максим то и дело приводил кого-нибудь ночевать, я хочу, чтобы без него было, как при нем. Вы, я чувствую, удивились, когда я вас так с порога... Инерция. У них в компании такой стиль, вы не подумайте. — Она не заметила, что сказала «у них». Оживление и бодрость сходили с ее лица, как слой грима, оставляя усталую кожу с темнотой под глазами и морщинами в углах губ. — Я и в прошлый раз показалась вам болтливой ни с того ни с сего? Действительно... но поверьте, вообще это не мое свойство. Только с вами почему-то... вот и сегодня захотелось почему-то с вами поговорить.

— Потому что мы с вами провинциалы среди москвичей. — облегчил ей объяснение Антон.

— Да, да, — с благодарностью откликнулась она. — Наверное. Я столько лет в Москве, но все время чувствую себя одинокой. Такой одинокой! — Она вдруг засморкалась в платочек. — У меня и вправду никого не осталось. Знаете, я как раз хотела вам рассказать. Как-то этим летом я шла домой... Максима уже не было. Вижу, в скверике, против входа к нам, на скамейке сидит девушка. Худенькая. Потом я уже поняла, что вижу ее не в первый раз, она и утром тут сидела, с чемоданчиком. Этот чемоданчик старомодный, обтерханный, мне всю ее вдруг так близко объяснил. Я будто себя увидела: как приехала когда-то в Москву с таким вот точно чемоданчиком, поступать, никого здесь не имея, без копейки, без общежития, ходила по улицам, голодная до невесомости, пока меня не подобрал Максим. Я к ней подошла, заговорила и чувствую: все угадала. Она только кивает. Никого нет, говорю, в Москве? Кивает. Голодная? Кивает. Таким я вдруг к ней чувством прониклась! Уговорила зайти, про себя стала попутно рассказывать. А дальше получилось странно. Она вошла и увидела портрет Максима. Знаете, против дверей висит? Остановилась, смотрит. Я даже подумала: лицо ее так заинтересовало или живопись? Но пока я в комнате с чем-то замешкалась, она вдруг исчезла. Я только слышу, каблучки застучали по лестнице. Хотела было вдогонку, но не стала. Так странно. О воровстве почему-то и мысли не мелькнуло, да у нас тут и нечего. Осталось чувство видения. Я ведь даже имени ее не успела узнать, вообще ни слова, кажется, не услышала. Красивая. — Аня дождалась, наконец, пока Антон встретится с ней взглядом, и во взгляде этом увидела, кажется, то, что ей было нужно. — Даже очень. Только худенькая слишком... Но зачем я вам, собственно, все это... Тут от Максима осталась тетрадка. Он в последнем нашем разговоре — как будто предчувствовал... да, наверно, предчувствовал, просил унести в другой дом, если что, сохранить. И знаете, почему-то помянул вас. Ну, вы сами увидите, поймете. Я так поняла, что он разрешил прочесть, даже хотел. И теперь не знаю, что думать. Может, вы потом мне объясните. — Опять Антон встретился с тем же испытующим взглядом. — Там такое мне почудилось... ужасное. Я никогда его, в сущности, не знала. И дел его. Он не относился ко мне всерьез, на такие темы даже не говорили.

— Наверно, он вас берег.

Аня покачала головой, обмакнула уголки глаз платочком и высморкалась.

— Я знаю, ему нужна не такая, как я. Я ведь тоже понимаю. Он все рвался бежать. Может, это тоже способ.

— Ну, что вы. — Антон дотронулся до ее плеча. — Вернется, все будет хорошо.

— Только бы вернулся. Пусть не ко мне, мне ничего не нужно. Хотя нет, я вру... Но я бы ни на что не претендовала. Только служить ему, выполнять желания, прихоти... Я боюсь... Боюсь, он вообще не хочет... Не только со мной. Вообще жить. Уже ведь было... Но что я... Извините, Антон, больше не буду. Почитайте, вот тетрадка. А там вам постелено, и лампа есть.

5

И снова, словно из пространства или из других времен, донесся до Антона глуховатый, порой задыхающийся, прерываемый кашлем голос человека, казалось бы, едва промелькнувшего в его жизни; но читая ночь напролет эту клеенчатую, выдавшую виды тетрадь, Лизавин все больше чувствовал, что Максим Сиверс вошел — и продолжает входить — в нее глубже, существенней, нежели самому представлялось. На первой странице без заголовка и предварительного объяснения начинались короткие, в одну строку, маловразумительные записи, вроде: «18.10.70. Учительница в поезде. Кашель 3 мин.», «22.2.71. С начальником. Зуд, недолго». «6.11.70. Ансамбль по ТВ. Астма 2 мин.». «3.4.71. В церкви. Сыпь, кашель», — и т.д. Дальше следовали наметки нескольких

таблиц, где по горизонтали те же даты сопровождалась буквами П или Х, а по вертикали выписаны были симптомы: кашель, астма, насморк, зуд, сыпь и на пересечении координат ставились крестики. В других схемах горизонталь была разделена на две крупные половины «пошл.» и «хам.», в каждой выделялись клетки помельче, никак не озаглавленные. Была также попытка графика с декартовыми осями: по горизонтали названия месяцев, по вертикали — «колич. приступов». Но ни одна схема, видимо, не получилась, все последовательно оказались перечеркнуты, и на восьмой странице под заголовком «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» начинался связный текст. «Боюсь, для ученых наблюдений даже над собой мне недостает многих качеств, прежде всего систематичности. Попробую литературу», — писал Максим Сиверс, недобучившейся студент, знавший, что такое анамнез, этиология и патогенез, но не умевший подступиться к собственному странному недугу, тяжелой, прихотливой форме аллергии непонятного происхождения. Медики доучившиеся давно обнаружили перед ней бессилие, с усмешкой замечал он. Ни один тест и объективный анализ не давали результата. Похоже, тут вообще был случай, когда развиваться с собой мог скорей сам больной, но он спохватился запоздало и, лишь когда совсем припекло, взялся уже задним числом вспоминать и осмысливать эпизоды болезни, чтоб доискаться до корней и способа избавления. Вначале, — писал он, — причина казалась простой: книжные полки в отцовском доме, запах библиотечной пыли — «классический аллерген, вынудивший меня в восемь лет переселиться к тете Ариадне». С годами, однако, все более выяснялось, что жар, зуд, задыхание могли возникать от раздражителей вовсе не материальных и даже чаще не материальных: так, одно время простые сочетания слов вроде «повестка дня» или «почетный президиум» провоцировали такой полный набор симптомов, что студенту Сиверсу было разрешено, к зависти иных, не ходить на собрания. Не удавалось даже раскрыть иной раз газету: запах ли свежей бумаги, типографской краски вызывал удушье, вид ли заголовка «Позывные трудовой вахты». Болезнь развивалась и усложнялась; недостаточно оказывалось кратких помет в схемах, Максим по памяти пытался их теперь расшифровать, восстанавливая историю приступов в подробностях — поди пойми, что могло сыграть свою роль: запах угля и скверной прачечной в вагоне, вкус железнодорожного чая, пейзаж за окном или разговор попутчицы о летнем отдыхе («Солнце, воздух и вода — все было. Мясо в ассортименте», — фиксировал он дословно), а может, лицо ее в слое пудры, с красными губами и румянцем, вызывавшим мысль о кустарных раскрашенных игрушках. Он уточнял также, что ансамбль по телевизору исполнял «Подмосковные вечера» и что ковры в квартире были синтетические. Синтетика одно время была у него на сильном подозрении, особенно когда имитировала природный материал — но нет, в других случаях это никак не действовало: не получалось общего знаменателя. Не прошла, видимо, и попытка выделить реакции отдельно на пошлость и хамство, хотя и показалось было, что в первом случае возникали больше дыхательные нарушения (спазмы, кашель), во втором — кожные (зуд, сыпь до волдырей), причем последние иногда удавалось снять, поставив хама на место. На странице, где была упомянута эта не слишком научная гипотеза, следовал перечень нескольких стычек, описанных с разной степенью подробности, разным стилем, порой очень даже литературным, и, очевидно, в разное время, да еще с какими-то отсылками, мелкими вставками на полях, понятными лишь автору пометками, стрелками, протянутыми от одного случая к другому и долженствующими, видно, указывать на связи; но со стороны вникнуть во все это было трудно, а конечного вывода сам писавший не смог дать и тут.

6

Вообще записи от страницы к странице становились все обрывистей, многослойней. Вслед за сюжетами облегчительных стычек Сиверс попробовал выделить и сгруппировать другие эпизоды, после которых приступы проходили.

Первым оказался раздел самых разнообразных драк. Дальше, опять другими чернилами, было мелко вписано: «Ср. армейское» и тянулась куда-то стрелка, но Лизавин добрался лишь до боком поставленной с краю строки: «Почти все три армейских года я дышал легко, как никогда» — и больше вертеть страницу не стал, надеясь вернуться к ней позже, когда начнет что-то понимать полней. Он перелистнул и следующую запутанную страницу, начинающуюся строкой: «Разрыв отношений, отъезд, внезапная перемена места», а дальше опять стал читать, соблазненный связным текстом и разборчивым почерком: «Но почему вдруг исчезли однажды сыпь и сипение в той же самой отцовской комнате с запахом книжной пыли и зарешеченными от воров окнами? Я шарил зачем-то в ящике стола (искал деньги? не помню; нет, для денег я продавал его книги) и нашел там старую фотографию отца в черной тужурке революционных времен, еще без усов и бородки. Тонкое скорбное лицо с нервным вырезом ноздрей. Тетя Ариадна считала, что он погубил мамину жизнь, но относилась к нему со своеобразным почтением, как к дракону или колдуну, сумевшему, что ни говори, очаровать и похитить принцессу: для этого нужна была все же незаурядность. Она, по-моему, видела эту незаурядность и в том, что он смог родить сына в возрасте, когда немногие уже на это способны; в его отцовстве, как в самой маме, она усомниться не могла. Я помню его только маленьким старичком в детских сандалиях, которого трудно было даже назвать «папа», ничего не воспринимающим, кроме своей книжной страсти. (На шее под рубашкой шнурок с ключами от особо ценных шкафов.) А ведь было многое до нее: эсеровская активность, побег из ссылки, эмиграция, потом революция; он уцелел, как я понимаю, чудом, потому что скоро ото всего отошел, занимался музейными делами. Когда они познакомились с мамой, ему было уже за пятьдесят — другой человек. До революции он был еще женат — об этом и тетя Ариадна совсем ничего не знала. Вообще она говорила о нем с неохотой, лишь к случаю, а я не интересовался и его никогда не расспрашивал. Чужие. Только потом это стало ощущаться как одиночество (одно из многих моих одиночеств). Но чем дохнуло на меня с той фотографии? Какой-то подлинностью жизни, страсти, — может быть, вот слово?»

7

Хотя в распоряжении Антона была ночь, да и дальше его никто не ограничивал, он начинал листать страницы все более бегло, не упуская намерения вернуться к ним потом: хотелось поскорей понять, что в этой тетради, как намекнула Аня, могло иметь отношение к нему; но какой-то пунктир мысли он все же прослеживал, прочитывая наиболее разборчивые куски. «В кино те же кожаные куртки для меня невыносимы: бутафорская история, опереточные ажархисты, ряженные страсти, поддельная борьба. Допустим, тут дело вкуса; допустим, от фальши и здорового может стошнить. Но смотрю же я, как ни в чем не бывало, хотя бы фильмы про индейцев. (Вернее, смотрел когда-то, давно не ходил, зарекаться не стану.) Может, они просто никак не относятся к моему опыту и знанию, как марсианская фантастика?» — продолжал размышлять Сиверс на темы подлинного и неподлинного; подозрения, которые вызывала когда-то синтетика, переносились теперь в иное, духовное измерение. «Приступ в церкви. Никогда со мной такого прежде не было, запах ладана я воспринимал спокойно. Может, потому что зашел в тот раз с ребятами и увидел, как они крестятся?». От попытки связывать и группировать наблюдения писавший окончательно отказывался — не получалось; брало верх столь знакомое Лизавину желание запечатлеть мгновенные уколы мысли. «Но ведь убежденность этих людей неподдельна, я знаю, тут все серьезно и взаправду, и распахиваться готовы хоть жизнью, и правоту их я сознаю. Почему даже среди наших разговоров я задыхаюсь, как от толков про нехватку продуктов?» — «Болезнь выталкивает меня из одиночества, делает чувствительным ко всякой встречной беде, нужде, неправде, требует делиться, помогать, вмешиваться, а то зудит не только

кожа — внутренности, кишки, сердце. И в то же время мне как будто предложено опираться только на себя, ни на что больше». — «Может, в этой болезни — моя связь с миром, моя несвобода и мое благословение?» — «Опять вообразил разговор с покойным отцом. О, как просто предъявить счет ему, его поколению! А что я противопоставлю? Студенческие надежды и разочарования? Понимание, болезнь, невозможность жить?» — «Подвыпивший приезжий на улице излагал мне философию общедоступного счастья...»

8

Вот, — екнуло в животе у Лизавина, — вот про меня. Это он после нашей встречи, еще до приезда в Нечайск: «удивительная, не боящаяся быть смешной голубоглазость. Она вовсе не смущается ни банальности, ни даже пошлости, напротив, на них-то готова основать устойчивое мироздание. Тоже верно. Какая-нибудь песенка или поделка тоже говорит о жизни, только по-иному, чем «Фауст». Причем общедоступному скорее дано быть общезначимым. Что-то меня задело в этом повороте ума или в этом человеке. Занятная перекличка с собственными мыслями — но как будто с другой стороны зеркала». Следующая страница была пуста, и Лизавин с недоумением, с некоторой даже обидой перечел еще раз относящиеся к себе строки, вспоминая похмельный долгий разговор на московской ночной улице, под аккомпанемент неотступного кашля, профиль собеседника с родинкой в уголке губ, создававшей впечатление усмешки, хотя ему было отнюдь не до смеха. Значит, вот как Максим тогда его понял — и так кашлял жутко, слушая про Милашевича. Какая же перекличка с мирной философией Симеона Кондратьевича почудилась ему в собственных метаниях, рожденных недугом? Похоже, он и в Нечайск поехал искать от него облегчения, а там встретил Зою и снова бежал. Есть ли тут о ней? — должно быть. Вот, после пустой страницы, будто начав заново:

«Что мы увидели друг в друге? Уж не себя ли? Мы понимаем себя через других (для того и книги, и люди). Господи, как мне сразу открылась в ней эта прелесть изящества, эта способность быть принцессой без заботы о наряде (то, что не зависит от происхождения, но и не дается наукой), эта врожденная четкость пристрастий, похожих иногда на болезненные причуды, эта фантастическая чувствительность к настоящему, «своему», которую она сама, кажется, не осознает — и, может, слава богу, природа хитроумно о ней позаботилась, иначе как бы она прожила столько лет в этом доме?» Да, это о Зое, убеждался Лизавин, но как темно! — поди вникни... Что-то в этом чтении чужой тетради было все же непозволительное. Неужели Максим и вправду разрешил? Так пишут для себя, не для читателя, даже опасаясь нескромного глаза, а тем более служебного: мало ли к кому могло попасть. Недаром и вместо имен везде ставились инициалы: вот, дальше Костя Андронов обозначен был буквой К, и сам Антон — А. Лизавин читал дальше, узнавая по намекам памятный разговор за столом у Кости, когда бывлые приятели предавались перед Зоей армейским воспоминаниям; впрочем, говорил за обоих Костя, молчавший Максим, как выяснялось теперь из тетради, думал тогда о каком-то Марате — это имя было названо полностью; тоже, видно, из армейских знакомых. При чем тут армейский приятель, когда уже начал о Зое? Вот, опять: «Я, помнится, вначале решил, что он из горцев кавказских. Нет, казах, из простых, кончил школу. Но откуда этот кодекс чести, врожденный, аристократический?» «Когда сословный, дуэльный стыд исчезает, — приписано было сбоку, на полях, — надежда только на личный. Равенство оказывается равенством лишь перед страхом наказания, перед кодексом уголовным. Регулируют поведение страх и стыд. Или наследственная болезнь вроде моей». — «Как он может, — изумлялся Марат, — писать девушке такие красивые письма, а вечером спускать штаны для экзекуции? А если бы она узнала? Да я бы застрелился!.. Я сам еще не представлял, насколько это всерьез. Он видел, как я заступался за К., он верил, что я знаю, как быть, что я не испугаюсь, дойду хоть до трибунала. Увы, дальше

госпиталя я не попал — без меня он лежал у караулки с тремя пулями в спине, но я так ясно вижу иногда эту сцену и знаю, что виноват».

9

Бог вещь, какая невнятица! — качал головой Антон. От открытой форточки несло холодом, надо было прикрыть, но он лишь натянул одеяло повыше на плечи, чтобы не так знобило. Застрелился, что ли, этот Марат? Нет, пули в спине. (Но потому и называет его полным именем, что нет в живых. И чувствует на себе вину за его смерть? — ничего не понять.). Из-за чего Максим в госпиталь попал? — после какой-то стычки?.. «О службе не любят рассказывать, вернувшись. Унизительные кошмары вытесняются в область снов, переиначиваются юмористически. Все правильно, иначе нельзя жить. Человеческая жизнь невозможна без умолчаний, подмен, самообмана, упрощений, неправды. Жизнь может строиться только на общедоступном, окороченном, добром, неполном, прикрытом, но не на истине, предельной, нагой и страшной, как тела мертвецов (в морге, когда передо мной, санитаром, впервые включили свет и я увидел на цинковых столах мужчин и женщин разных возрастов, рядом; пол здесь значил меньше, чем в палате родильного дома, где так же на спине лежат новоявленные младенцы — и дышать было легко, господи! Вот что всплыло при воспоминании о Марате. Вот когда все соединилось, и я понял свою обреченность.) Всякая красота — лишь выделенная нами для пользования часть хаоса. Предельная истина запретна, ее воздух не для нормального дыхания. Вся громадная многовековая культура с ее религией и условностями, костюмом и поэзией создана человеком, чтоб отгораживать и защищать себя от нее. Смешно этим болеть, но что поделаешь, я не выбирал, и для чего-то, может, нужно в мире и мое уродство, моя роковая неспособность довольствоваться неполнотой. Нас гонит куда-то сила непостижимая, выше нас. Поговорить бы сейчас об этом с А.! Боюсь, проблема, которую излагал его философ, серьезней и безвыходней, чем кажется». (Это о Милашевиче, о нашем разговоре, понимал Антон.) «То есть выход, наверно, один: искать и решать каждому по своей мере, понимать свою неполноту, тянуться к противоположному, которое могло бы тебя дополнить, и так без конца метаться — но жить. Я тоже испытал эту тягу. Но какой-то синтез или компромисс, видимо, не дозволен мне. И значит, я никого не вправе с собой связывать. Хватит моей вины перед Аней. При всем, что я ей причинил, надеюсь все же, у ней хватит сил устоять. Но ту, бедную, удивительную — мне ли оградить? Она и сама всю жизнь на пределе, на грани. Скорей мог бы А. Как это сказать ему, он бы понял, и мне было бы спокойней. Нужна эта способность вовремя себя окоротить, не рваться за предел. Он думает, в сущности, о том же, что я, но с противоположным стремлением и потому более способен выдержать, а может, и что-то выразить за других и дать поддержку».

10

Это обо мне, понимал Лизавин, это уже почти прямо ко мне. И именно это непонятное обращение дышало угрозой, которую так верно почувствовала Аня. Она права, он зачем-то хотел, чтоб я это прочел, потому что сам не надеялся и не хотел вернуться. «Оставь надежду входящий сюда. Мне кажется, это о погружении не в символический ад, а в себя самого, в бездны совести и понимания. Цепляющийся за надежду меньше способен пройти. Надежда располагает жалеть себя, зовет вернуться, пока не поздно. И правильно, правильно. Не зря так тянет иногда к открытому на высоте окну. Мы боимся свободы потому, что вместе с тюрьмой, глядишь, исчезнем сами». Антона било уже отчетливой крупной дрожью — пора все же закрыть форточку. Что это? — и зачем опять обращено было к нему? — словно он назначен был наследовать и толковать томления других, ушедших. Вздор, этот еще живой. Тут приступ депрессии, тоски; он, конечно, болен. Он ненормален, да. Но глядишь, пройдет. Антон

поднялся наконец закрыть форточку. Оттуда шел в комнату черный, подсвеченный воздух. Форточка была крупная и расположена невысоко, как-то в середине окна. Антон подумал, что через нее вполне можно высунуться, и зачем-то так и сделал. В глубине был мрак, вокруг пустые окна, откуда-то — возможно, от фонаря за углом — исходил свет. Тень огромного животного пересекла пространство — это была кошка, и Лизавин спохватился, что здесь вовсе невысоко, два с половиной этажа. Смещение чувств, не более. Лизавин спрыгнул с подоконника. Дрожь прошла. Он знал, что сказать утром Ане.

7. Ум цветка, или попытка счастья

1

Над одной своей ошибкой Лизавин потом сам смеялся: несколько фантазов, пристроенных было к мерцающим персонажам, оказались просто выписками из жития некоего старца Макария, который в начале шестнадцатого века устроил себе келью где-то за Нечайским озером. Имя это мелькнуло перед Лизавиным в оглавлении трудов губернской Археографической комиссии за 1923 год, которые он взял полистать в московской библиотеке. Вначале просто зацепило совпадение с именем эпизодического персонажа у Милашевича (и, главное, опять же с названием местной секты); но чтение странным путем привело к мысли, что здесь, возможно, больше, чем совпадение. Апокриф, как показывал автор статьи, был написан много после смерти Макария, уже во времена раскола, и, очевидно, числился среди сочинений осужденных. Дело в том, что несчастную природу человеческую Макарий считал удалением от райской невинности и блаженства. Существа, одноименные людям (но только одноименные), — утверждал старец, — в раю жили подобно цветам, а не животным, не зная страданий и потому не нуждались ни в движении, ни в мысли, ни в речи словесной. В цветке видел Макарий изначальную основу Божьего замысла, он толковал, как «цветы», части человеческого тела: лицо, ладони и даже подошвы, но сравнение выходило в пользу существ, которым удалось сохранить укорененный покой. «Они совершенней нас, у них нет кишок, отягощенных навозом, а то, что мы прячем, как срам, у них прекраснейшее, благоуханнейшее и выставлено как лицо». «Тела их даже по смерти благоуханны», — сказано было о простом сене. Божественный дар, живое дыхание, был для них общим с людьми, а радоваться свету, теплу и влаге они могли куда лучше. Но замечательней всего, — удивлялся комментатор, — что даже способность различать добро и зло, которая связывалась для человека с изгнанием из рая, по Макарию, была вовсе не чужда и растениям. Если перевести его рассуждения на современный язык, эта способность по-разному откликаться на хорошее и плохое, приятное и неприятное, вообще отличала живое от неживого. Живое умело защищаться от плохого и искать хорошее, запоминать пережитое и изменяться под его влиянием, вырабатывая и усваивая нечто вроде умственных идей. Удивительно, писал автор, что об этом рассуждал человек, не слыхавший не то что о фагоцитах или иммунитете, но вообще о клетке, о происхождении видов. Насколько можно было судить по описанию, философская часть «Жития» выглядела своеобразной поэмой о природе изначального счастья и происхождении разума из страдания. Зародыш мысли, — учил старец, — срощен с оболочкой страдания, и кто растревлял боль, нарушая безмолвный покой, пробуждал мучение ума. Этой роковой тоской Господь наказал утративших рай, и за века истории взаимоусугубление ума и страдания вводило их потомков все дальше от начального и вожделенного блаженства. Еще в недавних книгах рассказывалось, как на крови татарских ужасов взошел цветок боранец, имевший головку с ягнячьими рожками и поедавший траву кругом своего корня — живой пример развития, застигнутого на середине. Но образ цветка и память о райской тиши остаются для человека мечтой и целью в поиске, сулящем преобразование и блаженство. «Не этого ли блаженства искали подвижники, что

зарывались по пояс в землю и жили так, полагая, будто ищут истязания телесного?» — вопрошал старец, сам прошедший в своей келье недвижно многие годы, достигший такого совершенства, что уже не справлял нужды и гузном пустил корешки в скамью. Судьба и нынешнее местонахождение апокрифа были неизвестны; однако не исключено, что Милашевич знал его не только по описанию — кроме очевидных выписок, к нему могли иметь отношение еще несколько неясных обрывков, которые всплыли у Лизавина в памяти: там чьи-то тела уходили в землю, кто-то шевелил прораставшими корешками, раскрывался свету и влаге, как музыке, кто-то пытался проникнуть в молчание и мучился пробуждением мысли, как фикус в давнем рассказе.

2

бледная почка раскрыла ресницы, на ножке стебля распускается зрячий глазок

Разве мы чувствуем только ненастье погоды, только телесный укол или ожог?

это входит щекоткой сквозь поры, проникает в нас ветром, из земляного навоза, течет в волоски

сок, поднимаясь по жилам, становится красным и жгучим

страх понимания

слово от боли

Так больно, так тяжело! Неужто не слышишь? Вот же я, вот! Ты трогаешь пальцами вещество души моей, моего ума.

3

В соединявшихся наново фантиках, словно в шелесте листьев, можно было теперь при желании различить нечто вроде фантазий на темы Макарьева апокрифа. Задолго до чувствительных приборов, подтвердивших способность растений откликаться на ранящие прикосновения, чей-то невооруженный слух улавливал дрожь их и жалобу; кто-то рассказывал, как цветы в комнате и даже в саду заболели вместе с хозяином и засохли в день его смерти... Как описать новый рой внезапно завихрившихся в голове Лизавина идей? Именно рой мелких, как пылинки, насекомых, хаотическое завихренье, пылевая туманность, из каких рождаются миры. Здесь смешались и на время сцепились упоминания о смерти и о кладбище, на котором бесчинствовали называвшие себя макарьевцами, и какой-то кладбищенский опять же поп в Нечайске, и снова ученый батюшка-цветовод, должно быть, все же не случайно получивший у Милашевича то же имя. Мордовская редкая борода, тяжелые мужицкие сапоги, выцветшая шляпа, серый подрясник. Здороваясь, он протягивал большую руку в твердых от лопаты мозолях. Сюда же неожиданно пристроилась еще одна запись. *Бывший отец на своем месте. Работа рукам привычная, только ямы поглубже.* Много ли надо уже разогретому воображению? Кладбищенский поп, оставшийся не у дел, возможно, после революции, когда в Нечайске закрыли церкви, приспособился к работе могильщика. Допустим, а дальше что? Можно было добавить сюда кой-какие зарисовки или, скажем, надмогильные надписи, но после нескольких подобных проб кладбищенская линия истончилась и отпала; более заманчивым показалось собрать вокруг того же персонажа фантики не столько на религиозные, сколько на садоводческие темы; их у Симеона Кондратьевича была куча. Кто это толковал о разных пищевых вкусах у

растения молодого и старого, и пытался продлить юность цветов с помощью табачной вытяжки, и воздействовал на них алкоголем, наблюдая, как блаженно и беспорядочно начинают шевелиться листья? А бог знает кто. Почему бы не сам Милашевич? Разве не он возился с безымянными семенами в ганшинской оранжерее, разве не его почерком записывались номера делянок, цветочных ящичков (или сортов) в протоколах неясных опытов, где № 2 обгонял в росте других, а № 5 все не давал всходов? Его пальцы, по свидетельству Семеки, тоже были черны от копания в земле, и настоящим, не сочиненным было пятнышко на бумажке с корявой надписью «От Троцкого».

4

Этот странный и, прямо сказать, беспокойный фантик выскочил на пути опять, как заноза, требуя разобраться. Дело в том, что одна попавшаяся в газете заметка чуть было не предложила объяснение. Заметка сообщала о появлении в уезде самозванца, именовавшего себя Троцким. Этот человек объявлялся в деревнях, самочинно отменял налоги и уверял, между прочим, что он с товарищем Лениным лично выслали в уезд три вагона с сахаром, табаком и чаем, но местные власти будто бы задержали товары у себя. Тут же описывались и приметы авантюриста: борода клинышком, рот большой, иногда надевает пенсне, припадает на правую ногу, носит мерлушковый полушубок. Его настоящая фамилия, как объяснялось, была Успенский. Сообщалось также, что меры к его поимке приняты. О дальнейшем сведений не было, и лишь на короткий миг в уме Лизавина мелькнула, как бы составленная из обрывков, картина деревенской избы с бревенчатыми закопченными стенами и тусклым оконцем. На полке, в красном углу, возле божницы, среди пузырьков, веретен, бутылок — кривобокий осколок зеркала. Антон всегда видел в этих листках впечатления времен, когда Милашевич собирал по окрестным деревням для музея вещи, растасканные из ганшинской усадьбы; теперь он вдруг разглядел в отражении зеркальном лицо человека в кожанке, с эспаньолкой, с пятнышком усиков под носом — непонятная чужеродная в таком сочетании фигура. Заинтересовался ли Симеон Кондратьевич известием о самозванце, пробовал набросать портрет или сюжет об авантюристе, провокаторе, а может, искреннем сумасшедшем, одном из тех, благодаря кому история так пронизана легендами и мнимостями? А может, был с ним знаком взаправду и даже получил что-то с вложенной бумажкой?.. Попытка связать с этой личностью навозный фантик тут же лопнула, как пузырь; Лизавину предоставилась возможность посмеяться и над этим заскоком мысли — само собой подоспело вдруг объяснение иное.

5

Потому что Москва подарила кандидату наук находку поважней макарьевского апокрифа. Он уже потратил по библиотекам большую часть своего сомнительного отпуска, все еще надеясь встретить в воспоминаниях или публикациях о предреволюционных эмигрантах имя Александры Флегонтовны, а находя попутно, как видели мы, совсем другое, когда вылезшее где-то бочком в памяти имя Семеки побудило его; наконец, еще раз заглянуть в мемуары покойного — но не в опубликованную книгу, а в черновую рукопись из архивных фондов. Мог бы догадаться и раньше: как-то не сразу пришло на ум, что в печатный текст попадает, право же, далеко не все из написанного. Ах, Антон Андреевич, Антон Андреевич! То есть ему даже помнилось, что нечто похожее на эту мысль вроде бы шевельнулось однажды, но он не задержался на ней. Ну, да что говорить. Страницы, посвященные Милашевичу, он знал без преувеличения наизусть и в рукописи без труда стал находить опущенные или измененные места — где несколько строк, где слово, где целую страницу. Причины сокращений и поправок не всегда поддавались объяснению. Можно было понять, например, почему не попало в печать финальное сожаление автора об исчезнувшем с

его горизонта человеку: «Не представляю, кому мог помешать этот тихий, уединенный в своем мирке фантазер». Значит, все-таки имел основания думать, что Милашевич не просто умер своей смертью? — но предпочел эту щепетильную материю обойти. Но почему оказалась вычеркнутой такая, например, подробность о Милашевиче: «Он выглядел невысоким, но когда стал рядом, оказался не меньше меня. А во мне, по-старому, два с половиной аршина?» (то есть метр семьдесят восемь примерно, быстро перевел Лизавин). Отмечая такие сокращения, а иногда и вставки, даже просто замены слов, он все ясней начинал улавливать направленность этого редактирования. Скорей по собственному почину, нежели под чьим-то нажимом, Семека старался выстроить образ более последовательный и цельный, а значит и более достоверный, чем он складывался сам из разрозненных деталей. Да разве все мы не редактируем — сознательно или бессознательно — искренних своих воспоминаний? — даже странно полагать, что они могут иметь только один вариант!

6

Особенно существенны были два сокращения. Перед уходом из чайной оба собеседника в какой-то момент одновременно извлекли часы; дешевая луковица Милашевича раскрылась с музыкальным звоном. «Было четверть десятого. — Ваши на пять минут спешат, — сказал Симеон Кондратьевич. Я, как это бывает, покосился на его циферблат и не увидел на нем стрелок». Это очень смахивало на литературную реминисценцию из утраченного рассказа, которого сам Милашевич будто бы не помнил. Наверно, Семека почувствовал, что ему все-таки не поверят, а может, постарался редактор, в рукописи это место не вычеркнуто. Но именно литературность эпизода, как это ни парадоксально, делала его для Антона достоверным — как и галстук с заплаткой на шее этого человека, точно разыгрывающего перед собеседником собственные страницы. Вторая замена была иного рода: вместо упоминания о ботанических опытах индийца Бозе в черновике следовал занятный разговор о возможном воздействии на живые существа радиоволн. Вначале Симеон Кондратьевич поинтересовался, верно ли, что в Москве взорвалась башня радиостанции — типичный вопрос захолустного умника, через слухи приближающегося к большому миру. Семека эту чушь авторитетно опроверг (как, между прочим, опровергала его примерно в то же время газета «Плуг и молот», бывший «Поводырь» — видно, слух занимал местное воображение: несколько дней Столбенецкая станция не принимала столичных сигналов); тут Василий Платоныч был на высоте, так что вычеркнул этот момент не из опасений внешних. Но собеседник его в ответ покачал недоверчиво головой — тоже повадка провинциала, которого так просто не собьешь: мы дескать себе на уме, читаем в своей библиотеке не только газеты уездные, и знаем кое-что неведомое даже столицам. Потому что именно в эти несколько дней, совпавших с неполадками эфира, очень странно развивалась рассада на его опытных делянках. Да разве это может влиять? — не понял Семека, и Симеон Кондратьевич удивился в ответ: а может ли не влиять? Помыслите сами. Если какие-то невидимые, но материальные волны пронизывают теперь всех. «Всех, и нас с вами. Вот мы сидим здесь, пьем чай, а нас пронизывает каждое мгновение. Наш мозг, наши клетки. Нервы. Не было с вами: в голове будто вдруг начинают звучать слова или мысли, которых у вас самих не могло родиться? Откуда они? Если вникнуть здраво?» В этом месте, написал Василий Платонович, я догадался расхохотаться. Однако фраза насчет хохота оказалась зачеркнута, а против нее на полях подклеен отдельный листок с другим обрывком, непонятно к какому месту разговора относящийся: «Мы не можем всего вместить, — (рассуждает, видимо, Милашевич). — Вот мы с вами, допустим, воспринимаем друг друга, эту еду, стол, людей, дым, воздух — что еще? А ведь каждый миг, вот сейчас, внутри нас и вокруг происходит жизнь бесконечная, неохватная. Внутри течет кровь, выделяются соки, работают клетки, движутся молекулы, а вокруг целая Вселенная, миллиарды людей, существ, и в голове память, мысли, да еще вне нас их сколько, если умеешь

вслушаться». Как и все предыдущее, этот кусок перечеркнут крест-накрест, ниже вписано мелким почерком, видно, взамен, начало еще одной байки про заведующего конным двором в Нечайске, который усердствуя, убрал из конюшни висевшие там прежде иконы Фрола и Лавра, покровителей скота, зато повесил над пятью стойлами таблички с именами московских вождей. «Тут я догадался, наконец, расхотаться», — перенес на новое место свой смех Василий Платонович, и только эта фраза на всем листе осталась незачеркнутой, потому что взамен предыдущего был перенесен с другой страницы более безобидный сюжетец, про опыты бразильца Сикейроса с кофейными листьями, так что заключительный смех и догадка о шутке вполне уместно подходили уже к нему. Эк сколько успел наговорить за один вечер сочинитель, наверно, стосковавшийся по расположенному слушателю! Семека всего этого придумать не мог; наверняка тогда же, начерно и записал кое-что для памяти, а теперь лишь отбирал, располагал и связывал свои переписанные черновики, производя работу над образом.

7

Потому что навоз-то, навоз «от Троцкого» существовал взаправду. Антон Андреевич не только собственными глазами видел его следы, но мог бы и понюхать собственным носом, если бы время не выветрило запах. Словно развивая собственный сюжет, естествоиспытатель получал и проверял удобрения с того самого конного двора, порциями из-под каждой таблички, означавшей новое имя обитателя стойла. *Такое имя не помянешь вслух на улице, замахиваясь кнутом...* — в самом-то деле, да ведь и не обязательно вслух; смысл поиска был в другом. *Может, имя загадочным, неизвестным пока науке способом производит воздействие на сам телесный состав и даже на извержения телесные.* Ах, бог ты мой! Пять делянок удобрялись каждая своим сортом, семена высевались из холщового ганшинского мешочка без надписи. Номер второй бурно и преждевременно обгонял прочих, плоды были похожи то ли на стручок размером с огурец, то ли на огурец с заостренным, как стручок, концом. Всюду самосевом всходила непонятная мелкая травка, цветы переменчивых оттенков напоминали сыпь, корешки были переплетены под землей. Вдруг что-то произошло, необъяснимое одним лишь внутренним развитием, листья скорчились, скороспелые плоды стали рваться с хлопками, напоминавшими выстрел. Зазвенели разбитые стекла. Стебли усыхали и чернели. Оболочки стручков свернулись обугленными спиралями. Разве мы чувствуем только ненастье погоды? Разве не пронизывают нас волны, полные неслышных слов — каждого на свой лад?

8

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИЛЕТ

на прослушивание радио
в течение 2 мин.

Цена 1500 руб

Уполномоченный Гублита № 8

Прибор стоял на колокольне, провода тянулись от него к большому колоколу. Песочные часы отмечали время.

Сам квадратный, ножки кривые, на лбу две шишечки, щупальца двойные от темени вверх. И острозадый кудек — то ли рот раструбом, то ли ухо.

Пускали по одному, без толчеи. Голос был слышен тихо, надо было вплотную приклонить ухо, оттого казалось, что каждому нашептано что-то свое, особое. Ну, что говорил? — допытывались у выходявших на монастырский двор.

Поставь, говорит, ноги пошире и нагибайся, говорит, правой рукой к левой ноге, а левой рукой — к правой.

9

Смелей, смелей! пусть не смущает нас возникающий из фантастических сцеплений мир, который запечатлевал или преображал вокруг себя все еще не разгаданный, пожалуй, вегетарианец и садовод с большим ртом, в пенсне, сапогах и толстовке с оттопыренным нагрудным карманом. Вот он уже и ростом оказался крупней, как будто приблизился, не ему думать о скрытых внутренних каблучках, чтобы казаться выше, и томления недомерка следовало передать кому-то другому. Этот философ простой жизни вообще сам оказывался не так прост и жил не просто; в своем маленьком уголке он прислушивался к голосам и веяниям большого мира, переводя их на свой самодельный, не сразу понятный язык. В его крохотном, прикорнувшем за лесами пространстве отражались по-своему те же стихии, через него проходили те же волны, что окутывали всю землю и пронизывали страну, они оведали жизнь, возраставшую на местном навозе, и на перекрещенье рождались неожиданные плоды... Вот проявился из марева дальний монастырь, с колокольни еще не сняты колокола, трава проросла между камней кладки, доносятся отголоски толков о кривоногом устройстве, в раструб которого можно было не только услышать слова из далекого центрального источника, но и нашептывать туда, к источнику, свое — да не допускали. Стынет в сумерках городок. Грязь подмерзла, стучит на ветру бельё. Из облака лунной пыли, как в акте творения, рождаются и твердеют силуэты домов, очертания голых ветвей. Призрачно светятся белые стены торговых рядов, закутанные в платки фигуры прячутся в тени, жмутся к подворотням. Но вот отделилась от тени тень, скользнула к закрытым дверям бывшей обувной торговли, и тотчас к ней бесшумно, точно ночные зверьки, сбегаются другие, выстраиваются в мгновенную бесплотную очередь. Накануне объявили разверстку распределения галош по уезду — был слух, что с утра начнут выдавать. «Разойдись! — приближается голос милицейского стража. — Разойдись, стрелять буду!» — и тени так же бесшумно рассыпаются, исчезают в тени. Мы видим это, мы слышим это вместе с Лизавиным ясней, чем то, что окружает нас — разве читающий эти строки воспринимает сейчас голоса и лица вокруг себя? Мы все плотней осваиваемся в воздухе чужой жизни, среди людей, которые для нас достоверней и ближе, чем вон тот исчезнувший прохожий за окном. Колеблется на фитиле огонек, вздрагивают переломленные тени. Печка гудит, красный отсвет из открытой дверцы падает на чужие листья, и снова все гаснет.

10

Букв не разобрать впотьмах — да нужен ли свет? Это можно читать и так, потому что все знаешь на память, до расположения строк на странице и нечаянных опечаток.

В лунном свете уродец приплясывал на кривых ножках, отставя зад и сам для себя издавая музыку, а где-то по пространству земли шевелились в такт способные слышать, их брови и плечи подрагивали во сне.

11

О чем эта музыка? О лунной ночи и криках спросонья? О тающих облаках, о преодоленной боли? О рассвете над озером, о пробуждении ото сна, о надежде и осуществлении? Она о тревогах вселенских битв и житейских тревогах. Она о том, что может сказать человеческой душе травинка и капля, о голодной стуже, о разметавшемся в жару больном, о тюфяке, набитом вшами, и жажде, утоленной блаженным напитком — чаем из березовой коры. Она о голоде и насыщении, о жертвенности и казнях. Она о новых словах и вечных страстях, о глубинах, на которых честолюбие и корысть, жажда власти и обладания объединяются стремлением обеспечить себе, своей именно жизни продолжение в потомстве — но оттуда же и любовь, и безнадежная верность, и многолетнее ожидание. Разносит взрывом ошметки человеческих тел, колокольчик перебивает оратора, со скрипом передвигаются мировые границы. На стене вокруг керосиновой лампы живой вензель из тараканов. Вечное захолустное небо сереет над крышами, пробивается между камней трава мшанка, выходит на затихшие улицы удивительный пес Серп и Молот. Плывет лодка в тумане, замирает душа, расправляются, потягиваются блаженно лепестки цветов. Повторяясь в новом времени и в новой связи, те же самые голоса меняют звучание, как тема фуги в новой тональности или новой последовательности, но музыка та же, лишь на переходах возникают порой как бы нечаянно синкопы, всхлипы, а то и взвизгивания, и тогда скребет сердце, будто что-то прорывается из темных запретных бездн, где кривляются черти и сумасшедшие.

12

Возглас потери и возглас торжества, смех и плач перемешаны были на листках, как в жизни, а о чем был смех и о чем плач, в чем потеря и в чем торжество, что было раньше и что позже? Откуда, скажем, этот голый толстяк под яблоней, на пятипалой руке-блюдце? Женщина с круглым румянцем поливает земляничным вареньем блины. Малыш на горшке ест персик — изваяние жизни, протекающей непрерывно. Откуда, позвольте, персик? Из каких времен мука для блинов и сахар для варенья, и этот румянец, и невзрослеющий херувим? Сам Милашевич несколько лет даже хлебных карточек не получал, числясь лишенцем — он, видно; не предъявил своих тюремных и ссыльных заслуг, которые в те годы могли содействовать мало-мальскому пропитанию. Не ему причитались фантики с талонами бесплатной выдачи, может Александре Флегонтовне; он исхитрялся, как прочие; небось, репу у себя на огороде вскапывал, свеклу, капусту, морковь, ну и огурцы, конечно, столбенецкие знаменитые, да еще табак — обменную ценность, сам он, кажется, не курил. Много ли нужно было сверх того? — керосин, да спички, да соль. Может, козу держал? — вряд ли. Но что из того? Это главного не меняло — музыка слышится та же. *Еще немного, еще чуть-чуть, и сойдет, сбудет, разрешится.* Вот, не оцените ли божественный вкус: пирожки из тертой моркови? И поймете ли вы это счастье: увеличили мыльный паек?

13

Да, исторические потрясения, перевернувшие поверхность жизни, как будто ничего не отменили и не опровергли в глубине его философии, наоборот, помогли быть последовательней. То, что выглядело комической фантазией чудака во времена Ганшина, когда придумыватель картин пытался утвердить равноценность для напряженной души божьего хрусталя и жестяной кружки, становилось поневоле общим достоянием в пору, когда за буханку ржаного хлеба отдавали обручальные кольца, когда книгами топили печки, когда галошам можно было посвящать оду, а их счастливый обладатель чувствовал себя возвышенным над другими смертными, когда добыча керосина и дров обретала значительность, даже торжественность библейскую, когда, по слову поэта, домашний скарб вновь становился утварью — быт поистине оборачивался

бытием. Жизнь готова была придать новую цену мудрости святых вроде Макария, ухитрившихся вкушать богатства мира, не выходя за порог, мудрости нищих дервишей, безразличных к внешним подробностям, но обретавших источник света и радости внутри. Вот когда впору было проникаться обособленным величием и полнотой любого мгновения — именно мелкие фантики, изъятые из связи и времени, укрупняли то, что в связном сюжете выглядело проходной деталью: тут все обретало эпическое величие.

14

Половина человеческого тела торчит из бочки. На толстых губах улыбка блаженства.

Разве больше наслаждался император в беломраморном бассейне с душистыми лепестками роз?

Оса в жарком колоколе цветка. Нежная пыльца на тычинках.

Прозрачные крылышки стрекозы с натеками ржавчины у самого тельца

Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?

Воздух светится, весь сделанный из вещества, которое идет на косые лучи солнца в туманном лесу.

свет сквозь немытое окно — как сквозь бутылку плохо очищенного самогона.

гроздь пены

самовар — владелец неевклидова пространства

звяк ложечки о стакан

шорох конфетной бумажки

Райская сладость

Мгновение жизни

Мгновение жизни

Мгновение жизни

Тираж 1500 экз.

И больше, если захочется

15

Похоже, фантики были для Милашевича больше, чем записной книжкой, дневником без дат, черновиком литературных фантазий, способом обдумывать на бумаге идеи своей философии. Они сами были идеей и философией, способом мыслить и представлять мир как вечный набор мгновений, измельченных, изъятых из времени. Тут был каталог материала, из которого строится жизнь великих и малых, счастливых и несчастных — так из одинаковых атомов строится уголь и алмаз. Чьи это бледные лепестки складываются в подобие человеческого личика: бугристый двойной лобик, глазки, маленький подбороро-

док? на чьих листах вздрагивали волоски и сладко дышали поры? Оранжевая орхидея запечатлена на бумажках или мелочишка, напоминающая сыпь? То-то и оно. Если не заботиться о сравнении масштабов, о связи, все оказывалось равноценно значительным: сплошь ядра без протоплазмы, без соединительной ткани. Может, он надеялся из них составить бесконечное, всеобъемлющее мгновение, о котором толковал в столбенецкой чайной Семке на невразумительном своем языке? — мгновение, которое вместит простор мироздания и мелкий укол чувства, всю полноту гения, красоты и любви. Попытка сделать непреходящим мимолетное состояние, закрепить его, удержать — как хотел удержать он рядом с собой женщину, воплощающую для него мир, уязвимый, добрый, доверившийся ему. Тут был теперь для него не просто умственный поиск — на этом, может, держалась жизнь. Не для себя, для нее устраивал он дома цветочный рай, для нее убирал стрелки с часов и даты из своего сознания. *Укройся в тишине, пусть даже часы не тикают. Не вечно же бежать. Всей нашей жизни — четыре времени года, детская карусель.*

16

Может быть, может быть. Но неужели он думал всерьез, что ему удастся не удававшееся никому? Хотя бы потому, что жизнь упорно заботится о цельности и не желает меняться под цвет каждого очередного мгновения. Мы их обычно не осознаем, как не осознаем жизни здорового своего тела, поразительного космоса его устройства, где почки с колбочками и сосудами, где хрусталик глаза и разветвление нервов — не просто невообразимы и неохватны. Вот в чем противоречие: счастливый покой не позволяет ничего ощутить, о чувстве напоминает боль, а ее-то Милашевич никак не хотел, от нее надеялся увести. Каким образом? Он-то знал, что такое обостренное чувство жизни. *На весах красный обрубок коровы.* Из этого чувства развилось, в сущности, все его вегетарианство — преувеличенное воображение мешало поедать плоть живых существ. Но человек по природе рожден плотоядным, его так просто не перестроишь. Что-то не получилось — пусть; в главном направлении мысли Симеон Кондратьевич, похоже, не колебался. (И ведь удалось же ему, в конце концов, главное: женщину он убедил, удержал, пусть нам ее и не разглядеть, там по-прежнему слепое пятно — не клякса, из-под которой еще можно что-то расчистить, а как будто на пленке поврежден светочувствительный слой: что проявишь из пустоты?) Нет, ему порой даже как будто казалось, что это направление мысли совпадало с поиском великой эпохи, которая ведь тоже бредила мечтой о близком конце предварительной человеческой истории и осуществлении земных надежд. Он разве что переводил эту мечту на свой самодельный язык.

17

Нужен финн, чтобы напоминать о счастье — даже этот загадочный фанатик однажды получил объяснение, соединившись с газетным известием времен, когда только что упразднена была центральной властью Нечайская республика, а Иона Босой-Свербеев получил под начало дом осиротевших детей. В окрестных лесах скрывались «зеленые», уклонявшиеся от мобилизации; в деревнях и слободах парни и отцы семейств пробивали себе карболовой кислотой барабанные перепонки и вкалывали шприцем в ноги костяное масло, чтобы опухли. Прямо под рисунком поводыря публиковали список дезертиров, условно приговоренных к высшей мере социальной защиты; старших членов семьи забирали заложниками. «С глубокой болью в сердце приходится признать смертную казнь, против которой мы первыми восстали. Но кровавая борьба в крепости, осажденной всемирным врагом, не имеет других законов. Не казним мы — казнят нас. Из двух зол выбирается меньшее». В электротеатре «Грезы» шла лекция об использовании мороженого картофеля. Большая часть Европы, как

было только что обнаружено, медленно опускалась под уровень мирового океана и через пятьдесят лет должна была исчезнуть совсем. В Болгарии шла революция, вспыхнули беспорядки в Индии, а в железнодорожном пакгаузе Столбенецкой станции беспартийное собрание криками не давало оратору говорить о текущем моменте. Вот когда слово взял не названный финский товарищ. Финнов в уезде было много, как и латышей — все владельцы богатых мыз, потомки ссыльных, оказавшихся в здешних местах после подавления разных восстаний; но этого никто из местных не знал, он только что бежал из самой Финляндии и мог рассказать возбужденным людям про то, что увидел там своим единственным (как у покойного Перешейкина) глазом — второй, выбитый мучителями, был закрыт грязной повязкой. А видел он там, в Финляндии, как голод косил людей тысячами, как пьянствовали и насильничали в городах победители-офицеры, он видел овраги, засыпанные трупами расстрелянных, и женщин, грудью кормивших господских щенков. Вы не можете оценить своей жизни, пока не потеряете того, что потеряли мы. Цените свободу и власть в своих руках; здесь жить и сейчас можно, а каково будет! Вот, говорят, уже мыла вагон подвезли и паек увеличили.

18

Не примерял ли себе Симеон Кондратьевич роль эдакого финна? Провинциальная идея уточнялась и переосмысливалась, вбирая в себя новый опыт. Умение отгораживаться от связей во времени и пространстве, способы сравнения с другими — во всем была своя наука, техника, а может, даже искусство, всерьез занимавшие Милашевича.

Наука счастья начинается сравнением

Чего им завидовать? Того застрелят, не дав до сорока дожить, того на которгу зашвырнет, того уже стариком тоска погонит из дома.

Вот Вась Васич до восьмидесяти дожил, и ни одного волоска седого.

Каждому месту может быть достаточен свой гений, увенчанный местным лавром. Пусть это будет не свойство, а профессия или должность в системе разделенного труда.

19

Все время не оставляло чувство, что среди усмешек и ужимок Милашевич прячет очень нешуточное; он ведь и в разговоре с Семекой все балагурил и прибеднялся, все кого-то разыгрывал — так сказочный хитрец метит ложными крестами соседские дома, чтобы скрыть среди них от угрозы единственный, свой. Он, может, и рассказы свои Василию Платоновичу отдал не просто из тщеславия литературного, а чтобы пустить вместо себя по свету второстепенного двойника. Там был один сюжет про захолистного стихотворца, никому не известного за пределами своего городка; зато для городка он был действительно символом, выразителем души, — а может, наоборот, его душевный настрой и способ мыслить сказывались на строе жизни, самом характере обитателей, так что даже в очереди за керосином спорили здесь с тем же комичным пафосом, даже в любви объяснялись строками его стихов. Наивно было искать в персонаже этой фантазии черты автора — человека, который у себя в Столбене скорей боялся, как бы его не узнали; здесь вычитывалась разве что грустная мечта — но при всем том задушевная российская убежденность, что литература — это все-таки не просто так; слово, что ни говори, способно влиять на жизнь, менять ее и перестраивать, пусть даже оно и не записано, а только произнесено.

Я написал это, зная что сожгу, но зачем-то поправил слово, нашел поточней. Как будто не все равно, гореть бумаге с этим словом или другим.

Себя ли имел Милашевич в виду? Предназначал ли эту речь персонажу? — здесь было что-то от первобытного чувства, от магии деревенских колдунов, которыми в самом деле печально славился когда-то уезд; там, в деревнях, и после революции верили, что словом можно свести бородавку и вызвать пожар. Это были места, где больных детей обмазывали тестом и ставили в печь, «на дух»; где мужики на вопрос агронома, почему не истребляют они сусликов и мышей, отвечали подумав: «Мышей много — значит, к урожаю; а сусликов мы бережем на случай: будет опять голод — ими питаться будем, как в прошлые голодные годы». Провинция Милашевича жила на перекрестке городской грамотности, которой отличались вернувшиеся из Питера отходники, и языческих суеверий; упрямый философ продолжал осмысливать, что значат для нее слова в пору, когда они что ни день обновлялись вместе с обновлявшимся миром. Менялось название страны и названия улиц, менялись фамилии людей и переосмысливались святцы, а на конфетных фантиках множились надпечатки: карамель «Народная» становилась «Массовой», простой «Петушок» — «Красным петушком», а название «Опохмельная» перекрывали буквы «Долой пьяный угар». Слова оказывались небезразличны для вкуса и могли его изменить. *Четверть жмыха, ржаной помол да тертая картошка — чем пахнет это липкое, тяжелое? Словом хлеб. Не заварка благоухает, а слово чай.* Существовали слова-агнцы, их можно было переосмысливать, но и сохранять; слова-козлища изгонялись во тьму внешнюю, куда-то туда, откуда продолжали грозить враждебные племена керзонов и либерданов, где оставались палачи и полиция, смертная казнь и цензура.

Сборщик податей, урядник — скверно пахнет, не правда ли? А вот — фининспектор, милиционер.

чиновник — совслужащий

острог — ардом

разменять — убить

болезнь № 5 — сыпной тиф

больница бывш. Креста Господня, ныне Красного креста

— Значит, по-вашему ситец теперь 66 копеек аршин?

— Да не аршин, а метр, сколько вам толковать?

— Ну-ну. Ты еще аршин Феклой назови, по рублю будешь брать.

Бывало, напишешь: человек в трехрублевом картузе — и про него ясно, какого сословия, богат ли, каков вкус. А тут берешь займы десять тысяч — через неделю изволь отдавать миллион.

Новая вера начинается с новых слов.

Слова обвевали нечувствительным ветерком голову, входили в тело, меняли клетки в мозгу — провинциальный мыслитель прислушивался к их действию. Слова порождали стихийные бедствия, словами заклиналась жизнь. Ими вполне можно было, например, переиначивать прошлое — то, над чем, казалось, дана была власть одному Господу, мы делаем повседневно, меняя окраску воспоминаний или перенося в минувшие времена побольше худого, чтоб лучше ценить время нынешнее. В словах расцветали видения будущего. Провинциальная почва питательна для утопии — уж это Милашевич знал. Это от нас

приходят мечтатели с растравленными до красноты глазами, со зрачками, устремленными вдаль, это наши виденья носятся над страной и миром, как смутные сны. Другим не до того, они все заняты подручными делами — мы придумаем для них, как окружить землю громадным магнитом, чтобы управлять облаками, обеспечив навеки погоду и урожай; как выровнять поверхность земли, сгладив горы и засыпав болота, а поверхность всемирных вод выстлать плотами и основать на них удобное земледелие; это нам видится полет легких счастливых существ над цветами. *Распаренная земля наливается молочным соком. Растут ровными капустными рядами пальмы, уменьшенные для удобного пользования.* Но главное, мы, не в пример другим, не задерживаемся на бессильных видениях, а рвемся без промедления их воплотить. И если говорят нам, для этого не обойтись без переделки самой человеческой природы — что ж, кто-то у нас и над этим готов подумать. У нас и новые люди раньше появятся — надо внимательней посмотреть вокруг. У нас, в тесноте, и проглядеть недолго. Мы ведь не знаем еще, как действуют на нас новые всемирные волны; может, они уже понемногу уравнивают всех, как гальку на берегу, делают нас пронизываемыми друг для друга, избавляют от одиночества; может, это уже не просто о будущем — у нас, у нас проклевываются ростки всей грядущей цивилизации.

Мы для Москвы — что для Рима Иерусалим.

Таких провинций в любом ихнем квартале уместился бы десяток. Но в тесноте они душат друг друга и теряют уверенную идею.

волны ваши, навоз наш

От века рвались мы исполнить для мира какую-то предельную роль. Может, исполнить слова о времени, которого не станет.

Все дороги ведут к нам.

Париж — это от нас далеко? Пять тысяч верст? Боже мой, какая провинция!

Окончание следует

Михаил Крепс

Геометрия любви

Поэзия

Михаил Борисович Крепс родился в Ленинграде в 1940 году. Учился на филологическом факультете (отделение германских языков) Ленинградского университета. Там же был в аспирантуре. Преподавал в Ленинградском педагогическом институте английскую литературу. 1974 год стал для него годом эмиграции в США.

Сейчас он живет в Бостоне. Профессор русского языка и литературы в колледже. В 1981 году защитил докторскую диссертацию. Опубликовал монографии о Бродском, Булгакове и Пастернаке, о Зоценко. Выпустил две книги стихов: «Интервью с птицей Феникс» и «Бутоны головы».

Выдающийся филолог (тоже — русский эмигрант), почетный профессор Парижского университета, член-корреспондент Германской Академии языка и литературы

(Дармштадт), сотрудник русского исследовательского центра Гарвардского университета (Кембридж, штат Массачусетс) Е.Г.Эткинд писал о нем: «Михаил Крепс — яркий, в высшей степени самобытный поэт, вносящий в современную русскую поэзию неизвестные ей элементы англосаксонской стиховой культуры... Русский язык М.Крепса — богатый, насыщенный идиоматикой, соединяющий в себе классическую ясность и правильность с современной фразеологией и интонацией. Это соединение сообщает ему особую привлекательность...»

В последнее время стихи М.Крепса стали появляться в печати и на родине — в журналах «Октябрь», «Юность» и других периодических изданиях.

Е. СТЕПАНОВ

Писатель, 1956

Ловить бы бабочек, как звонкие слова,
На легких девочек смотря тяжелым взглядом,
Перед читателем заморским — трин-трава,
Не согладатаем, так хоть бы нимфоглядом.

В отчизне чопорной теперь не до Лолит
И не до бабочек, — а было ~~ли~~ иначе?
Все стройки, да борьба, да чехомоданный быт,
России не до нас и не до фраз тем паче.

Искусство — это ром. А может, это бром?
А может, дом? Прохожих удивляя,
Вот грузный он бежит с двустворчатым пером,
С сачком на палочке камену догоняя.

Камин в январе

Марине

Когда-нибудь, когда-нибудь
 Остановлюсь я на бегу,
 Отправят глаз в обратный путь
 Сорочьи стрелы на снегу,
 Морозный день над головой
 Натянет белое сукно
 И вновь оденет в кружевной
 Платок окно.

И станет дом на самовар
 Похож, когда пускает пар
 Дверь черной конскою губой
 При встрече с ветром и тобой,
 И будет зеркалом луна
 На миг отражена.

И вызовет в печном окне
 Поленьев праздничный салют
 Твой голос, тени на стене
 Два абриса в один сольют,
 И, вопреки календарю,
 Январь не будет знать конца,
 И будет жечь глагол «люблю»
 Сердца.

Мы будем думать, что иных
 Зим в мире не было и нет,
 И гирьки ходиков стенных
 Скользнут несильно на паркет,
 И впишет в форточный квадрат
 Кошачье блюдечко луны

Январь, и свет заплещет над
 Лицом жены.

Мы будем слышать по утрам,
 Как воздух режет самолет,
 Как оставляет в небе шрам
 Его игрушечный полет,
 Естественный будильник наш,
 Летящий в дальнюю страну,
 Где стынет в пальцах карандаш,
 Где я живу.

Здесь свет — не ты, и снег — не ты,
 Но город в этом не виню,
 Блестят наждачные листы
 Опустошенных авеню,
 Бросает красный блик камин
 На скатерть — мол, еще горю,
 И на нерусский стук — «come in»
 Я говорю.

Соседка входит. Что-то пьет
 Со мной. Играет в пустяки.
 А между рам сквозняк поет
 Надежным стеклам вопреки,
 Содружества пример простой
 Камин с памятью пустой
 Понятней январю.
 Рисуют стрелки час шестой,
 Стучится утро на постой,
 Но ночи я теперь «постой»
 Не говорю.

Бабочка и самолет

Ветер бродит по газонам в голубых носках,
 Лают собаки в утренней голове,
 В парке охра бабочки ярче мазка
 Живописца, охотящегося за ней.

Ты поднимешь глаза, чтобы крикнуть ей вслед: «замри!»,
 Но увидишь, как чертит серебряный карандаш
 На витрине Творца огромную цифру три.
 Что бы значить могла самолетная эта блажь?

Разве можно сравнить эту стройность негнувшегося крыла
 С легкомысленной плотью, которой во всем — предел?
 Без Икаровой страсти и риску: «была не была!» —
 И Дедач, может быть, оказался бы не у дел.

Алюминий намного труднее пустить в полет,
 Чем по слову заставить порхать акварели дня.

Забирай свою легкую охру, Вездесущий Пилот!
Самолет, сделай знак бесконечности для меня!

Наступление фотосинтеза

На ветке дуба висит розовое махровое полотенце
расстраивается:
«Почему во мне не происходит процесс фотосинтеза?»

Окружающие листья его утешают:

— Не у всех это начинается одновременно.

Рано или поздно

фотосинтез наступит и у тебя.

Чем ты хуже других?

— Действительно, чем я хуже других? —

думает махровое полотенце и успокаивается.

— Нельзя же так не верить в себя!

Махровое полотенце утирает слезы,
улыбается и терпеливо ждет наступления фотосинтеза.

Космос, Петербург, плечо

Век космических странствий подходит к концу,
С мироздания срывается тайны личина,
Самовар и лучина
Нам теперь не к лицу.

Нас уже не страшат предсказания кудес —
Ников, и не преследует стая шакаля.
Мы в стране Зазеркалья,
Но не видно чудес.

Хоть свободна земля от буранов и пург,
Хоть с сознания и с тела сорвало вериги,
Каравеллы и бриги
Не плывут в Петербург.

Ветер гонит по улицам тленья сырье,
Жизнь в горячке восторга рвет страсти на части,
Но, увы, не мордасти,
А на полном серье-.

Вряд ли что-либо ждет нас и за поворотом.
Заведет через месяц метель канитель,
Но тесовым воротам
Не сорваться с петель.

Неужели и я в этом дне живодерском
Не венец мироздания, а голый король?
Черпать мудрость наперстком —
Незавидная роль.

Как тут ни суетись, ни молись горячо,
Не допросишься, старче, у рыбки корыта.
Лишь надежда бела и открыта,
Как любимой плечо.

*Шерри-бренди**Марине*

На двадцатом перегоне
 Давних мыслей налету
 Резать воздух ленинградский
 Твердым клодтовским конем.
 Отражает зайчик солнца
 Золоченая игла.
 И орел двуглавый клекот
 В двух гортанях затаил.

Пучеглазый император
 Двести с гаком лет назад
 В бойких пальцах мучил циркуль
 С непростым, мин херц. клеймом,
 Чтобы я стоял на стыке
 Двух асфальтовых зеркал
 И пускал по ветру белый
 Дым заморских папирос.

Снег, как манна для евреев,
 Медлит падать на асфальт,
 Вкруг да около кружится —
 Предлагает ртом ловить.
 И звучит в искре трамвайной
 То ли ангел, то ли альти,
 Но откуда взятся альту
 Между двух календарей?

Сколько тысяч выражений
 Насчитала морда льва
 На сыром лепном бордюре
 Улыбаясь, третий век,
 Прежде, чем возникло слово,
 Появилась голова,
 Чью скрывает форму шляпой
 Петербургский человек.

Несомненно право ветра
 С фетром спорить налету,
 Кто стоял под ветром фетром?
 Кто затеял маяту?
 Броневик заморским Бертам
 Доказал ли правоту?

Одиночество страшнее
 Неоплаченных обид,
 В гаражи спешат машины,
 Норовят трамваи в парк,
 А на площади вокзальной
 Всем известный индивид
 Ловит вытянутой дланью
 Проходящее такси.

Одиночество страшнее
 Заколоченных дверей,
 В заколоченные двери
 Можно голубя пустить,
 Голубь крыльями раздвинет
 Голубую пустоту,
 Но звонок знакомых пальцев
 Не сумеет распознать.

Звук причине не помеха,
 Звук причине — поцелуй
 В том краю, где вместо эха
 То колонна, то окно.
 Сколько лет, как удалились
 Мы под сень заморских струй,
 Но затверженную пряжу
 Все прядет веретено.

Кто-то грохнул оземь банку —
 Вытекает майонез,
 Чудеса телекинеза
 Наблюдает птичий глаз.
 Воробью добра не жалко,
 Воробьиный мир велик,
 В граде, где героев книжных
 Принимают за живых.

Вот идет с коньками Китти
 С топором спешит студент,
 Бледноватая подруга
 Тащит Ольгу в гастроном,
 Получила здесь квартиру,
 Будет век ему верна,
 Штольц показывает другу
 Заграничный кинофильм.

Пусть история проходит,
 Словно девочка в метро,
 Пусть Венера с Марсом спорит
 То ли эту, то ли ту,
 Их как vareжек цветастых
 На катке в ЦПКО,
 А слезам Москва не верит —
 Слезы — это H₂O.

Дремлют Чехов и Шульженко
 В материнской голове —
 Романтические бредни
 Девяностых и стальных,
 Как сказал другой географ
 Площадей и мостовых,
 Жизнь — лишь бренди, шерри-бренди,
 Значит, знал он в жизни толк.

Снег справляет новоселье
 На погасшем цинке крыш,
 Кот крадется, мягкой лапой
 Оставляя круглый след,
 Над его спиной сияют
 Разноцветные шары,
 Удаленные пространством
 До игольного ушка.

Петербург в созвездье Девы -
 И Москва в руке Творца
 С Мавзолеем и ночными
 Девочками у метро
 Уплывают в космос. Дети
 Второпях зовут отца.
 На рассвете в мнимой сети
 Глобус вертится хитро.

Геометрия любви

Марине

Лес танцует до упаду, — а где он, упад?
 Ветер в теплой тополиной прическе шуршит,
 Твое имя произносит совсем невпопад,
 Красным пламенем о чьей-то судьбе ворожит;

Треугольники врезает в горизонт гора,
 В небе чертит Бог невидимым циркулем круг.
 Геометрия пространства точней пера —
 Ничего здесь не бывает спроста и вдруг.

Даже зеркало морское верней штриха
 Знаменитого художника — кривит во всем,
 Но последовательно, значит, и нет греха
 Там, где царствует масштаб, глазомер, объем.

И природа вокруг — не простой хаос:
 В ней гармония и форма нашли предел
 В симметрии лепестков, в перехлестах лоз,
 В сером кружеве стрекоз, в тесноте их тел,

Их, и наших, и любых. Только разум-гость
 Иногда толкует чувства и вкось и вкривь,
 Геометрия надежды — обум, авось,
 Геометрия обиды — предел, надрыв.

Геометрия открытий подстать слезам,
 Что являются испытанным чувствам вслед,
 Крикнуть «эврика» сложнее, чем сказать «сезам» —
 Вдохновенье не следит за теченьем лет.

Все ж мы лучше, чем природа, — она без глаз
 И без слез. И даже если и без войны
 И без страха смерти — без слов, без фраз
 И без дара жалости и вины.

Опрокинет ночь на землю чернил ушат,
 И сольется ландшафт с ветровым стеклом.
 Это звезды в глазах или серьги в ушах?
 Это ветер или ангел шелестит крылом?

Что деревьям твое имя, луне — лицо,
 Ветру — живость глаз, траве — твоей тени след? —
 Как для времени внутри деревца кольцо,
 В лучшем случае лишь мера отсчета лет.

Мне же именем твоим называть слова
Еле слышные, что ветер, оставив лес,
Словно пену с волн, с моих губ срыва-,
Геометрия стыда — ватерпас, отвес.

Мне же именем твоим называть висок,
Мышек розовые ракушки, млечность рук,
Полуостров лона, волны грудей, сосок,
Геометрия любви — треугольник, круг.

Твоим именем морским утолять уста,
Отнимать у ветра, славить на все лады.
Геометрия желанья — полет листа,
Только ветру и забот — замечать следы.

Юрий Апенченко
Отто Лацис

Путь социализма

На пути в Европу

ЗАПАД — ВОСТОК / ВОСТОК — ЗАПАД

Времена нынче смутные настолько, что никто не знает, как называется государство, в котором мы живем, какую судьбу выберут республики, еще недавно составлявшие «Союз нерушимый», и в каких отношениях их содружество (или каждая из них в отдельности) окажется с недавними верными союзниками в СССР. И Запад и Восток равно затянуты дымкой исторической неопределенности. Ясно лишь одно: ни Запад, ни Восток нигде не исчезли. Могут перемениться карты в школьных учебниках и неггораемых сейфах стратегов, но народам некуда деваться с тверди земной.

Несомненно: жизнь людей, а, следовательно, и народов переменится круто. Да она уже переменялась. Тем более насущными

становятся размышления об этой предстоящей, не похожей на нынешнюю, действительности. Линия Ост-Вест, кажется, становится одной из главных линий мировой истории, а уж нашей, отечественной — наверняка. Каким станет Запад, каким откроется Восток, когда рассеется туман межвременья? Всем нам, кто живет на пространстве от Балтики до Тихого океана, не уйти от этих раздумий.

Открывая новую рубрику «Запад — Восток / Восток — Запад», мы рассчитываем на участие в ней советских и зарубежных общественных деятелей, политиков, ученых, публицистов. Начинаем публикации с беседы политического обозревателя «Известий» Отто Лациса с Юрием Апенченко.

— Мне хотелось бы услышать суждения Отто Лациса о наших отношениях со странами Восточной Европы. Причем Отто Лациса я вижу как бы в трех лицах. Во-первых, ты довольно долго работал в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма» заведовал отделом социалистических стран, много ездил, наблюдал жизнь этих стран воочию. Затем, и также не один год, работал в академическом институте, призванном научно осмысливать развитие социалистической системы. И, наконец, мне интересна точка зрения доктора экономических наук Лациса на, так сказать, итоги и перспективы хозяйственной жизни этих стран и наших с ними отношений.

— Да. Это пятнадцать лет профессиональной работы. Но теперь она кончилась.

— Ты имеешь в виду судьбу социалистических стран?

— Нет, собственную работу. Я вновь вернулся к практической журналистике. А как эти страны теперь называются, не столь уж важно. Они живут, развиваются, там продолжаются те самые процессы, которые начинались, когда я там работал. Просто я не наблюдаю их так близко, как раньше. Больше — по газетам. Хотя, между прочим, в Праге я дважды побывал уже после «бархатной революции»... Также, добавлю, недавно побывал во Вьетнаме. И дважды — в Китае. Похоже, дело идет к тому, что Китай, Вьетнам, Северная Корея и Куба скоро и будут представлять мировую социалистическую систему...

— Объясню, почему меня больше интересуют страны Восточной Европы. С одной стороны, мы очень тесно срослись с ними. С другой — они достаточно изуродованы так называемой административно-командной системой нашего образца...

— Изуродованы они, конечно, гораздо меньше, чем мы. То есть система-то такая же уродская, как у нас. В Румынии, в Болгарии, наверное, даже в большей степени — в силу специфических увлечений Чаушеску и Живкова, их понимания величия страны. Там, в

этих маленьких южных странах, с их традициями использования природных условий, возможностями развития сельского хозяйства, стремление к индустриализации, разрастание тяжелой промышленности нанесло особый урон. В какой-то мере это относится к другим странам. Так что изуродованная структура у них была. Но они значительно меньше мучаются проблемами экономического сознания. Люди там не успели окончательно утратить нормальные рыночные представления — поколение, которое знает, что это такое, еще не вымерло. Для нас же такие отношения — темный лес, мы отвергали и отрицали их с 1929 года.

— **Извини, перебыю. Меня, честно сказать, очень смущает: какие мы все теперь стали умные. Для всех совершенно очевидно, в какой извращенной экономической системе мы жили, насколько она абсурдна. Но вернемся к тем годам, когда ты работал в Праге. Было ли это очевидно и тогда?**

— Совершенно не очевидно. История жестоко подшутила над нами. На колесах командно-административной системы (экономически более грамотно называть ее планово-распределительной) она прикатила нам самые большие победы, с которыми, собственно, и вошло в жизнь наше поколение. Люди более молодые этого не понимают. И я бы сказал: несправедливо не понимают. Ведь после второй мировой войны отнюдь не только у нас, но, скажем, и в Германии — в Западной Германии — не было уверенности, что экономика должна быть рыночной. Это американцы надоумили. А первые-то планы были — тоже строить экономику как планово-распределительную.

Вообще исторически легко доказать, что отождествление планово-распределительной экономики с социализмом, а рыночной с капитализмом вовсе неверно. Рынок может быть и при капитализме, и при социализме, так же, как и планово-распределительная система. Просто она обслуживает и капитализм, и социализм в чрезвычайных условиях, а рынок — в нормальных, спокойных. Мы жили в условиях именно чрезвычайных. В этих условиях командно-административная система и обеспечила советское «экономическое чудо» — победу в войне.

Это действительно было чудо. Другой вопрос — какой ценой за него заплачено. Но ведь если соблюдать минимум историзма, и к цене в то время относились совсем иначе. Сегодня жертвы кажутся нам чудовищными. Они и в самом деле чудовищны. Но это — сознание 1991 года. В 1941 году люди шли на жертвы, работали до изнеможения, до смерти, рассуждая при этом: пусть мой сын, муж, отец, брат останутся живы там, на фронте. Мне рассказывали в Нижнем Тагиле, что возле Уралвагонзавода, который был крупнейшим в стране, а может быть, и в мире производителем танков, за годы войны выросло кладбище в 150 тысяч могил. Далеко не каждое сражение оставляло столько убитых.

Но повторю: вопрос о цене — особый вопрос. Когда я говорю о чуде, то имею в виду непреложный факт: в 1943 году советская промышленность производила больше танков, самолетов, пушек и т.д., чем германская, и по многим позициям — лучше, чем германская. И это при том, что перед началом войны наш промышленный потенциал был заметно меньше, чем у противника, и мы потеряли огромную часть страны — от трети до половины промышленности, самых-самых военных ее отраслей.

Это «советское чудо» во время войны ничто другое, кроме планово-распределительной системы, обеспечить не могло — вот сознание, с которым мы вышли из войны. Да, со временем оно менялось. Мы поняли: если бы не Сталин, цена победы могла бы быть другой. Гораздо труднее оказалось понять иное. Как же — Гитлера победили с этой системой, а колготки в достатке произвести не можем? Но экономическая действительность именно такова. Планово-распределительная система по сути своей — система мобилизационная. Выделяют узкий участок и концентрируют на нем все силы — побеждают в войне, завоевывают космос, производят атомную бомбу. Но при этом все другие участки объявляют второстепенными. А в мирном развитии второстепенных участков нет. Ты же не согласишься, что велосипед — это первостепенное, а носки — второстепенное. Обеспечить их производство мобилизационным способом — невозможно в принципе. Производство всего можно обеспечить только тогда, когда планирует не госплан, а покупатель, рынок...

— **Слышу доктора экономических наук Лациса.**

— Я говорю о сознании. Это очень важно. Ведь советский человек как видит рынок? Он же его по телевизору видит — «там», где прилавки от товаров ломаются. Но когда ты ему говоришь, что для этого нужна либерализация цен — если уж они повысятся, так

повысятся, нужно ликвидировать государственные дотации — если уж обанкротится твое предприятие, так обанкротится, а ты окажешься на улице, — когда ему говоришь это, то он отвечает: нет уж! Давайте лучше сделаем иначе. Чтобы зарплата была высокая, гарантии от безработицы надежные и чтобы предприятия не закрывались, какое бы дерьмо они ни производили. Ну, и чтобы товаров всюду было навалом — по твердым ценам и без талонов. Вот это — рынок! А такого рынка в природе не бывает. Вот сознание, которое мы воспитывали десятилетиями.

В странах Восточной Европы ситуация была другой. Когда в той же Чехословакии я шел в магазин (но не в большой универмаг, где уровень торговли постепенно приближался к нашему), то мне трудно было разобрать, — частнику он принадлежит или государству. Да и в государственных магазинах часто торговали прежние владельцы. Люди как-то привыкли считать покупателя за человека. И не знали, что можно работать так, как работает советский продавец. Наличие рыночной культуры — это нечто неосоздаемое. Оно не выражается в данных статистики. Но оно гораздо важнее для перехода к рынку, чем, скажем, размер нашего золотого запаса. Золотым запасом нужно платить за наше рыночное бескультурие. В этом отношении во всех этих странах, а особенно таких, как Чехо-Словакия, Венгрия, проблемы возвращения к рынку решаются гораздо проще. (ГДР — особьстатья, за нее просто будет платить Запад.)

Обрати внимание: даже «шоковая» стратегия в разных странах отзывается по-разному. Вот две страны. Польша, которая по всей экономической политике до, скажем так, 1989 года была близка к Советскому Союзу, и Венгрия, которая была дальше всех от нас. Они обе пошли на «шоковую терапию». Но в Венгрии шока не было. Потому что все легло на другой фон. Венгрия с 1968 года (а в сельском хозяйстве даже с 1957 года) проводила то, что они называли имитацией рынка, то есть максимальную степень осуществления тех полуреформ, которые у нас были задуманы в 1965 году. Мы не выполнили тогда задуманного, да и задумывали гораздо меньше, чем венгры. А они — выполнили. Рынка не было, но они действовали к а к б ы при рынке, в том числе и в ценообразовании. Была большая доля либерализованных цен, хотя в основном они все же регулировались и планировались. Но планировались и назначались с ориентацией на то, какую примерно цену назначил бы рынок.

— А это возможно?

— Ну, если товар исчезает... Они всегда исходили из того, чтобы лучше дорого, но было. Не было дефицита. Или почти не было. Если продукция становилась дефицитной, они повышали цены.

— Ты помнишь те годы, когда, возвращаясь из поездки в те страны, говорили: «Там все есть, потому что они живут за наш счет»?

— Они не жили за наш счет. Мы не делали подарков этим странам. Да, в СЭВ была система помощи как таковой — отношения безвозмездной помощи, льготного кредитования были предусмотрены для Кубы, Монголии, Вьетнама, как отставших в экономическом развитии. Но это общемировая практика. Богатые государства оказывают помощь странам отсталым. И, кстати, помогают побольше, чем мы. Но в отношении к странам Восточной Европы словом «помощь» часто злоупотребляли. Это был пропагандистский штамп. Помощью называли обмен, торговлю. Мы их осчастливливали тем, что им что-то продавали.

Ну, а насчет того, что они лучше жили... вряд ли. Те же венгры, например. Они умнее жили. Если взять время до развала, конец шестидесятых, начало семидесятых годов, то лучше нас, существенно лучше — вдвое, а то и более чем вдвое — жили немцы и чехи. Венгры — не намного. Поляки и болгары — не лучше. А румыны — хуже. Но, скажем, венгры не загоняли все в обкомовские буфеты и спецраспределители, они повышали цены и отдавали товары в магазины. Когда ты приезжал в Венгрию и видел, что там «все есть», то соотнести это все ты мог только с суммой своих командировочных. А каких усилий стоит венгру заработать деньги на покупки, этого мы не знали. Статистика же свидетельствует, что жили венгры небогато. Товары в магазинах были, но если соотнести их цены с зарплатой, они были дорогими. Особенно если учесть, что в Венгрии уже тогда держались западной политики в отношении жилья. Бесплатное — только для самых бедных. А полмиллиона форинтов за квартиру — это большие были деньги...

Нет, они нелегко жили. Помнишь, мы восхищались: какая высокая производительность и какой высокий уровень жизни у венгерских крестьян. Но у них (я и сейчас эти данные наизусть помню) в крестьянской семье из пяти человек каждый работал в личном

подсобном хозяйстве — отработав в общественном — в среднем по девятнадцать часов в неделю. У нас тогда мешали вести личное хозяйство, запрещали его, а в Венгрии не только не мешали, но прямо интегрировали личное хозяйство в общественное. Там личное подсобное хозяйство горожан давало столько же продукции, сколько крестьянское. Вот такая была «работа после работы».

Наши чинуши тогда ненавидели сравнения с Венгрией, их трясло от таких сравнений. Русаков, секретарь ЦК КПСС, «курировавший» соцстраны, лично запретил в 1981 году публикацию статьи моего университетского однокурсника Володи Герасимова в «Правде». И вообще запретил что-либо печатать о Венгрии. Год Володя публиковал лишь информации в несколько строк: состоялся пленум ВСРП. А в бешенство Русакова привела статья под названием «Работает форинт»... Особенно раздражали наших начальников успехи сельского хозяйства Венгрии. При этом всегда говорили, что «природа там хорошая», а у нас, понятно, плохая. Но ведь половина мировых черноземов у нас, а не в Венгрии. Тем не менее урожайность зерновых там была примерно пятьдесят центнеров, а кукурузы — около семидесяти...

— **И вот в Венгрии сейчас говорят о провале социализма.**

— Да. Тут важна точка отсчета. Нам ведь тогда экономика Венгрии вообще казалась рыночной. Мы даже не сразу врубались, когда они говорили: мы имитируем рынок. Чего же еще нужно? Ценообразование, по нашим понятиям, было рыночное. Оно было *равное*. А то, что основные цены держало в руках государство, нам казалось несущественным. Венгрия была рыночной по сравнению с нами. Но венгры знали, что это не настоящая рыночная система. И она, между прочим, действительно держалась на связях с Советским Союзом. Не в том смысле, что они жили за наш счет — все сложнее. Дело в том, что мы тоже *за счет нас* жили. И они, и мы в равной степени жили за счет искусственно дешевого сырья, точнее — за счет видимости дешевого сырья. И для них было важно даже не то, что оно дешевое, а то, что мы отдавали за рубли нефть, уголь, кокс, хлопок. За переводные рубли — была такая валюта, которая не хрустела и которую нельзя было пощупать. Условная расчетная единица.

Но фокус здесь в чем? Вроде все равноправно — за счет и не за счет. Ведь они нам свою продукцию тоже поставляли за рубли. Но этот товар, как правило, и нельзя было продать за доллары или, во всяком случае, продать по назначенной цене. Считали по аналогам и приравнивали, скажем, цену болгарского автопогрузчика к цене американского... Мы же поставляли за эти самые переводные рубли по большей части сырье, природные ресурсы. А ведь нефть мы могли продать и за доллары. Таким образом, при равноправном ценообразовании неравноправие выявлялось в структуре.

Кстати, такая структура была не всегда. Это мы сами развили нефтяной экспорт. Еще в пятидесятые годы мы в основном продавали в Восточную Европу зерно (Чехословакия была от нас в большой зависимости по зерну), машины и оборудование и — *ноу хау*. Проданные за три пятилетки комплекты технической документации потом оценили в пятнадцать миллиардов долларов, — не знаю, насколько точна эта цифра. В СЭВ было принято, что все это даром. Поэтому в проигрыше оказывались индустриальные страны — СССР, Чехословакия, ГДР. А выигрывали Болгария, Румыния, Польша. Наверное, в сороковых, пятидесятых годах многие из наших технических новинок были конкурентоспособны — на той ступени индустриального развития мы еще могли держать кое-что в мировой уровень.

То есть мы сами сделали из себя страну с центральноафриканской структурой экономики — тут нам винить некого. Развивать машиностроение нам никто не запрещал. Наоборот: на нас обижались за то, что мы не давали в соцстраны многих машин и оборудования, которые хотели бы от нас получить. Поэтому можно сказать так: не столько мы им помогали, сколько себе мешали. У нас была взаимоневыгодная структура. Мы разорялись, чтобы их разорить.

— **Когда ты работал в Чехословакии, было очевидно, что это — взаимоневыгодно?**

— Не всегда. Кое-что для них было и выгодно. Получать сырье за рубли — выгодно. И они на многое шли, чтобы сохранять эту связь. И мы часто отступали от равноправия ради того, чтобы покупать политическую лояльность своих вассалов. Тем, кто казался особенно верным, таким, как Живков, советская сторона делала подарки невероятные. Живков мог уготовить очередному нашему вождю очередную звезду героя Болгарии и на этом огрести миллионы безвозвратного кредита... Году в семидесятом мы делали в институте расчет. Правилами СЭВ было предусмотрено устана-

вливать цены на уровне мировых, но так называемые скользкие: цена на каждый следующий год устанавливалась на уровне среднемировой за предыдущие пять, и таким образом, как бы размазывалась. Поэтому скачок мировых цен на нефть был растянут на пять лет. Они подтягивались к мировым с отставанием, как, впрочем, потом с отставанием и падали, так что был период и когда нам платили за нефть цену выше мировой. Но это не перекрывало главную выгоду: долларовой товар покупали за рубли. Это окупалось даже при цене выше мировой. Равноправие нарушалось самой экономической действительностью. Чем больше нефти получала данная страна от Советского Союза, тем больше это было ей выгодно. Мы высчитали, что наибольшие выгоды имели ГДР и Чехословакия, поменьше Польша, еще меньше Венгрия, Болгария. (Румыния тогда не получала советской нефти.) То есть чем беднее страна, тем меньше она получала от нас выгод. Назвать это помощью сложно. Система была насквозь идеологизирована. Мы сами себя запутали. Распределение выгод было хаотичным. Определенные выгоды получили и мы, и они, но когда наша экономика стала валиться, больше выгод получали они.

Возьмем, к примеру, ту же нефть. Мы высчитывали, что отдаем ее, скажем, в Чехословакию дешевле, чем, допустим, во Францию. Они высчитывали другое. Они говорили: вы продаете нам нефть в три, в четыре, в пять, потом в десять раз дороже, чем до октября 1973 года. Цена растет. Всю пятилетку 1976—1980 годов экспорт в соцстраны в физическом объеме не менялся, а в стоимостном измерении быстро рос. Средний уровень цен возрастал на 10—15 процентов в год. Ту же физическую массу товаров мы продавали за большую сумму переводных рублей. А они нам платили своими товарами, реальным ростом их физического объема. Как говорили тогда венгерские экономисты: вы экспортируете нам инфляцию. Так оно и было. В общем получалось, что обе стороны недовольны, и каждая высчитывала, что она теряет. И все по-своему были правы.

А в мире в это время были нормальные рыночные связи. В мире знали: нефть стала дороже в двенадцать раз за семь лет. И надо ее меньше расходовать. Мы же полагали, что, давая друг другу льготы, мы тем самым защищаемся от жутких ударов. Мы делали вид, что нефть дешевая, в то время как она была дорогая. Это была не помощь — это была подготовка катастрофы. Это был наркотик, обезболивающее, но не для того, чтобы провести операцию, а для того, чтобы ее не делать, хотя болезнь прогрессировала. Это было самоубийство. Из-за антирыночной системы — не только внутри страны, но и в наших международных экономических отношениях — мы не сделали самого главного, что надо было сделать в семидесятые годы: структурной перестройки экономики, перехода с тяжелой структуры — с большим потреблением нефти, металла, угля — на структуру легкую, с преобладанием высоких технологий, сбережением сырья и энергии.

— Для нас последствия этого просчета очевидны. А для них?

— Будучи основным заказчиком, готовым принимать плохие товары, мы стимулировали их отставание. В чешском Готвальдове, бывшем и нынешнем Злыне, где расположены крупнейшие обувные предприятия, я видел выставку для фирмачей — тысячи на две образцов. Чего там только не было! А в наших магазинах в то время продавали самую дешевую и плохонькую чешскую обувь. Что же, спрашиваем, вы нам, друзья, поставляете? А они говорят: так ведь это горе наше. Мы же поставляем то, что берет ваш Внешторг. А Внешторг брал самое дешевое, то есть далеко не самое лучшее. Потом из каких-то секретных инструкций, не помню, то ли минфина, то ли правительства, узнаю: для импорта ширпотреба устанавливался «коэффициент эффективности» ч е т ы р е, иначе говоря: ты должен был купить за червонец ботинки, которые на советском рынке продашь за сорок рублей. На дерьмовом товаре крупными буквами писали: «Импорт». Это был способ выкачивания ничем не оправданных доходов из внешней торговли для финансирования замечательного нашего достижения брежневской поры — ракетно-ядерного паритета.

Нам говорили тогда в этих странах: вы же консервируете нашу отсталость. Если вы выбираете плохие ботинки, самые дешевые станки, то мы их и производим. Для Запада мы бы это производить не стали. Но наш основной рынок — у вас. И мы не просто производим то, что похуже, — мы отучаемся делать лучшую продукцию.

— Выходит, что мы — друзья по несчастью. Что же: только несчастье нас и сближает?

— Нет. Конечно, нет. Ведь прежде всего — это наши соседи. Мощный пояс стран, близких нам географически. Они связаны с нами и исторически. Это страны, с которыми

мы провели специализацию. Ведь замысел СЭВ был какой? Скажем, мы берем все виды тракторов и расписываем: тяжелые производят, например, Советский Союз и Польша, средние — Советский Союз и Чехословакия и так далее, по станкам, различному оборудованию. Специализация велась, правда, не рыночным, а плановым способом, но вообще она — прогрессивное дело. Венгрия, например, выпускала «Икарусы» такими партиями, которые многим крупным компаниям и не снились. Советский рынок, при всех его плюсах и минусах, рынок огромный, а это привлекательно для всякого производителя.

— Допустим, так. Но когда мы приняли решение о переводе торговли со странами Восточной Европы на долларовую основу, этому рынку просто пришел конец.

— Перевод на долларовые цены в 1969 году предложил Гомулка. Его поддержали венгры. Советский Союз выступил против. Думали, что прогадаем, — в то время были очень низкие цены на нефть, — и сказали великодушно: не стоит этого делать, вам не по силам. Между тем, если бы мы тогда предложение приняли, то имели бы невероятные выгоды. Потом мы получили эти «лишние» двести миллиардов долларов от капиталистических стран. За десятилетие. Но тогда мы отказались и потом очень жалели.

Ведь вообще-то все всегда понимали, что это нужно. Венгры, например, поддерживали такой переход, сознавая, что могут потерять, но они стояли за то, чтобы была здоровая экономическая основа. Доллар — так доллар, товар — так товар. Так что переход на долларовую основу, в принципе, совершенно правилен. Неправильно — как мы это сделали. С двадцатилетним опозданием взяли и шарахнули за одну неделю. На бездолларовой основе мы жили сорок лет — с 1949 года, надо было как-то подготовиться. Мы перешли на доллар в момент кризиса — и у нас, и у них. Ни у нас, ни у них долларов нет — одни долги. На определенное время надо было, конечно же, установить клиринг — двусторонний зачет платежей. Можно считать их не в рублях, а в долларах и по мировым ценам, но чтобы реальные доллары при этом не требовались. Чтобы шел зачет взаимных поставок товаров и получался баланс — все сводилось так на так.

А получилось что? Какой-то экономист подсчитал, что если бы мы на последний год рублевого порядка расчетов ввели доллары и мировые цены, то Советский Союз выиграл бы примерно 10 миллиардов долларов. С этим расчетом Рыжков и вышел на СЭВ: вы просили, мы отвечали — нет, теперь не просите, а мы говорим — да: с будущего года — доллары. Но то ли тот, кто считал, забыл сообщить, то ли правительство прикинулось, что не понимает: расчет этот был сугубо условный. Это был расчет на товарооборот, который мы фактически осуществляем благодаря старым, шадящим условиям, — в переводных рублях и по скользящим, а не мировым ценам. Как можно получить десять миллиардов долларов с того, у кого нет и цента? Мы бы приобрели бы, если б они бы у нас бы купили бы. Так они просто перестали покупать. Соответственно и мы лишились возможности купить у них товары, которые нам нужны. Без возможности возместить потери. Ведь если бы были доллары, то не все ли равно, где на них покупать, но долларов нет.

— То есть хорошо бы дать задний ход?

— Да, но сейчас дело обстоит гораздо хуже. Если, скажем, машиностроительные заводы в городе Пльзень, которые были десятки лет связаны с Советским Союзом, получают предложение французской фирмы создать совместное предприятие, им надо перестраиваться, искать кредит, потом выплачивать его. Они предпочли бы, может быть, сотрудничать с советским партнером. Но нет советского партнера. И надо либо принять менее выгодное французское предложение, либо закрыть заводы. И они приняли. Теперь сориентированы на французов. Нас там теперь нет. И легко вернуться туда нельзя... Потом — потом, потом, потом... — правительство приняло решение восстановить клиринг. Но поздно сообразили.

— Теперь вот какой вопрос. В каждой из этих стран мы видим сегодня определенную враждебность к Советскому Союзу. Ну, скажем иначе: настороженность. Степень такой настороженности в разных странах разная, но она есть везде. Насколько эта политическая компонента может сказаться на наших дальнейших деловых отношениях? Восстановима ли система интеграции наших стран в принципе?

— Систему Варшавского договора и СЭВ, систему, которая создавала механизм для принятия решения о вводе наших танков в Прагу, систему советского патернализма, которая подкармливала Живковых и Хонеккеров, слушавшихся наших Брежневых, — такую систему и не дай бог восстанавливать. Но я понимаю, ты спрашиваешь не об этом.

А взаимные экономические связи даже при современных политических отношениях могли бы быть гораздо обширнее, чем есть. Потому что взаимный экономический интерес не исчезал никогда. Нам мешает сейчас лишь кризис советской экономики и нелепой по экономическим отношениям сэвовской системы связей. Интеграция не только восстановима, она, несомненно, будет восстановлена, когда мы, каждый у себя в стране, освоим нормальные рыночные отношения.

— Ну, тогда я не оптимист...

— Почему? А нам просто некуда деваться. Внешнеэкономические задачи совпадают с внутриэкономическими. Нам в экономике надо делать те же самые преобразования, которые нужны и ради развития наших внешних связей. Мы очень хотим в Европу. А на пути в Европу Западную лежит Европа Восточная. Так что восстановление связей с бывшими соцстранами — это просто наш путь в Европу. А я думаю, что Европа будет от Ламанша до Владивостока.

— Твоими бы устами да мед пить. Но я о времени говорю.

— А что — время? Или у нас в 1992 году начнет разворачиваться рыночная система, или мы вообще не проживем. Деваться нам некуда. Связи восстановятся, когда полегчает с валютой, когда мы сделаем рубль конвертируемым. Но и переход к двустороннему клирингу облегчит многое. Мы могли бы упорядочить положение уже в 1991 и 1992 году. Но в то самое время, когда надо было провести серию решений по взаимосвязям со странами Восточной Европы, у нас, видишь ли, парламент не утвердил Ситаряна на должность заместителя премьера по этим делам. В борьбе за демократию — без объяснений и приглашения на трибуну. Завалили — и все. Я не персонально о Ситаряне говорю. Но если при нашей системе исполнительной власти нет человека, который каждый день, каждый час принимает какие-то решения, то все останавливается. Как в такси: оно стоит, а счетчик считает убытки. Ведь иностранные партнеры ждать не привыкли. Капитал не ждет, он не может остановиться, это банкротство, смерть. Мы думаем: не решим сегодня, так решим через месяц, через год...

На этом закончилась беседа. Неясностей, увы, осталось много. Да, конечно, и географическая близость, и исторические традиции — резон для восстановления связей. Но главным-то все-таки остается практический интерес. А в чем он? И насколько осознан — и нами, и нашими соседями? И насколько велика надежда, что будет, наконец, осознан и практически реализован? Пример с Ситаряном, честно говоря, повергает в уныние. До тех пор, пока все может упереться в одного человека, — счастье нам не светит, даже если этого человека зовут Карл Маркс. Мы видим, что дальше договариваться становится не проще, а сложнее — хотя бы и в пределах единого, то бишь рублевого, пространства. Ну, а если завтра Горбачев не договорится с Ельциным, а Ельцин с Ландсбергисом, а Ландсбергис еще с кем-то уже за рубежами независимой Литвы, то кому и на каких условиях будут, скажем, строить корабли на верфях бывшей ГДР? Примеры, как и имена, можно варьировать до бесконечности. Вопросов — множество. Понятно, одной беседой их не исчерпать. Потому нас так интересуют суждения партнеров из Восточной Европы. Диалог должен быть продолжен.

Такси стоит.

Счетчик бьет.

Нечаянная революция

Бухара, 1920 год

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

Экклезиаст, 1, 10

Немногие в наши дни знают, как произошла так называемая «бухарская революция». Да и от современников, от тех, кого она не коснулась, ее заслонили более масштабные события осени 1920 года. Промолчала о ней и западная пресса, европейская и американская.

Было Бухарское ханство, и нет его. Маленькое государство на южной границе бывшей Российской империи словно смыла гигантская волна захлестнувших страну революционных событий. Понесло, завертело, закружило и утянуло в глубину.

Ленин лишь вскользь упомянул Бухару в докладе о внешней политике РСФСР на VIII Съезде Советов в ряду приятных, но не слишком важных событий: «Мы должны приветствовать образование и упрочение Советских республик — Бухарской, Азербайджанской и Армянской, восстановивших не только свою полную независимость, но и взявших власть в руки рабочих и крестьян»¹. (Вряд ли кто из слушавших эти слова задумался о том, каким образом сумела «восстановить независимость» бывшая доселе независимой Бухара...)

Тогдашнее отношение центра к южным окраинам хорошо показывает коротенькая раздраженная телеграмма, отправленная шифровкой в Туркестан за восемь месяцев до бухарских событий:

«11.XII.1919 г.

Ташкент
Элиаве, Рудзутаку,
Куйбышеву

Ваши требования работников чрезмерны. Это смешно, или хуже, чем смешно, когда вы воображаете, что Туркестан важнее центра и Украины. Вы не получите больше. Должны обойтись тем, что имеете, и не задаваться безбрежными планами, а быть скромны.

Ленин»².

Большевикам было не до Средней Азии. Для них «делом абсолютной общественной важности», как выразился Ленин, была в то время борьба с белой гвардией на Кавказе и Кубани. В конце августа 1920 года (когда началась «бухарская революция») в Крыму действовал против красных Улагаевский десант. Большевистское правительство еще было ошеломлено тем, как победный поход на Варшаву внезапно обернулся разгромом Красной Армии на Западном фронте. Основным виновником поражения был Сталин³, но оправдываться перед партией пришлось наркомвоенмору Троцкому.

Оправдывался он подробно и обстоятельно на IX конференции РКП(б). О делах же бухарских сообщил бегло и с неудовольствием: «Туркестанский фронт был выведен из состояния обороны и полупокоя событиями в Бухаре. Я здесь должен прямо сказать, что этот шаг был сделан против воли центрального военного командования (разрядка моя. — В. М.). Мы советизировать Бухару не собирались, так как в это время мы были заняты наступлением на Варшаву, а Бухара, как вы знаете, находится несколько в стороне, так что отвлекать внимание к Бухаре мы не имели никакого основания. Но характер нашего международного положения таков, что каждая присоединенная к нам полоса, является сосредоточием контрреволюционности. Бухара стала таким же местом. В ней сосредоточилась русская, мусульманская и исламистская, и врангелевская контрреволюция и стала переходить к политике агрессивной. Тов. Фрунзе,

в руках которого находилось командование Туркестанским фронтом, настаивал на необходимости непосредственно ликвидировать эту военную опасность. Но ему было в этом отказано по соображениям, о которых я уже говорил: занимаясь наступлением на Антанту, мы не имеем права оттягивать ни одного солдата, не имеем права брать ни одного патрона для других предприятий. Тем не менее активность выступления Бухары была слишком велика, и теперь мы против своей воли имеем Советскую Бухару. Это было необходимо не только для нас, но и для бухарского эмира, который незадолго перед этим прислал нам подарок. Как наш Комиссариат вынужден выпутаться из этого положения, я сказать не берусь...»⁴

Думаю, что сказано все это совершенно искренне.

Однако в этой истории, как вы увидите, не сходятся концы с концами, а слова с делами. Действительно ли это было завоевание? Отчего Фрунзе решился на нарушение запрета? И был ли дан запрет? Что произошло там, в глубинах Азии, за много тысяч верст от Москвы?

Сегодня, когда история страны медленно возникает на наших глазах, словно изображение на фотобумаге в ванночке с проявителем, когда первыми вышлывают самые темные очертания, история Средней Азии все еще остается непроявленной.

О падении Бухарского эмирата написано несколько книг. Все они путано и туманно излагают версию о том, как «восставший народ» при поддержке Красной Армии сбросил феодальное иго. Исключение составляет (в момент окончания данной работы) небольшая публикация в журнале «Родина», но и та лишь набрасывает пунктиром внешний ход военной операции, не объясняя ни значения, ни сути событий, которые, несмотря на давность, сохраняют для нас огромное значение. Очень важно попытаться восстановить ход событий, понять реальные взаимоотношения различных партий, слоев общества и отдельных людей, их роль и участие в случившемся... Я убежден, что многое из того, что происходит в Средней Азии в наши дни, что тревожит и жжет нас, идет оттуда, из тех давних лет.

Свет, восходящий от земли

В Бухаре вас охватывает то же чувство, что и высоко в горах. Трудно передать его словами. Вас пронизывает ощущение, что происходит нечто грандиозное. Но на самом деле не происходит ничего. Просто перед вами возвышаются каменные скалы, а над ними — вершины, покрытые снегом. Их присутствие само по себе есть великое событие. Вы постигаете, что в них скрыта какая-то неподвижная, необъятная мысль. Вернее, сами горы и есть эта мысль, которую не выразить иным языком, кроме языка горных складок и вершин...

То же чувство посещает вас в Бухаре, расположенной вдали от гор, среди солончаковой степи.словно какая-то несказанная мысль пронизывает все, что видите вы вокруг. Она витает над громадными «Икарусами», наполненными туристами, которые занимаются самым бессмысленным делом на свете — глядят на старые камни. Она сияет над старым городом и над бетонными коробками микрорайонов, над советскими учреждениями и над древними куполами знаменитых храмов...

«Во всем мире свет нисходит с небес, и только в Бухаре он восходит от земли», — так говорят здесь и по сей день. Став одним из рядовых советских городов, превратившаяся из святыни для паломников в приманку для туристов, даже и сейчас Бухара излучает незримое сияние.

Бухарцы говорят, что это от того, что в земле ее похоронены тысячи праведников, и духовный подвиг многих поколений святых и мыслителей аккумулировал громадную энергию. Хотя, возможно, город был выстроен на месте, уже обладавшем особой энергетикой.

Энергия Бухары не связана с какой-либо одной религией. Город был духовным центром уже тогда, когда в 665 году его завоевали арабские войска, принесшие с собой ислам. Предполагают, что само название Бухары происходит от санскритского слова *вихара*, что означает «буддийский монастырь». Как пишет Густав фон Грюнебаум, арабы, завоевавшие Мавераннахр, столкнулись с высокоразвитым миром небольших городов-государств, в основном с согдийским наречием и культу-

рой, меж которых были расселены тюркские племена, откуда нередко происходили династии правителей этих городов⁵.

Обилию народов сопутствовала красочная мешанина религий. Здесь сочетались языческий шаманизм тюрков и несторианский вариант христианства, буддизм, зороастризм и манихейство. Последовавшее за колонизацией истребление согдийской и хорезмийской элиты и насаждение новой веры превратило эти территории в центр миссионерской деятельности. В Бухаре и Самарканде стала интенсивно развиваться мусульманская духовная культура. Несколько веков спустя Бухара стала одним из значительных не только в Средней Азии, но и во всем мире, центров суфизма. О ее влиянии говорит то, что золотоордынский хан Берке, правивший в XIII веке, специально отправился в Бухару, чтобы принять ислам от Сайфаддина Саида ал-Бахарзи, главы суфийского ордена кубравия.

Не только в древности, но и в начале XX века Бухара оставалась признанным центром мусульманского богословия, хранительницей заветов ислама. Сюда съезжались тысячи паломников не только из Средней Азии, но и из России и иных сопредельных стран. Здесь, в медресе, духовных школах, обучались будущие священнослужители из самых разных стран. Уже не одно столетие Бухара была второй после Стамбула столицей мусульманского мира. И подобно тому, как турецкие султаны некогда узурпировали титул «халифа всех правоверных», правители Бухары из узбекского рода мангытов, взойдя на ханский престол, сами нарекли себя «эмирами правоверных», подчеркивая не только светский, но и религиозный характер своей власти.

Однако под внешним великолепием, под кажущейся силой скрывалась слабость. Величие Бухары можно сравнить с величием старца, у которого все в прошлом и который сухими, но еще сильными пальцами цепляется за остатки былого. Вся энергия Бухары уходила на то, чтобы удержать, сохранить накопленное в предыдущие столетия. Ее богословие превратилось в схоластику, ее благочестие стало отдавать ханжеством, ее мудрость свелась к простому повторению древних истин. И то, что прежде жило, дышало, развивалось, ныне окостенело и окоченело.

Сходное положение сложилось к этому времени во всех мусульманских странах, но в Бухаре оно усиливалось тем особым положением, которое заняло Бухарское ханство после завоевания Россией Средней Азии.

Химера, созданная Россией

С древних времен в Средней Азии существовали два ханства: Бухарское — в бассейне реки Зеравшан и соседнее с ним Хивинское — в нижнем течении Аму-Дарьи. Сравнительно недавно, в конце XVIII века в Ферганской долине возникло третье ханство — Кокандское, которому вскоре удалось овладеть Ташкентом, бывшим до того независимым городом-государством. Четких границ между этими тремя ханствами не было. Ни одно из них не было образовано по национальному признаку. Бухарское ханство населяли таджики-земледельцы, кочевые и оседлые узбекские племена, несколько больших туркменских родов...

До середины прошлого века Мавераннахр напоминал бурлящий котел. Все три ханства почти постоянно вели между собой войны, а в каждом из них время от времени вспыхивало то крестьянское восстание, то мятеж провинциальных феодалов против центрального правительства, то жестокая борьба меж родами и племенами. Войны были кровопролитными, а каждая победа неизменно завершалась расправой над побежденными, массовыми казнями и грабежами.

Во второй половине XIX века в Среднюю Азию двинулась Россия. В 1865 году был взят Ташкент. К империи были присоединены земли Кокандского ханства. Однако волна этого движения, как пишет известный военный журналист и писатель Дмитрий Логофет, не могла остановиться и широко разлилась далее, затопив соседние бухарские владения. Последовательно один за другим были завоеваны города Ура-Тюбе, Джизак, Самарканд, Ургут, Катта-Курган. Вскоре Бухара потерпела окончательное поражение. Эмир согласился на все предложенные условия, и в 1868 году был заключен мирный договор между Россией и Бухарским ханством, которое по логике событий, подобно Кокандскому ханству, должно было влиться в империю.

Но этого не произошло. О том, как развивались далее события, ярко и подробно

рассказывает в своей книге «Страна бесправия» Дмитрий Логофет: «Вся Бухара была фактически завоевана силою русского оружия и имела все данные быть присоединенною к остальным, вновь образованным русским областям Туркестана; но в это время, к глубокому изумлению самих бухарцев, вследствие каких-то совершенно непонятных соображений Шахризьбский край, составлявший почти всю нынешнюю Восточную Бухару, всегда живший независимой жизнью и не признававший власти Бухарского Эмира, был отдан Бухаре и из оставшегося небольшого Бухарского Ханства создано было искусственно значительное новое Среднеазиатское государство»⁶.

Более того, Бухарское ханство было искусственно укреплено изнутри. Дело в том, что значительная часть Бухарских владений лишь формально подчинялась центральному правительству и никогда полностью не признавала его власть над собой. Китаб, Чиракчи, Шахрисабз и бекства Гиссарского края, отделенные от столярной Бухары труднопроходимыми горными перевалами, издавна отстаивали свою независимость. Гиссарский край войска бухарского эмира не могли завоевать в течение целого столетия, несмотря на крайнюю жестокость к мятежникам. Так, эмир Мухаммед Рахим во время карательного похода в Гиссарскую долину в 1756 — 1758 годах сложил в окрестностях Денау «минарет из голов» казненных им людей. Однако окончательно подчинить горные бекства Бухара была не в силах. Все эти обширные области в 1870 году покорил генерал Абрамов.

Итог был неожиданным для многих и в России, и на Востоке. Продолжу выдержки из Логофета: «Наша далеко недаленовидная дипломатия... почему-то не желая считаться с исторически сложившимися отношениями между государствами и всеми небольшими самостоятельными владениями Средней Азии, не приняв также во внимание, что Гиссарский край является федерацией мелких государств... отдала его весь целиком Бухаре...

Лишь под покровительством русских штыков удалось Эмиру подавить ряд кровопролитных восстаний, начавшихся во всем крае, непосредственно вслед за его присоединением к владениям Бухарского Ханства и продолжавшихся почти пятнадцать лет...»⁷

Внезапное усиление центрального правительства привело к последствиям, которых можно было ожидать. Под защитой русского оружия расцвел неслыханный произвол властей. Присланные из столицы на места правители и чиновничий аппарат сделали невыносимой и без того нелегкую жизнь крестьянина. Земледельца обирали до последнего зернышка, скотовода — до последней шерстинки. И это без всякого преувеличения.

Среди крестьян началось массовое бегство. Эмигрировали целыми селениями. Некогда цветущий край нищал. Пришлomu бюрократу не было нужды заботиться о завтрашнем дне. Администрация набросилась на местное население, как медведь, который разорвет улей, чтобы разом выгрести весь мед... А всю вину свалили на... русских. Распукались слухи о том, что подати оттого стали вдвое больше прежних, что собирают их чиновники не для себя, а для русских властей и войск.

«Младенчески доверчивый народ, — пишет Логофет, — разумеется, не старается даже проверить эти слухи, принимая их на веру и испытывая лишь страшную глухую ненависть к угнетателям — русским (урусам), бесконечно жадным на деньги, алчность которых поглощает все их имущество... В Афганистане, Читрале и в далекой Индии циркулирует по базарам слух о трудностях житья для мусульман в Бухарском Ханстве, где русские снимают последнюю рубашку с нищего-байгуша, чем страшно роняется престиж Великой России во всем мусульманском Востоке»⁸.

Не могу судить, насколько справедливо Логофет корит тогдашних российских дипломатов за то, что они не спешат присоединить Бухару к империи. Тому были свои причины, главная из которых — необходимость иметь буферное государство на границе с Афганистаном, который в свою очередь был буфером Британии...

Россия превратила Бухару в своего рода химеру, то есть создание, в котором смешались несоединимые черты — и отвратительные, и светлые. Было бы несправедливо утверждать, что Россия принесла Бухаре только вред. Она приобщила средневековую страну к достижениям современной цивилизации. Главное — навсегда прекратились жестокие кровопролитные войны между среднеазиатскими ханствами. Это благо, не сравнимое ни с чем. К столице ханства была проведена железная дорога, проложена телеграфная линия. Почта соединила Бухару регулярной связью со всем миром. В столице открылись больница и медицинские пункты. В Бухарское ханство хлынул русский капитал, который можно сравнить с кислородом, который дали угасающему больному. Необычайно оживились торговля и производство промышленного сырья.

Все это родило в бухарском обществе два направления. Два противоположно

направленных вектора. Один — это жадная тяга к переменам, к дальнейшему развитию: техническому, культурному, социальному и политическому. Другой — страстное сопротивление переменам, естественное стремление сохранить свою культурную самостоятельность и целостность.

Обе эти тенденции всегда присутствуют в любом обществе, но тогда, в начале века, они столкнулись в Бухаре особенно жестко и непримиримо.

Школа вольнодумия

Нам, людям 90-х годов, свидетелям и участникам нынешней контрреволюции*, легче понять бухарских диссидентов, чем их современникам, российским революционерам или бухарским реакционерам. Другая эпоха, другие нравы, другой общественный строй... Но поверх всех различий нас объединяет психологическая общность. И мы, и они выросли в несвободе и стремились вырваться из нее.

Они, как и мы, страдали от чиновничьего беспредела, от произвола государственного аппарата, коррумпированного от самого верха и до самого низа.

Они, как и мы, задохнулись в атмосфере духовного сыска и интеллектуального насилия, двоемыслия и бессловесности.

Их нетерпение, как и наше, подогревалось сознанием, что в других странах люди живут иначе.

Тогда, в начале века, не только на диссидентов, но и на все слои бухарского общества произвело огромное впечатление образование меджлиса, то есть парламента, в Персии. Еще более противоречивые чувства и мысли вызвал переворот 1908 года в Турции, бывшей доселе идеалом мусульманского государства. Купцы, приезжавшие из России, Ташкента и Самарканда, рассказывали о забастовках и стачках, о рабочих волнениях.

Представьте себе, как все это действовало на воображение молодых людей из богатых купеческих семей и их товарищей, образованных и талантливых студентов медресе.

Но самое большое влияние оказал на них живой пример. И здесь, точно так же, как и у нас, дело не обошлось без иностранцев. Правда, общаться с ними бухарским вольнодумцам было значительно проще: иностранцы-татары принадлежали к той же вере, что и среднеазиатские мусульмане-сунниты, а язык их без труда понимали и узбеки, и таджики, одинаково хорошо владевшие и фарси, и тюркским.

Впрочем, иностранцами уместно назвать только тех татарских купцов или переводчиков, что прибывали в Бухару с торговыми караванами. Немало татар жили здесь постоянно и были бухарскими подданными. По всей видимости, их насчитывалось около тысячи человек, возможно, вдвое или втрое больше. Некоторые бежали сюда из России и оседали насовсем.

«В течение многих лет татары центральной России, Крыма и Кавказа влияли на весь ход политического и культурного развития народов Средней Азии»⁹, — вспоминал Файзулла Ходжаев, один из бухарских «сердитых молодых людей», ставший впоследствии известным советским и партийным деятелем.

Татарская религиозная и политическая мысль стала школой вольнодумия для бухарской молодежи. Примечательно, однако, что в свое время татарское свободомыслие зародилось именно в Бухаре, где татарская молодежь издавна получала духовное образование. История его связана с именем видного татарского ученого Абун-наsr-Эль-Курсави (скончался около 1813 года), возглавившего религиозно-реформатское движение, направленное против засилия исламской схоластики. Как «неверный» и «безбожник» Курсави был приговорен к смертной казни.

Однако то, что оказалось невозможным в Бухаре, обрело жизнь в Казани. Здесь религиозно-реформатское движение возглавил мулла-историк Шихабдин Марджани,

* Не вношу в это понятие никакой оценки — моральной или политической. Отмечаю лишь, что процесс, направленный на искоренение последствий «завоеваний» предыдущей революции, по отношению к ней есть контрреволюция. Впрочем, Дмитрий Мережковский считал Октябрьскую революцию контрреволюцией по отношению к Февральской.

который доказывал, что ислам не только не противоречит европейской науке, реформам школ и т. д., но наоборот, нуждается в них.

Последователей нового учения стали называть д ж а д и д а м и. Об этих людях и их взглядах в советское время писали очень мало и невразумительно. Сочинения их не переиздавались и не переводились на русский язык. В наши дни интерес к джадидам в исламских регионах страны чрезвычайно велик. Демократические движения и народные фронты видят в них своих предшественников — духовных отцов. Однако это — особая, сложная тема, и сейчас мы ограничимся общими сведениями. Вот что говорится о джадидизме в многотомной «Энциклопедии ислама» (даю сокращенный перевод):

«ДЖАДИДЫ (арабское «новый» «современный»; в тюркском произношении д ж е д и д), последователи усул-и джедид(е), «нового метода» среди российских мусульман. Движение возникло около 1880 года среди казанских татар... и отсюда распространилось среди других тюркских народов России. Джадиды выступали против «религиозного и культурного упадка», они настаивали прежде всего на современных методах школьного обучения для культурного объединения всех тюркских народов, живущих под русским господством, но вместе с тем и для их участия в культурном и социальном развитии России того времени. Поэтому они считали необходимым, чтобы тюрки, живущие в России, изучали русский язык, которым до сих пор они в большинстве своем не владели. К 1900 году, несмотря на противостояние мулл, движение джадидов распространилось среди всей тюркской интеллигенции России, особенно в европейской ее части, и нашло своего признанного лидера в лице представителя крымских татар Исмаила Гаспирали (русс. Гаспринский). С 1885 года он издавал свою газету «Терджу-ман» («Переводчик») и таким образом оставался по существу свободным от полицейского преследования, невзирая на тот факт, что влияние панисламских и пантюркских идей было совершенно очевидно. Сам Гаспирали выдвинул идею создания языка, который был бы понятен всем тюркам в России и основой которого был оттоманский..

После революции 1905 года джадиды получили возможность действовать более свободно, и теперь их влияние на Среднюю Азию было более энергичным»¹⁰.

Перечень имен бухарских джадидов мало что скажет современному читателю. Это была золотая молодежь, выделявшаяся среди своих сверстников богатством либо талантом. Широко известны лишь несколько человек из них. Это Файзулла Ходжаев, ставший впоследствии председателем Совета народных комиссаров (назиром) Бухарской Народной Советской Республики, председателем ЦИК СССР; Садриддин Айни — в будущем знаменитый писатель; Абдурауф Фитрат — известный писатель, публицист и общественный деятель... Их было вначале совсем немного — несколько сыновей богатых купцов и увлеченных поэзией и философией студентов медресе. И те и другие были личностями далеко не заурядными. А для того, чтобы стать незаурядным, в Бухаре в то время требовались немалая энергия и избыток духовной и умственной независимости.

Система обучения в бухарских медресе калечила молодые умы. Как сообщает Айни, образование по сути сводилось к заучиванию наизусть определенного числа текстов на арабском, на что у большинства уходили годы, а то и десятилетия. Лишь человек с действительно недюжинными способностями, пройдя такую обработку, мог сохранить живой ум, способность к самостоятельному мышлению, широту взглядов.

Что же до большинства юношей из богатых семей, то были они, как правило, вожак удалых компаний, кутилы, забяйки, грубые и жестокие «шалуны», обижавшие слабых и бедных. По произведениям Айни разбросано немало рассказов о циничных и безжалостных проделках бухарских б о й б а ч е й, которые, несомненно, казались дикими молодежи новой формации. Новые времена несли с собой новые нравы, которые в немалой степени были связаны с новым богатством. Под последним я имею в виду не «теневой капитал», как может предположить наш современник, а капитал, нажитый в новых, непривычных еще для традиционного общества условиях.

Бухара издавна была торговым городом. Как говорили здесь в старину, «товары с четырех сторон приходили и опять на четыре стороны уходили». Шли они со всех уголков Средней Азии, из Афганистана, Ирана, Китая, Индии, России. А. А. Семенов описывает бухарские базары начала века: «Я хорошо знал торговые места всех больших городов в Средней Азии, но бухарские базары подавляли своей грандиозностью... Здесь можно было купить почти все, что производили Восток и Запад: от настоящего швейцарского сгущенного молока и концентрата бульона Либиха до сухого имбирного варенья из Шанхая и душистых свечей из Рангуна, от эффектных мальтийских шалей с серебря-

ными блестками до чудесной индийской кисеи, тканной золотом... Местные антикварные лавки таили в себе немало интереснейших предметов большой древности, вызывавших иногда неподдельное удивление. Здесь можно было встретить внушительные по виду и тяжелые мечи крестоносцев с серебряными латинскими девизами у гарды вроде: «Сегодня я дал, завтра получил. От рождества Христова 1405 год», «Помни о смерти. От рождества Христова 1376 год»; увесистые восточной бронзы чаши с серебряной насечкой, с горельефными изображениями сцен из древней жизни Ирана, прекрасной сохранности древнюю фарфоровую посуду с чудесными *reflet metallique* XI—XIII вв., интереснейшие древнегреческие, индо-скифские, парфянские, мусульманской эпохи и прочие монеты»¹¹

После завоевания Средней Азии, особенно после того, как была проложена железная дорога, на рынках Бухары главное место заняли русские товары. Из России завозились металлы, фабричные ткани, фарфор, сахар, лес, деревянные изделия и многое другое. В Россию же из Бухары вывозился каракуль, хлопчатобумажные и шелковые ткани, алача, шелк-сырец. Однако со второй половины XIX века в связи с развитием в России машинной индустрии, прежде всего текстильной, все большую роль начал играть вывоз промышленного сырья.

Новые времена резко изменили стиль торговых отношений. Прежде каждый торговал каким-то одним товаром, как торговали его отец и деды. Менять торговую специальность было не принято. Народная этика считала недопустимым «отбивать хлеб» у собрата, получившего занятие от предков. Но обычай этот стал отмирать. Купцы обратились к тем отраслям торговли, что сулили наибольшую выгоду и совмещали сразу несколько торговых специальностей, доселе совершенно не связанных друг с другом: торговлю хлопком и каракулем, хлопком и коконами, хлопком и чаем¹²

Торговля с Россией, маклерская и посредническая деятельность приносили неслыханные барыши, рождали колоссальные компрадорские капиталы. Кстати, и сам эмир был крупнейшим из бухарских торговцев

Капитал-то и рождал томление духа, хотя вернее было назвать это «томлением капитала» Что-то сходное испытывали и наши подпольные миллионеры в «предперестроечную» эпоху

Богатство само по себе не имеет никакой ценности. Подобно тому, как деньги — всего лишь раскрашенные бумажки, если они не обеспечены материальными ценностями, точно так же и сами материальные ценности (стада овец и кипы каракулевых шкурок, рулоны шелковых тканей и мешки риса, горы зерна и ценные бумаги) лежат мертвым грузом, если они не гарантируют того главного, что должно дать богатство, — свободы и безопасности.

В иерархии феодального государства торговый человек был бесправным и беззащитным. Нередко эмир или кто-то из высокопоставленных чиновников ложно обвиняли купцов в преступлении, чтобы завладеть богатством. Как ни парадоксально, для богатого бесправие гораздо тягостнее, чем для бедного, поскольку богатч уже достиг предела адаптации. Его средства позволили ему приспособиться к среде настолько, насколько это вообще возможно. Богатому остается уже не приспособливаться, а изменять окружающий мир, чтобы сделать его более комфортабельным и более безопасным для себя Любопытно было бы проследить тот окольный путь, которым богатство начинает благоустраивать действительность.

Переделка материального мира начинается с благоустройства мира духовного. Вначале вперед выступают просветители — бессребреники, возвышенные идеалисты, бедные поэты, бескорыстные ученые, бесстрашные обвинители власть имущих, самоотверженные борцы за справедливость. Сеют они разумное, доброе, вечное, а когда посеют, то, отодвинув сеятелей, выступают вперед те, кому по праву надлежит собрать урожай плодов земных. Не так ли случалось во все времена — от Вольтера до Сахарова?

Первых бухарских джадидов Файзулла Ходжаев в своих воспоминаниях назвал «кучкой фрондирующих интеллигентов». Не забудьте, однако, что фрондировать в те годы в Бухаре было очень небезопасно. Но и они делали гораздо больше, чем просто вели смелые речи за закрытыми дверями.

В 1910 году было создано тайное общество «Тарбия-и этфаль» («Воспитание детей»), насчитывавшее всего тридцать человек. Через два года было начато издание двух газет: «Бухоро-и шариф» на таджикском и «Турон» на узбекском языках. В 1914

году был основан кооператив для издания учебных пособий «Товарищество священной Бухары» с книжным магазином «Баракат», своеобразным клубом и местом встреч просвещенной молодежи; собрана общественная библиотека «Марифат».

Думаю, эта деятельность не покажется слишком скромной нашим современникам, которые помнят, чем могли закончиться подобные дела в Стране Советов всего еще несколько лет назад. Вряд ли в Бухаре в начале века к ним относились более терпимо.

Все это была работа для отдаленного будущего. Но был сделан и шаг, последствия которого сказались резко и решительно в самом скором времени, хотя само событие было, на первый взгляд, незначительным. Несколько молодых способных людей поехали учиться за рубеж — в Турцию.

Инкубационный период джадидского движения длился несколько лет и завершился не то в 1914, не то в 1915 году «кризисом». Не был ли сей кризис отзвуком мировой войны, в которую вступила Россия? Турция по подсказке Германии призвала мусульманский мир к «газавату» против стран Антанты, в том числе и против России. «Священная война made in Germany», как иронически именовали ее европейские политики и журналисты, ослабила влияние России и вообще Европы в Бухаре. Были закрыты газеты, усилились придирки к легальным обществам, основанным джадидами...

В это же время вернулась домой посланная на учебу молодежь, потрясенная и воодушевленная турецкими впечатлениями. Они увидели, что старшие братья — младотурки — не только твердо взяли власть в свои руки, но и на деле осуществили то, о чем бухарские джадиды до сих пор не решались даже мечтать. Обновленные, окрыленные воспринятыми в Стамбуле воззрениями и идеями, они горели от нетерпения и сразу же решительно выдвинули новую программу: борьба за снижение налогов, ограничение чиновничьего произвола, участие джадидов в государственных делах. Они требовали перехода от просветительства к политической борьбе. По словам Ходжаева, это было «первое расслоение... рядов на джадидов старого толка и левое крыло, состоящее в основном из молодежи. Во главе джадидов старого толка встал Абдувахид Бурханов, во главе левых — Фитрат... Венцом всех джадидских требований, сладкой мечтой джадидизма, его программой максимум... в последние предреволюционные годы было введение в Бухаре конституции по младотурецкому образцу».

Чего они жаждали больше — власти или свободы? Свобода казалась им недостижимой. Богатые не могли купить, одаренные — завоевать ее силой своего таланта. Ее можно было лишь добыть кровью. Своей или чужой. Они выбрали чужую. Выбрали полусознательно, быть может, не вполне представляя себе, к чему приведут их действия, и готовые переложить вину за происшедшее на других. Осудить их легко. Но право на это имеет лишь тот, кто добывал свободу своей собственной кровью.

Джадиды. Первая кровь

Пришло время узнать и Бухаре, как трудны на деле, а не в мечтах, вожеленные перемены. Наступил февраль 1917 года. Джадиды увидели воочию, как не где-то там, за рубежом, а дома, в Бухарском ханстве, возникают и действуют новые формы правления. В русских поселениях эмирата власть взяли исполнительные комитеты Временного правительства. Дело в том, что на территории Бухары, в городах Новая Бухара, Чарджоу, Керки, Кушка находились принадлежащие России поселения, где жили российские подданные, стояли воинские гарнизоны и действовали законы Российской империи. Небольшие поселки, где жили железнодорожники и телеграфисты, располагались вдоль линии железной дороги, а на границе стояли российские заставы.

12 марта 1917 года был избран Новобухарский исполком, а уже через полтора месяца, в первых числах мая, состоялся первый областной съезд делегатов исполнительных комитетов всех русских поселений Бухарского ханства. (Советские историки никогда не упускают случая подчеркнуть, что состояли комитеты в основном из меньшевиков и эсеров.) Странное создалось положение — обособленные оазисы демократии в мрачных просторах абсолютной монархии.

Возмечтали и джадиды «добиться у эмира при помощи русской власти, так давно желаемой, но смутно представляемой конституционной монархии, а также и европейской системы образования». Было послано телеграфное обращение Временному правитель-

ству с просьбой оказать давление на эмира в смысле побуждения его к реформам. Подписали обращение лишь «активные младобухарцы» (определение Файзуллы Ходжаева). По-видимому, дело казалось им не сложным. Керенский дает указания эмиру. Эмир издает манифест, преобразования свершаются. Знали ли они, торопя Петроград, что подготовка к реформам уже идет в Бухаре? Насколько сложной была задача показывать приведенные ниже выдержки из донесений в Петроград от российского резидента в Бухаре* А. Я. Миллера и туркестанского генерал-губернатора А. И. Куропаткина.

**«Секретная телеграмма российского резидента в Бухаре
22 марта 1917 г., № 135**

Под влиянием слухов о предстоящих реформах, в Бухаре замечается некоторое брожение среди весьма многочисленных мулл, усматривающих причину предстоящих реформ в интригах шиитов и в происках весьма ничтожного по числу кружка местных либералов. Ввиду сего спешно просим кушбеги** незамедлительно лично и через казика-ляна*** разъяснить выдающимся муллам, что непреклонное решение произвести реформы исходит от самого бухарского правительства и будет выполнено на точном основании шариата. Считаю долгом вновь упомянуть крайнюю необходимость в обращениях бухарского правительства к народу неизменно указывать на шариат, как на главное основание всех будущих реформ; малейшее уклонение от сего повлечет тотчас же самое враждебное отношение в широких невежественных массах, могущих усмотреть в реформах покушение неверных на изменение основ шариата...

Миллер»

**«Секретная телеграмма туркестанского генерал-губернатора
на имя министра иностр. дел
24 марта 1917 г., № 360**

...В решении всех вопросов, касающихся введения начал нового строя в Бухаре, надлежит, по моему мнению, руководствоваться чрезвычайной осторожностью, считаясь с особенностями шариата и векового быта ханства, дабы, вместо довольства населения присоединением его к дарованным всей России свободам, не вызвать недовольства и даже возмущения. Создав в туземцах Бухары враждебное к России отношение, можно опасаться вмешательства Афганистана в защиту ислама. Волнение же в Бухаре, особенно в связи с выступлением Афганистана, неизбежно отразится и на туземном населении соседних русских областей, и особенно в Самаркандской. В предупреждение сего желательно, чтобы первые шаги приобщения Бухары к новой жизни исходили от самого бухарского правительства, а не снизу, так как революционное движение против эмира может принять характер выступления против России и породить смуту не только в Бухаре, но и в крае, последствия которой даже трудно предусмотреть...

Куропаткин»

**«Секретная телеграмма российского резидента в Бухаре
30 марта 1917 г., № 151**

С р о ч н а я

...Неполучение до сего времени каких-либо указаний касательно манифеста эмира, одобренного генерал-губернатором, создает здесь тяжелое, опасное по своим послед-

* Р е з и д е н т с т в о (полигическое агентство) — полномочное представительство России в Бухаре — было не столько обычным посольством, сколько органом, через который царское, Временное, а затем и Советское правительства активно воздействовали на курс и внутреннюю политику правительства Бухарского ханства.

** Высший административный чин в Бухарском Ханстве, первый сановник страны, премьер-министр, замещающий эмира при его отлучках из Бухары.

*** К а з и к а л о н — верховный судья, который избирался из наиболее авторитетных судей, утверждался эмиром и являлся как бы начальником всех судей ханства, аттестуя их перед эмиром. Здесь и в дальнейшем слово «кази калон» в цитатах приводится в том написании, в каком оно дано в цитируемом тексте.

ствиям для наших интересов в ханстве положение. Население нетерпеливо ожидает возведения эмиром обещанных реформ, волнуется вследствие всевозможных слухов, распространяемых реакционерами и сторонниками реформ. Крайняя группа последних вошла даже в сношение с самаркандскими мусульманами касательно попытки вырвать у эмира уже одобренный министром почин реформ и самим предъявить бухарскому правительству ряд требований...

Происходят оживленные сношения с Афганистаном. Усилились слухи о готовящемся избиении и изгнании русских. Вооруженной силы для защиты наших граждан, в случае восстания мусульман, у меня нет. Рассчитывать на такую извне нельзя. Поэтому, ввиду одобрения министром программы реформ и условий их проведения в ханстве в жизнь и неимения со стороны генерал-губернатора каких-либо возражений против манифеста, считаю в силу создавшегося положения вещей, необходимым немедленно же обнародовать таковой, дабы внести успокоение и избежать катастрофы..

Миллер»¹³

Посылают и джандиды после долгих ожиданий еще одну телеграмму в Петроград с просьбой воздействовать на эмира. И они не могут понять, почему Временное правительство тянет с разрешением обнародовать манифест.

Причина оказалась нелепой. Как записывает в дневнике А. И. Куропаткин: «Миллер... жаловался, что в Петрограде три недели задержали ответ на его депешу о манифесте (Клемм* говорил, что Миллюков внес этот вопрос на рассмотрение Совета Министров). Керенский, которого считали знатоком азиатских дел, высказался за расширение рамок манифеста, указывая на необходимость уничтожения рабства. Клемму пришлось поправить указанием, что рабство в Бухаре давно уничтожено...»¹⁴

Старое бухарское духовенство понимало суть будущих реформ ничуть не яснее, чем Керенский представлял себе общественное устройство Бухары. Петербургским либералам и бухарским клерикалам, этим двум чуждым мирам, не знавшим и не понимавшим друг друга, договориться было нелегко, а может, и невозможно. Что бы делали они без старого мудрого Миллера, тонко чувствовавшего ситуацию и делавшего все, чтобы «навести мосты» и совместить несовместимое.

Садриддин Айни в «Истории революции в Бухаре» описывает забавную беседу между Миллером и тогдашним кази калоном, которому резидент пытался растолковать основы будущих преобразований: «...Свои рассуждения он высказывал казикаляну не в форме совета, а в форме простого рассказа или сообщения. Казикалян высказал Миллеру свои возражения.

Относительно базарного налога. «Этот налог согласуется с шариатом. Это арендная плата государственных базаров, я не могу согласиться на его отмену».

О реформах судов и установлении единой зарплаты для судей. «Если судьи не будут брать деньги с бедняков, их величие и богатство станут меньше, народ перестанет их уважать и почитать, подданные перестанут им подчиняться. Так как в результате будет вред шариату (лжешь, будет лишь вред твоему карману!**), я с этим положением согласиться не могу».

О школах. «Если откроются новометодные школы, дети будут воспитываться смутьянами. Улемы*** будут возмущаться против такого положения дел, поднимут шум. Если школы будут на русском языке, то вреда не будет»¹⁵

Это говорил один из первых сановников государства, и судите сами, сколь нелегкая работа предстояла тем, кто взялся бы вводить новшества. Да и кто мог бы осуществить их в Бухаре? Миллер полагал, что даже создание чего-то «вроде меджлиса или Учредительного собрания представляется совершенно недопустимым... По местным условиям туземных комиссий вполне достаточно...»

Кому-то и сейчас эта мысль покажется шовинистической, принижающей способ-

* К л е м м В. О. — управляющий среднеазиатским отделом министерства иностранных дел.

** Это сам Айни, описывая беседу, не удержался от возмущенного восклицания. Однако он не совсем прав. Дело не только в корыстолюбии, но и в особом складе мыслей, о котором будет сказано позже.

*** Признанные и авторитетные знатоки теологии и религиозного права, хранители мусульманского благочестия. В основном, исполняли и исполняют должности преподавателей в медресе, проповедников, религиозных судей и т. п.

ности местной администрации. Но Миллер говорит лишь о том, что в феодальной Бухаре попросту не было чиновников, имеющих опыт создания демократических структур, даже самых простейших. Он писал:

**«Секретная телеграмма российского резидента в Бухаре
31 марта 1917 г., № 154**

С р о ч н а я

...Одним туземным комиссиям, состоящим из занятых своим делом лиц, со своей задачей не справиться и им необходимы наши советники, о чем бухарцы всех классов, особенно прогрессивно-демократические элементы, меня настоятельно просили... Кроме того, первоначального пыла у туземных комиссий хватит ненадолго. Работа же предстоит огромная и серьезная, для долгого выполнения коей мною предложена... Организация по примеру Туниса, Алжира, Марокко и Египта. Агрономическая, лесная, ирригационная, строительно-дорожная и ветеринарная организация уже существуют на бухарские средства. Следует добавить еще финансовую, торгово-промышленную, санитарную, просвещения, почт и телеграфов и контрольную. Во главе каждой стоят советники, которые образуют совет под председательством резидента: без наших людей на местах все возведенные реформы останутся мертвой буквой. Все бухарцы, особенно прогрессивно-демократический элемент, это прекрасно сознают и сами этого требуют, понимая, что без нашего содействия реформы не будут осуществлены.

...Вновь настоятельно ходатайствую о скорейшем обнаружении манифеста эмира с поправками и дополнениями, как Временное Правительство сочтет нужным сделать...
Миллер»¹⁶

И вот наконец манифест был утвержден и торжественно обнаружен 7 апреля 1917 года. Что же обещал эмир Бухаре?

«...Прежде всего Нами будут положены незыблемые основания справедливого отправления правосудия и взимания ... налогов и обращено особое внимание на развитие в ханстве промышленности и торговли... Чиновничеству и всем служащим лицам, над которыми будет установлен контроль, будет определено содержание с воспрещением каких-либо вознаграждений за служебные действия...

В заботах о здравии, о благоденствии подданных Наших, проживающих в столице Нашей, решили Мы предоставить населению избрать совет достойных уважаемых народом людей, каковые и озаботятся оздоровлением и благоустройством столицы Нашего ханства.

Считаем также отныне необходимым учредить государственное казначейство и установить бюджет Нашего ханства с точным исчислением доходов и расходов на государственные надобности»¹⁷.

Современному читателю трудно понять, отчего столь скромные обещания вызвали такое потрясение в бухарском обществе, бурное ликование одних и яростное возмущение других. Понять, в чем тут дело, можно лишь, если разобраться в особенностях юридического права и законодательной власти в мусульманском обществе и представить, насколько чуждыми и неприемлемыми для правоверных мусульман Бухары были европейские представления о справедливом устройстве общества, о демократии, гражданских правах. То, что нам представляется единственно возможными основами человеческого общества, они расценивали как противоестественные и возмутительные затеи, посягательство на истинный закон.

Мусульманское право рассматривает закон как непосредственно данный Богом, неизменный, совершенный и, следовательно, учитывающий все необходимые интересы людей. Законодательная власть в исламе принадлежит Корану. Государство в принципе не может брать на себя фундаментальные нормотворческие функции. Разумеется, в истории мусульманских народов есть немало примеров «мирского законодательства». Правители на Востоке, как и в других частях света, не раз издавали указы, но мусульманское правоведение всегда рассматривало эти указы как административные предписания и никогда не признавало за ними законодательной силы¹⁸.

Полагаю, что точно так же расценивали манифест эмира Алим-хана бухарское высшее духовенство и простые верующие, и привычка покоряться правителям боролась в их душах с возмущением. Ничего хорошего от манифеста они не ждали.

Иное дело джадиды. Манифест они встретили с восторгом. Наконец-то начинается

новая жизнь! Стронники решительных действий загорелись идеей отметить выход манифеста шествием по городу с красными флагами в знак благодарности эмиру.

Не только о флагах, но и о самой манифестации даже речи не может быть, пытались образумить их «умеренные». Я думаю, что в Бухаре не было человека, который не знал бы наверняка, чем обернется шествие по городу. Совсем недавно, в 1910 году шиитское шествие по Бухаре вызвало кровавую резню. Более того, один из друзей Садриддина Айни, осведомленный о настроениях духовенства и студентов медресе, прямо предупреждал:

— Если молодежь поднимет свой флаг, наша кровь до последней капли прольется против этого знамени...

Да и сам Файзулла Ходжаев признается в воспоминаниях:

«Многие эсеры и эсдеки (Новгородский и пр.) считали манифестацию преждевременной, ошибочной и указывали на то, что манифестация при специфических бухарских условиях является п р о в о к а ц и е й (разрядка моя. — В. М.) и усиливает реакцию»¹⁹.

После долгих споров, так и не придя ни к какому согласию, решили обратиться за советом к человеку уважаемому и влиятельному, отлично понимающему обстановку — к российскому резиденту. Возглавил делегацию Файзулла Ходжаев, сторонник крайних мер. Миллер кратко ответил делегатам, что он не советует манифестировать... Рассказывая об этом, Ходжаев тут же добавляет с какой-то головоломной, извращенной логикой: «Но этот ответ Миллера, конечно, вопроса не разрешил, так как меньшинство и раньше было уверено, что другого ответа не будет. Поэтому вопрос оставался спорным».

На самом деле Файзулла Ходжаев все уже решил. Сейчас он сделал первый шаг навстречу судьбе. Сейчас этот невысокий, ладный, напряженно прямой молодой человек с миловидным лицом и поразительно спокойными глазами, сын покойного купца-миллионера Убайдулла-ходжи, которого отец семь лет обучал в Москве европейским наукам у частных русских учителей, этот элегантный джентльмен и вместе с тем лукавый бухарский торговец, не колеблясь, подтолкнет события к необратимой развязке.

«Мне не стоило большого труда, — заканчивает Ходжаев рассказ о визите к Миллеру, — уговорить товарищей известить по районам членов организации о месте сбора и порядке шествия».

На следующий день в 8 часов утра к книжному магазину, на обычное место сбора джадидских активистов, явилось сотни полторы возбужденных молодых людей. Старшие и разумные пытались уговорить их разойтись по домам. Но лавина уже тронулась, и словами ее не остановить. И все же кто-то надеялся на уже невозможное.

Как признается Ходжаев, старейшие джадидские лидеры Фазмитдин Максум и Абдувахид Бурханов, большие противники манифестации, «под клятвой спросили меня, правда ли, что Миллер согласился на манифестацию». Я дал уклончивый ответ. Они оставили меня в покое.

Тем временем все прибывающие и прибывающие члены организации стали требовать начать шествие. Главарям ничего не оставалось делать, как согласиться»²⁰.

Фазмитдин и Абдувахид призывали друзей идти без флага. Но их не слушали. Айни рассказывает: «Когда авангард колонны достиг караван-сарая ногайцев, оттуда вышли кавказцы с красным флагом. В это же время со стороны Токи Сарофон показали группы еврейской молодежи опять же с флагом. Тут уж наиболее ретивые вытащили из магазина заранее приготовленное красное знамя с надписью «Да здравствует эмир Алимхан! Да здравствуют реформы!» и подняли его... К шествию присоединились тысячи людей»²¹.

Попытаемся представить, какое впечатление произвело на большинство бухарцев шествие еврейской и лезгинской молодежи.

В городе издавна проживало немало пришлого населения. В 1745 году с войсками Надиришаха в Бухару пришло большое число лезгин, турков-османов, иранцев и афганцев, оставшихся здесь жить. Были в Бухаре и кварталы, населенные арабами, цыганами, евреями, персами... Все иноземцы — не мусульмане, принадлежавшие к числу постоянных жителей Бухары, вроде евреев и индусов, причислялись к так называемым з и м м и я м. По существующим в эмирате обычаям им разрешалось исповедовать свою религию, владеть имуществом, совершать между собой сделки, регулируемые их собственными порядками. Но в делах уголовных и в сделках с мусульманами они подчинялись законам ислама. При появлении на улицах зимнии могли носить лишь темное и не

новое платье с желтой заплатой, подпоясанное грубой веревкой. Они не имели права публично совершать действий, оскорблявших чувства мусульман: пить вино, громогласно читать Библию и т. п.²²

К примеру, поводом (хот и не единственной причиной) резни между бухарцами-суннитами и персами-шиитами в 1910 году, о которой я упомянул выше, стало ритуальное шествие шиитов в честь праздника ашура по центральным улицам, воспринятое суннитами как оскорбление их религиозных чувств и прямой вызов, поскольку прежде вся церемония проводилась исключительно в пределах кварталов, населенных шиитами (на западной окраине Бухары, близ городской стены).

Как оскорбление было принято и шествие зиммиев с красным знаменем. Для консерваторов оно стало подтверждением самых худших их опасений: не успели огласить манифест, как тут же были попораны самые основы правопорядка — изо всех закоулов Священной Бухары полезли инородцы и иноверцы.

Садриддин Айни описывает: «В субботу утром в 8 часов 30 минут предводители реакции... повесив на шею свои поясные платки, принялись вопить: «О, шарият! О, религия! О, Коран! Эй, мусульмане, религия пропадает, шарият гибнет, отныне откроют лицо женщинам, станут покушаться на честь ваших дочерей, дети будут учиться в школах кафиров... Правoverные, встаньте на защиту веры, религии, шарията, будьте готовы к газавату!...»²³

Колонны демонстрантов, шедших с красными флагами, были разогнаны многотысячной толпой, состоящей в основном из студентов медресе. Беспорядки и волнения в городе продолжались до самого вечера. Группы молодых людей останавливали заподозренных в джадидизме или участии в манифестации и избивали их. На глазах кушбеги был избит раис Абдусамадходжа. В эту же ночь, как сообщает Айни, представители реакции подготовили документ, под которым собрали печати муфтиев* Бухары. Содержание было следующее: «Люди, поднявшие знамя и потребовавшие реформ, пошли против воли его величества эмира и потому являются грешниками и мятежниками. Пролить их кровь — богоугодное дело, а их имущество является доступным для всех»²⁴.

Сам Айни, будучи активным противником манифестации, участия в ней не принимал, но был схвачен и наказан семидесятью пятью ударами палкой по спине и выжил лишь чудом.

Еще несколько человек получили, как и Айни, по 75 палочных ударов. Умер один, приговоренный к 150 ударам²⁵.

Файзулла Ходжаев сразу же после разгона демонстрации уехал в Новую Бухару.

Нетерпение

В русском поселении Новая Бухара, в двенадцати верстах от бушующей, разъяренной столицы, лидеры джадидов были в полной безопасности.

Волнения в Бухаре не утихали и на следующий день после манифестации. В город продолжали прибывать крестьяне из окрестных сел. вооруженные кремневыми ружьями, заржавленными дедовскими клинками, палками... Резидент Миллер для защиты российских подданных по соглашению с исполнительным комитетом Новой Бухары в придачу к казацкой сотне, охранявшей резидентство, вызывал из Самарканда пехотную роту с пулеметом. Как сообщил он в Петроград, «прибытие роты внесло успокоение...». В Бухаре восстановилась нормальная жизнь. Открылись базары и купеческие лавки.

Младобухарцы же, напротив, приходили все в большее и большее волнение. Миллер информировал центр в очередной секретной телеграмме: «...нервность младобухарцев усиливается распространяемыми здесь провокационными слухами, а также влияниями русских мусульман, самаркандских и ново-бухарских, считающих настоятельно необходимым предъявление ряда самых категорических требований бухарскому прави-

* М у ф т и — (буквально «дающие фетву», то есть особое заключение) знатоки шарията, разъясняющие основные положения шарията и на его основе принимающие решения по спорным вопросам или же в случае возникновения сложных ситуаций, не предусмотренных божественным законом.

тельству, в уверенности, что невозможность для последнего выполнить таковые приведет к желательному для них нашему вооруженному вмешательству в дела Бухары (разрядка моя. — В. М.)»²⁶.

Я думаю, что надежда на вооруженную помощь и была одной из тех причин, по которым младобухарцы решились на проведение манифестации. Во всяком случае, при обсуждении минувших событий член Самаркандского исполнительного комитета Исахаров признался, что «манифестация 8 апреля, вызвавшая столь большое возбуждение всего населения, была устроена по его инициативе и при его воздействии».

Отсидевшись немного в Новой Бухаре, младобухарцы решили окончательно объяснить с эмиром. Они не теряли надежды на успех, ибо полагали, что за их плечами не только Временное правительство России, но и пулеметы прибывших из Самарканда революционных рот. Рано утром 14 апреля руководители джадидской организации сели на поезд и открыто прибыли в Бухару. Они были уверены, что поездка не окажется для них слишком опасной. Так оно и вышло. Вести переговоры с ними эмир не стал, но и не решился выдать их многотысячной толпе, собравшейся у дворца и требовавшей немедленной казни вероотступников. На все призывы и приказы властей разойтись, толпа отвечала бранью и криками: «Не разойдемся, умрем за шариат, казним вероотступников-джадидов!» Лишь поздно ночью удалось вывезти младобухарскую делегацию из Арка, эмирского дворца, и доставить обратно в Новую Бухару.

Предприятие не удалось. Воинских сил хватило лишь для охраны десятка бухарских прогрессистов, но было слишком мало, чтобы насильно толкнуть Бухару к прогрессу. Джадиды, видимо, рассчитывали, что добьются все же каких-то уступок, пугая эмира самаркандскими солдатами и далеким, но могучим российским правительством. Но они только подлили масла в огонь.

Алим-хан не был так всемогущ, как им казалось. Даже захоти он угодить Временному правительству, на его пути встали бы улемы Бухары, которых манифестация джадидов привела в ярость. Поднять восстание в столице для них не составляло никакого труда.

Не только в Бухаре, но и во всем мусульманском мире остро стоит проблема взаимоотношений власти светской и духовной. Как считает Густав фон Грюнебаум, противоречие между теократией и государственной властью присуще исламу изначально²⁷. В разные столетия, не единожды и не в одной стране мусульманские законоучители низводили с престола правителей, чьи действия противоречили, по их мнению, основам шариата. Помнил и эмир бухарский, Алим-хан, что отец его — эмир Абдулахад, — лет за пятнадцать до конца жизни поссорившись со священнослужителями, навсегда покинул столицу и не приехал в Бухару даже в 1910 году, чтобы остановить резню между своими подданными, а послал вместо себя Алим-хана, в ту пору наследника престола.

Слов нет, светская власть эмира была безграничной. Но безграничной была и власть духовенства над умами и душами правоверных. Хотя верховным священнослужителем — кази калоном — в те дни был недавно назначенный просвещенный и либеральный Шарифджан-махдум, но и он с немногочисленными своими единомышленниками был не в силах противостоять улемам Бухары. К тому же улемы располагали многотысячной армией студентов медресе — взрывчатой смесью готовой вспыхнуть в любую минуту, как вспыхивает студенчество всех времен и народов, независимо от того, кто раздувает пламя — Сартр или садр*.

Ссориться с духовенством в столь сложной обстановке было бы попросту глупо. 14 апреля эмир отменил манифест, который так и не вступил в действие. Таков был итог действий джадидов.

И они «осознали» урок. Они перестроились. Как пишет Файзулла Ходжаев, в Новой Бухаре «общее собрание наличных членов организации составило новый центр, который и покончил окончательно со многим из наследства джадидизма, в том числе с его тактикой узкого культурничества и шатания в политике»²⁸.

Рождалась новая партия — младобухарская революционная организация. Отошли в сторону не только поэты и просветители, вроде Айни, но и часть богачей, как отошел Мухиддин Мансуров. Остались те, кого сегодня называли бы экстремистами. Те, кто

* Духовное лицо, ведущее учет и проверку вакуфов, т. е. имущества, переданного владельцем на религиозные или благотворительные нужды общине, государству или частному лицу. Однако к началу XX века звание «садр» превратилось в почетное, и с ним не было связано никаких служебных обязанностей.

желал власти и перемен во что бы то ни стало. Любой ценой. Они поняли, что грозная тень Временного правительства им не подмога. Нужны пушки и штыки. А главное — бойцы. Ни того, ни другого, ни третьего у них не было. Апрельские события ясно показали, что против них не только духовенство, но и бухарские простолюдины. Им оставалось лишь ждать помощи какой-нибудь внешней силы.

Новая Бухара стала для бывших джадидов школой революционного ликбеза и курсами по ускоренной политической подготовке. Здесь блистал целый спектр революционных партий от социал-революционеров до социал-демократов. Могу представить, как жадно впитывали младобухарцы ходячие революционные идеи и понятия, осваивали политическую фразеологию, перенимали методы внутривнутрипартийной и межпартийной борьбы... Были в Новой Бухаре и большевики. Всего три человека. Товарищи Преображенский, Уткин и Полторацкий. Они-то и сыграли особую роль в будущих событиях.

Тем временем неподалеку, в Туркестане, созрела долгожданная сила. В начале ноября 1917 года в Ташкенте была установлена Советская власть. И тут же, в декабре в Туркестанский Совнарком прибыла младобухарская делегация и предложила председателю СНК Федору Колесову поддержать «бухарскую революцию». По всей видимости, «делегация» состояла из двух человек — Ходжаева и рабочего-коммуниста Преображенского, который и организовал встречу с Колесовым. Как же принял их председатель СНК? С одной стороны, предложение пришлось некстати. Совет народных комиссаров Туркестана только что признал независимость Бухарского ханства. А с другой стороны... Взгляните на ситуацию глазами коммуниста Федора Колесова: из Бухарского ханства, оплота реакции и предполагаемого источника военной угрозы, приезжает товарищ по партии, коммунист Преображенский и горячо рекомендует бухарских товарищей, представителей угнетенного бухарского края. Народ готов к выступлению. По сигналу бухарских товарищей соберется тридцать тысяч дехкан и городских пролетариев — в этом Ходжаев клятвенно заверил Колесова. Нужна лишь помощь оружием и военным руководством. И главное, то впечатление, которое произвел Файзулла Ходжаев. Сдержанный, немногословный, спокойный. Скупая улыбка. Отличная русская речь. Европейский костюм и непокрытая голова. Безукоризненный партийный стиль в поведении и осанке, безукоризненная большевистская терминология (общение с коммунистами Новой Бухары не прошло даром). Все это, несомненно, внушало бессознательное доверие и полностью соответствовало простому и четкому миропониманию Федора Колесова, убежденного, что порядок в мире можно наладить только при помощи «винтовочки в руках пролетариата».

Колесов бывал на специально для него созванном пленуме ЦК младобухарской партии и, как он сам пишет, «покинул его с крепкой уверенностью в победе». Оружие и поддержку он обещал, но не сейчас, а немного позже. Нынче ему было не до Алим-хана, угрожавшего Советам лишь гипотетически. Нынче Ташкенту реально грозила Кокандская автономия. Управимся с ней, а там возьмемся и за Бухару...

Младобухарцы блефовали сознательно. Никто из них не рассчитывал всерьез на тридцать тысяч мифических повстанцев. Они лучше, чем кто-либо, осознавали, что бухарское крестьянство, по словам Ф. Ходжаева, «под влиянием недавних событий стало еще более, чем даже раньше, глухим к джадидской пропаганде»²⁹. Хвалены младобухарские две-три ячейки — около сотни человек — среди эмирских войск, ячейки среди возчиков и кустарей Старой Бухары, большая тайная организация среди персов, в которой состояло до 150 тысяч кустарей, крестьян и прочих — могут произвести впечатление на того, кто не представляет себе структуру бухарского общества.

Было оно сложной, но плотно и прочно сбитой конструкцией, разделенной на несколько уровней со строгой иерархией. Здесь не оставалось ни единого человека, который существовал бы сам по себе — вне клана, сословия, религиозной общины или родового союза. Всех подданных бухарского эмирата, за исключением иноверцев, объединял ислам. Все они были членами у м м ы — мусульманской общины. (Вплоть до конца XIX века мусульмане различных государств не только духовно, но и юридически считались членами одной мусульманской общины. Что же говорить о гражданах одного государства или жителей одного города!..)

Еще теснее, чем в церковной общине, население Бухары сплачивалось в дервишских корпорациях, суфийских орденах, которыми руководили так называемые пиры, или ишаны. Каждого из дервишских «старцев» окружало огромное количество последователей, принадлежавших ко всем сословиям. Суфийские ордена были огромной обще-

ственной силой. Как пишет А. А. Семенов, авторитет руководителей общин среди народа был весьма велик, и в день дервишских радений в доме ишана собирались все многочисленные его ученики. Они принадлежали к самым разным слоям населения: рядом с важным купцом находился какой-нибудь смиренный и плохо одетый ремесленник, с человеком, имеющим высокий придворный чин, сидел оборванный чернорабочий. Для всех них в дни радений ишан устраивал угощение, и все они участвовали в общем з и к р е — дервишском кружении под пение или декламацию мистических стихов...³⁰ Все это, как и доступность ишанов, их обходительность, помощь в нужде, влекли к этим «старцам» народные сердца...

Сплоченными были и ремесленные цехи, или корпорации. Официально в Бухаре насчитывалось тридцать два цеха, хотя в действительности их было больше. Они представляли собой разные братства, в организации которых было очень много общего с дервишскими орденами. Дисциплина в них поддерживалась очень строго, и самым страшным наказанием для нарушителей установленных правил было изгнание из корпорации.

Тесно объединялось и население городских кварталов, образовывавшее своеобразные соседские общины. Не менее важными были для бухарцев и родственные связи, которые, разветвляясь и перекрещиваясь, словно бы вплетали отдельную личность в сложный узор общественных отношений.

Это не означает, что в Бухаре царила идиллия. Выше я описывал произвол чиновников и бедствия простолюдинов... Враждовали между собой различные племена, группировки, роды, кланы и партии. Но все эти сложные и противоречивые отношения вписывались в общие рамки, соперничество шло внутри системы, и никто не помышлял о том, чтобы выйти за ее пределы. Бухарское общество было плотным монолитом, который можно было взорвать разом (что и сделали впоследствии младобухарцы), но отделить от него хотя бы крупинку было неимоверно трудно.

Пропаганда младобухарцев могла отозваться только среди изгоев у м м ы, среди национальных меньшинств Бухары, отверженных в силу своего иноземного происхождения или вероисповедания. Евреи, индусы, армяне, цыгане в свою очередь образовывали тесные замкнутые сообщества. Так что, в немалой мере, быть, скажем, персом в Бухаре — уже само по себе означало почти то же самое, что состоять в «тайной организации». Под персами разумелись: персы в собственном смысле слова, иранские тюрки-шииты и курды — все они жили очень замкнуто, находясь в сложных отношениях с «коренным», суннитским, населением Бухары... Не исключено, что кто-то из них и входил в так называемую «партийную дружину», ибо младобухарцы не лгали на этот раз, утверждая, что у них таковая имеется. Это был отряд из двухсот человек, состоящий из татарской и лезгинской молодежи, о чем можно судить по замечанию Ф. Ходжаева, сделанному при описании обрушившихся на участников «колесовского похода» репрессий: «Особенно пострадали татары и лезгины... на которых ввиду их непосредственного участия в событиях точило зубы эмирское правительство»³¹.

На что же надеялись бухарские товарищи? Думаю, на то, что Колесов приведет с собой большое войско. А если сил будет маловато, надо начинать войну на авось. Смелость города берет. Тем более, что мало кто из них намеревался лично идти в бой. Ими уже овладевало чувство, которое так часто упоминают сегодня наши современники, говоря о революционерах и революционных событиях. Это — нетерпение, страсть, сжигающая пламенных революционеров, но в огне которой гибнут сотни, тысячи, миллионы чужих жизней... Но что за дело до чьих-то судеб, коли проходит твоя собственная жизнь, а ты жаждешь исполнения желаний уже сегодня, уже сейчас... «В случае отказа от выступления, — признается Ходжаев, — рисовались долгие годы медленной подготовки общественного мнения, накопления сил, — все это в невыносимых условиях эмирского гнета и все усиливающихся репрессий»³².

Формула вторжения

Обстоятельства «колесовского похода» главные его герои — Федор Колесов и Файзулла Ходжаев — описывают очень туманно, не называя дат, подменяя хронику отдельными яркими эпизодами. Однако по их оговоркам и недомолвкам можно восстановить основные моменты происшедшего.

Колесов появился внезапно. По-видимому, младобухарцы скрыли от него истинное

положение дел. Был разработан план восстания. Срок назначен на первые числа марта. Бухарские повстанцы должны начать военные действия ночью внутри крепостных стен городов Бухара и Керки одновременно. Их выступление послужит сигналом для отрядов Колесова, которые поддержат их снаружи артиллерией и штурмом укреплений.

Колесов отбыл в Ташкент и через несколько дней был вновь в Новой Бухаре «с эшелонами, при орудиях и пулеметах». Мне не ведомо, признались ли младобухарцы в обмане. Колесов привез очень мало оружия, и это дало возможность Файзулле Ходжаеву заявить, а потом и написать в своих воспоминаниях следующее:

«...о выступлении ночью в Бухаре и Керках, как и вообще о выполнении плана, конечно, нечего было и думать. Все, что мог сделать ЦК, это организовать дружину из 200—300 человек, вооружив исключительно членов партии и вызвав их для этого в Новую Бухару»³³. Как бы то ни было, мифическое восстание изнутри на ходу сменили реальным давлением на эмира извне. Тут же, видимо, набросали ультиматум эмиру: распустить правительство и назначить на его место исполнительный комитет младобухарцев, в руках которых будет находиться вся власть. Он же и назначит новое правительство (по соглашению, правда, с эмиром).

Коротко и ясно.

И приписка: «Если не желаете кровопролития, тогда, конечно, примете эти требования. Если не примете, то за пролитую кровь ответственны будете Вы»

Между собой они договорились: если эмир не примет ультиматум, то отряд младобухарцев (та самая «партийная дружина») начнет наступление на Бухару, его поддержат бойцы Колесова, и это послужит «сигналом для восстания изнутри»

Тем временем вооружались и рабочие Новой Бухары, которые решили принять участие в «освобождении угнетенного народа». Весть о воинском эшелоне на станции, о военных приготовлениях мгновенно распространилась по окрестностям и вызвала взрыв возмущения в столице и пригородных селах. Все проклинали предателей-младобухарцев, призвавших неверных на родную землю...

Эмир ответил на ультиматум. Он писал в обычной своей уклончивой манере, что лично не возражает против изложенных требований, но народ по своей темноте и невежеству будет противиться. А посему он просил не настаивать на резких переменах, а вводить новшества постепенно.

«Мы обсудили ответ — вспоминает Колесов, — очевидно, что эмир отклоняет все наши требования. Решаем действовать с оружием в руках... Отдается приказ всем отрядам наступать на Бухару... Как только началось движение отрядов, он (эмир) прислал гонцов с письмом. Он согласился назначить при себе исполнительный комитет из младобухарцев, но все остальные требования обещал выполнить постепенно, по мере возможности»³⁴.

Младобухарцы, однако, усмотрели, что письмо не подписано. Это эмир хитрит тянет время... Пушки ударили по городу, и отряды двинулись вперед.

Бухара вставала перед ними, как ожившее видение из прошлого. По всей округности город был обнесен увенчанной зубцами глинобитной стеной, возвышавшейся почти на десять метров. Толщина стены у основания — около шести метров, а общая ее протяженность — двенадцать километров. Одиннадцать деревянных ворот, окованных железом, закрывались каждый вечер на огромные замки, и ключи торжественно относились в эмирский дворец.

Наступать было нелегко. Пересеченная местность простиралась до самой стены: пригородные селения сады и поля, изрезанные арыками.. Войско эмира вышло навстречу. Колесов рассказывает, что видел в бинокль в рядах противника турецкие фески и русские офицерские погоны. Сражение шло с переменным успехом.

Избранный заранее «бухарский ревком» (Файзулла Ходжаев, Атта Ходжа, Фитрат, Бурханов, Агдаров, Пулатов и Физмитдин Максум) участия в сражении не принимал. Он расположился в стоявшем неподалеку поезде. Чем они заняты в это страшное и столь ответственное для их дела время? Как сообщает Колесов, «налаживалась связь с местами, давались приказы о восстании. Восставшие должны поддержать нас изнутри».

То ли он просто притворяется перед читателем, что не знает, что никаких восставших в городе нет и не может быть, то ли и впрямь верил до конца, что кто-то восстанет там, за стеной.

И тут произошло неожиданное. Люди за стеной поднялись. Колесов рассказывает: «Из трех ворот в стене, как из разорванной плотины, с диким ревом вырвались

людские потоки. Потокам, кажется, нет конца. Впереди муллы с седыми бородами. Они кричат, указывая на нас. Развеваются зеленые знамена с ярким полумесяцем.

— Ай, яй-йя-йя!.. Алла! Алла! Алла! — несется оттуда.

— Смерть гурам!.. Смерть урусам!..

— Газават! Газават!..

— Во имя пророка Магомета!»³⁵

Но шли они не на подмогу революционным войскам, повинувшись «приказу о восстании». Простой люд Бухары шел на защиту родного города.

«Стрельба стихла. Ошарашенные стрелки и пулеметчики изумленно глядели на ревушие людские толпы...»³⁶

Но не мужество защитников Бухары поразительно, а то, как описывает его позже Файзулла Ходжаев: «Население Бухары — реакционеры — истолковали это вооруженное выступление не как внутреннее восстание, а как вторжение иноземцев в «Святую Бухару»³⁷, — пишет он без тени иронии, словно не понимая, словно не чувствуя, как нелепы его слова. Он срама не имеет, вспоминая о том, что сотворил. Это особый тип психики, обладатель которой не способен взглянуть на себя со стороны. (К этому же типу принадлежал, по-видимому, и Ленин.)

Те, кто собирались даровать жителям Бухары «свободу», дали им вместо того лишь право стать ш а х и д а м и, святыми мучениками за веру.

«Людские волны неудержимо катились, — продолжает Колесов, — бухарцы кричали и размахивали оружием. На пулеметы лезли с кинжалами в зубах разъяренные бородатые фигуры — лезли и падали. Перед пулеметом вырастала грудa живых и мертвых тел. Пулеметчики колебались, ослабляли огонь. Секунда — и все будет сметено этой лавиной. Мы бросились к пулеметчикам и заставили стрелять».

По-иному описывает эти события Юсуф Ибрагимов, в апреле 1918 года назначенный членом Центральной мусульманской военной коллегии при Наркомвоене и направленный в Туркестан. С обстоятельствами похода на Бухару познакомился по горячим следам и в апреле 1919 года рассказал о них в еженедельнике «Жизнь национальностей» № 13 (21):

Приехав в Новую Бухару, «тов. Колесов потребовал к себе эмира на ст. Каган (12 верст от Старой Бухары). Эмир отказался приехать, мотивируя это тем, что у него есть ответственные министры, с которыми тов. Колесов может вести переговоры, и послал Куш Беги (председатель министров) и Казия (высшее духовное лицо).

Делегация эмира к Колесову объяснила, что эмир не может приехать вследствие болезни и праздника обрезания своего сына, а также по условиям шариата, на что Колесов неодобрительно высказался по адресу шариата. Казия составил свое определенное мнение о происходящем и заключил, что эмир имеет связь с большевиками, которые, по его мнению, уничтожили у себя государственную власть и основы веры и хотят ввести в Бухаре такие же новшества, и приехав обратно в Ст. Бухару, не посетив эмира, созвал духовенство всего города и сделал приказ всем кишлачным жителям, окружающим Бухару, собраться ко дворцу эмира.

На другой день в городе собралась стотысячная толпа, вооруженная, чем попало (кетменями, лопатами, топорами, косами, ржавыми шашками и т. п.). Настроение толпы было возбужденное, во главе стояло духовенство, возбуждая в толпе фанатизм. Картина была ужасная. Эмир, учитывая положение, всячески старался препятствовать открытому выступлению против Кагана и Советской власти. Разъяренная толпа требовала открытия военных действий, чему способствовало духовенство. Не имея никаких сведений о том, что творится в Старой Бухаре, со стороны Советских войск была выслана разведка для выяснения положения, которая была обстреляна провокаторскими выстрелами, и с этого момента начался бой.

Толпа, жаждавшая крови, бросилась стихийно на виновников, по их мнению Младобухарцев. Были вырезаны не только Младобухарцы, но и их семейства, также пострадало русское население, жившее в Старой Бухаре и не успевшее выехать.

Находившиеся на ст. в Старой Бухаре больные, вывезенные из больниц Ст. Бухары, предназначенные для эвакуации, были растерзаны самым хищническим образом, число которых было 80 человек.

Жестоко расправившись в Ст. Бухаре со Всеми Младобухарцами и русским населением, толпа ринулась на Ст. Каган, где была встречена пулеметным, ружейным и орудийным огнем Советских войск и, не выдержав огня, отступила обратно».

Потрясенный бойней, эмир прислал делегацию высших сановников с подписанным манифестом и с изъявлением согласия на все условия младобухарцев, в том числе и на полное разоружение эмирской армии. После долгих споров — добывать врага или принять его капитуляцию — решили поверить эмиру и послали в Бухару делегацию, чтобы проследить за ходом разоружения. Ни один из младобухарцев в столицу не поехал. Все члены делегации были убиты, лишь одному удалось выбраться и полуживому добраться до своих. Но боеприпасы у Колесова были на исходе и, выпустив по Бухаре несколько снарядов, из которых ни один не попал в город, красноармейцы вынуждены были отступить к Новой Бухаре.

Они оказались в ловушке. За время перемирия местное население успело разобрать железную дорогу на протяжении более ста верст. Толпы людей с верблюдами подцепляли крюками развешенные на секции участки пути и отгаскивали рельсы вместе со шпалами далеко в пески. Были разрушены пути на Чарджоу и Мерв, на Самарканд и Карши. Повалены телефонные столбы, порваны провода. И отступление, и подвоз боеприпасов оказались невозможными.

Оставался лишь один выход. Проехав небольшой участок, разбирать путь, оставшийся позади, и укладывать впереди, чтобы, миновав и этот отрезок, вновь укладывать рельсы перед собой.

В Новой Бухаре началась паника. Все знали, что произойдет, когда колесовские эшелоны покинут город. В путь вместе с Колесовым собралась половина населения Новой Бухары. Российское резидентство, учреждения и конторы, железнодорожные мастерские, банк, старики, женщины, дети... Всего беглецов набралось до восьми тысяч. Этот пестрый, бесконечный караван медленно полз по пустыне, отстреливаясь от бухарских мстителей, непрерывно атакующих эшелоны. В одном из вагонов ехали младобухарцы.

Надежды на спасение не было почти никакой.

Впрочем, была. Несколько раз эмирские отряды присылали парламентаров: «Выдайте нам младобухарцев, или хотя бы трех — Ходжаева, Фитрата и Бурханова — мы обещаем вам безопасность». Но Федор Колесов предпочитал гибель предательству. Он отстаивал бухарских товарищей с опасностью для своей собственной жизни.

Немалую часть отступавших составлял полупреступный, анархический сброд, вооруженный и готовый на все, чтобы выжить. Несколько раз вся эта ватага сговаривалась спастись пешим ходом, взяв пищу и воду, бросив поезд с женщинами и детьми. Останавливали их лишь доводы Колесова, что пешком через пустыню не пробиться.

А тут они узнали (скрыть не удалось), что за младобухарцев обещают жизнь. Что тут началось! Но железная воля Колесова и каменная стойкость нескольких революционных солдат, вставших на страже у заветного вагона, одержали верх. Младобухарцев отстояли.

За трое суток поезд дополз до Кызыл-Теппе. Здесь Колесов послал к эмиру для переговоров парламентариев из числа отступавших вместе с ним бывших чиновников царского правительства Введенского, Хайдар-Ходжи, Мирбадалова. Пока шли переговоры, подоспела военная помощь, посланная из Ташкента.

Вскоре был заключен так называемый «Кызылтеппинский договор»

По условиям мира обе стороны были обязаны соблюдать заключенный между Россией и Бухарой договор 1868 года и обмениваться пленными. Эмир обязывался признать Советскую власть в русских поселениях эмирата, восстановить разрушенные железные дороги (это впоследствии стало поводом для немалых взаимных претензий, поскольку восстановить дорогу у Бухарского ханства не хватало сил), выдать находившихся в эмирате белогвардейцев, не увеличивать свои войска сверх двенадцати тысяч человек и отправить в распоряжение Совнаркома Туркестана сто вагонов пшеницы. Эмир не имел права препятствовать прохождению Советских войск по железной дороге через территорию эмирата.

Взаимоотношения между Туркестаном и Бухарским ханством постепенно начали улучшаться. В октябре 1918 года было достигнуто соглашение о покупке через местных торговых агентов бухарского хлопка на средства, отпущенные ВСНХ РСФСР...

Но страшных людских трагедий не загладили никакими соглашениями. Были вырваны все русские поселки вдоль железной дороги. А. Гудович, начальник группы, посланной из Ташкента на выручку Колесова, рассказывает о том, что видел в пути:

«В Катта-Кургане мы сделали первую остановку. Дальше начиналась территория

Бухары... Железнодорожные постройки, станции, будки — все было сожжено и изуродовано. Спиленные телеграфные столбы повисли на проводах. Кучи обугленных шпал.

Изуродованные трупы рабочих и служащих железной дороги, иссеченные ножами и шашками, валялись вдоль пути.

Вырезанные языки, обрезанные уши и носы, выколотые глаза. На телеграфных столбах раскачивались тела замученных людей. Тучи птиц вились над ними, лениво отлетая при нашем приближении...»³⁸

Точное число жертв установить невозможно. Оценки колеблются от полутора до пяти тысяч человек. Убивали всех иноверцев без разбора. Даже тех, кто десятки, а то и сотни лет жил в Бухаре. Убивали и мусульман, заподозренных в отступничестве. Убивали тех, кто читал газеты. Убивали тех, кто получил европейское образование. Шпионство и наветы стали повсеместными.

Бухара была отброшена на десятки лет назад. Ни о каком общественном развитии и речи быть не могло. Да и что должны были думать о демократии, о прогрессе, о социальных свободах жители Бухарского эмирата, которые воочию увидели, что несут народу все эти новшества.

Что стоили все лозунги и слова перед бессмысленно пролитой кровью!

Младобухарцы на чужбине

Психология «настоящих революционеров» — фантастический феномен, ждущий еще своего изучения и объяснения. Возможно, все они относятся к типу фанатика, описанного Ганнушкиным в «Малой психиатрии». Возможно, существуют разные психологические или психопатические типы. Было бы не просто любопытно, но и крайне необходимо узнать, что движет ими, какие действительные мотивы скрываются за революционными лозунгами и провозглашаемыми ими общественными целями. Я очень хотел бы понять, как устроены их души.

Залив кровью Бухарское ханство, оставшись в живых лишь благодаря чувству долга Федора Колесова и стойкости нескольких революционных солдат, лидеры младобухарцев, едва добравшись до Ташкента, явились в редакцию газеты «Новый Туркестан», чтобы пожаловаться на то, что власти Туркестана оттирают их, не допуская до переговоров с эмиром. Газетная заметка стала прелюдией к политической возне, начавшейся в Ташкенте после «колесовского похода».

Далеко не все младобухарцы были «настоящими революционерами». Многие пришли в ужас и отчаяние от содеянного лидерами организации. В партии начались жестокие раздоры и разногласия, и большинство обвиняло ЦК в происшедшей трагедии.

Дороги назад, на родину, не было никому. Но судьба бухарских вольнодумцев, оставшихся в живых и добравшихся до Ташкента или Самарканда, сложилась по-разному. Одни бедствовали, другие нашли неплохую службу в редакциях или даже иностранных посольствах. «Несколько товарищей, — констатирует Файзулла Ходжаев в своих воспоминаниях, — не приспособленных к физическому труду (полевые работы или служба в армии), как-то Мулла Рафаги, Мулла Максум — погибли от голодной смерти»³⁹.

Непонятно, как они могли погибнуть в окружении товарищей, ведь в эмиграции находилось около двухсот младобухарцев. Ответ напрашивается сам собой: к тому времени, как я думаю, они не были уже товарищами, поскольку дружба революционеров основана не на человеческой близости, а на политической общности. Организация развалилась. Одни стали просто беспомощными людьми, попавшими в непривычные условия, к которым так и не смогли приспособиться. Другие, «настоящие революционеры», укрепившиеся в своем экстремизме, не хотели простить им отхода от борьбы и порвали с ними всякие отношения. Файзулла Ходжаев к этому времени ушел от всякой работы в Ташкентском центре и уехал в Москву.

Оставшиеся в Ташкенте младобухарцы принялись действовать по раз и навсегда избранной тактике. Она состояла в том, чтобы найти наиболее влиятельную силу, примкнуть к ней и использовать ее мощь в своих собственных интересах. Такой силой была в то время в Ташкенте партия эсеров.

Группа младобухарцев во главе с Усманходжей Пулатходжаевым приняла программу левых эсеров и организовала партию младобухарцев социал-революционеров. Оказалось, что выбор не слишком удачен. Очень скоро над эсерами одержали верх большевики. Как известно, в июле 1918 года в Москве была разгромлена организация эсеров.

Эсеры были изгнаны из органов власти и фактически оказались вне закона. Действия младобухарцев предсказать нетрудно. Спустя пару месяцев они заявляют: «Мы, нижеподписавшиеся, бывшие члены партии левых социал-революционеров младобухарцев выходим из этой партии и принимаем программу партии коммунистов-большевиков...»⁴⁰

Бывшие младобухарцы становятся коммунистами.

В начале лета следующего, 1919 года в Ташкенте проходит I съезд БКП — Бухарской коммунистической партии. Избирается новый состав Центрального Комитета. Председателем партии становится Абдувахид Бурханов. Партия издает в Ташкенте журнал «Тонг» («Заря») и газету «Кутулуш» («Освобождение»). Получив наконец-то надежное покровительство, новоиспеченные бухарские коммунисты принимаются за революционную работу. В партии начинают появляться новые члены.

Вначале я считал, что сведения бухарских коммунистов о росте их рядов — это всего лишь то, что нынче называется «приписки». Конечно, склонность к припискам была у них всегда. Так, они приписывали себе организованный якобы ими в 1918 году мятеж двух тысяч афганцев, находившихся в бухарских войсках, или восстание крестьян в феврале 1919 года в Шахрисабзе, хотя нет никаких сомнений в том, что это были обычные народные волнения, которые время от времени (и довольно часто) случались в Бухарском эмирате.

Однако, если вдуматься, кое-какие души они могли улавливать без труда. Бегство за границу было делом обычным в Бухарском эмирате, правда, нет точных данных о том, сколько именно человек эмигрировало ежегодно. Крестьяне с женами и детьми старались осесть, где-нибудь на земле, чаще всего в Афганистане. Люди без определенных занятий бежали в города, в том числе в города советские: Ташкент, Самарканд. Чаще всего это были сарбазы — солдаты эмирской армии, которых вербовали на службу из самых низов общества — преступников, разорившихся крестьян, чужеземцев, а в недавнем прошлом — из рабов.

Как сообщает изданный в Ташкенте в 1920 году справочник «Вооруженные силы Бухары», в последние годы среди эмирских сарбазов усилилось недовольство и брожение, недостаточное, однако, чтобы поднять открытый мятеж. Усилилось дезертирство, и понятно, что, попав в большой незнакомый город — Ташкент или Самарканд, дезертиры первым делом старались найти своих земляков, поскольку получить хоть какую работу без знания ремесла было нелегко. Бухарские коммунисты помогали им перебиваться, возможно, помогали деньгами. Я думаю, что при помощи туркестанских коммунистов они пристраивали бывших сарбазов в Красную Армию, составляя из них особый полк для будущих действий в Бухаре. Уверен, что рассказы о всякой другой революционной работе являются вымыслом, поскольку те группы населения в эмирате, которые могли бы прислушиваться к коммунистической агитации, были слишком напуганы и подавлены недавней трагедией. Шпионство достигло к этому времени в Бухаре колоссальных размеров. Единственные, с кем возможна была нелегальная связь — это воинственные и непокорные туркмены, жившие большими родами, каждый из которых имел свою дружину.

Издание газет, журналов, различных прокламаций, содержание партийного аппарата — все это требовало немалых денег, которым, конечно, неоткуда было взяться у небольшой группки людей, называвших себя бухарскими коммунистами. У меня нет данных о том, какие они получали средства, но сколько бы им ни выделяли, они были убеждены, что сумма слишком мала для такой значительной организации, как БКП. Следуя привычным путем, они не упустили случая пожаловаться на своих покровителей. На 2-м конгрессе Третьего интернационала делегат от коммунистической партии Бухары сетовал на:

«...1) Недоверчивое и крайне неблагоприятное отношение туркестанских коммунистов к революционной работе партии бухарских коммунистов;

2) крайне инертное отношение представителей Советской власти в Туркестанской Республике к задачам и целям партии и пассивное отношение к ее нуждам и проч.;

3) политическая нечистоплотность официальных представителей Советской Власти в Бухаре и всевозможные вмешательства и репрессии по отношению к бухарским коммунистам за преданность и стойкость идеалам коммунизма...;

5) подкупность представителей Советской Власти в Бухаре, прием подарков в виде золотых вещей, бриллиантов и пр., не говоря о той службе, которая существовала между некоторыми представителями Советской Власти в Бухаре и бухарским правительством

и б) неблагожелательное отношение высших органов Туркестанской Республики (Крайового комитета Р.К.П. и Турккомиссии) к Цека партии и полное игнорирование к ее материальным нуждам и стремление к достижению реальных результатов в Бухаре и дальнейшему движению на Востоке...»⁴¹

Этот обиженный тон вполне соответствовал деятельности БКП, которая выглядела просто детской в сравнении с тем, что задумал Файзулла Ходжаев. Он не стал ждать милостей на периферии, а, не теряя времени в Ташкенте, летом 1918 года выехал в Москву. Это было рискованное и даже опасное путешествие. Туркестан отрезан от России белыми войсками. В Оренбурге Ходжаев был задержан, и, по его словам, четыре месяца находился в тюремном заключении. Как сообщает А. Ишанов, «ему угрожала смертная казнь по приговору полевого суда за связь с большевиками Туркестана, однако ему удалось бежать из тюрьмы и он скрывался сначала в Самаре, а потом в Казани под именем Алима Чураева»⁴²

Поразительно, как быстро освоился он в Москве, как четко и безошибочно нашел путь наверх. Его письмо Свердлову от 29 января 1919 года снабжено штампом и заверено собственной круглой печатью. Это письмо производит впечатление официальной бумаги большой организации...

Безошибочное чутье и тонкий политический расчет не подвели. В Москве его знают. В Москве его поддерживают. И он точно выбирает время возвращения в Ташкент. Файзулла Ходжаев приезжает в Туркестан вместе с Турккомиссией ВЦИК и СНК РСФСР* посланной Москвой, чтобы навести порядок в Средней Азии.

Меж молотом и наковальней

О личности последнего бухарского эмира Алим-хана известно не очень много. Но то, что известно, рисует человека не слишком привлекательного. «Личность совершенно бесцветная, без всяких высоких запросов, — пишет А. А. Семенов, — эмир Алим был занят всем, чем угодно, но не государственными делами: ими он совершенно не интересовался и ни во что не вникал»⁴³

Уже в изгнании, желая себя возвеличить, он сообщает с гордостью, что для блага подданных построил мост, а также медресе и мечеть. Для всемогущего повелителя целой страны это смехотворно мало. Обстоятельства чуть было не вынудили его ввести прогрессивные реформы, которые могли бы украсить его правление, но другие обстоятельства привели к их полному краху. Нельзя в том винить лишь нерешительность эмира — то время не было эпохой сильных государей. Но среди слабых монархов он был, пожалуй, одним из самых слабых.

Воспоминания самого Алим-хана изобличают тщеславие, напыщенность, недалекий ум и вместе с тем какие-то наивности и простодушие, которые можно было бы назвать трогательными, коли бы не его злодейства. Злодейства не государственные, по долгу службы, а личные, что, впрочем, было в семейной традиции этой династии. «Мальчиков и девочек уводят от отцов и матерей для скотской похоти эмира, — рассказывает И. В. Виткевич о Бухаре 30-х годов прошлого века, — нередко он наказывает телесно, лично при себе, если кто заслужит немилости его»⁴⁴ К «скотской похоти» склонен был и Алим-хан. Последняя жена его в бухарском гареме была девочкой девяти лет. В одной исторической работе упоминается о книге, где описано, как Алим-хан во время бегства из Бухары после переворота день за днем оставлял на месте ночевки по одному из своих «танцующих мальчиков» чтобы задержать преследователей⁴⁵ (Самой книги я в наших библиотеках не нашел.)

* Турккомиссия ВЦИК и СНК РСФСР была образована постановлением ВЦИК и СНК 8 октября 1919 года в составе: Ш. З. Элиава — председатель, Г. И. Бокий, Ф. И. Голощекин, В. В. Куйбышев — заместитель председателя, Я. Э. Рудзутак, М. В. Фрунзе. ВЦИК и СНК уполномочивали Турккомиссию действовать от их имени в Туркеспублике и в сношениях с сопредельными с ней государствами; ЦК РКП(б) возложил на Турккомиссию высший партийный контроль и руководство партийными организациями края... Главной задачей Турккомиссии являлось оказание всесторонней помощи местным партийным организациям и органам Советской власти, установление правильных взаимоотношений между РСФСР и народами Средней Азии (Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР». М. Советская энциклопедия. 1983, с. 601).

Оказавшись на чужбине в положении полупленника, бывший эмир писал немудреные стихи, изливая искреннюю тоску по родине. Злодей он был нерешительный, мягкий, пассивный. Не зря отец — эмир Абдулахад, которого он до смерти боялся, презрительно называл его Олим-гоу, что означает Алим-корова. Но и более твердому человеку и политике пришлось бы нелегко, окажись он в положении Алим-хана — между молотом и наковальней.

Молотом были Советы, наковальней — его собственный народ.

После первого тяжелого удара молотом — «колесовского похода» — эмир понял, что нападение без причины и повода, без объявления войны может повториться в любой миг и что надо спешно вооружаться и быть готовым к обороне.

Его безнадежные попытки обеспечить безопасность своего государства дали основание советским историкам, описывающим события в Бухаре, твердить в один голос: «Несмотря на то, что со стороны советского правительства проводилась политика добрососедского отношения к Бухарскому эмирату, эмир при поддержке иностранных государств готовил «священную войну» против Советской власти».

Разумеется, историки послушно повторяли официальную версию, придуманную, чтобы оправдать готовящийся захват эмирата и чтобы скрыть затем истинные события. Но есть ли хоть малейший смысл в этих утверждениях? Замышлял ли эмир на самом деле агрессию против Советского Туркестана? Была ли Бухара опасна для Советов?

Я не могу сейчас сказать ничего определенного о роли в этих событиях Англии, которая якобы подстрекала Бухару к войне против большевиков и помогала ей оружием и людьми. Думаю, что историки сильно преувеличивают английскую помощь эмирату. Во всяком случае, глава Британской военной миссии в Мешхеде генерал-майор У. Малесон, письмо которого к эмиру не раз уже приводилось в нашей литературе, настойчиво склоняет Алим-хана к нейтралитету:

«Если, Ваше Величество, позволите мне, Вашему убежденному стороннику, преподать Вам один благоразумный совет — то скажу следующее: Пока сохраняйте полный нейтралитет, и только открытая вражда и непризнание отношения с большевиками, конечно, придавленных обстоятельствами, далеко не означают благоразумия и не могут входить в план дорогого совета. И никто, я думаю, не предъявил бы к Вам такого настояния и требования...»

Переведено не очень складно, но можно понять, что генерал советует эмиру не враждовать с большевиками. Далее он предостерегает и от дружеских отношений с ними и завершает письмо еще одним призывом к осторожности: «Вот почему я еще раз выражаю твердую уверенность, что Ваше Величество не нарушит принципа нейтралитета...»⁴⁶

В работе «Алим-хан и падение бухарского эмирата в 1920 г.» Гленда Фрезе приводит многочисленные просьбы Алим-хана о помощи и сдержанные, ни к чему не обязывающие ответы британских властей. Как считает советский историк Камол Абуддаев: «У правительства Англии, потерпевшей поражение в войне с Афганистаном в 1919 году и потерявшей значительную часть своего престижа, фактически не было шансов использовать «бухарский конфликт» для укрепления своих позиций на Среднем Востоке. Мольба Алим-хана об оказании военной помощи вызвала большую дискуссию в Дели и Лондоне. Из материалов английских архивов, приведенных в трудах западных авторов, следует, что падение эмира и его предложения не вызывали большого интереса у англичан. Чиновники английского МИДа заявили, что большевики наследовали от царизма право владения Бухарой. Следуя этой по сути империалистической логике, антисоветские действия эмира рассматривались ими как незаконные. Кроме того, политический комитет вице-короля высказал мнение о том, что отношения с Бухарой, как частью бывшей российской империи, должны вестись не индийским правительством, а Форин Офисом...»

Столь же правдива и легенда о военном союзе с Афганистаном. Все попытки бухарского эмира заручиться военной помощью афганского эмира Хабибула-хана ни к чему не привели. Его преемник Аманулла-хан, пришедший к власти в феврале 1919 года, и вовсе, по словам самого Алим-хана, «изменил обычаям предков и стал другом наших поработителей», то есть вступил в дружеские соглашения с Советской Россией. Аини рассказывает, что Алим-хан утверждал, что афганский эмир Аманулла — джадид и желает даже стать большевиком. Надежды на реальную помощь Афганистана не было.

Что же до легенды о связи Алим-хана с Колчаком, то всю ее несостоятельность

ярко показывает приведенная далее выдержка из дневника барона Алексея Будберга, военного министра колчаковского правительства: «20 сентября 1919 года. Ставка совершенно ошалела и проводит различные командировки, причем трудно даже сказать, какая из них наиболее нелепая. На днях ко мне явился присланный ставкой очень brave полковник, измывавший для себя командировку в Хиву и Бухару для руководства свержением большевиков и совместных затем действий против их тыла. Приказано ассигновать ему несколько десятков пудов серебряной монеты и выдать разное снабжение. В связи с этой командировкой в совет министров внесен проект правительственных грамот на имя эмира бухарского и хана хивинского, с тем, чтобы эти грамоты были вручены сему bravому полковнику для передачи их по назначению.

Я решительно протестовал против обсуждения текста этих грамот, высказав, что такие документы присылаются с особыми послами и вручаются в торжественной аудиенции, а не проносятся зашитыми под подкладку шинели или заделанными в сапоги, как то придется делать нашему полковнику, собирающемуся пробираться в Бухару со стороны Китайского Туркестана и переодетым.

Я высказал, что уважающему себя правительству не следует делать того, что носит смешной, опереточный характер. Но большинство было другого мнения и текст этих грамот был утвержден»⁴⁷.

Личную инициативу «бравого полковника» никак не назовешь серьезной военной помощью или даже связью с правительством Колчака. К тому же полковник до Бухары не добрался, а был задержан красными.

Рассчитывать эмир мог лишь на свои собственные силы. Но были они невелики и состояли из регулярных частей ополчения или н а у к а р о в (для русского слуха более привычно произношение «нукеры»). Наукаров, молодых парней, владеющих оружием, должна была поставлять каждая сельская и часть городских общин. По сути, это были княжеские дружины правителей областей, которые вливались в государственную армию в случае войны. Сарбазы, то есть солдаты-профессионалы, набирались в эмирскую армию добровольно. Соотношение силы эмирата и Туркестанской республики показывает оценка современного историка Александра Крушельницкого: «13 тысяч сарбазов эмирской армии с фитильными (!) пушками против 70 тысяч опытных бойцов с современным вооружением и боевой техникой! (Именно такое соотношение показывают подлинные архивы 1920 года.)»⁴⁸

В этой оценке не принято во внимание ополчение. Наверное, правильно. Что значит необученное, необстрелянное и плохо вооруженное ополчение — толпа крестьянских парней — против регулярной армии!... Но даже и такое ополчение собрать оказалось не так-то просто. Разноплеменное, измученное поборами, взбудораженное население Бухары не хотело становиться под ружье. Вот выдержка из сведений Бухарского районного бюро Отдела военного контроля от 19 сентября 1919 года:

«... 5) В бекствах Иссар и Гиждуван население отказалось от мобилизации. В двух бекствах предполагалось мобилизовать по 2 000 человек в каждом.

6) В Каракуме мобилизовано 3 000 человек, в Каршах и Гисаре население отказывается от мобилизации.

... 8) В Старой Бухаре на почве мобилизации идет волнение между персами, которых в Бухарских владениях до 200 тысяч.

9) В бекстве Нур-Ата на почве мобилизации и уплаты податей идет волнение»⁴⁹.

(Небольшое отступление. Перебирая архивы, натолкнулся я на документ, в котором прозвучала вдруг знакомая нота, неожиданное эхо грядущей афганской войны. Шифрованная телеграмма из Новой Бухары в Ташкент, в главное управление особого отдела:

«У нас имеется арестованный Федор Сучков... обвиняется в похищении пулеметов из Казанского полка и продажи их Бухарскому правительству, в этом деле обвиняются 27 человек, из которых 11 человек находятся арестованные у нас. Дело еще не закончено...

Начальник Новобухарского особотоделения А. Сафонов.

9 октября 1919 года»⁵⁰.)

Непредвзятые наблюдатели понимали, что происходит. «Общее чисто психологическое убеждение наше таково, что во всяком случае Бухара готовится к самозащите, реагируя на наши усиления здесь, — подводил итог секретному донесению в Реввоенсовет Туркфронта врид. военного атташе полномочного представительства РСФСР в Бухарском ханстве. — Данных, по которым можно было бы предполагать, что Бухара может выступить активно, по собственной инициативе, пока нет никаких.

Говорить о каком-либо разработанном плане со стороны Бухары не приходится. Пока несомненно, что в целях самообороны войска и наукары концентрируются в наиболее вероятных пунктах могущих быть ударов со стороны русских...»⁵¹

Ну а что же о наковальне?

Силу наковальни поковка ощущает лишь тогда, когда сверху ударяет молот.

Молот поднимается

Меня не оставляет чувство, что в истории падения эмирской Бухары скрывается какая-то загадка. По мере того, как я углублялся в эту историю, передо мной все выше и выше вырастала фигура Фрунзе и привлекала все большее внимание. С Фрунзе связан коренной переворот во взглядах руководства партии на направление, по которому движется на человечество мировая революция.

Об этой роли Фрунзе рассказал мне свидетель и участник тогдашних событий Иван Яковлевич Врачев. Правда, сведения его получены из вторых рук, поскольку он стал начальником штаба Туркестанского фронта уже после того, как Фрунзе отбыл из Ташкента. Привожу дословно его рассказ, записанный на диктофон:

«Адольф Абрамович Иоффе* мне рассказывал: после поражения Венгерской Советской республики, ослабления революционного движения в Германии, потери нами Прибалтики, когда Красной Армии удалось разбить южный фланг Колчака и снять блокаду Туркестана, Лев Давидович Троцкий внес предложение о нашей международной п е р е о р и е н т и р о в к е. С Запада на Восток. Если на Западе мы маневрируем, соблюдаем осторожность, идем на уступки, чтобы предотвратить крупномасштабную интервенцию, то на Востоке, в Азии, нам следует проводить стремительную, активную политику и подготавливать удар на Индию, и через Афганистан, Пенджаб и Бенгалию прийти на помощь индийской революции. Предложенная Троцким переориентация с Запада на Восток соответствовала и взглядам Ленина на дальнейшее развитие революционных процессов в мире. Это убедительно отражено в его речи на Всероссийском съезде мусульман-коммунистов 22 ноября 1919 года...»

Для разработки планов нашего возможного использования Туркестана для наступательных военных операций, Троцкий предлагал подобрать соответствующую кандидатуру — умного, смелого, способного проводить наступательные операции. Таким кандидатом оказался Михаил Васильевич Фрунзе — способнейший военачальник, выдающийся полководец. Эти его качества признавал Троцкий, вообще сдержанно оценивавший военачальников Красной Армии...»

Сообщение это подтвердил один военный историк, работавший в Центральном партийном архиве во время оттепели 60-х годов, и видевший документ с изложением описанных планов Троцкого. Однако либо все это были планы на будущее, либо поход на Индию замыслил один лишь Троцкий, не поддержанный Лениным. Во всяком случае, еще в декабре 1919 года Ленин одергивал Фрунзе, просившего прислать в Туркестан несколько военных специалистов:

«По-моему, Фрунзе запрашивает слишком много. Сначала Украину взять до конца, а Туркестан подождет, победствует.

Ленин»⁵².

Это, видно, и определяло терпимое отношение большевиков к Бухарскому ханству: «поскольку со стороны самодержавия Бухары нашим жизненным интересам и интересам мировой революции вообще не создавалось прямой угрозы, у нас не было оснований вмешиваться во внутренние дела этого государства»⁵³, — вспоминал Фрунзе.

Оттого можно счесть почти дружественным его визит к эмиру Алим-хану, который Фрунзе описывает в письме Ленину от 14 апреля 1920 года. (Прошу читателя обратить внимание на выделенные мной слова.) «10 дней тому назад, возвращаясь из Закаспия, мы с Элиавой были у бухарского мира эмира. Это человек с европейским образованием (окончил наш бывший Пажеский корпус), политически — верный друг Российской монархии, по характеру — слабый и безвольный человек, находящийся целиком под

* Иоффе А. А. (1883—1927) — советский дипломат, с 1921 г. заместитель председателя Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР и член Туркбюро ЦК РКП(б)...

влиянием всесильной в Бухаре улемы. Мы упорно и настойчиво твердили ему о том, что Советская Россия в величайшей степени заинтересована в территориальной неприкосновенности Бухары и в сохранении в ней существующего режима; для укрепления же дальнейшей связи советовали самому, хотя бы в какой-нибудь степени, сверху, пойти по пути европеизации. В ответ удалось лишь получить уклончивое: «Помаленьку, потихоньку будем, но вот народ...» И затем сейчас же просил убрать из Кагана «клопов» (это — младобухарцы, приютившиеся под покровом нашего резидентства в Н. Бухаре)⁵⁴

Я не думаю, чтоб Фрунзе хитрил. По воспоминаниям знавших его, это был человек чрезвычайно прямой, с огромным чувством собственного достоинства. Он, как мне представляется, счел бы унижительным для себя лгать в лицо собеседнику, пусть даже будущему врагу, тирану, угнетателю и прочее. К тому же, в этом письме Ленину он пишет не о необходимости войны, а всего лишь «самой серьезной бдительности» в отношении Бухары.

Прошло лишь два месяца и отношение резко изменилось.

Уже 21 мая Л. М. Карахан, заместитель наркома иностранных дел сообщает Ленину: «Наша политика... не дала до сих пор никаких результатов — Бухара не с нами, а против нас. Поэтому в полном согласии с Турккомиссией, нашим уполномоченным в Ташкенте, мы предлагаем ликвидировать эмира и образовать из Бухары демократическую республику, поставив во главе ее младобухарцев (теперь уже коммунистов).

Это может быть проделано в несколько месяцев в порядке внутреннего переворота в Бухаре, поддержано с нашей территории бухарскими отрядами, составленными из дезертиров бухарской эмирской армии, перебегающих к нам в большом числе, а затем после образования нового правительства мы сможем ввести и наши войска для охраны железной дороги и границы»⁵⁵

Почему такая перемена? Что произошло? Эмир получил вдруг военную поддержку? Или же стало достоверно известно, что он назначил дату нападения на Советский Туркестан? Нет. Напротив, эмир задумал посольство в Москву, и в первых числах июня уже подписал послание Чичерину с изъявлением доверия и дружбы. Его посланники готовились в путь...

В это же самое время советские гарнизоны в Бухаре были приведены в боевую готовность. Однако первый удар последовал лишь месяц спустя. Сейчас уже не определишь, был ли он нанесен по оплошности, по недоразумению, или же то была сознательная провокация.

Дело было так. Эмир все же отважился на решительные действия. 2 июля отбыло в путь чрезвычайное посольство, которое Алим-хан направил в Москву для установления дружественных отношений с РСФСР. Помощи ему было ждать неоткуда, и он заранее смирился с тем, что в обмен на безопасность большевики потребуют от него преобразований в ханстве. Бухара в очередной раз стояла на пороге мярных демократических перемен.

И в очередной раз все сорвалось. Красные войска продолжали прибывать в русские поселения ханства. В тот же самый день, когда отбыло эмирское посольство, 2 июля, советское командование для размещения прибывших солдат силой захватило в Кагане здания, принадлежащие бухарскому правительству, и в их числе закат-хану.

Бухара отозвалась на этот произвол яростным всплеском возмущения, которое будет непонятно, если не объяснить, что было связано с этим зданием для каждого правоверного бухарца.

Закат-хана — учреждение, ведавшее сбором налога. Но не обычного, а религиозного. Закат — в исламе налог-милостыня в пользу нуждающихся мусульман. Это введенная в закон благотворительность. Мусульманские правоведы считают, что закат «очищает», делает безгрешным богатство, с которого он уплачен.

Богатые и сильные должны помнить о своем долге перед бедными и слабыми, и даже если этот идеал на деле расходится с действительностью, все же закат символически объединяет общину в единую семью. В любом случае это попытка, пусть и неосуществленная, хоть как-то умерить, смягчить несправедливость социального неравенства. Парадоксально (или символично?), что советские борцы за социальное равенство ударили именно в эту точку.

Возможно, сам эмир спустил бы дело на тормозах, в надежде на успех своего посольства и будущую защиту и поддержку советского центрального правительства. Но

правоверной Бухаре было не до тонких политических расчетов. Неверные посягнули на святая святых общины. На милостыню для вдов и сирот, больных и неимущих...

Как и всякое исламское государство прошлого или настоящего, Бухара управлялась законами, данными от Бога. Все четырнадцать муфтиев Бухары собрались, чтобы обсудить неслыханное событие и решить, что делать. И все четырнадцать пришли к выводу, что основы веры в опасности и требуют защиты. Каждый из них приложил свою печать к фетве, которая вынуждала эмира издать указ о начале «священной войны».

Дальнейшее развитие событий, описывает очевидец, временно исполняющий обязанности военного атташе полномочного представительства РСФСР в Бухарском ханстве Риштов:

..В.-Секретно

Ташкент, Реввоенсовет Туркфронта...

Новая Бухара, 30 июля 1920 года Донесение № 24

ТЕКУЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В БУХАРЕ

...Занятие нами — Бухавода в Новой Бухаре и зякет-ханы под войска — с выселением 15-ти человек, живших там казаков с полковником, несмотря на самый категорический протест эмира и бухарского правительства по этому вопросу, придавших ему почему-то особенное важное значение — послужило сигналом боевой тревоги в Бухаре, дало повод для усиленной агитации муллам. За последние дни к Бухаре стекаются кишлачники не только с оружием, но и с палками; население окрестных Н. Бухаре кишлаков, бывшее за день до занятия зякет-ханы сравнительно спокойно, в чем я лично убедился при объезде трех из них — увозят свое имущество к Старой Бухаре; сады заполняются наукарами; усиливаются везде караулы... При усиливающемся боевом напряжении Бухары Бухарское правительство получает известия о продолжающихся якобы нападениях наших пограничников на Бухпогосты. Наконец убийство 27-го накануне истечения срока ультимативной ноты бухарского чиновника на территории Новой Бухары подлило масла в огонь.

Чиновники и муллы, получающие, кстати, за последние дни оружие, 28-го усиленно агитировали среди населения идти к эмиру с требованием немедленного начатия военных действий. Они же пытались собрать население для демонстрации перед Полномочным Представительством с требованием выдать убийц чиновника. Прибывающие кишлачники, а особенно туркмены, настолько дики, что представляют весьма опасный горючий материал, могущий вспыхнуть вопреки предположениям и желаниям дипломатии.

Эмир сдерживает чиновников, мулл, уговаривая повременить с началом войны. Низамуддин-Ходжа просит отложить начало постройки дороги на две недели, убрать младобухарцев, так как чиновники категорически отказались ехать в будущем в Каган, имея аргументом отказа сидящих под арестом у нас чиновников и факт убийства Неджафа. Сдерживающая роль эмира в вопросе о войне и предложение Низамуддина-Ходжи об отсрочке начала постройки дороги можно предположительно объяснить отказом прибытия из Керков пяти-десяти тысяч собранных там туркмен, о чем стало известно лишь вчера, а возможно и тем, что эмир сознает опасность этого предприятия для Бухары...

Если нам нежелательно или невыгодно сейчас почему-либо начало военных действий, необходимо сепаратные выступления кого бы то ни было категорически запретить, со стороны красноармейцев не допускать грабежей жителей кишлачников, потрав клевера и проч., в Новой Бухаре проявлять возможно меньше воинственности — в противном случае нельзя предотвратить неожиданную возможность начала военного пожара среди собираемых и электризируемых масс населения, войск и наукеров около Бухары и Ситораи-Махасса»⁵⁶.

Нет ничего удивительного, что при таком накале страстей возле Чарджоу был убит дипломатический агент Хорезмской Советской Республики, а в ста верстах от Бухары пропал без вести летчик, совершивший вынужденную посадку и отправившийся в кишлак за помощью. Но все это самодеятельность «в глубинке». Столица, несмотря на объявленную «священную войну», оружие готовила, но за него не бралась.

Ясно, что руководители Туркестана, у которых религиозное чувство было полностью выхолощено или искажено (направлено на политическую организацию — партию), отнеслись к религиозному гневу бухарцев с насмешкой или презрением. Даже Фрунзе, коренной «туркестанец», не был исключением. И ему г а з а в а т представлялся лишь ходом в политической игре реакционеров Бухары.

С другой стороны, и большевики призвали своих воинов к «священной революционной войне».

19 июля 1920 года руководство Туркфронта обратилось к войскам: «Открылся путь к нашему победному шествию на восток для новых побед и освобождения угнетенных народов». Знаменательные слова... Для нас это всего лишь штампы революционной риторики. Однако Фрунзе (а это его стиль) отмечал ими новую веху на пути, новые конкретные условия.

Что изменилось? Что открыло «путь к шествию на восток»? Думаю, что причиной тому была так называемая, «июльская операция», победное наступление войск Западного фронта в ходе советско-польской войны. К середине июля советские войска заняли Минск и Вильно, отход польских войск становился все беспорядочнее.

Большевики были убеждены, что на подмогу Красной Армии поднимается угнетенный польский крестьянин, мечтающий сбросить панское иго.

События на Западном фронте и там, в Москве, и здесь на Востоке, в Туркестане, были восприняты как начало победного шествия Мировой революции по планете. Фрунзе решил, что медлить нельзя, что необходимо подхватить в Азии то, что так блистательно начато в Европе. С той лишь разницей, что на Востоке военное руководство более трезво оценивало положение и не рассчитывало на помощь угнетенных крестьян, а надеялось лишь на собственную армию. Требовалось лишь, приличия ради, несколько подкрасить ее отрядами, состоящими из мусульман и «бухарских революционеров»

Накануне переворота

Бухарские коммунисты меж тем не сидели сложа руки. Эмирское посольство в Москву донельзя их встревожило. Как пишет А. Крушельницкий, благополучный исход переговоров похоронил бы все надежды на советскую помощь в свержении эмира. Председатель ЦК телеграфировал Фрунзе из Кагана 16 июня:

«Обстоятельства резко изменились, что требует немедленного выступления, почему просим отпустить 1000 винтовок, 300 револьверов, 150 бомб и 3 походных пулемета. Предложите отпустить 3 миллиона (рублей) николаевскими и керенскими знаками и все захватите с собой. С нетерпением ждем Вас. Сообщите день выезда. Время не терпит

Председатель ЦК Бухарских коммунистов
Наджиб Хусейнов»

Уполномоченный РВС Туркфронта, чьим шифром была передана телеграмма, счел необходимым на всякий случай дополнить: «За содержание настоящей телеграммы полпред и я ответственность с себя снимаем»⁵⁷

Одновременно в газете «Известия Туркчика» печатается письмо, присланное якобы из Бухары:

«Мы, бухарские граждане, собравшиеся на нелегальных собраниях с крайним трудом и опасностью, протестуем против посылки эмиром делегации в центр Советской России...»

Лидеры БКП срочно выясняют отношения между собой. Сейчас это уже не просто борьба за влияние в партии, а схватка за будущую, возможно, уже недалекую власть. «В Цека бухкоммунистов после приезда Мухитдинова из Москвы начались раздоры, носящие скорее личный, чем принципиальный характер, — сообщает Гопнер, полномочный представитель Наркоминдела РСФСР в шифрованной радиогамме Карахану в Москву — С одной стороны, Мухитдинов с нацугреждениями, оппортунист, льнувший скорее к демократической Бухаре, с другой — Хусаинов — несомненный революционер, но без твердой воли и руки. **Пятого** августа в Каттакургане состоится бухкомконференция, которая должна выявить **живые** силы партии»⁵⁸.

Но гораздо больше оснований для тревоги было у Файзуллы Ходжаева, который, вернувшись из Москвы, собрал вокруг себя тех младобухарцев, что не желали примыкать к коммунистам. На своей конференции, в середине июня 1920 года они приняли составленную Ходжаевым программу, в которой провозглашалось, что основой устройства нового общества и государства, а также и в отправлении правосудия должен быть

шариат, ибо только он «является толкованием справедливости и защитником бедноты». Программа требовала ликвидации эмирата и провозглашения Бухары народно-демократической республикой, путем созыва учредительного собрания (меджлиса) на основе всеобщего избирательного права⁵⁹.

При всем том, похоже, что младобухарцы могут остаться в стороне от бурной подготовки к походу на «помощь восставшему народу Бухары», и поскольку «помогать» будут туркестанские коммунисты, то и власть они вручат не кому иному, как собратьям по партии — бухарским коммунистам.

Но вступать в Бухарскую компартию Ходжаеву уже поздно, да и не возьмут его, а если и возьмут, то на третью или четвертую роль, поскольку первые роли они и меж собой поделить не могут. И Файзулла Ходжаев находит блестящее решение — оставить в стороне бухарских коммунистов и вступить прямо в «вышестоящую» компартию, в РКП(б)!

Не медля, он посылает письмо Ленину с просьбой принять в члены Российской коммунистической партии всю младобухарскую революционную организацию.

Однако Оргбюро ЦК РКП(б) отклонило предложение. На одну маленькую Бухару двух соперничающих коммунистических групп слишком много.

Младобухарцы оказались в положении пассажиров без билета перед последним звонком. Сейчас поезд тронется, и они останутся на перроне. И тогда Файзулла Ходжаев, не раздумывая, вскочил на подножку.

Получив отказ от Оргбюро ЦК РКП(б), он добился того, что меньше чем через неделю в Ташкенте собралось заседание Турккомиссии ЦК ВКП(б), на котором присутствовали младобухарцы и бухарские коммунисты.

Слушали «мнения младобухарских революционеров о возможности слияния той и другой партии». Мнения сидящих в вагоне и висящих на подножке резко разделились. Привожу выдержки из протокола: «Представитель младобухарской революционной организации заявил, что существование программы, отличной от программы Российской Коммунистической партии в своих принципиальных основаниях и требованиях является тактическим шагом, дающим бухарским революционерам, исповедующим по существу идеи коммунизма, ближе подойти к массам бухарского населения и вовлечь в борьбу с бухарским эмиром те слои населения, которые не пошли бы за прямо и ясно формулирующими коммунистическими лозунгами. «Что же до объединения обеих партий, то организация младобухарцев» считает возможным тесный блок только под руководством представителя Р.К.П., ввиду того, что разногласия, существующие между той и другой организацией он видит не в принципиальных разногласиях, а личной вражде между отдельными членами этих организаций». Представитель же бухарских коммунистов в ответ заявил, «что объединение с младобухарской революционной организацией ни теперь, до переворота в Бухаре, ни после переворота невозможно ввиду того, что у бухарских коммунистов нет абсолютно никакого доверия к младобухарской революционной организации, которая, по мнению бухарских коммунистов, о своем сочувствии коммунистическим идеалам заявляет неискренне и каждую минуту могут изменить свою подлестничную позицию».

Выслушав мнение тех и других, Турккомиссия ЦК РКП(б) решает: «Младобухарская революционная оппозиция, поскольку она имеет официальное лицо, выраженное в существующей ныне программе, противопоставленной программе коммунистов, не могла быть поддержана РКП, но принимая во внимание ее заявление о том, что она считает себя стоящей на коммунистической платформе и обязуется вступить официально в ряды коммунистической партии на другой же день после переворота в Бухаре, комиссия ЦК полагает возможным оказывать младобухарской революционной организации поддержку»⁶⁰.

Младобухарцев впустили в вагон. Поезд уже шел вперед, не дождавшись сигнала об отправлении. Еще 1 августа Фрунзе телеграфом запросил Москву: что делать с Бухарой. Политбюро ЦК РКП(б) еще обсуждало этот вопрос, когда в Ташкенте 10 августа было создано «Временное правительство Бухары» из девяти человек — шести коммунистов и трех младобухарцев. Глава правительства, председатель Совета народных назиров, т. е. комиссаров — Файзулла Ходжаев. Осталось совсем немного — взять Бухару.

На следующий день, 11 августа, Политбюро ЦК РКП(б) отдало директиву Реввоенсовету Туркфронта. Первый пункт этого противоречивого документа предписывал: «Не брать на себя инициативу нападения на бухарскую территорию и на бухарские воинские

части...» Последний, четвертый пункт, сводил полностью на нет первый: «Замена подготовительных к обороне мероприятий наступлением по нашей инициативе может произойти лишь при наличии более или менее популярного бухарского революционного центра (хотя бы на нашей территории), призывающего нас к такому наступлению...»⁶¹

Итак, Москва умывает руки, предоставляя Ташкенту возможность решить самому, а по сути дела — разрешает переворот. Подготовка к нему идет быстро, четко, скрытно.

«Первые дни... подготовительной работы, — вспоминал очевидец, — проходили довольно гладко, хотя скрытая борьба продолжалась, но она должна была рано или поздно разгореться. Так и случилось. Борьба разгоралась с новой силой, и сразу она приняла самые жестокие формы. На авансцену политических разногласий двух борющихся между собой фракций — младобухарцев и бухарских коммунистов — были брошены страшные обвинения. В Чарджоу, где происходила конференция младобухарцев и коммунистов, страсти разгорелись до такой степени, что дело первой встречи двух противников, чуть не кончилось настоящим столкновением — полным разрыв, казалось, был неизбежен. Помешало этому энергичное вмешательство русских товарищей»⁶².

Тем временем изменилось положение на Западном фронте и это придало предстоящим бухарским событиям новый смысл. «Выступления революционеров в Бухаре, как это ни странно, имеют связь с событиями на польском фронте», — обмолвился Куйбышев. Связь эту, пряча истинный смысл, он толковал на свой лад. Суть же ее проста: победа в Бухаре должна была компенсировать поражение под Варшавой. То что не удалось на Западе, удастся на Востоке. Мировая революция продолжается!

25 августа 1920 года Директива командующего Туркфронтом возвестила войскам: «Бухарский народ восстал против своих поработителей... Для оказания революционной братской помощи бухарскому народу... с рассветом 29 августа начать активные действия»⁶³.

Двигались к Бухаре в страшной тайне. «Командный и политический состав частей осведомлялся только о непосредственных задачах... Распоряжения давались не по телефону, а с нарочными в секретных пакетах»⁶⁴, — описывает участник событий В. Клементьев.

Начальник отряда особого назначения Туркфронта отдал приказ: «...следить за тем, чтобы двери вагонов были плотно закрыты, люки, окна разрешать держать открытыми, но люди не должны показываться у них... Отдельному Стрелковому Туркестанскому полку именоваться «рабочей колонной» едущей в сторону Красноводска. Посторонних лиц, кто бы они ни были, в эшелон ни в коем случае не пускать»⁶⁵.

Войска тайно и стремительно были доставлены в узловые точки на границе и на территории Бухарского ханства, чтобы с 28 на 29 августа одновременно и неожиданно начать наступление на жизненно важные центры страны. Главная задача выпадала Каганской группе — штурм Бухары.

Вместе с полками Красной Армии шли Туркменский отряд бухарских красных войск под началом Куль-Мухамедова — и 1-й Восточномусульманский полк, собранный из сарбазов, бежавших из эмирских войск.

Падение Бухары

По замыслу Фрунзе «помощь восставшей Бухаре» должна была начаться захватом города Чарджоу. Сообщение об аресте бека, правителя области, послужит сигналом для других войсковых групп, которые одновременно начнут наступления на своих участках.

Чарджоу был выбран не случайно. Только здесь можно было продемонстрировать, что революция начата «восставшим народом». Захватить город и правителя области должен был Туркменский отряд бухарских красных войск под началом Куль-Мухамедова. У меня нет сведений, был ли этот отряд родовой дружиной или в него входили воины из разных туркменских родов. Думаю, что первое вероятнее. Населяющие бекство свободолюбивые и воинственные туркмены признавали законной властью только старейшин рода и издавна относились враждебно к поставленной над ними администрации, состоявшей в основном из узбеков.

Как бы то ни было, определение «бухарский народ» подходило воинам Куль-Мухамедова более, чем кому-либо иному из участвовавших в операции. Мусульманский полк состоял из прибывших из России мусульман, в основном татар. В Первый Восточ-

но-мусульманский полк, как и в небольшие краснобухарские части входили в основном бывшие сарбазы эмирской армии.

Хорош для начала военных действий Чарджоу был еще и тем, что взятие города и крепости было делом в общем несложным и завершить его можно было в несколько часов. По данным разведки, крепость защищали всего 260 аскеров с двумя пушками.

Выступить отряд Куль-Мухамедова должен был в полночь и закончить операцию к трем часам утра.

Во всех сочинениях, посвященных этим событиям, взятие Чарджоу описывается бегло и смутно. Что же произошло на самом деле?

Историку Намозу Хотамову удалось найти в партийном архиве Таджикского филиала института марксизма-ленинизма объемистую рукопись — воспоминания Н. Д. Ратникова, принимавшего участие во всех событиях. Ценнейшие свидетельства Ратникова ученый приводит в своей работе «Свержение эмирского режима в Бухаре (1917—1921 гг.)», с рукописью которой он любезно меня познакомил, разрешив на нее ссылаться.

Вот что рассказывает Ратников о взятии Чарджоу*: «Ночь была темная. Часам к двум подошли к городу Ст. Чарджоу без всякого сопротивления. Левый фланг — Туркменский кавотряд что-то идет слабо. Выясняем. Им страшно, как они тогда говорили, бывает ночью. Залегли в кустах и решили ждать рассвета. Уже назначенный срок захвата города на исходе. Темно. Мы нервничаем, почему нет донесений. Проверяем, оказывается не только Туркменский кавдивизион, но и мусотряды по своей инициативе остановились и самым серьезным образом ждут рассвета. Рассуждать было некогда, надо было действовать, хотя некоторые моменты уговаривания и разъяснения здесь были. Воевать надо уметь всегда и ночью в том числе. Берем свой резерв — бригадную школу пускаем правым флангом, которая своим порывом и активностью увлекает и все остальных. Город после небольшой перестрелки захватывается, берутся пленные, в том числе бек и все ответственные чиновники и вооружение»⁶⁶.

Оставив в Чарджоу гарнизон и передав власть Временному революционному комитету с коммунистом Бешимом Сардором, войска погрузились на поезд и через несколько часов были уже в Каракуле. «Тут мы исправили старую чарджуйскую ошибку, — пишет Ратников, — и операциями до конца захвата гор. Каракуля и всех пунктов возможных переходов противника в глубь Восточной Бухары руководили сами. Город был схвачен без всякого выстрела»⁶⁷.

Правители Китаба, Гузара и Шахрисабза бежали при приближении красных полков. Все трое были братьями, дядьями эмира Алим-хана, на поддержку и защиту местных жителей они не рассчитывали, что понятно, если вспомнить давнюю историю взаимоотношений Шахрисабза и Бухары. Акбар Хусайнов, который вошел в Шахрисабз с первой кавалерийской дивизией, рассказывал: «В канун нашего выступления во дворе и крепости Шахрисабзского бека происходила кровавая расправа над австрийцами, заброшенными сюда империалистической войной в качестве пленных. Они работали в мастерских, изготавливали оружие, снаряды, модернизировали старые пушки. Почувствовав, что почва под ногами горит, бек сжег мастерские, а находившихся там около двухсот рабочих-австрийцев вырезал»⁶⁸.

Один за другим красные полки занимали города Хатырчи и Зияуддин, Карши, Китаб, Шахрисабз, Гузар — нигде не встречая по-настоящему серьезного сопротивления. Исключение составила Священная Бухара.

Накануне штурма на станцию Каган в 12 верстах от Бухары начали прибывать эшелоны с войсками. С наступлением сумерек железнодорожная станция и город Новая Бухара были окружены охраной, которая пропускала в оцепление всех, но обратно не выпускала никого. Подготовка благодаря этой предосторожности, осталась в тайне и оттого начало военных действий ошеломило Бухару. Подкравшись накануне поближе, Красная Армия ранним утром 29 августа совершила стремительный бросок на город по рельсам.

На карте тех лет видно, как железнодорожная линия, раздваиваясь от Кагана, словно бы берет Бухару в рогатину. Правая ветвь рогатины упирается в восточную стену

* Следует пояснить, что Туркменский отряд в случае необходимости должны были поддерживать полки Красной Армии, в том числе и мусульманские части.

— Каршинские ворота. У основания этой ветви, словно выдвигающееся стальное лезвие, притаился бронепоезд № 28.

Левая ветвь, проходя вдоль южной части городской стены, сворачивает на Чарджуу. По этой линии курсирует бронепоезд № 23, повернув пушки к Бухаре.

Соответственно и войска разделились на две колонны — левую и правую.

Первоначальный замысел был следующим: левая колонна, прибыв по железной дороге, пробивается к южной части стены, через ворота врывается в город (по-видимому, ворота на этом участке были менее укреплены, чем на других), уничтожает войска противника и берет в плен эмира.

Главная действующая сила здесь — 1-й Восточномусульманский полк, которому оказывают поддержку стрелковый и кавалерийские полки и артдивизион*. Нетрудно понять логику этого замысла. Для соблюдения приличий Бухару должен был взять все тот же «восставший бухарский народ», роль которого досталась 1-му Восточномусульманскому полку, состоявшему в основном из бывших сарбазов, бежавших из эмирской армии. Все остальные воинские подразделения предназначались лишь для подстраховки.

Действия второй колонны, движущейся вдоль правой ветки дороги, должны были носить вспомогательно-демонстративный характер. Их цель — отвлечь силы противника в направлении Каршинских ворот в восточной части стены.

Штурм начался. Части противника, ошеломленные внезапным наступлением красных войск, бежали. Красные подошли к стене. Передовая цепь стрелкового полка ворвалась вслед за отступающим противником в город через ворота Шайх Джалол.

И тут подтвердилась давняя истина: в пустыри попадают не самые лучшие и надежные бойцы. Очевидец рассказывает: «В это время против левого фланга Восточномусульманского полка из крепости через кладбище стали выходить большие толпы, состоящие из мулл и учеников медресе (семинаристов), размахивая белыми платками. Вслед за ними скрытно пробирались афганские солдаты. Восточномусульманский полк, среди бойцов которого преобладали бухарцы, восставшие против эмира, был слабо подготовлен для боя и, поддавшись провокации, своевременно не открыл огня по приближающейся толпе. Афганские солдаты, воспользовавшись замешательством, атаковали Восточномусульманский полк, который не выдержал натиска и начал отступать»⁶⁹.

Это было не просто беспорядочное отступление, а бегство под давлением пехотных и кавалерийских отрядов противника.

Вынужден был отступить и стрелковый полк, «встреченный сильным пулеметным и ружейным огнем из мечетей и жилых построек».

Взять Бухару одним мощным броском не удалось. Более того, все предпринятые в этот день атаки успеха не имели.

Потерпела полный крах и режиссура переворота. Оказалось, что 1-й Восточномусульманский полк, исполнитель главной роли — «восставшего бухарского народа», совершенно не пригоден для героического амплуа. Отныне в этом кровавом спектакле он будет выходить на сцену лишь в качестве статиста на заднем плане.

30 и 31 августа красные войска несколько раз переходили в наступление, неоднократно захватывали окраину города, но упорное сопротивление защитников Бухары отбрасывало их в исходное положение. Осажденные сами пытались перейти в контратаки, но были отбиты. Город непрерывно обстреливала легкая и тяжелая артиллерия, одиннадцать самолетов бомбили его с воздуха. Но Бухара не сдавалась.

Все это время будущее правительство свободной Бухары — младобухарцы и бухарские коммунисты с нетерпением ожидали исхода сражения в Новой Бухаре, вслушиваясь в отдаленный гром канонады, приглушенные расстоянием разрывы бомб над родным городом.

Фрунзе руководил штурмом из Самарканда. С недоумением он телеграфировал Куйбышеву: «Дела под Бухарой продолжают обстоять неважно. Несмотря на прибытие солидной помощи из Первой армии, город до сих пор не взят. Мы несем огромные потери...»⁷⁰

* Я не привожу названий отдельных полков, батальонов и отрядов, чтобы не затруднять читателю понимание общей картины штурма. Тех, кто интересуется деталями, отсылаю к подробным статьям со схемами и картами участника событий комдива В. Клементьева: «Освобождение Бухары (Бухарская операция 1920)» в № 10 «Военно-исторического журнала» за 1940 год и «Крушение эмирата» в книге «За Советский Туркестан». Ташкент. 1963.

Защитники Бухары сражались с исключительной стойкостью и мужеством. Как ни парадоксально, но средневековые укрепления — глиняные стены и деревянные ворота, окованные железом, оказались неприступными для армии начала века. Оставалось одно — проломить ворота. Направление главного удара переместилось вправо, к Каршинским воротам, где железная дорога и идущее параллельно ей шоссе позволяли придвинуть артиллерию и броневомобили вплотную к самому городу. 31 августа сюда были незаметно переброшены все силы. На месте левой колонны осталось лишь несколько легких орудий, два кавалерийских полка и 1-й Восточномусульманский полк со сводной ротой добровольцев, состоявшей в основном из революционных бухарцев. Все они должны были создавать видимость активности на левом боевом участке.

Разбить ворота тоже оказалось непросто. Над ними в несколько рядов шли бойницы, огонь из которых не позволял выкатить пушки на дорогу, ведущую к воротам. Бить сбоку артиллерии мешали деревья. Придумали следующее. На дорогу внезапно выехал броневик и открыл пулеметный огонь по бойницам. Стрелкам в крепости пришлось спрятаться. Тогда на дорогу выкатили на руках тяжелое орудие и прямой наводкой ударили по воротам. Затем вновь выскочил броневомобиль и прикрыл отход артиллерии. Таким образом каршинские ворота были все-таки разбиты. Но проход был слишком узким. Ночью саперы сделали подкоп в стене и заложили около тонны взрывчатки. Ранним утром 1 сентября на Бухару обрушился ад. Мощный взрыв проломил стену. Пушки били по городу, не умолкая. Сверху бомбила авиация. Через проломы красные ворвались в город.

К вечеру защитники города стали отступать из охваченной пожаром Бухары. Утром 2 сентября атакующие заняли опустевший Арк — эмирскую цитадель на высоком холме в центре города. Эмир бежал из Бухары накануне штурма, в ночь на 1 сентября. Эмират пал. Из Новой Бухары прибыло новое правительство.

О чем думал и что чувствовал Файзулла Ходжаев, вступая в полуразрушенную столицу? Он добился своего. Он верно все рассчитал. Он вложил все, что имел, — силы, ум и саму свою жизнь в гигантское Дело и видел, как вклад его возвращается с невероятными процентами.

Он взошел на вершину власти и славы и не знал, что через восемнадцать лет рухнет этот воздвигнутый им призрачный мир и что сам он будет ликвидирован по приговору суда как «враг народа».

Если бы вам довелось увидеть в то утро 2 сентября 1920 года, как едет он по родному городу на торжественный митинг по случаю «освобождения Бухары» среди трупов, развалин и пылающих зданий — невозмутимый, подтянутый, тщательно одетый, если бы вам удалось заглянуть в его холодновато-отчужденное лицо и удивительно спокойные, словно отсутствующие, глаза, то вряд ли вы сочли бы его «другом народа».

Но будущая его гибель не была возмездием. В потоке жизни, в необратимой лавине причин и следствий нет ни возмездия, ни воздаяния. И то, и другое — лишь идеи, имеющие реальность исключительно в человеческом сознании. Только людское тщеславие пытается превратить мироздание во всеохватывающую бухгалтерию, где ведется подсчет добрых и дурных поступков и где каждому воздается по делам его. Но и нет сомнений в том, что каждое наше действие, каждая мысль, каждое слово или намерение неумовимо изменяет поток бытия, с которым мы неразрывно слиты.

Страшная смерть Файзуллы Ходжаева в одном из безвестных чекистских подвалов — следствие (незначительное в сравнении с другими) его собственных деяний.

Всех последствий мы не можем представить даже сейчас, спустя семьдесят с лишним лет.

Эпилог с обещанием

Вторжение в Бухару не было ни первым, ни последним в нашем веке, справедливо названном «веком вторжений». Много раз и до того, и с тех пор разные страны вторгались к соседям, и всегда это оправдывалось необходимостью «восстановить справедливость». Справедливее виделся и большевикам поход на Бухару, где царица произвола и жесточайшее угнетение народа, что давало, по их представлениям, моральное право навести здесь порядок силой оружия. Им не было дела до того, что почти всегда угнетенный и угнетатель срастались, словно сиамские братья-близнецы, связанные

общей кровеносной системой, и, желая уничтожить угнетателя, они наносили кровавые раны угнетенному. Что же делать? Терпеть ли мир насилия или ополчиться против него? Это гамлетовский вопрос, но революционеры — не Гамлеты. Оттого-то они революционеры. И режут они по живому.

Но я не собираюсь обличать большевиков. В наше время, когда это не грозит ничем, подобное занятие непристойно. К тому же, благородное негодование и призывы к справедливости, обращенные в минувшее, не имеют ни малейшего смысла. В прошлое надо вглядываться, а не вперять укоризненный взор.

Внимательно вчитавшись в приведенные выше материалы, вы разглядите в них как бы два плана, два уровня: внешний, явный, и внутренний, тайный. «Внешний» — документы, приказы, директивы, обращения, воззвания — в стандартных высокопарных выражениях призывают к «братской помощи угнетенным народам Востока». Но секретные документы того же самого времени показывают, что авторов этих воззваний волновала не «помощь угнетенным», а собственная безопасность, что и было главным аргументом, которым они оправдывали перед Москвой необходимость «ликвидировать эмират». Но и это неправда, ибо они не могли не знать из донесений многочисленных агентов, что реальной опасности нет. Стало быть, ложным был и второй, тайный план.

Что же одушевляло их на самом деле? Что двигало ими? Уже было высказано много различных объяснений, но загадка, на мой взгляд, все еще далека от разрешения.

Может быть, неправильно задан вопрос? Может быть, за явлениями, которым мы ищем простые и привычные объяснения — колонизация, экспансия, экономические причины, смена общественных формаций и прочая, и прочая — скрываются какие-то более глубокие и сложные закономерности, которые мы еще не научились распознавать?

Но спустимся из эмпирей на землю, вспомним, что последовало за бухарским переворотом. Возникло еще одно независимое советское государство — Бухарская Народная Советская Республика, которая вошла в СССР, а затем, при так называемом национальном размежевании, была разрезана на куски, как пирог, который был роздан каждой из вновь образованных республик — Узбекистану, Туркмении, Таджикистану.

Бухара полностью утратила свое значение и влияние одной из столиц мусульманского мира. К этому времени и Турция становилась все более и более светским государством. Падение Бухары изменило макрокосм мусульманского мира. Подобно тому, как при разрушении какого-либо мозгового центра, его роль берут на себя другие, соседние участки коры, точно также на первый план стали выдвигаться бывшие доселе незаметными страны. Это было начало сложного процесса трансформации, в котором смешались воедино религиозные, политические и социальные мотивы и который после долгих преобразований привел к той картине мусульманского мира, которую мы видим сегодня.

Трудно сейчас решить (да и требуется ли особого разбора), было ли падение Бухары вызвано началом этого процесса или же, напротив, оно явилось пусковым моментом, детонатором перемен. В любом случае, роль этого события велика. Но как бы то ни было, речь идет лишь об одной, хотя и центральной точке, а не об общем энергетическом поле. Потому что ислам никогда не уходил из Средней Азии. Атеизм, будучи холодной формальной религией, требовавшей лишь наружной покорности, оставлял под своим покровом живую душу и полную свободу для внутренней религиозной жизни азиатского крестьянства.

В первые послереволюционные годы Советская власть опасалась вмешиваться в религиозную жизнь восточных народов и вынуждена была терпеть ненавистные ей религиозные культы. Первая же попытка грубо вмешаться в них вызвала бурный всплеск народных волнений. И власть вынуждена была отложить борьбу с религией до тех пор, пока достаточно окрепнет.

Изменения в первые послереволюционные годы затронули лишь администрацию, лишь город. Оттого сопротивление было столь неистовым в Бухаре, по сельским районам Красная Армия прошла, почти не встречая никакого сопротивления. Большинство местных жителей, независимо от национальности, воспринимали всякую власть, в том числе и эмирскую, как иноземную, и не видели необходимости вмешиваться, когда одна иноземная власть заменялась другой иноземной властью. Забота крестьянина — выжить, пока власти дерутся между собой. Исключение составляли воинственные племена, жившие набегами и разбоем и не терпевшие на своей территории вооруженных людей. Они-то и оказывали сопротивление. Все прочие были готовы привычно смириться перед любой силой, пришедшей с оружием и назвавшей себя властью. Смириться до поры до времени.

Сложнее понять, отчего поднимается крестьянин, отчего извечное смирение и инстинкт самосохранения отступают в сторону, и он берется за оружие, рождая тот самый бунт, «бессмысленный и беспощадный», который так страшит горожан. Я думаю, Пушкин назвал его «русским бунтом» лишь потому, что не имел случая наблюдать крестьянские бунты других народов...

Глиняный азиатский деревенский мир остался за рамками повествования. Но речь о нем еще впереди. Без рассказа о крестьянстве не обойтись в описании тех событий, что последовали за падением Бухары и которые будут описаны в заметках под названием «Басмачи — обреченное воинство».

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 132.

² Там же. Т. 51. С. 90.

³ Липицкий С. В. Сталин Иосиф Виссарионович. — В кн. Реввоенсовет Республики (6 сентября 1918 г. — 28 августа 1923 г.). — М.: Политиздат. 1991. С. 402.

⁴ IX Конференция РКП(б). — М.: Политиздат, 1972. С. 24.

⁵ Грюнебаум Г. Э. Классический ислам. Очерк истории. — М.: Наука. 1986. С. 64.

⁶ Логофет Д. Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. — СПб. 1909. С. 12-13.

⁷ Там же. С. 16.

⁸ Там же. С. 51-52.

⁹ Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре и национального размежевания в Средней Азии. — В кн. Избранные труды в трех томах. — Ташкент: Фан. 1970. Т. 1. С. 74.

¹⁰ The Encyclopaedia of Islam, n. e. Leiden, London: E. J. Brill, Luzac & Co., 1961, vol II. Fase. 28, p. 366.

¹¹ Семенов А. А. К прошлому Бухары. — В кн. Айни С. Воспоминания. — М.-Л.: Наука. 1960. С. 1010.

¹² Сухарева О. А. Бухара. XIX — начало XX в. Позднефеодальный город и его население. — М.: Наука. 1966. С. 236.

¹³ Красный архив. 1927. Т. 1 (20). С. 83-88.

¹⁴ Там же. С. 76.

¹⁵ Айни С. История революции в Бухаре. — Памир. 1986. № 4. С. 126-127.

¹⁶ Красный Архив. 1927. Т. 1 (20). С. 89-90.

¹⁷ Ходжаев Ф. К истории революции... С. 101

¹⁸ Рашковский Е. Б., Журавский А. Б. Мусульманское правосознание в контексте современного города: проблема восприятия западногенных политико-правовых норм. — В кн. Города на Востоке. Хранители традиций и катализаторы перемен. — М.: Наука. 1990. С. 262.

¹⁹ Ходжаев Ф. К истории революции... С. 122.

²⁰ Там же. С. 105.

²¹ Айни С. История революции в Бухаре. — Памир. 1986. № 5. С. 81-82.

²² Семенов А. А. К прошлому Бухары. С. 981.

²³ Айни С. История революции в Бухаре. С. 83-84.

²⁴ Там же. С. 93.

²⁵ Красный архив. 1927. Т. 1 (20). С. 93-94.

²⁶ Там же. С. 93.

²⁷ Грюнебаум Г. Э. Классический ислам. С. 48.

²⁸ Ходжаев Ф. К истории революции... С. 118.

²⁹ Там же. С. 121.

³⁰ Семенов А. А. К прошлому Бухары. С. 991.

³¹ Ходжаев Ф. К истории революции... С. 137.

³² Там же. С. 137.

³³ Там же. С. 139.

³⁴ Колесов Ф. Восстание в Бухаре. — В кн. Война в песках. — ОГИЗ. 1935. С. 246-247.

³⁵ Там же. С. 249.

³⁶ Там же.

³⁷ Ходжаев Ф. К истории революции... С. 136.

³⁸ Гудович А. На помощь. — В кн. Война в песках. — ОГИЗ. 1935. С. 277.

³⁹ Ходжаев Ф. К истории революции... С. 153.

⁴⁰ Ишанов А. Бухарская Народная Советская Республика. — Ташкент: Узбекистан, 1969. С. 136.

- ⁴¹ ЦПА ф. 583, оп. 1, ед. хр. 106, л. 1.
- ⁴² Ходжаев Ф. Избранные труды в трех томах. — Ташкент: Фан. 1970. Т. 1. С. 17.
- ⁴³ Семенов А. А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. — Труды Академии наук Таджикской ССР. Сталинабад. 1954. Т. XXV. С. 9-10.
- ⁴⁴ Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П. И. Демизона и И. В. Виткевича). — М.: Наука. 1983. С. 113.
- ⁴⁵ Maclean Fitzroy. A Person from England. — London, 1959, p. 334.
- ⁴⁶ Цит. по: Машницкий А. Материалы по истории бухарской революции. — Вестник народного комиссариата по иностранным делам. 1922. № 4-5.
- ⁴⁷ Будберг А. Дневник белогвардейца (Колчаковская эпопея). — Л.: Прибой. 1929. С. 121.
- ⁴⁸ Крушельницкий А. Диктатура по телефону. — Родина. 1989. № 5. С. 33.
- ⁴⁹ ЦГАСА ф. 110, оп. 1, д. 25, л. 159.
- ⁵⁰ ЦГАСА ф. 110, оп. 1, д. 25, л. 303^б.
- ⁵¹ ЦГАСА ф. 110, оп. 1, д. 96, л. 15.
- ⁵² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 89.
- ⁵³ Железный путь. 1920. № 4.
- ⁵⁴ Исторический архив. 1958. № 3. С. 37
- ⁵⁵ Ишанов А. Бухарская... С. 165.
- ⁵⁶ ЦГАСА ф. 110, оп. 1, д. 96, л. 16-17.
- ⁵⁷ Цит. по: Крушельницкий А. Диктатура по телефону. С. 34.
- ⁵⁸ ЦГАСА ф. 110, оп. 2, д. 96, л. 38.
- ⁵⁹ Ишанов А. Бухарская... С. 170.
- ⁶⁰ ЦПА ф. 122, оп. 1, ед. хр. 10, л. 62.
- ⁶¹ Цит. по: Крушельницкий А. Диктатура по телефону. — С. 35.
- ⁶² Машницкий А. Материалы по истории бухарской революции. — Вестник народного комиссариата по иностранным делам, 1922, № 4-5, с. 122-123.
- ⁶³ Директивы командования фронтов Красной Армии. Сб. документов. М. 1976. Т. 3. С. 550.
- ⁶⁴ Клементьев В. Освобождение Бухары (Бухарская операция 1920 г.). Военно-исторический журнал. 1940, № 10. С. 75.
- ⁶⁵ Там же.
- ⁶⁶ Цит. по: Хотамов Н. Свержение эмирского режима в Бухаре. (1917—1921 гг.). (Рукопись). С. 178.
- ⁶⁷ Там же. с. 181.
- ⁶⁸ Хусайнов А. Последние схватки. — В кн. За Советский Туркестан: Ташкент, 1963, С. 469.
- ⁶⁹ Клементьев В. Освобождение Бухары. С. 79.
- ⁷⁰ Цит. по: Жирков А. Флаг над Регистаном. — Литературный Киргизстан. 1982. № 1. С. 28-29.

ПРИЛОЖЕНИЕ

***Печальная история народа Бухары, написанная
его высочеством сайидом эмиром
Алим-ханом, эмиром Бухарским***

Во имя бога, всепрощающего и милостивого.

Да будет известно владеющим знаниями и обладающим пронизательностью, что я, покорный слуга Божий, сайид¹ эмир Алим-хан, был правителем страны Бухара. Изложив

Публикуется с незначительными сокращениями по изданию: Emir Saiol. Alim Khan. Ya voix de la Boukharie opprimee. Paris, 1929.

¹ В мусульманском мире почетное прозвище потомков пророка Мухаммада из ветви, восходящей к его внуку Хусейну.

на бумаге все тогдашние обстоятельства и свои приключения с детства моего до времени царствования в столице Бухары, повесть о войне, которую я вел с большевиками, о переселении в стольный Кабул и рассказав все это, я назвал изложенное «Печальная история народа Бухары», чтобы из повествования этого раба¹ правление мое в стольной Бухаре и подвластных землях, война, которую я вел с большевиками, и переселение мое в Афганистан, прояснились бы для читающих и изучающих и предстали бы пред ними в истинном свете.

Выпустив погуяя красноречия в чашу повествования, начну с того, что этот раб из высокого дворца сайида эмира Абдулахада², полновластного государя священной Бухары, во времена высочайшего царствования на престоле великого отца моего, изучив вначале основы веры, в 1893 году по грегорианскому летоисчислению³, в возрасте тринадцати лет по приказу и повелению его высочества шахиншаха, великого отца моего отправился в Россию вместе с несколькими достойными сотоварищами и прибыл в Петербург для получения образования и изучения государственных законов и науки управления государством. Для получения полного образования надо было учиться в школе семь лет. Однако великий отец моей пожелал ускорить обучение, и для меня установили срок в три года. Поскольку школы летом закрывались, все эти три года я приезжал в Бухару на службу к отцу. После трех лет обучения наукам государственного управления я, завершив курс, сдал экзамен.

В 1891 году по грегорианскому летоисчислению, будучи назначен престолонаследником, вернулся из Петербурга в Бухару к его высочеству высокородному великому отцу своему.

Удостоившись встречи со славнейшим государем и поцеловав руку, я стал его неразлучным спутником на два года, и в течение всего этого срока, состоя на службе, получал из его благословенных уст наставления об устройстве земель подвластной ему священной родины, что принесло мне много пользы. Высокородный великий отец, оказав милость, отдал мне в управление область Насаф в окрестностях священной Бухары и пожаловал высокое положение, и, возложив на чело государев указ, облаченный в жалованное государем платье, с позволения великого отца моего я отбыл в упомянутую область, где встретили меня знатные и избранные и простой народ упомянутой области, устроив торжественный прием. Я, пренебрегая высоким своим положением, также совершил приветствие и, войдя в цитадель области Насаф, поздравив именитых, осчастливил всех и удовлетворил. Всего этот ничтожный раб правил в области Насаф двенадцать лет.

За время правления я осчастливил и удовлетворил население упомянутой области, постоянно заботясь о подданных и странствующих, требуя от угнетателей справедливости к угнетенным, сострадая беднякам. Близ упомянутой области на реке «...» находилась переправа, на которой, видя, сколь трудно подданным переправляться на тот берег, я воздвиг за свой счет на упомянутой реке мост из камня и извести, чтобы путешественники и местные жители, избавившись от беспокойства и затруднений, были бы довольны. Весьма радел я также о строительстве медресе и храмов. После этой моей двенадцатилетней службы великий отец мой, переместив на службу в область, известную как Кермине, которая также находилась в окрестностях стольной Бухары, приблизил меня к своей монаршей милости.

От правления в области Насаф я перешел к правлению областью Кермине. Упомянутой областью управлял в течение двух лет. В это время его высочество государь сайид эмир Абдулахад-хан, великий отец мой, скончался, высвободив голову небытия из пут существования. Времени правления его высочества могучего владыки, великого отца моего было двадцать шесть лет.

¹ В соответствии с персидской эпистолярной традицией эмир Алим-хан именует себя то «этим рабом», то «этим ничтожным рабом». Конечно, под этим подразумевается «раб Божий». В оригинале глагольные окончания указывают читателю, что автор имеет в виду себя. В русском переводе для уточнения приходится вставлять личные и притяжательные местоимения «я», «мое» и т. д.

² Отец эмира Алим-хана эмир Абдулахад-хан правил с 1885 по 1911 год.

³ В оригинале часть дат приводится по хиджре, часть по грегорианскому летоисчислению. В переводе для удобства читателей все даты даны по грегорианскому летоисчислению

10 числа месяца мухаррам 1329 года хиджры, соответствующего 1911 году грегорианского летоисчисления, я воссел на наследственный престол, на место усопшего и почившего в бозе отца моего, на трон падишаха. Все население священной Бухары признало власть этого ничтожного раба.

После восшествия на престол этот раб, прислуживающий у божьего порога, осчастливил подданных, простив им в качестве дара годовой налог. По прошествии одного года я направил все свои усилия на наведение порядка в государственных делах и управлении подданными. Приложил чрезвычайные усилия для благоустройства государства и поддержания в нем порядка. Занялся строительством медресе и храмов. Особое значение придавал обучению всем наукам. В священной Бухаре, неподалеку от Арка¹, в месте, называемом Боло-и Хавз, на свои средства построил храм-мечеть. Около бухарского минарета на базаре выстроил на свои средства медресе-академию для обучения всем наукам, назначил учителя, а также управителя, и в определенное время доставлял одежду и жалованье для учеников, занимающихся и живущих в упомянутой академии. За три года я благоустроил государство <...> Население Бухары и провинций было мне за все это весьма признательно. Я же, раб, счастлив был тому, что делом рук своих служу своему народу.

Царствовал ничтожный раб десять лет. По прошествии десяти лет вступил в борьбу с Советской Республикой большевиков и в конце концов вынужден был переселиться в Афганистан.

Повествование о войне с большевиками

Желаю изложить на бумаге повесть о борьбе с большевиками и о своем переселении, чтобы читающие эти строки были осведомлены обо всех обстоятельствах моих приключений.

<...> В мое время Россия и Бухара заключили договор, и по этому договору Бухара сократила свое войско и вооружение, а Россия взяла на себя обязательства содержать двенадцать тысяч солдат, и как только возникнет необходимость в войске и вооружении для защиты государства, они тут же будут предоставлены Бухаре Россией. Пока правил император, Бухара не имела надобности в войске и вооружении, и все усилия и средства мы направляли на благоустройство страны.

Точно так же и после революции в России этот раб, прислуживающий у божьего порога, все усилия направлял на то, чтобы достичь благосостояния своего государства. Но по божьей воле появились в российском обществе люди безродные и личности невежественные, внесшие в Россию раздоры. Приняв твердое решение, я отдал предписание: повсюду, где бы ни появились личности, имеющие склонность к этим ни на чем не основанным законам, задерживать их. Наконец императорская власть в России была низложена, и русское общество возвысило из своей среды несколько человек, которые назвали свою власть Собранием Временного Совета, выдвинув главой республики Керенского. Это их временное государство просуществовало несколько месяцев. Глава республиканского правительства вышеупомянутый Керенский направил посланника, своего полномочного представителя по имени Преображенский, который, прибыв в стольную священную Бухару и встретившись с этим ничтожным рабом, провел переговоры, в ходе которых составлен был государственный договор, предоставлявший согласно справедливому соглашению с этим ничтожным рабом суверенитет государству Бухара, после чего посланник договор подписал и отбыл.

Получив суверенитет для Бухары, наладив с Афганистаном дружеские и доброжелательные отношения, я послал от Бухары в Афганистан министра

¹ Арк — резиденция правителя в Бухаре.

Тураходжу и Муллокутбиддина. Также послал в это время Ходжу Сафарбия своим представителем в английскую комиссию в Мешхед. Упомянутая комиссия также дала благоприятный ответ. Затем я объявил большевикам, что они должны покинуть Бухару. Вдобавок к этому я послал Мирзо Салимбака парвоначи¹ и Абдурауфа корвонбаши², чтобы провести английские войска, в Чарджоу. Но по прибытии их в Чарджоу, оказалось, что английские войска передислоцировались.

Тогда же Афганистан с Британией начали военные действия, и полномочный представитель афганской стороны генерал Мухаммад Вали-хан прибыл в священную Бухару, намереваясь встретиться с нашей монаршей особой, привез от его высочества эмира Афганистана многие подарки и вручил их этому ничтожному рабу, встретившемуся с посланником. Во время беседы он спросил этого ничтожного раба о личных моих целях. В ответ я сказал:

— Полагаю, что лучше всего было бы начать войну с большевиками, поскольку момент сейчас кажется в высшей степени благоприятным для поражения противника. Необходимо использовать время и удобный случай.

Посланник, будучи человеком дальновидным и приверженным исламскому государству, ответил мне следующим образом:

— Вы с правителем Афганистана — братья. Один из вас, вступив в единоборство с Британией, начал войну. Вы же, со своей стороны, подобное предприняли с государством большевиков. Да сохранит бог от того, чтобы действия ваши <...> не стали бы причиной крушения двух государств исламского мира, а посему не проявляйте поспешности, пока не выяснится, как окончится предприятие вашего брата. И лишь затем лучше всего было бы обсудить друг с другом целесообразность дальнейших действий.

Поскольку слова этого посланника были в высшей степени справедливыми, я счел за благо последовать сказанному и, храня в памяти этот совет, не единожды брал себе в помощники терпение и выдержку.

Мухаммад Вали-хан из Бухары направился в Россию. Его высочество эмир Афганистана в целях укрепления дружеских связей послал ко мне кадрового полковника Фазлахмад-хана с двумя сотнями солдат, оркестром, семью пушками, семью слонами. Тогда этот ничтожный раб с целью сохранения государственности решил послать к главе Временного правительства Керенского своего доверенного человека, сделав его полномочным послом, чтобы возобновить и подписать договор. Но в скором времени в вышеупомянутом государстве произошла революция и общество разделилось на две части. Одна — меньшевики, другая — большевики. Они начали взаимную борьбу. Вследствие этого затеялась чрезвычайная рознь и распря, и наконец Российским государством завладели большевики, а все высшие слои русского общества бежали в поисках спасения, рассеявшись по всем странам. Законы большевиков ни узнать, ни понять невозможно, поскольку все их усилия и стремления направлены на разрушение власти и порчу государства, на уничтожение людей и храмов, и всюду, где они видят человека почитаемого и имеющего власть из любого сословия, грабят его и разоряют, и его убийство почитают для себя необходимым. Обещаниям и заверениям их тоже не следует доверять.

В то время этот ничтожный раб прилагал все возможные усилия для поддержания государственного порядка в Бухаре. Большевики, действуя по своим законам без основ и следуя бесполезному учению и безнравственному, как у проституток, образу действий, принесли вскоре заразу этого образа действий в священную Бухару, где, пытаясь следовать ему, собралось около 117 человек, личностей ничтожных, людшек без знаний, объединились в союз с простолудинами из самаркандцев и ташкентцев и создали общество, и двое из того общества, Файзулла Ходжаев и Мирзомухиддин Мансуров, обнаружив свои цели, вознамерились оказать поддержку подстрекателям большевиков. От большевиков явился на помощь к джадидским подстрекателям Колесов, который, прибыв по железной дороге в Каган, близ Бухары, в начале марта 1918 года в субботу и объявив войну, начал военные действия против бухарского государства.

Несмотря на нехватку вооружения и военного снаряжения, благодаря божьей

¹ Придворный чин из числа высших. (Значение всех званий, титулов, терминов и пр. здесь и далее приводится по кн.: Таджикско-русский словарь по истории. Составители А. М. Мухтаров и А. А. Егани. Издание второе, дополненное. — Душанбе: Дониш, 1986.)

² Старшина, начальник каравана.

поддержке и пророческой помощи шариата, счастье оказалось на стороне мусульман Бухары, и этот раб одержал победу.

Большевики, не достигнув своей цели, дали согласие на мир. Этот раб, постоянно помня о благе мира, заключил перемирие. После этой войны в Бухару от Ленина и Троцкого прибыли председатель большевиков Элиава и полномочный посол Бройдо и вступили в переговоры с этим ничтожным рабом, дав согласие на суверенитет Бухары, обещав вооружение и военное снаряжение. <...> Назначенный послом Советского государства в Бухару Аксельрод в целях укрепления союза против Афганистана, прислал мне в подарок из Ташкента одиннадцать пушек без снарядов. По этим пушкам без снарядов я мог судить об отношении большевиков к Бухаре. Этот ничтожный раб, не видя от большевиков и их посла отношения, соответствующего договору, решился на смелое предприятие — задумал направить все силы и средства на то, чтобы привести в боевую готовность войска и вооружение.

Собрав за два года некоторое количество войска и вооружение, привел их в боевую готовность. Как только большевики осуществили свои декреты, приведя страну в смутные, со всех сторон подняли головы смутьяны, затеяв распри и розни и обесилив большевиков. Власть большевиков довела до разрухи российские железные дороги, проложенные в старые времена и ведущие в разные страны, и этот ничтожный раб был уверен, что большевики <...> непременно будут мстить Бухаре. В это время, приведя в движение свои войска, я решил начать военные действия.

Правительство Хорезма, заключив со мной договор, перейдя под мое управление, возымело желание вместе вести войну с большевиками. Но возможно, большевистская власть, с трудом обратившись к прогрессу все-таки образумится? В надежде на это ничтожный раб со своей стороны направил к Ленину и Троцкому для установления отношений посольство из нескольких человек. Я намеревался возобновить и подписать договор. Но неумение держать слово и безответственность большевиков я знал хорошо. Если бы я заключил договор с подобной, ни на чем не основанной, незаконной, не выполняющей своих обязательств властью, то это означало бы опозорить Бухару перед иностранными державами. Хорошо зная об этом по собственному опыту, я решительно безо всяких намерений и безо всякой цели направил в Москву к Ленину и Троцкому пятерых посланцев — генерала Махди-хана, Ходжиджурабека туксабо¹, Гайбуллу Ходжи, Мирзонаврузбая и еще одного человека с поздравлениями и для установления отношений.

Поскольку было видно, что Бухара в скором времени укрепится и придет в порядок и стремится она прежде всего к вероисповеданию ислама, что с Афганистаном завязываются тесные отношения, у большевиков возникли зависть и опасения, что если Бухара таким образом будет постепенно крепчать, то их республиканское государство будет тем самым раздроблено и столкнется с немалыми заботами и трудностями.

День за днем отношение большевиков к Бухаре становилось все более жестким, и они, осуществляя свои незаконные намерения, постоянно стремились начать войну. Однажды подданные Бухары были схвачены на дорогах и брошены в тюрьму. Наконец противники исламского государства собрали множество солдат и вооружения, желая напасть на священную Бухару. Этот ничтожный раб, подготовив свои войска, собрал их вокруг железнодорожной станции священной Бухары — Кагана, вооружив и приведя в боевую готовность. Люди из рода большевиков², лстя и угодничая, нарушив дружеские связи, облачившись в одежды вероломства и обмана, прислали из Ташкента для перемирия человека по имени Баранов, полномочного представителя министра иностранных дел. Посланник с особыми полномочиями, прибыв к этому ничтожному рабу, просил разрешения на переговоры и заключение соглашения, убеждая: «Поскольку Российское государство на протяжении 55 лет поддерживало с Бухарой дружеские и добрососедские отношения и до настоящего времени мы от Бухары видели лишь обоюдную выгоду и никакого ущерба одно государство другому не наносило. Желая, чтоб и в дальнейшем меж государствами проявлялись лишь дружество и доброжелательность, просим от вас

¹ 1) Начальник воинского подразделения, имевшего свое знамя, 2) подполковник, иногда занимал должность полковника.

² В тексте сказано «кавми балшувик». Кавм — семейно-родовая группа. Любопытно, что для обозначения политических отношений эмир применил лексику из патриархального общинного быта.

помощи и поддержки. Наша республика готова оказать любую услугу, какая вам только потребуется. Однако рассчитываем на то, что вы отведете свои войска от станции нашей железной дороги, чтобы мы могли возвести укрепления на своей станции. Солдаты наши люди дикие и невежественные. Может случиться так, что при виде ваших солдат они затеют распрю, и не хотелось бы, чтобы это опорочило нас в глазах вашего высочества. Все, что вы желаете, и все, что вас удовлетворит, мы тут же исполним».

Подписав в ходе этих переговоров договор, посланник отбыл. Тех нескольких человек из числа наших подданных, схваченных на дорогах и задержанных, <...> отослали обратно.

Этот ничтожный раб, отведя свои войска от вышеупомянутой станции на расстояние трех миль от железнодорожного полотна, возвел оборонительные сооружения. На вышеупомянутой станции оставил около сорока караульных, предназначенных исключительно для того, чтобы защитить проезжающих и подданных местных жителей от возможного притеснения. Противник же, посредством этой хитрости усыпив мою бдительность, без объявления войны, без предупреждения, словно разбойник, в понедельник 29 августа 1929 года в полночь напал на караульных, выставленных в окрестностях линии железной дороги на всех направлениях, и около пятнадцати человек из них взял в плен. В это время напав на бухарское войско, начали военные действия. В два часа после полуночи начали военные действия, проведя артиллерийский обстрел и оружейную стрельбу, пригнав множество войска и вооружения, бронепоезд и бронированные автомобили. Одиннадцать аэропланов, поднявшись в воздух, забросали Бухару бомбами.

Этот ничтожный раб, будучи вынужден выдвинуть вперед свои войска, вручив свою судьбу божественному провидению, вел бои на протяжении четырех суток. Во время военных действий противник нанес городу большой урон артиллерийским и пулеметным огнем, запалив почти половину Бухары. Несчастные мусульмане, плачущие и испуганные, бросив на произвол врага скарб и имущество, жен и детей, ошеломленные, разбежались во все стороны. Несмотря на это ничтожный раб четверо суток вел бои и сражения с противником. Великий урон и разрушения, вызванные артиллерийским обстрелом и бомбежкой, страх и ужас, обуявшие несчастное население города, навели меня на мысль: если этот ничтожный раб изволит покинуть священную Бухару, то несчастные подданные, имущие и неимущие, избавятся от ужаса и тревоги. В среду, на четвертый день после начала событий, подобно святому посланнику Аллаха, да будет он благословен, на фаэтоне я изволил начать свое переселение, отбыв из шахского сада Ситора-и Мохи Хоса, направляясь в сторону уезда <...> Гиждуван.

В это время моими спутниками были Абдулшукур-хан, афганский посланник, и кадровый полковник Мухаммад Аслан-хан, егермейстер, афганский военный судья, ташкентский посланник, двадцать четыре бухарских чиновника, бухарские и афганские солдаты. Добравшись до уезда Гиждуван, мы остановились на ночлег.

Услышав о моем переселении, подданные, имущие и неимущие, с женами и детьми, плача и стона, бросились вслед. Вечером упомянутой пятницы достигли моей резиденции в Гиждуване. Более чем десять тысяч человек с плачем и восклицаниями, не в силах пережить день разлуки, бились оземь. Некоторые от скорби и печали вручали душу Аллаху. Этот ничтожный раб, подбодрив этих опечаленных и несчастных, дав им наставление, утешил их и прочитал молитву за этих несчастных, помолившись и о себе и о тех несчастных подданных, имущих и неимущих, оставив их отчаиваться и ждать, изволил отбыть в Восточную Бухару.

Прибыв через 8 дней в подчиненную Бухаре область Курган-Тюбе, остановился там на десять дней. Во время переправы из Гиждувана внезапно появившиеся броневики преградили нам, несчастным, путь. На этом месте были схвачены несколько высокопоставленных лиц из моего окружения, такие как Усмон кушбеги¹, главный судья Бурхониддин, раис² Абдурауф корвонбоши, Юсуфбий, Мукимбий. Чтобы закрыть путь врагу, укрепившись и собрав много войска и населения из крепости местности Дарбанд, подвластной области Байсун, я начал военные действия против врага, и, отступив из упомянутой области, остановился в области Гиссар в Восточной Бухаре.

¹ Кушбеги — (буквально — главный ловчий) начальник ставки ханских войск; лицо, носившее это звание, было главой исполнительной власти, премьер-министром, в руках которого находилась вся исполнительная власть в стране.

² Либо глава, начальник, либо цензор нравов, должностное духовное лицо.

Шесть месяцев я вел из области Гиссар бои и сражения с большевиками. Возглавлял военные действия военный министр, мой дядя с материнской стороны Мухаммадсаид-бек парвоначи, а также назначенные вести сражения Абдулхафиз парвоначи и кадровый военачальник Ибрагим-бек. На протяжении этих шести месяцев шли бои и сражения. Наконец, большевики вынуждены были привезти из Москвы множество войска и вооружения и разом напасть на воинство ислама. Поскольку вооружения и боеприпасов у солдат ислама было мало, после десяти дней боев и сражений ничтожный раб в поисках поддержки и помощи от иностранных государств отбыл из области Гиссар в область Куляб, и в упомянутой области Мулла Мухаммад Ибрагим-бек девонбеги и Давлатманд-бек девонбеги сарлашкар¹, происходивший из узбекской общины Восточной Бухары, весьма достойно служили Бухаре и проявляли беззаветную самоотверженность, доставляя удовлетворение этому ничтожному рабу. Призвав к себе вышеупомянутых военачальников, я дал им задание, упомянув, что этот ничтожный раб, отправившись в стольный Кабул, будет хлопотать о помощи и поддержке: «Если оттуда поступит для меня помощь и поддержка, то до моего возвращения вы с главными силами сдерживайте врага, берегая свои войска. Нападения противника усиливаются. Если крепости не будут сохранены, это причинит беспокойство нашим подданным, имущим и неимущим. До возвращения моего бедняки и несчастные да будут обеспечены».

Отдав эти приказы, я отослал их в свои места. Мухаммад Ибрагим-бек и Давлатманд-бек, подчиняясь вышеприведенному моему указанию, укрепили крепости на путях противника, сам же этот ничтожный раб, переправившись на переправе Даркад через реку Аму в области Куляб <...> достиг афганского берега. Кадровый полковник пограничных войск Афганистана, построив своих солдат, вышел вперед с торжественной встречей и приветствием: здесь <...> все приготовили для того, чтобы я, отдохнув, смог бы прибыть в Русток. <...> Мухаммад Алам-хан, вышеописанный полковник, выставил вперед для торжественной встречи около трехсот своих солдат, и, приветствуемый одиннадцатью пушками, я с почестями вступил в Русток. Проведя там две ночи, я послал правителю Катагана известие о том, что буду проходить по его владениям. В субботу <...> я отбыл из Рустока в Катаган; сын наместника с некоторым числом уважаемых людей той области вышел навстречу для торжественной встречи, встретившись с этим ничтожным рабом в пути, и вместе мы двинулись в столицу.

Мухаммад Акбар-хан, вышеупомянутый наместник, и Бинбин-хан, заместитель командующего войсками, с пушками и музыкой вышли вперед почти на фарсах², устроив торжественную встречу и приветствие двенадцатью пушками, и встретившись со мной, <...> вступив в столицу Катагана, избрали местом моего пристанища шахский сад Хаэт ул-абад.

Пребывал там в течение тридцати пяти дней. В это время от его высочества эмира Аманулла-хана, афганского эмира (к которому я послал с просьбой о гостеприимстве Мухаммад Аслам-хана, миршикора³, долгое время состоявшего на службе этого ничтожного раба и бывшего человеком сведующим), поступило сообщение: меня приглашали в Кабул, к его высочеству, чтобы встретившись вместе, соединить усилия в борьбе против врага.

Еще тогда, когда этот ничтожный раб переправлялся через реку Аму на афганскую сторону, меня сопровождали около трехсот человек из наиболее уважаемых бухарских наукаров, а кроме того на каждой переправе упомянутой реки к нам присоединялись люди, чтобы стать моими сторонниками, и собралось их возле меня приблизительно сто тысяч человек. Из этого общества, взяв с собой приблизительно пятьсот человек из числа бухарской знати, я послал других во все места афганских владений, сам же с вышеупомянутыми пятьюстами людьми отбыл в стольный Кабул.

Проведя несколько дней в пути <...> я прибыл в Кабул, где для пребывания ничтожного раба приготовили шахский сад Кала-и Мурдобек.

Десять человек министров и высших военачальников его высочества эмира Афганистана прибыли в упомянутый сад с торжественной встречей, затем этого ничтожного раба встретил его высочество эмир Афганистана с несколькими уважаемыми лицами, и я

¹ Сарлашкар — 1) дивизионный генерал; 2) военачальник.

² Мера длины, около 6 километров.

³ Миршикор — начальник ханской охоты.

удостоился дружеского общения. В течение целого месяца Афганистан оказывал мне гостеприимство, а по прошествии месяца определили на мои траты и расходы ежемесячную сумму и двенадцать тысяч кабульских рупий. Этот ничтожный раб прилагал все усилия и рвение, стараясь устроить свое дело. Но по воле Аллаха, в соответствии с судьбой и долей усилия оставались тщетными, помощи и поддержки не было видно. А посему, смирившись с волей Божьей, я занялся тем, чтобы обосноваться в Кабуле. Как только я выразил пожелание обосноваться здесь, его высочество афганский эмир, преподнес мне в дар шахский сад под названием Фату в южной части Кабула. Изволил добавить к двенадцати тысячам рупий, что были определены мне ежемесячно на расходы, еще четыре тысячи пятьсот рупий.

Как только я перешел из бухарских в афганские земли, большевики двинулись вперед, начав сражение с Мухаммад Ибрагим-беком девонбеги, и через несколько дней войска упомянутого военачальника из-за недостатка боеприпасов и постоянных нападений врага, рассеявшись во все стороны, скрылись высоко в горах. Враг же, войдя в раж, принялся повсюду хватать население, доведя насилие и притеснение до крайнего предела.

Военачальник Мулла Ибрагим-бек девонбеги, собрав свои вышеупомянутые войска, совершая одно за другим нападения на каждое селение, где находил пристанище враг, постепенно собрал множество оружия и боеприпасов, принеся благо подданным и угнетенным, и в скором времени, собрав около десяти тысяч человек, двинулся на провинции Куляб и Бальджуан, освободив эти две области из рук врага и написав этому ничтожному рабу об обстановке и своем положении, и послал сообщение в Кабул с несколькими своими военачальниками. Вышеупомянутые, прибыв ко мне, донесли об обстановке, положении и службе описанного Мулла Ибрагим-бека.

В это время Ибрагим-бек девонбеги двинулся на области Каратегин и Дарваз и, атаковав, овладел также и этими двумя областями, и об этих обстоятельствах послал мне сообщение. Я был весьма удовлетворен этим примером и мужеством Ибрагим-бека. Пожаловав упомянутому Ибрагим-беку высокую должность, отдал приказ продолжать военные действия.

Упомянутый Ибрагим-бек на протяжении семи лет вел войну с большевиками за народ ислама и за дело этого ничтожного раба, и во время войны о всех проявлениях мужества и о том, как идут бои, непременно сообщал мне.

Как только упомянутый Мулла Ибрагим-бек получил в руки мои указы, собрав войска свои, пошел на область Гиссар, выдвинув авангард, вступил в жаркие бои и сражения, взял в трофеи вооружение и казну и, осадив цитадель области Гиссар, осведомил о своем положении этого ничтожного раба, сообщив о моджахедах — борцах за веру ему служащих. И этот ничтожный раб издал приказ, скрепленный печатью и подписью, о награждении моджахедов, борцов за ислам, высокими должностями. Всякий раз я получал сведения о происходящем, посылая из Кабула с расспросами о положении дел одного-двух человек, которые, прибыв на место и расспросив обо всем, возвращались обратно. Упомянутый Ибрагим-бек без моего позволения никаких действий не предпринимал.

В то время, когда была осаждена область Гиссар, в область Курган-Тюбе к солдатам, моджахедам прибыл Энвер-паша, турок с двадцатью семью турецкими спутниками, намереваясь из Бухары перейти в Восточную Бухару¹. Солдаты донесли вышеописанному Мулла Ибрагиму об обстоятельствах появления Энвер-паши. Вышеописанный военачальник изложил суть дела этому рабу, отложив решение до получения моего одобрения, описав мне обстоятельства того, как изволил прибыть зять халифа всех мусульман². Получив это известие, я послал приказ, где говорилось о том, что Энвер-паша — чрезвычайно сведущ и опытен в сражениях, и предписывал Ибрагим-беку, призвав его к себе, спросить: «Если вы желаете служить исламским народам, то служите под началом нашего государя, в ином же случае извольте следовать далее».

Исполняя приказ этого раба, Мулла Мухаммад Ибрагим-бек собрал солдат, моджахедов, устроив торжественную встречу Энвер-паше и пригласив его к себе, осведомился о его личных намерениях. Энвер-паша, желая служить народам ислама вместе с упомяну-

¹ Восточной Бухарой в бухарском эмирате назывались области, находящиеся на территории современного южного Таджикистана.

² Энвер в 1914 году женился на Эмине Наджие Султан, племяннице царствующего турецкого султана, что позволило ему именовать себя «зятком халифа всех мусульман».

тым Ибрагим-беком, обязался числиться на службе, а вышеописанный Мулла Ибрагим-бек, предприняв наступление на область Гиссар, добился успеха, и взяв в упомянутой области немалую казну и множество военного имущества в трофеи и сделал упомянутую область своим центром, двинулся на области Дехнав, Байсун, Хузор, Шерабад, Карши, извещая этого ничтожного раба о положении своих дел. Я со своей стороны приказал пожаловать указанному Ибрагим-беку священный Коран и почетный форменный халат, шитый золотом. Как только молва о военных действиях Ибрагим-бека достигла окрестностей города Бухары и туманов¹ Бухарского государства, население окрестностей города Бухары и туманов Гиждуван, Пирмаст, Вабкент, Ходжаориф, Худфар, Гонза, Каракуль — почти пятнадцать тысяч человек собрались и, составив грамоту, изъявляющую самоотверженность и верноподданность этому ничтожному рабу, послали Ибрагим-беку. Мулла Ибрагим-бек, послав грамоту мне, просил взять их под начало, и поэтому я, следуя пожеланиям моих подданных, повелел вверить управление подданными, бухарскими воителями, готовым умереть за веру. Муллоабдулкаххару, одному из наиболее уважаемых моих спутников, а из самих упомянутых общин назначить для управления по несколько человек от каждой общины, и издал приказ о том, что указанный Муллоабдулкаххар, следуя моему повелению, должен прибыть в Восточную Бухару к упомянутому Ибрагим-беку и встретившись с ним, проследовать в Бухару, и, прибыв к подданным, бухарским воителям, готовым умереть за веру, расспросить их от моего имени о положении дел в тамошних общинах. Затем, приведя их в боевую готовность, начать против большевиков военные действия, жертвуя собой ради отечества. То, как вели бои и сражения воители священной Бухары, готовые умереть за веру, я расскажу, коли будет на то воля Аллаха, несколько позже.

Поскольку Энвер-паша в течение года с преданностью и самоотречением служил вере в Восточной Бухаре близ Ибрагим-бека, то он за это время, овладев несколькими областями Восточной Бухары, освободил Бухару из рук врага.

Затем Ибрагим-бек, действовавший в союзе с жителями Восточной Бухары, по требованию этого ничтожного раба изложил все обстоятельства событий для его высочества эмира Афганистана и послал с сообщением в столицу Кабул восемь человек своих соратников. Указанные посланники, прибыв в Кабул, в беседе с афганским эмиром сообщили ему о положении дел.

Энвер-паша высказал следующее пожелание: «Ныне укрепления на путях движения врага в Восточной Бухаре не соответствуют необходимым требованиям. Поскольку против нас действует противник из одного из наиболее сильных на земле государств, для успеха дела мы должны включиться в сражение с ним сообща. Если будет на то воля Аллаха, как только победим в области Байсун, взяв ее в свое владение и укрепив границу с местностью Дарбанд, сразу же установим свою власть».

Вслед за тем посланцы Восточной Бухары стали собираться к себе обратно; его высочество эмир Афганистана, каждого из них осчастливив своим сочувствием и расположением, дал разрешение удалиться, с чем упомянутые посланники и вернулись в свои места.

После этих событий 4 августа 1922 года в сражении в Бальджуане погиб за веру Энвер-паша. Энвер-паша сподобился стать шахидом, воином-мучеником, погибшим за веру, ко дню праздника Курбан. Его тело погребено в местности Чакан, в месте паломничества к святому Султану; а через некоторое время <...> Ибрагим-бек, приведя в боевую готовность моджахедов Восточной Бухары, собрал их, чтобы идти на область Байсун.

В это время большевики, собрав своих солдат в Даркаде на берегу реки Аму, провели переговоры о границе с Афганистаном и положение их несколько укрепилось. Ибрагим-бек, услышав о том, воздержался от передвижения в верховья Байсуна, двинув туда несколько сподвижников с половиной своего войска, сам же Ибрагим-бек, взяв с собой пятнадцать тысяч солдат, подошел к границе Афганистана, чтобы оказать помощь афганскому государству, и встав за горным хребтом, ожидал в течение сорока дней, в те дни славный Давлатманд-бек также сподобился смерти за веру.

¹ Т у м а н — административно-территориальная единица в Бухарском ханстве; местность, орошаемые земли которой измерялись в сто тысяч манавов (манав приблизительно равен четверти гектара).

Об этих событиях народ Восточной Бухары узнал от врага. Большевики в течение некоторого времени прилагали усилия, намереваясь собрать солдат, затем, в 1925 году по грегорианскому летоисчислению, разом напали на Ибрагим-бека, полководца Восточной Бухары; двадцать пять дней вели они бои и сражения, проводя дни в битвах, а ночи — в ночных атаках. Во время сражений вышеописанный Мулла Ибрагим-бек, одержав победу, взял в трофеи несколько пушек и пулеметов, тысячу восемьсот пятизарядных винтовок, триста тысяч патронов для них, два боевых броневедомоци, два аэроплана, а из сбитых в воздухе аэропланов — несколько пистолетов маузер, известия этого ничтожного раба о вышеперечисленных событиях.

Большевики, не достигнув цели, отступили. Вышеупомянутый Ибрагим-бек также сосредоточил усилия на укреплении страны и приведении войск в боевую готовность. После этого отношения между Афганистаном и большевиками смягчились, было заключено соглашение. Получив это известие, Ибрагим-бек вознамерился отступить в свои места. Большевики, узнав о том, атаковали Мулла Ибрагим-бека с нескольких сторон с двадцатью пятью тысячами солдат и, начав военные действия, на протяжении пяти суток вели бои и сражения. С обеих сторон было убито множество народа.

Поскольку атаки врага усиливались, войско моджахедов начало рассеиваться в разные стороны, сам же Ибрагим-бек с тремястами соратниками остался в окружении противника, ведя жестокие схватки. Наконец указанный Ибрагим-бек, бросившись верхом на коне в реку Аму, переправился на афганскую сторону. Подробности о военных действиях и своей переправе через реку сообщил этому ничтожному рабу. Власти Афганистана, услышав о прибытии вышеупомянутого Ибрагим-бека в стольный Кабул, устроили в его честь трехдневный прием, определив для него танхо¹ и жилые покои. Ибрагим-бек, не желая ни лена, ни жилых покоев, просил у властей Афганистана: «Я — один из слугителей падишаха Бухары, жертвенно ему преданных. Единственно, чего желал бы, это отправиться к своему благодетелю и остаток дней моих провести у его порога».

Вследствие сего Ибрагим-бека направили ко мне, чтобы он, встретившись со мной, остался бы на жительство. На его расходы афганские власти определили ежемесячное жалованье в пятьсот пятьдесят кабульских рупий.

Сражения Муллоабдулкаххара в окрестностях Бухары в течение трех лет

Как только Муллоабдулкаххар по повелению этого раба прибыл из Кабула к моджахедам, воителям, жертвующим собой за веру, в окрестностях Бухары и в туманах Бухары, стараясь привести войска в боевую готовность, ведя сражения в тумане Гиждуван, и туман Гиждуван освободив из рук врага и взяв в свое владение. <...>

Отовсюду <...> собралось к нему свыше двадцати пяти тысяч человек. <...> Вступив в ожесточенные схватки, они в течение одного месяца захватили у большевиков в качестве трофеев две тысячи пятизарядных винтовок, сто тысяч патронов к ним, десять пулеметов; три боевых броневедомоци и, взяв в свои руки туман, направились в область Нурата. Несколько тамошних высокопоставленных лиц вышли навстречу войску, чтобы узнать подробности о действиях войска моджахедов, сами же подданные вместе с войском, вступив в область Нурата, взяли в плен городских большевиков. Местное население было счастливо, читая молитвы во здравие этого ничтожного раба. Муллоабдулкаххар, взяв у большевиков в трофеи множество военного снаряжения, сделал область Нурата своим центром, и поддержки ради оттуда совершил поход на Бухару, дойдя до моста Мехтар Касим. В это время Абдулхамид-эфенди, военный министр джадидского правительства Бухары, с шестьюдесятью отлично вооруженными людьми из Бухары, а также прибывшими из Турции и Индии, вышел навстречу и, встретивши Муллоабдулкаххара, подарил ему шесть тысяч английских денег и два пулемета и, получив от Муллоабдулкаххара разрешение, они направились в сторону Восточной Бухары и, прибыв к Энвер-паше и Ибрагим-беку девонбеги, просили зачислить их на службу.

Об этих событиях Энвер-паша сообщил этому рабу. Большевики, услышав о прибытии Муллоабдулкаххара к мосту Мехтар Касим, собрав войско, вышли навстречу,

¹ Лен: вода и земля, пожалованные эмиром за особые заслуги.

начали бои и вели сражение двое суток. Муллоабдулкаххар одержал победу, большевики отступили. Муллоабдулкаххар, осадив город Бухару, взял шесть ворот Бухары. Большевики были вынуждены освободить город, отойдя на железнодорожную станцию Каган. Муллоабдулкаххар, войдя в город и простояв в нем четыре часа, двинулся из городских пределов в сторону святилища Баховаддин и после десятичасового сражения также освободил это место из рук большевиков.

Взяв в Бухаре и Баховаддине большие трофеи, послал мне сообщение о происшедшем; когда все выяснилось, я был весьма удовлетворен службой упомянутого Муллоабдулкаххара. Послал в дар вышеуказанному шитый золотом форменный халат и пистолет маузер «V».

В эти дни большевики, придя в беспокойство, прилагали усилия, чтобы собрать войско. Привезя из Москвы и Ташкента множество солдат, напали со всех сторон на вышеупомянутого Муллоабдулкаххара, отняв у моджахедов город Бухару и Баховаддин; почти тысяча моджахедов попала в плен к большевикам. Много усилий большевики приложили, чтобы схватить Муллоабдулкаххара, день и ночь бились, не выпуская из рук оружия. День ото дня усиливались атаки врага, большевики истратили много средств на борьбу с войсками моджахедов, и, подняв революцию, в течение двадцати пяти дней убили и сделали мучениками за веру двух братьев Муллоабдулкаххара, приведя в волнение подданных, имущих и неимущих, совершив многочисленные разрушения.

По этой причине из-за бедствий населения Муллоабдулкаххар удалился в Казахстан, где укрылся в степи, чтобы не служить причиной беспокойства и волнений подданных.

Большевики привели в туманы множество солдат, чтобы в случае, если воинство восстанет на защиту законной власти, оно не могло бы действовать.

Этот раб рассказал обо всем, начиная от времени, когда был наследником, от времени монархии, когда правил в священной Бухаре и областях, и кончая войной, которую вел с большевиками во время революции, после чего, решившись на переселение, перебрался в стольный Кабул. Население Бухары и жители тех мест семь лет бились на моей стороне с большевиками. Я же перенес повествование на бумагу, чтобы всякий, кто желает узнать историю моих приключений, был бы просвещен.

**Жажду молитвы за меня от всякого, кто это прочтет,
Ибо я — грешный раб.**

К о н е ц.

Перевод с фарси Владимира МЕДВЕДЕВА.

Денис Драгунский Рутения

Надежда и мир

**Консервативный взгляд
на постимперские перспективы**

На страницах нашего журнала мы не раз обращались к проблеме России и русских. Этому был посвящен круглый стол «Русская культура на перекрестке мнений» («ДН» №№ 6, 7, 8. 1990), статьи В. Личутина «Цепь

незримая» («ДН» № 8. 1989), М. Казачкова «Лента Мёбиуса. О России с оторопью и любовью» («ДН» № 5. 1991). Публикацией статьи Д. Драгунского мы продолжаем разрабатывать эту дискуссионную тему.

Население и народ

Рутения — средневековое латинское название России, даже не России собственно, а туманного пространства к северо-востоку от уютного, обжитого, правильного — «цивилизованного», сказали бы мы сейчас — европейского мира. «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три, — писал Розанов в ноябре 1917 года. — Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего». Русь Советская слиняла за три дня военно-большевистского путча. Не осталось Союза ССР, не осталось КПСС, а войско пыталось сориентироваться в Москве по туристическим картам и телефонному справочнику («ЛГ» № 36. 1991). Но за упавшими декорациями оказалась пустота — та самая, что предстала взору Розанова в 1917 году. Когда мы говорили «Россия» или «СССР» — мы говорили о государстве, то есть о единстве территории, политической власти и экономической жизни. Больше того, мы имели в виду такой необходимый элемент самосознания, как идентичность — подтверждаемое жизнью ощущение принадлежности к чему-то большему, чем ты сам: к нации, понимаемой как государство в целом, или к нации-этносу, к соплеменникам, кровным сородичам. Российская (и советская) идентичность издавна, с эпохи Третьего Рима, то есть с XVI века, подпитывалась идеей особого призвания страны, ее мессианской, путевказующей роли. Оплот монархической легитимности легко и ненатужно преобразовался в оплот коммунизма. Такова была матрица мессианского массового сознания: главное — быть оплотом, а чего именно оплотом — дело десятое.

Ныне все три типа идентичности под большим вопросом. Трудно представить себе человека, который в теперешних обстоятельствах искренне считает себя «советским» и гордится своим серпастым и молоткастым свидетельством принадлежности к рухнувшей империи. Обретение идентичности по крови, поиск этнической консолидации мог происходить относительно безболезненно лишь под жестким контролем имперской администрации. Это парадоксально, но это факт. Власть безжалостно подавляла любые — подчеркиваю, л ю б ы е проявления общественного недовольства: политические, социальные и национальные в том числе. Тем самым национальный протест уходил в культурную работу или смыкался с политическим диссидентством, что также «окультуривало» под советский и национализм. (Надеюсь, мне простят этот белоэмигрантский теж-

мин — потому что как же иначе назвать национализм, развивающийся под крылом советской империи и волей-неволей усваивающий советские правила игры.) Однако теперь, когда репрессивный аппарат в основном озабочен спасением собственной шкуры, поиск национальной идентичности по крови обернулся кровопролитием — впрочем, об этом мы будем говорить далее. И наконец, мессианское самоощущение, чувство всемирно-исторического призвания тоже не выдерживает испытания на экономический излом. Третий Рим скидывает с себя золоченые ризы и облачается в рубище третьего мира, поспешно занимая очередь за благотворительными посылками с Запада.

Политическая власть рушится, хозяйственная жизнь замирает, идеи обесцениваются — остается лишь территория и население. Именно население — я не буду употреблять рискованное слово «народ». Границы зыбки, население неопределенно — но это и есть наша Рутения, которая осталась на месте России. Мало? Зато надежно. Территория и население — проще говоря, земля и люди — это вечные, неумирающие субстанции исторического процесса. Котел и варево, если вспомнить космически-грандиозную метафору Василия Гроссмана о «человеческой квашне». Что сварится в этом котле?

Наверное, в Рутении начнется новый этногенез. Из массы, лишенной силы и энергии, не верящей ни в какого Бога, растерявшей или уничтожившей свою элиту — своих художников и философов, политиков и военных, дельцов и ученых, просто крепких и смелых людей, из людской толпы, лишенной исторической памяти (от национальных библиотек до семейных родословий), избавленной от всех и всяческих традиций, и в довершение всего забывшей свой язык, говорящей на скудном жаргоне, — наверное, из этой человеческой квашни в итоге вылепится новый народ. Наверное этот народ тоже будет называться русским.

Возможно, процесс «нового русского этногенеза» будет ускорен в результате исламского натиска на Запад и ответных мер, предпринимаемых Европой. Тогда Россия русским может сжаться до неширокой полосы между Востоком и Западом (как, впрочем, и было до Ивана IV). В результате такого почти физически ощущаемого сжатия развитие нового русского этноса пойдет резче, энергичнее.

Но если контакт между Востоком и Западом примет характер не конфронтации, а братания, сотрудничества поверх головы России, то русские, по нечаянно оброненному слову Александра Блока, расступятся. Они просто вынуждены будут расступиться, но не для того, чтобы дать место бою Востока с Западом (тут вряд ли уцелеет зритель), а для того, чтобы превратиться в народ-посредник. В национальное меньшинство, занимающее вполне почтенную нишу в будущей евразийской этноэкосистеме. И в этом случае речь пойдет о новой этнической консолидации, хотя, разумеется, в итоге будут сформированы совершенно особые традиции, особая культура, специфическая национальная психология

Но в любом случае этот новый русский народ и порождаемая им новая русская культура будут иметь мало общего с той Россией. Та Россия, в ностальгической тоске по которой мы возвращаем городам и улицам старые имена, устраиваем ярмарки и крестные ходы — она навек останется в баснословной дали, в дымке золотого и серебряного веков. Цивилизованный разрыв, образовавшийся за семь десятилетий, слишком велик — мостки не перекинуть. На смену обескровленному и обезглавленному русскому народу, бессознательно переживающему утрату своей особой роли в Российской (а позднее в советской) империи, должен прийти другой русский народ. Прежняя культура для нового народа будет в лучшем случае «отстраненной сокровищницей», как Древний Рим для итальянцев, или, лучше сказать, как эпоха Платона и Алкивида для современных греков, которые сохранили свое имя и свой язык, но сменили религию, культуру и даже антропологический тип.

Однако не будем заглядывать так далеко. Любой сценарий будущего этногенеза на территории России, превращенной в Рутению, не должен нас тревожить. Трудно разделить опасения наших национал-фундаменталистов по поводу возможного «размывания», а то и вообще исчезновения русского этноса. Само существование полутора миллиона (!) людей, называющих себя русскими, служит максимально надежной гарантией того, что русский народ в любых перипетиях должен воссоздаваться как этнокультурная общность. Хотя сама эта общность, повторяю, может сформироваться в совершенно непредсказуемом качественном своеобразии.

Тревожит другое. Обескровленный и обезглавленный народ — это пока лишь русскоязычное население, протоплазма будущего этносоциального организма. Разуме-

ется, осознать это трудно, а носить в себе такое сознание — больно. И возникает соблазн провести своего рода рекультивацию, «резнификацию», культурно-политическую реабилитацию России, причем провести быстро и эффективно, по аварийно-сокращенной программе. Отсюда бесконечные попытки возродить все, что только можно возродить, — от национальных костюмов и церковной обрядности, старой орфографии и традиции дворянских собраний до реанимации имперского и мессианского духа. Первое может восприниматься со стороны как вполне безобидный этнографизм — но изнутри, для нынешних «рутенос», стремящихся стать полноценными русскими, он не так уж безобиден. Все эти обрядово-ритуальные действия — суть евангельский камень вместо хлеба, змея вместо рыбы (Матф., VII. 9—10). Промышленная, производящая деятельность — вот основа основ формирования национальности. Все этносы — от маленьких племен до мировых наций — обретали свое народное «я» на базе экономической активности. Ритуалы и обряды придут потом, придут сами как естественное оформление сложившихся человеческих отношений. Поступать наоборот, акцентировать духовно-ритуальную сторону жизни посреди хозяйственного разора — на деле означает тормозить процесс формирования нового русского народа.

Из сказанного не следует, что автор — сторонник примитивного экономического детерминизма. Более того, в известном споре — «американцы улыбаются, потому что у них всего много» или «у американцев всего много, потому что они улыбаются» — я решительно на стороне последнего тезиса. Безусловно, американцы (а также французы, швейцарцы и пр.) достигли экономического изобилия не в последнюю очередь (а честно говоря — в первую очередь) благодаря этике человеческих взаимоотношений, основанной на терпимости, доброжелательности и трудолюбию. Но ведь здесь идет речь о весьма простых — может быть, именно в силу простоты трудно усваиваемых — нравственных постулатах, а не об этнографических финтифлюшках.

Увлечение подобными обрядовыми красотоми может рассматриваться, в конце концов, как внутреннее дело населения, почему-либо не желающего стать народом. Что же касается второй части аварийной программы национального возрождения, то есть возрождения великодержавности — то тут мы вступаем в небезопасную область баланса мировых сил. Не надо забывать, что точка равновесия этого баланса неожиданно сместилась внутрь страны. Империя СССР уже перестает (может быть, к тому времени, когда этот журнал попадет в руки подписчиков, уже окончательно перестанет) быть единым субъектом в геополитическом раскладе. Поэтому дух русской великодержавности, русского имперства из внутренней проблемы многонационального государства начинает потихоньку превращаться в международную проблему.

Консерватизм

Происходящее в стране легче всего оценивать с демократических позиций. Тогда крушение коммунизма как идеи и КПСС как правящей когорты вкупе с распадом Советской империи рассматривается как самоценное благо, чуть ли не как конечная станция на славном пути борьбы, побед и поражений. В крайнем случае, как узловой пересадочный пункт, миновав который, поезд нашей истории пойдет по нормальному пути. (Я не рассматриваю позицию твердокаменных большевиков, жаждущих политического реванша, а также позицию национал-фундаменталистов в той части, где она совпадает с большевистскими устремлениями, поскольку эта позиция является зеркальным отражением демократических установок.)

Демократический взгляд на процесс постимперского развития оправдан прежде всего морально. Залог тому — долгий жертвенный путь демократического движения в стране. Но по существу демократическая позиция вызывает ряд вопросов.

Начнем с так называемого нормального пути развития страны. Призыв вернуться с буреломов и буераков «непроторенного пути» на столбовую дорогу цивилизации стал уже общим местом демократической публицистики (автор тоже отдал дань пропаганде этого тезиса). Но что такое искомый «нормальный путь», где критерий его нормальности? Во всяком случае, в ответ на шаблонный призыв к «нормальной жизни» правомерно задать вопрос — может быть, под «нормальной жизнью» с нехитрым лицемерием понимается просто *хорошая* (сытая, уютная, комфортабельная) жизнь небольшой европейской страны? Где полно социальных гарантий и на каждом углу — бензоколонка.

Потому что иначе получается, что скромно населенная Европа живет **нормально**, а почти миллиардная Индия — **ненормально**, хотя там и там капитализм, парламентаризм и демократия... Придется согласиться, что призыв к нормальной жизни и мечта о хорошей жизни — это все-таки вещи разные.

Во-вторых, демократия как таковая четко очерчивается только в противостоянии тоталитарному режиму. В нашей же постсоветской, постимперской и посткоммунистической действительности она превращается либо в достаточно примитивную машину для голосования, либо совсем уже в нечто безразмерное, когда о демократии громче всех говорят смещаемые с постов партаппаратчики. Те самые, которые лет пять-десять назад говорили о демократии с не переменным приложением «так называемая». А настоящие, старые демократы (я бы назвал их «историческими демократами»), в прежние времена терпевшие гонения от ныне гонимых партийцев, скорбно разводят руками: «Да, господа, у нас демократия, и не надо призывов к Варфоломеевской ночи». Разумеется, не надо. Надо лишь учитывать, что существуют трудноизбегаемые «капканы демократии», по выражению американского политолога Грэма Фуллера. Это и тупая власть большинства, и, напротив, особые преимущества меньшинства, так называемая дискриминация наоборот. Это и полная вседозволенность (которую мы с лихвой хлебнули в привокзальной прессе), и китайские церемонии «политической корректности». Этот забавный феномен распространен в американских университетских городках. В основе его три запрета: «расизм», «сексизм» и «эйджизм» (от «эйдж» — возраст), так что всякое упоминание о национальности, поле или возрасте собеседника или третьего лица рассматривается как наступление на его демократические права. Нежелательным даже стало слово «бизнесмен», так как «мен» значит «мужчина», и, следовательно, перед нами дискриминация по полу. Надо говорить «бизнесперсон» — непривычно, зато политически корректно. Смешно сказать, но ростки подобной корректности появились и у нас. О единстве партии и народа говорить было можно, а вот о вине партии перед народом — лучше не надо, потому что существует масса простых, честных, ничем лично не запятанных коммунистов... Все, все, все, остается только поднять руки вверх, спорить с политически корректным человеком невозможно, ибо его устами глаголет демократия, а мы все — демократы.

Даже сравнительно несложная, почти свободная от процедурных подножек демократия древних Афин употреблялась подчас во зло — примером тому служит казнь Сократа. Правда, обвинители Сократа вскоре были примерно наказаны. Но чем, в таком случае, демократичнейшее Народное собрание отличается от капризного деспота, который вчера казнил кого-то по доносу, а сегодня, одумавшись, решил казнить доносчика?

В любом случае мы должны различать демократию как гуманистическую идею и как способ государственного устройства. О демократической идее лучше всех, по моему, сказал Розанов: «Демократия имеет под собою одно *право*... хотя, правда, оно очень огромно... проистекающее из *голода*... О, это такое чудовищное право: из него проистекает убийство, грабеж, вопль к небу и ко всем концам земли. Оно может и *вправе* потрясти даже религиями. Голодного нельзя вообще судить. <...> Но ни революция, ни демократия, кроме *этого* не имеют никаких прав. <...> Едва демократия начинает морализировать и философствовать, как она обращается в мошенничество».

Демократия как зрелая политическая реальность представляет собой труднодостижимое хитросплетение государственных и общественных институтов, законов, правил, обычаев и норм. Чтоб не угодить в капканы демократии, требуется, в сущности, одно — традиция жизни в демократическом обществе. Что же, круг замкнулся? Надеюсь, что нет. Просто лозунг «Учиться демократии» оказался не столь глуп, как мы думали поначалу.

И, наконец, третье. Наши демократы в своем подавляющем большинстве это социал-демократы. Разумеется, трудно было бы ожидать иного от людей, всю жизнь проживших при социализме и впитавших в себя идеалы равенства и перераспределения, которыми вымощена дорога к рабству. Жаль только, что в новые мехи демократии вливается прокисшее, уже превратившееся в едкий уксус вино социализма. Даже гомеопатические добавки социализма в рыночный механизм таких промышленно могучих стран, как Великобритания, Швеция или Франция, играли пагубную роль песчинок, заклинивающих шестерни. Что же говорить о нашей стране, истрадавшей от бесконечных перераспределений во имя фантома «социальной справедливости», что же говорить о нашей экономике, удушенной государственным (социалистическим) регулирова-

нием! Но экономика в конце концов распрямится, сбросит социалистический гнет — тут уже в дело вступают объективные законы. Правда, чем дольше держать ее под замком, тем бешеннее будет высвобождение, тем сильнее скакнут цены, тем больше будет банкротств, безработных... Таким образом, получается, что социал-демократы, отстаивая идеи перераспределения «в интересах наименее социально защищенных слоев», а значит, антипредпринимательские налоги и фиксированные цены, на деле готовят возрождение коммунизма через бунт. Морализирующая демократия, обратившись в мошенничество, готовится апеллировать к праву голода... Впрочем, здесь нет ничего удивительного — безжалостные и безнравственные большевики не с неба упали, — сначала были уважаемые эсдеки. Капканы демократии покажутся сущим пустяком по сравнению с **тупиком социал-демократии** — а ведь мы в этом тупике уже побывали и потихонечку, с Божьей помощью, начинаем из него выбираться.

Ориентиром на пути к выходу должен послужить **консерватизм**. Я понимаю, что в дни, когда все радостно приветствуют победу демократии над силами консерватизма и реакции, говорить о своей приверженности консервативной идее — значит, как минимум, пускаться в подробные объяснения, чтобы не быть превратно понятым.

Уже несколько десятилетий мы живем в социальном зазеркалье. Таким же зеркально замороченным оказался и язык политических понятий. В этом искусственном (но, увы, прочно затверженном) языке консерватизм объединяется с реакцией. Исторически это объяснимо: большевики, реализуя бесчеловечные фантазии социальных маргиналов¹, искренне считали себя носителями прогресса, а сторонников естественно-исторического развития общества — реакционерами. Ныне же пришло время развести эти понятия. Реакция — это активное стремление повернуть дело вспять, вернуть утраченные политические и экономические позиции — проще говоря, установить прежний порядок. Поэтому в роковые августовские дни 1991 года было предпринято ни что иное, как попытка коммунистов взять реванш, попытка военно-большевистского реакционного переворота, который возвратил бы нас к социализму в его наиболее рафинированной редакции — сталинской. Таким образом, провал потерпела **реакция**.

Что же касается консерватизма, то он не связан напрямую с непосредственным политическим действием. Консерватизм — это приверженность личной свободе, либеральной рыночной экономике и традиционным моральным ценностям. Я верю и надеюсь, что отныне — после провала военно-большевистского путча — эти три принципа будут лежать в основе политического, экономического и духовного развития страны.

Консерватизм не следует путать с какой бы то ни было реакцией, а тем более с реакцией коммунистической, со стремлением леваков обеспечить всех и каждого местом на нарах и миской баланды. Ничего общего консерватизм не имеет и с националистическим фундаментализмом, с попытками построить пряничный мирок национального мифа, предварительно изгнав инородцев и иноверцев. Консерватизм — это т р а д и ц и я с в о б о д ы. Эта традиция берет начало в глубочайшей древности, в греческих городах-государствах, где на основе принципа личной свободы были сформулированы основополагающие для всей европейской цивилизации нормы — «труд как путь к преуспеянию» и «состязательность как путь к самоутверждению» (подробнее об этом: Д. В. Драгунский и В. Л. Цымбурский. Генотип европейской цивилизации. «Полис» № 1. 1991).

Коль скоро мы входим в мировое сообщество, то нам пора усвоить общепринятый политический язык. Везде и всюду **правыми** (или консерваторами), считаются люди, уважающие личную свободу, политические и гражданские права, частную собственность и экономическую инициативу. И наоборот, левые (особенно коммунисты) — это несправедливость и насилие во имя «революционной целесообразности», это бессобственничество и экспроприации во имя «социальной справедливости», что прямиком ведет к суматошному перераспределению вместо производства, в результате чего богатые разоряются, а бедные просто мрут с голоду. Владимир Даль еще в середине прошлого века в своем «Словаре» провидчески объяснил коммунизм как «политическое учение о равенстве состояний, общности владений и о правах каждого на чужое имущество». Левизна,

¹ Стоит только вчитаться повнимательнее в тексты т. н. предтеч научного социализма, во все эти «Утопии» и «Города Солнца» — сколько в них кнута, казармы, презрения к людям и желания отомстить всему человечеству неизвестно за что.

особенно в крайнем, коммунистическом варианте — это революция, война, грабеж, разор и безбожие. Поэтому давайте хотя бы из уважения к людям и народам, натерпевшимся от «политического учения о правах каждого на чужое имущество», назовем кошку кошкой. Выйдем из советского терминологического зазеркалья и постараемся говорить на общечеловеческом языке — пусть он даже поначалу покажется трудным и непривычным. Как дельцу нужен английский, как инженеру нужна компьютерная грамотность, так и всем нам, невольно политизированным гражданам перестраивающейся страны, нужны верные политико-терминологические ориентиры.

Кстати, горбачевская перестройка, задуманная как возвращение к общечеловеческим (в противовес марксистско-ленинским) идеалам и к рыночной (в противовес государственно-перераспределительной) экономике — была, по сути, актом консервативным. Раньше всех это почуяли большевики ниноандреевского толка, но приверженцы перестройки от этого отмахивались: игра словами. На деле же перестройщики сами играли словами, заплутав в двух соснах, не имея мужества в ответ на упреки в правом перерождении ответить — да! Именно право руля, к частной собственности, к либерализму, к буржуазному (что в переводе значит «гражданскому») обществу. Но вместо этого последовали невразумительные лозунги типа «больше социализма». Пик социализма пришелся на сталинскую лагерную экономику и демократию чрезвычайных троек. Куда же больше?

Политологи всего мира еще долго будут изучать эту исключительную ситуацию, когда **правым прогрессистам** попытались с оружием в руках помешать **реакционные левоэкстремисты**. Но для нас эта ситуация важна прежде всего окончательной дискредитацией коммунистической идеи. Отстранена от власти КПСС — столько лет правившая нами левоэкстремистская организация. В таких условиях поддержка коммунистических режимов и движений — от Кубы до АНК — была бы весьма экстравагантным предприятием. Наступает полная перемена ориентиров во внешней политике. У трапа самолета, привезшего его из крымского плена, Горбачев провозгласил в качестве фундаментального жизненного принципа сотрудничество с Западом. Таким образом, на повестке дня — окончательное включение России и эвентуального Содружества — Союза в единую систему Демократического Севера.

Все это дает основания полагать, что в стране в ответ на неудавшийся коммунистический переворот начинает осуществляться п о в о р о т в направлении правого консерватизма. Еще раз повторяю для непривыкших — речь идет о н а с т о я щ е м к о н с е р в а т и з м е, европейско-американском, либеральном, о консерватизме свободы, инициативы и ответственности.

Поворот, судя по всему, действительно происходит, но радоваться пока рано, и не только потому, что экономика в руинах, а национал-побойща прекратятся, увы, еще не скоро. Компартия повержена, но коммунизм еще жив. Царствие Божие внутри нас. Сатана, к сожалению, угнездился там же. Всем нам предстоит долгий и болезненный путь очищения от левацких идей, которые глубоко проросли в наши души и стали чуть ли не сутью нашего миро... — если не мировоззрения, то уж мироощущения — наверняка. Нам придется избавляться от иждивенчества, пронизавшего все наше социальное бытие. От надежд на правительство, которое почему-то обязано накормить народ. Да ничего подобного оно не обязано! Это народ обязан — вернее, тоже не обязан, это исторический опыт ему рекомендует, если он не хочет умереть с голоду или быть покоренным крепким соседом, — обязан трудиться так, чтобы прокормиться самому, и чтобы осталось что отчислить правительству на содержание армии, полиции и необходимого количества чиновников. А не хотите — Бог вам судья... Нам предстоит избавляться от идей «социальной справедливости». Справедливость бывает Божия, бывает и судебная, а так называемая социальная справедливость — это все то же «право каждого на чужое имущество», идеология грабежа и дележа... Избавляться от пресловутой «уверенности в завтрашнем дне» — от зловещего соблазна, заставляющего людей отдавать собственную свободу и собственное имущество в общий котел, чтобы назавтра получить по отгрызку того и другого — зато без труда и риска. Уверенность в завтрашнем дне, особенно в нашем, социалистическом варианте, когда речь идет не о заработанном богатстве, дающем возможность передохнуть и оглядеться, а о регулярных дармовых подачках государства, — такая «уверенность» уничтожает главную пружину социального развития — принцип вероятности, неопределенности, везения, наконец. Везет-то чаще всего сильному...

Предстоит избавляться от идеи коллективной правоты и коллективной ответственности — классовой или национальной. От зависти к чужому благополучию, в том числе и к процветанию зарубежных стран. От магии «подавляющего большинства», от пьянящего чувства толпы. Предстоит огромная духовная работа.

Тем более что коммунизм, потеряв политическую власть, оседает в душах обездоленных и неустroенных людей. Он может принять форму террора, слепой и бессмысленной мести за зрящую и безысходную жизнь. На просторах Рутении могут появиться отряды типа перуанского «Светлого Пути» или итальянских «Красных бригад», социальные мстители могут сливаться с национальными. А коммунисты снова будут называть себя «левыми силами», «радикальными реформаторами» и даже «социал-демократами» — в общем, всеми теми словами, которые по старой советской привычке имеют положительную окраску. Но пора уже понять смысл и цену этих слов.

Конец эпохи

События последних лет в СССР, по утверждению уже цитированного американского политолога Грэма Фуллера, имеют для всемирной истории значение куда большее, чем Октябрьская революция и вторая мировая война. Революция и война, как бы грандиозны они ни были, принадлежат XX веку. Горбачевская перестройка принадлежит всему Новому времени (а может быть, и не только ему). Перестройка и вызванный ею крах коммунизма знаменует завершение тянувшейся через века линии социального утопизма, основанного на гипертрофии перераспределительной функции государства и на естественной зависти бедного к богатому.

Оговорюсь, что оба эти явления органически присущи любой социальной конструкции. Зависть к чужому богатству — чувство хоть и стыдное, осуждаемое нормами общественной нравственности, но, увы, естественное; в благоприятных условиях такая зависть служит лишь дополнительным стимулом к труду, к социальным достижениям. Что же касается перераспределительной (редистрибутивной) функции государства, то она тоже существовала всегда. Марксисты традиционно называют государство орудием принуждения. Думается, более корректно было бы акцентировать именно перераспределительную функцию. Насилие, принуждение — лишь способ ее осуществления. Налоги, рекрутчина, отчуждение земель — этим государство занималось от века и, думается, не скоро еще перестанет, поскольку не скоро прекратят существование армия, полиция и общественные работы.

Социальный утопизм реализуется как союз интеллектуалов и маргиналов. Платон конструировал модель идеального государства, во главе которого стоят философы, глашатаи абсолютной истины, общающиеся с Мировой Душой и до тонкостей постигшие устройство общественного механизма, а главное, познавшие истинные, объективные нужды и запросы граждан. Нет необходимости специально рассказывать о платоновской казарме — она в принципе не отличается от всех остальных — от томас-мордовской до сталинской. Отметим только, что и во главе нашей родной казармы тоже стоял сначала «величайший мыслитель XX века», а потом — «выдающиеся марксисты-ленинцы», то есть тоже своего рода философы.

Утопическое возведение на вершину социальной пирамиды именно философа (то есть в каждом конкретном случае самого себя, философствующего политолога) не случайно. Уже здесь виден протест против существующего естественного порядка, согласно которому государством должен управлять человек, улавливающий токи истории, а не пытающийся ей диктовать. Философский диктат и по содержанию своему был протестом — против социальной диффузии, если философ-утопист был аристократом, против неравенства, если он происходил из социальных низов, и в обоих случаях — против некрасивой асимметрии государственного устройства, против хаоса и беспорядка. а главное — против вероятностного принципа исторического развития.

Чем был вызван такой протест? Абстрактной игрой политологического ума или неизвестными историчеки травмами, полученными от государства или в родной семье? Но может быть, все эти Хрустальные дворцы и Города Солнца, жесткая сословность, регламентация всей жизни, от утра до ночи и от рождения до смерти, строжайший контроль надо всем и учет всего (вспомним: «Социализм — это учет!»), почти патологическое желание отрегулировать все малости и частности — все это родилось от глубо-

кого внутреннего покоя, от тягостного переживания своей чуждости, непригодности, выключенности из этой сильной, бурной, полной случайностей и перепадов жизни.

Вот это болезненное ощущение собственной социальной непригодности роднит маргинализированного интеллектуала с маргиналом как таковым, с представителем обездоленных и озлобленных низов. Маргиналы тоже имели свою программу — она сводилась к обходу упомянутых выше краугольных камней европейской цивилизации — честного труда и честного состязания. То, что дается трудом, можно получить путем перераспределения. То, что завоевывается в соревновании, можно достичь без усилий — изменив общественное устройство на более справедливое.

Здесь рафинированная политологическая мысль смыкается со смутным инстинктом толпы. Социальная утопия обретает плоть, и готова ринуться на штурм Бастилии.

С той поры целых два века социальные утописты утешали себя тем, что их прекрасная, гуманная и справедливая теория просто еще не опробована должным образом, и хотя бы в силу этого не опровергнута. Более того, необходимо прилагать новые и новые усилия, пробовать возводить коммунистический рай все в новых и новых социальных, географических, климатических и тому подобных условиях, а главное — продолжать молиться на великую идею.

И даже на самых крутых виражах перестройки, когда мы с заходящимся сердцем начинали наконец осознавать, в какую пропасть угодили, нас еще продолжали уговаривать — все это только искажения прекрасного проекта, настоящий социализм все еще не построен. Нам туманили голову то непом, то Швецией, то Целиноградской областью, где благодаря настойчивой руководящей работе партии в магазинах двадцать сортов колбасы, не хуже чем в той самой Швеции. Взрослые серьезные люди, профессора и драматурги, всерьез рассуждали, что было бы, если бы Бухарин переиграл Сталина. Анализировали предсмертные записки и диктовки «самого человеческого человека» (в этих записках, кстати, слова доброго не нашлось ни для одного из соратников в великой борьбе) и все искали путей к истинному, неискаженному, обетованному социализму...

И наконец, во всемирно-историческую ночь с 20 на 21 августа 1991 года — погодите, потомки, вы еще будете отмечать этот праздник как великую дату, вместе с Сотворением Мира, Рождеством Христовым и Хиджрой Мухаммеда — когда московские люди вышли, взявшись за руки, навстречу бронированному кулаку социализма. — «великая идея» умерла, опозоренная и проклятая.

Все. Эксперимент закончен. Два с половиной тысячелетия теоретически разрабатывались его основы, две сотни лет проводились практические прикидки, и почти семьдесят четыре года неустанно работал российский испытательный полигон... Все. Эксперимент окончился полным провалом. Масштаб провала таков, что вряд ли найдутся отчаянные головы попробовать еще разок.

История избавилась от самого цепкого предрассудка — от идеи общего блага. Общее благо, разумеется, существует, но лишь как сумма отдельных, личных благ, как их согласованное достижение. Безличное же общее благо, некий великий справедливый распределитель, одаривающий предварительно обобранных граждан, — эта идея похоронена теперь уже, надо надеяться, навсегда.

Но отчего же не слышно вздоха облегчения?

Тому есть две причины. Первая и самая явная — доказав всему миру пагубность и непригодность «великой идеи», мы потеряли Страну и Народ, получив в результате Территорию и Население, Рутению вместо России. О российской жертвенности говорилось много и невпопад, часто этим оправдывалась и бездарность высшего руководства, и безалаберность отдельных представителей трудового народа. Но думается, сейчас на самом деле можно говорить о великой жертве, которую Россия принесла во имя завершения эпохи социализма — то есть эпохи рабства.

Нас учили в школе, что рабовладение сменяется феодализмом, дальше идет капитализм, и — прогресс неодолим! — наступает социализм как первая фаза коммунизма. Сдается, все как раз наоборот. **Социализм — это арьергардный бой рабовладения.** Россия этот бой выиграла — ценою себя. Никто не выбирал Россию в жертвы, никто специально не старался, чтобы страшный испытательный полигон был построен именно у нас. Можно исписать тома и тома, доказывая историческую обусловленность происшедшего, но все сведется к формуле случая — так стасовалось и так выпало в исторической колоде. Никто не виноват. Но все равно больно.

Вторая же причина тоньше и глубже. Дело в том, что «великая идея» взята отнюдь

не с потолка. Она есть лишь гипертрофирование, своего рода обожествление перераспределительной функции государства. Европейская социальная конструкция пронизывалась как бы двумя арматурными плоскостями: этикой отношения государства к подданным и этикой взаимоотношения людей между собою. Первая плоскость так или иначе, где грубее, а где незаметнее, сводится все к той же редистрибуции. Проще говоря, к отъему средств у одного дабы передать другому, во имя снятия излишних социальных напряжений или для выполнения общегосударственных задач. Это этика равенства. Во второй плоскости, там, где люди стараются притереться друг к другу в повседневной жизни, регулятором служит иудео-христианская мораль — заповеди Моисеевы и евангельское правило: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Матф., VII. 12). Другими словами — этика братства. Таким образом, сформулированный Конст. Леонтьевым идеал, согласно которому законы должны быть строже, а люди — добрее, есть, по существу, краткая характеристика этических плоскостей европейской социальной конструкции.

Сейчас эта конструкция испытывает сильнейший кризис. Страшные события XX века — гитлеровские и сталинские массовые преступления против человечества — показали, что мораль ветхозаветных заповедей и «Золотого правила» более не может служить практическим регулятором межчеловеческих взаимоотношений. Количество жертв было чудовищным — но и количество палачей превосходило все возможные представления о масштабах греха. Некогда могучая и вдохновляющая идея братства после Бабьего Яра и колымских лагерей превратилась в увечную нищенку, достойную лишь сострадания.

Что же касается идеи равенства, в свое время тоже бодрой и зовущей, то после свершившегося на наших глазах краха социализма она обнаружила перед всем миром свое разбойничье естество. Это не могло не сказаться на отношении людей к любым попыткам государственного вмешательства в их жизнь.

Кирпичное здание, даже если удалить из него металлические крепежные балки, может еще долго стоять — именно за счет большого количества сцементированных кирпичей. Многообразие форм европейской жизни, буржуазная «приватность», бесчисленное количество традиционных групп и объединений граждан — все это позволяет сохранить европейскую гражданскую идентичность даже в случае разрушения стержневых социальных идей — справедливого государства и доброго соседа. Иное дело мы. Безнадежная социальная однородность нашего общества, достигнутая в результате репрессивного перемалывания народа в население, не позволяет человеку, утратившему некую большую жизненную опору (например, веру в социализм или в людскую доброту), найти себе опору малую. Опереться на политических единомышленников очень трудно — у нас эта система только-только устраивается. Заняться делом? В условиях распадающейся государственной экономики это либо глупо, либо рискованно. В любом случае приходится опираться прежде всего на себя самого — а это труднее всего.

Потому что это — свобода, пришедшая, наконец, на смену равенству и братству.

Найти себя в свободе — это значит духовно построить себя из себя самого, не кредитуясь ни у государства, ни у очередной «руководящей и направляющей силы», ни у крови или почвы, ни даже у самой Родины.

Легенды и мифы жителей Рутении

На монументе в центре независимой Риги начертано «Отечество и Свобода» («Отечеству и Свободе», в дательном падеже, чтоб не упрекнули в неточности). Такой же девиз был у Кубы до прихода Фиделя Кастро — теперь жители последнего оплота социализма (интересно, доживет ли оплот до января 1992 года?) скандируют — «Родина или смерть!» Мутация вполне закономерная. А на гербе швейцарского кантона Во сияют те же самые священные слова — но в другой последовательности: «Свобода и Родина». Здесь от перемены слагаемых меняется все, меняется и человеческое содержание лозунга, и политические перспективы страны, избравшей тот или иной вариант. Тут вспоминается старинная английская баллада, где рыцарь, признаваясь даме в любви, говорит, что сильнее ее он любит только честь, честь ему и хвала! Стоит только поставить честь на второе место, как тут же прекрасная дама станет жертвой массы приходящих обстоя-

Человек, отстаивающий свою личную свободу, понимаемую как главную жизненную ценность, отстоит и Родину. Но если Родина лишила человека личной свободы, то он предаст ее при первом удобном случае, и долго надо будет взвешивать камень на ладони, прежде чем кинуть его вслед перебежчику.

Одна из основных мифологем национал-фундаменталистского сознания гласит, что Родина (Россия) без нас обойдется, а мы без Родины — никогда. Тем самым создается довольно удобный путь самоотжествления личности с прекрасной, великой и могучей страной. «Гордое чувство сопричастности...» — не хочется повторять всю эту псевдопатриотическую фразеологию, придуманную специально для того, чтобы прекратить естественные вопросы — действительно ли эта страна прекрасна? Насколько она велика? В самом ли деле могущественна? И главное — а существует ли она на сегодняшний день как страна, то самое единство территории, экономики и власти, единый субъект мировой политики?

Впрочем, дело не в этом. Отсутствие вышеперечисленных признаков страны — это не вина России, а беда Рутении. Тут нет поводов для злорадства, как и особых причин для гордости. Хочется, однако, думать, что люди, на нищих просторах Рутении создающие миф о великой и могучей России, действуют все же из добрых побуждений. Но дело, повторяю, не в этом. Честное и последовательное продумывание консервативного тезиса о личной свободе как высшей ценности, приводит нас к прямо противоположному выводу. Мы без Родины проживем, она же без нас — никогда. Существуют тысячи способов сохранить свою личность, свою самоидентичность вне зависимости от места проживания, от степени разрыва с народом, государством, страной. Лучший пример — эмиграция. Правда, для большинства стран и народов эмиграция есть проблема рутинная (приехал-уехал, никого не предавая, ни с чем и ни с кем не порывая), а для нас — все еще судьбоносная, но тем лучше для дальнейшего хода рассуждений. Разве Бунин и Набоков не русские писатели? Разве они не более русские, чем их современники-соцреалисты? Да, они тосковали по России — но не вернулись, хотя имели к этому все возможности. Неужели они были так неумны или идеологически зашорены, что отождествляли страну с режимом? Просто они оберегали свою личную свободу — главный элемент творчества (на что указывал А. П. Чехов в рассказе «Скучная история»).

А теперь попробуем представить себе страну — хотя бы и Россию — без населяющих ее людей. Просто щедринская сатира получается про барина, что решил избавиться от своих нерадивых мужиков... Так что не проживет Россия без нас, без нас она превратится в дикое поле. К слову, уже начинает превращаться, если вспомнить масштабы эмиграции.

Сразу слышу возражения, что речь шла не о географической России, а о народе, о едином народном теле и его традициях, прежде всего об общинности, артельности, соборности... Отвечу кратко — если мой народ захочет отнять у меня мою личную свободу, то я ее все равно не отдам.

Но даже самые убежденные государственники в условиях распада русско-советской империи начали понимать, что отождествление русского человека с Россией стало весьма проблематичным.

Создаются новые и новые мифы, призванные зафиксировать новую русскую идентичность. Например, миф о русских и русскоязычных. Термин «русскоязычный» смешон хотя бы потому, что самих русских объединяет хоть в какое-то целое именно русскоязычие, и более, пожалуй, ничего. Говорить о тайном чувстве крови, о старинных обрядах или традиционном бытовом навыке? Еще в 1899 году Д. Анучин писал, что среди русских «встречаются самые разнообразнейшие комбинации величины роста, ширины головы и цветности, свидетельствующие о значительной смешанности типов». Таким образом, проблема чистокровности полностью снимается антропологической чересполосицей Великороссии. Что же касается этнографических особенностей, то Д. Анучин тогда же отмечал, что «кроме наречий, великорусское население разных местностей представляет отличия и в физическом типе, а равно в подробностях быта, устройстве жилья, женском костюме, развитии тех или иных промыслов, сохранении старинных в быту, поверьях, произведениях народной словесности и т. д.» И это прекрасно, потому что чистокровность ведет к физическому вырождению, а культурная замкнутость — к истощению духовных сил народа... Ситуация антрополого-этнографического разнообразия была зафиксирована более ста лет назад — а теперь, после великих народных движений XX

века, можно ли в принципе говорить об этнической определенности русских? И вообще, может ли остаться этнически определенным столь многочисленный народ, живущий на таком гигантском пространстве?

Но и неопределенность тоже, наверное, не может длиться слишком долго. Все решится в ходе будущего этногенеза, но как именно — предсказать невозможно. Так что пока уместнее всего называть русским того, кто говорит по-русски и сам считает себя таковым. А считать дольки в родословных — последнее дело. Этим мы, кстати, оскорбляем русских монархов. В течение более чем полутора столетия Россией правила Гольштейн-Готторпская ветвь династии Романовых. В последнем русском царе была 1/128 (одна двадцатьвосьмая) доля русской крови. Русскоязычный царь?

Следующий миф — русское православие, как еще один путь национальной идентичности русских. Все чаще и чаще слышатся речи, что русский человек должен быть непременно православным и что вообще это чуть ли не синонимы. Воля ваша, но здесь какой-то иудаизм, неразличение народа и религии. Впрочем, православие с его разделением на поместные автокефальные церкви, с его неприятием всеобщности, вселенскости (католичности, если угодно) всегда обнаруживало тенденцию стать религией крови и почвы. В словосочетании «православный христианин» надо бы акцентировать «христианин», а акцентируется «православный» — причем, «христианин» часто опускается, как вроде бы само собою разумеющееся. «Народ и его церковь — одно, — писал Розанов. — И только у русских это *одно*». Ну, почему же только у русских? У иудеев тоже.

Может быть, русский антисемитизм, помимо прочего, замешан на плохо осознаваемой религиозной зависти к точно такому же «народу-богоносцу», сохранившему и Бога, и Закон, и даже антропологический тип? Во всяком случае идея единой религии, недопущения смешанных браков, тщательного сохранения старых обычаев — идея чисто иудейская.

Русские, даже самые рьяные монархисты, даже самые истовые православные христиане, всегда одевались по моде своего времени. Теперешняя униформа национал-патриотов (полусолдатские-полуказацкие френчи, черные шинели и т. п.) — это попытка создать национально-религиозную одежду типа сикхской чалмы, мусульманского бурнуса или хасидской шляпы.

Что же касается глубокой приверженности русского человека православию... В 1917 году и позднее рушил церкви и убивал священников — или, по крайней мере, допускал это — тот самый русский человек, которого в ходе нынешней православизации России подверстывают под церковь, как раньше подверстывали под партию, под социализм, под «общество воинствующих безбожников». Трагедия русской православной церкви, пережитая ею в первые послереволюционные годы, не тогда началась. Наверное, все началось с убийства митрополита Филиппа Кольчева по приказу Ивана IV. Это был последний независимый иерарх, обличитель власти. Далее церковь превращалась в государственное учреждение. Петр поставил над Синодом штатского обер-прокурора, и все завершилось декларацией митрополита Сергия о сотрудничестве с Советской властью. Конечно, эта декларация была (надо верить) нужна — нельзя же, в самом деле, увести в катакомбы миллионы верующих.

Но вспоминается, например, епископ Клеманс фон Галлен. В нацистской Германии он со своей кафедры о б л и ч а л н а ц и з м, и Гитлер не смел его тронуть — таков был его авторитет в стране и в мире. Назовите мне русского православного иерарха, который бы со своей кафедры обличал хотя бы Брежнева — да чтоб Брежнев при этом, боясь народного ропота, не смел его тронуть.

Это не упрек, разумеется. Просто надо помнить, что для духовного лидерства одного лишь духовного сана недостаточно.

Мощная экспансия православия заставляет тревожиться, не займет ли церковь вакантное место «руководящей и направляющей силы нашего общества», или, того более, не превратится ли она в жестко организованный ГлавПУР новой Империи. Но скорее всего Русскую православную церковь ждут еще многие «расколы и нестроения». Уже сейчас у нее появились такие серьезные внутренние конкуренты, как Зарубежная и Катакомбная церкви. Не исключено поэтому, что в обозримом будущем русская церковная жизнь будет представлять собою достаточно пестрый ковер различных православных толков, сект и деноминаций в переплетении со всем спектром известных в мире религий.

Новая империя?

В конце августа — начале сентября 1991 года наша страна, до того момента еще называемая по инерции Советским Союзом, вступила в завершающую стадию постимперского развития. Суверенитет одних республик и официальный выход из Союза других был официально признан. Главной, таким образом, характеристикой постимперского процесса является выделение из состава империи прежде включенных в нее государственных образований или формирование на ее территории новых государств. Но в условиях этнократической империи, которой являлся СССР, состоявший из равноправных, равноправных национально-территориальных образований, что осложнялось этнически перемешанным населением практически на всей территории, обретение национально-государственного суверенитета приобрело характер цепной реакции. В особом положении оказались около 25 миллионов русских (точнее, русскоязычных), живущих на территориях ныне независимых республик. Бывший «имперский народ» оказался в положении национального меньшинства, которому к тому же вольно или невольно мстили за его «имперское» прошлое.

Сейчас дальнейшее решение «русского вопроса» в новосозданных суверенных государствах зависит прежде всего от позиции России. Примет ли Россия обязательство защищать русскоязычных?

Жители, например, молдавского Приднестровья не верят в подобную защиту и добиваются суверенитета на узкой полоске земли своего традиционного обитания. Другие — ждут.

Но надо сказать, что сама Россия находится в крайне сложном положении. Ведь и после обретения собственного суверенитета она продолжает оставаться империей — разумеется, в узком, политологическом смысле слова. На ее территории (точно так же, как раньше союзные республики на территории бывшего СССР) находятся формально независимые, а по существу подчиненные ей национально-территориальные образования. Дело осложняется тем, что Россия в нынешних границах — то есть в границах РСФСР — это монструозное, никогда в политической реальности не существовавшее образование. Границы нынешней России в малой мере отражают этнические размежевания или экономические разграничения. Отсюда, наверное, родилось печально знаменитое заявление пресс-бюро президента России о возможных территориальных претензиях, которые Россия может предъявить республикам, коль скоро они откажутся от тесного союза. Заявление, разумеется, было спешно денонсировано — однако слово не воробей. С этого момента перед Россией открылись два пути.

Если Россия будет продолжать идти постимперским курсом, то главная ее забота — так или иначе, идя на какие угодно территориальные и экономические жертвы, выделить из своего состава деклариовавшие свою независимость республики. Далее, возможно, России придется воссоздаваться на историческом пространстве, очерченном границами Прибалтийских стран, Белоруссии и Украины на западе, и рубежами республик Поволжья — на востоке, имея выходы ко всем шести морям (через порты Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Ростова, Новороссийска и Астрахани). При этом будут существовать Уральская Республика, Сибирская, Дальневосточная Республика и, возможно, некоторые другие преимущественно русскоязычные государства.

Именно в этих условиях, как мне представляется, нынешняя Рутения быстрее всего вернет себе право называться Россией во всей исторической звучности этого имени, а население ее обретет качество народа.

Мне приходилось слышать такое рассуждение. В татаро-монгольском иге, в сущности, ничего страшного не было — вся история Европы полна подобными ситуациями, а что касается Англии, то там норманское иго, установленное в 1066 году, не свергнуто до сих пор. Роковая роль татар — в другом. Зачем они сдали Казань Ивану Грозному, почему пустили русских за Волгу? С той поры для России началась до сих пор не закончившаяся пора экстенсивной экономики. А случись в XVI веке по-другому — на западе Литва, на востоке Татарское ханство — тогда бы работали на своей земле, не заглядывая за горизонт, как швейцарцы. И к XX веку жили бы не хуже тех, стиснутых со всех сторон... Так что сейчас у России есть уникальная возможность осуществить нерасчетливо отброшенный сценарий политического и экономического развития.

Но как бы то ни было, постимперский путь России обрекает «внероссийских русских» на весьма тяжелую судьбу. Или им оставаться угнетаемыми, «отмщеваемыми»

меньшинствами на теперь уже чужой земле, или эмигрировать в новые русские республики, теперь уже не такие бескрайние, как прежняя Россия — РСФСР, или же пойти по пути приднестровцев, начинать вооруженную борьбу во имя создания мини-русских анклавов? Ужасный выбор...

И поэтому Россия, скорее всего, двинется по неоимперскому пути. «Мы хотим, чтобы Россия консолидировала другие республики», — заявил Ельцин в телеинтервью 07.09.1991. Разумеется, эвентуальное Российское Содружество будет по форме значительно более мягким, чем СССР — но, как мне представляется, с одной особенностью. С помощью специальных механизмов гражданства русскоязычное население, живущее в суверенных государствах, станет гарантом сохранения конфедерации.

Разумеется, такое развитие событий поначалу вызовет достаточно резкий протест, особенно среди тех народов, которые в результате всех перипетий останутся как бы «при своих», сохранив статус автономных образований внутри того или иного суверенного государства. Но я не думаю, что все вернется на круги своя. Наоборот, сколько-нибудь интенсивный экономический рост минимизирует националистические проявления. Мы должны понимать, что в СССР национально-освободительная война является лишь этапом борьбы народов против социализма. Поэтому можно надеяться, что «новая империя», развиваясь на принципах либеральной экономики, достаточно скоро утратит имперские признаки, превратившись в Содружество государств, спаянное взаимной выгодой и древней традицией.

Но это произойдет не раньше, чем Рутения станет Россией.

Л. Зотова

Т. Никитина

Братья по разуму

**Результаты социологического исследования,
проведенного среди читателей журнала «ДН»**

Опубликовав в декабре 1990 года анкету «Национальный вопрос и общественное мнение», журнал «Дружба народов» хотел лучше представить себе наиболее активную аудиторию: ее географию, уровень образования, профессиональный и социально-демографический состав.

Было очень важно узнать, в какой мере журнал отвечает их требованиям, какие из опубликованных материалов показались наиболее интересными.

Мы получили 729 ответов, которые были обработаны на ЭВМ в Центре изучения общественного мнения МГУ им. Ломоносова. Письма пришли из подавляющего большинства регионов страны, из всех союзных республик, поэтому можно сказать, что аудитория наших читателей охватывает весь Советский Союз, каким он был в недавнем прошлом. При этом наибольшее количество писем отправлено из Европейской части РСФСР (без Москвы и Ленинграда), на втором месте Украина, на третьем Москва; наименьшее — из Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана.

Второй важный штрих к портрету нашего читателя: среди участников анкеты оказалось 53% мужчин и 47% женщин. Учитывая, что женщин в нашей стране больше, чем мужчин, и что традиционно они охотнее отвечают на опросы прессы, мы должны констатировать, что мужчины — читатели нашего журнала, видимо, больше заинтересованы в проблематике исследования.

О возрастных характеристиках участников опроса. Самому младшему — 15 лет, самому старшему 97.

Представлены все возрастные группы, при этом распределение респондентов по возрастам выглядит так:

15—20 лет	7,3%
21—30	17,2%
31—40	22,7%
41—50	18,2%
51—60	22,2%
61 и старше	12,2%

Очень высоким оказался уровень образования ответивших на анкету: более 75% имеют высшее и незаконченное высшее образование.

Портрет читателя, проявившего заинтересованность в опросе, был бы не полным, если бы мы не сказали, что среди них есть школьники и студенты, рабочие и журналисты, работники сферы образования и военнослужащие. Наибольшую активность проявили инженеры, научные работники и учащиеся — вместе они составляют 40% от числа всех ответивших на вопросы анкеты.

Социальная и демографическая структура участников опроса не совпадает со структурой нашего общества, но позволяет судить о позиции активных читателей журнала «Дружба народов».

Какова же их позиция?

В первом пункте анкеты было предложено выразить свое отношение к национальным движениям в СССР. Более половины респондентов стоят на крайних позициях:

34,8% считают, что национальные движения отвлекают людей от решения реальных проблем сегодняшнего дня;

28,1% разделяют мнение, что национальные движения — та сила, которая сможет добиться решения острейших проблем общества.

В сумме их число составляет около 63%

В то же время значительное число читателей (36,8%) полагают, что к оценке национальных движений надо подходить дифференцированно и что невозможно дать им всем общую оценку. Обращает на себя внимание тот факт, что в наибольшей степени такой дифференцированный подход свойствен молодым читателям, до 30 лет. 47,1% таких читателей считают невозможной однозначную оценку национальных движений. Наиболее положительное отношение к национальным движениям у людей среднего возраста — 34,2%. Наиболее негативное — у старшего поколения — 56,2%

Просматривается связь между родом занятий отвечающего и его позицией по этому вопросу: резко отрицательно относятся к национальным движениям военнослужащие (77,8%), большинство пенсионеров (54,1%), партийные, профсоюзные, комсомольские работники и домохозяйки (в каждой группе по 50%). И наоборот, считают однозначную оценку невозможной журналисты (100%) и кооператоры (75%).

Существует и зависимость оценки от уровня образования респондента: чем ниже образование, тем более категорично мнение группы.

В ответе на второй вопрос анкеты, о причинах национальных волнений, было предложено выбрать 3 из 9 перечисленных вариантов ответов. Оценки распределились следующим образом:

- процесс демократизации обнажил нерешенность национального вопроса в стране — 60,2%;
- политика «центра» ущемляет интересы народов, что вызывает активное противодействие на местах — 52,3%;
- активизировались силы, заинтересованные в нестабильности — 33,1%;
- дефицит продуктов и товаров озлобляет людей и толкает их на поиски «врагов» — 30,7%;
- коррумпированные элементы пытаются отвлечь внимание людей от своей деятельности — 23,7%;
- виновато местное руководство, которое занято своими «аппаратными» делами — 19,8%;
- это издержки становления национального самосознания — 19,5%;
- многие просто не хотят работать и находят удобный повод для этого — 5,2%;
- большое количество свободного времени, которое невозможно ничем занять — 0,6%.

(Сумма процентов более 100, так как респонденты имели возможность выбрать более одного варианта ответа.)

Из приведенной статистики видно, что более половины ответивших на вопросы анкеты основной причиной национальных волнений и конфликтных ситуаций считают нерешенность национального вопроса в нашей стране. Только самые пожилые респонденты (60 и более лет) ставят на первое место среди причин национальных конфликтов деятельность коррумпированных элементов, пытающихся отвлечь внимание людей от своей деятельности. В то же время лишь молодые респонденты (до 30 лет) выделяют в качестве одной из самых главных причин национальных волнений отсутствие продуктов и товаров на прилавках магазинов, что озлобляет людей и толкает на поиски врагов.

Два этих взгляда сближает то, что национальный фактор рассматривается в них как несамостоятельный элемент. В первом случае коррумпированные элементы используют национальный флаг лишь как ширму для сокрытия своих истинных интересов, кстати, часто идущих вразрез с национальными. Во втором — нерешенность экономических вопросов толкает людей на поиск виноватых среди представителей других национальностей и в конце концов приводит под знамена национальных движений. Видимо, в этих точках зрения выразилась недооценка сложности и противоречивости собственно национальных процессов.

В анкете содержались и вопросы, позволяющие конкретизировать положение о нерешенности национального вопроса. Если в оценке политики «центра», ущемляющей интересы народов, респонденты из национальных республик достаточно единодушны, то только жители Ленинграда, Латвии и Армении выделяют в качестве существенной причины роста национальных волнений издержки становления национального самосознания. На эту причину указывают журналисты, кооператоры и медицинские работники из перечисленных регионов. А ведь преодоление неравенства наций в экономической, политической, социальной и духовной сферах должно быть постоянным и повсеместным

процессом в стране, где стартовые условия развития наций были столь различны, как в СССР.

Ответы на второй вопрос анкеты дают нам представление об оценке причин роста национальных движений в нашей стране уже в годы перестройки. Участники анкеты справедливо связывают их с глубиной и масштабностью деформаций и проблем в сфере межнациональных отношений, накопившихся за долгие годы тоталитарного режима. Следует отметить определенную абсолютизацию специфического опыта советской действительности и вследствие этого некоторую узость в понимании причин происходящего. То, что национальное возрождение народов нашей страны является также отражением глобальных тенденций общественного развития многонациональных государств, свойственных всему современному миру, то, что всплеск национального самосознания в мире вызван сопротивлением нивелирующему воздействию современных технологий и моделей образа жизни, угрожающих сохранению национальной самобытности и культурных традиций в читательских ответах не отмечается. Между тем, недооценка этих общецивилизационных тенденций едва ли может способствовать радикальному решению национальных проблем.

Ответы на третий вопрос анкеты весьма пессимистичны:

— национальные волнения будут продолжаться долгие годы — считают 65,6% участников;

— национальные волнения скоро прекратятся — 14,2%;

— затрудняются ответить на этот вопрос — 20,2%.

Анализируя ответы, касающиеся национально-территориального деления СССР, можно отметить, что значительное большинство читателей (61,7%) взвешенно оценивают состояние и перспективы изменения национально-территориального деления нашей страны. Однако высок процент (17,9) «радикалов», которые считают, что существующее деление требует немедленного изменения. Эта позиция достаточно симптоматична.

Оценивая работу Съезда народных депутатов СССР, большинство респондентов (72,6%) считают, что Съезд не оказал никакого влияния на решение национальных проблем. Если к их числу прибавить более одной пятой читателей, которые затрудняются дать однозначный ответ, то предстает весьма красноречивая картина. Эйфория в отношении Съезда сменилась устойчивой тенденцией скептического отношения к высшему органу власти нашей страны.

Приятно отметить, что публикации журнала по вопросам национального развития отвечают, как выяснилось, интересам и требованиям читателей. Так среди тем, которые должны наиболее активно обсуждаться на страницах журнала, читатели называют следующие:

вопросы национальной культуры и языка — 50,2%

воспитание культуры межнационального общения — 44,4%

борьба с национализмом и шовинизмом — 39,2%

А вот как выглядит список тем, которым журнал, с точки зрения респондентов, уделяет наибольшее внимание:

вопросы национальной культуры и языка — 51,3%

воспитание культуры межнационального общения — 38,2%

борьба с национализмом и шовинизмом — 31,5%

(В обоих списках сумма процентов больше 100, так как респонденты могли выбрать более одного варианта ответа.)

Наиболее значительными публикациями журнала, посвященными национальным процессам, по мнению участвовавших в анкете читателей, стали: «Причины и следствия» Т. Пулатова, «Тяжба о России» Г. Федотова, «Христианство и антисемитизм» Н. Бердяева. Но больше всего голосов собрал круглый стол «Русская культура на перекрестке мнений».

Эта информация о читательских мнениях и требованиях была чрезвычайно полезна редакции. Надеемся, что и читателям будет интересно сопоставить свою точку зрения с той, более или менее типичной, которая нашла отражение в результатах этого социологического исследования.

Юрий Калещук

Соседи по разуму

Попытка комментария

к ответам 34,8% респондентов анкеты «ДН»

Пятая печать

Конечно, собственность больше не кража, только и мы давно уже не братья.

Грузинский писатель Чабуа Амирэджиби как-то рассказывал:

— Тетка моя, когда ее уплотнили, сделал из родового княжеского гнезда огромную коммуналку, недоумевала: «Я понимаю, Чабуа: революция уничтожает класс дворян. Но зачем она создает класс соседей?»

Лет двадцать назад Чабуа Амирэджиби отправил в победоносное шествие по книжному свету своего неукротимого абрага Дата Туташиа. И с той поры медленно и упрямо пишет новый роман, который терпеливо ждут в редакциях по меньшей мере трех московских журналов.

Недавно имя писателя было помянуто всуе.

— Почему вас не поддерживает интеллигенция? — спросили бывшего правозащитника, тонкого знатока европейской поэзии, полиглота и демократа — я имею в виду нынешнего правителя Грузии.

Звиад Гамсахурдия был прост как правда. Пожалуй, даже проще:

— Это предатели грузинского народа. Это агенты КГБ. Они долго кормились из имперских рук. Защищая империю, они защищают себя.

И назвал несколько особенно ненавистных ему имен. Среди них — имя Чабуа Амирэджиби.

Амирэджиби и впрямь долго кормился из имперских рук — лет двадцать, не меньше: такой срок отмотал он в лагерях и ссылках — за княжеское происхождение да еще за три побега впридачу.

Возможно, тут и следовало бы поставить точку: о чем толковать, коль они сами с собой разобраться не могут?

Год назад 34,8% респондентов считали, что национальные движения отвлекают людей от решения реальных проблем сегодняшнего дня.

Два года назад, на I Съезде народных депутатов СССР, так считало подавляющее большинство народных избранников, включая левых, правых, центровых и полусредних.

34,8% респондентов анкеты «ДН» высказали свою точку зрения, но государственных решений они не принимали и принять не могли.

Депутаты — могли, но у них нашлись дела поважнее. Ау, где вы теперь? Извините. Мне совершенно другая история вспомнилась. Грубоватая, быть может, но уж не обессудьте.

Было это зимой, работал я тогда в нефтеразведке, на севере полуострова Ямал. Но про бурение не буду. Я вам лучше расскажу, как мы сортиры строили. Вечная мерзлота: яму выроешь — она тут же оплывает. Потому приспособились использовать по новому назначению 5-тонные контейнеры, в которых химреагенты привозили. Над контейнером — шалашик из подручного материала, а в него трап ведет.

Как-то прилетел к нам вертолет, долго примеривался сесть, кружил, мостился, поднимая вихрами тучи снежного крошева. Наконец сел, выключил двигатель, снежная пелена опала, и тогда открылась такая картина, что позабыть ее невозможно: ветер снес

хлипкий шалашик, но наш собрат, застигнутый о-о-очень большой нуждой, продолжал сидеть на контейнере, как на пьедестале.

Боюсь, что мы несколько подзадержались в этой неудобной позе. Снесло не только шалашик. Изменилась не карта мира, изменились условия нашего существования.

Довольно уповать на неисчислимость природных ресурсов, они исчислимы и конечны; хватит надеяться на программы социальной защиты, они несостоятельны не только по причине ущербности госбюджета, но и в силу традиционных математических предпочтений нашего несчастного бытия, где в ходу только два действия — отнять и разделить; страна превратилась в гигантскую свалку отходов и вкладов, кладбище надежд и идей, ристалище тщеславий и экспериментов; хватит бороться — пора начинать жить; довольно подсчитывать потери — мы потеряем еще больше, если не излечимся от косоглазия зависти и лжи.

Наверное, два года назад еще был возможен иной исход — я не принадлежу к числу тех, для кого чем хуже, тем лучше, для кого самым радикальным средством борьбы с тараканами тоталитаризма оказался поджог собственного дома: паразиты разбежались, а мы щурим глаза, вглядываясь в тлеющие головешки; те два года уже прошли и перестраивать нам нечего — надо строить.

Не спешите записывать и те 56,2% респондентов, заявивших о своем негативном отношении к национальным движениям, во враги общества и не торопитесь заносить их в списки личных врагов: если бы исследование учитывало особой строкой мнение некоренного населения национальных республик, результат мог оказаться и покруче. Удобный на митинге расклад «демократы — большевики» в обыденной жизни не состоятелен. Нет нам равных в изобретательности, с какой отыскиваются враги, и боюсь, что пока не существующий, но предлагаемый мною термин «*фобофилия*» имеет шанс стать названием и а с е г о социального заболевания. Помнится, Маркел, дворовый человек семьи Громеко, мелькающий в отдалении от главных событий романа «Доктор Живаго», подобострастный холуй, ставший при большевиках каким-то мелким начальником, «не жаловался, что бывшие домовладельцы Громеко пьют его кровь, но задним числом упрекал их в том, что все прошедшие годы они держали его в темноте неведения, намеренно скрывая от него происхождение мира от обезьяны». Только что с Маркела возьмешь — холуй он и в Африке холуй. Но когда лидеры национальных движений объясняют все беды своего народа происками народа чужого, чуждого, пришлого, когда они объявляют себя любимыми сыновьями истории, а людей, чьи этнические признаки не совпадают с разрезом глаз, цветом волос или языковым строем избранных судьбы, трактуют пасынками, подкидышами да и просто ублюдками, становятся неуютно. Еще неуютнее оттого, что это называется ростками демократии на бетоне тоталитаризма. Что ж — привет: приплыли. Оскорбление равнодушием растерянного «центра», мираж остановленного времени, в который уверовали младозаконотворцы из новых властных структур, языческая вера в совпадение слова и понятия — эти условия определили путь некоренного населения от раздражительного неприятия идей национального радикализма к яростной защите «нерушимого Союза» как единственного гаранта их попираемых прав, и я, между прочим, до сих пор не знаю, каким будет этот право-защитный механизм, я знаю только, что в нашей стране каждый день кого-нибудь убивают.

«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голо-сом, говоря: доколе. Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?... И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число...»

Господи, разве мы оставлены лишь затем, чтобы дополнить число?

Ждите ответа.

«Что вы так набросились на социализм? — еще совсем недавно укорял генеральный президент. — Ведь при настоящем социализме мы еще не жили...»

Ждите ответа.

«Что вы так набросились на рынок? — пеняет независимый экономист независимому журналисту. — Ведь при настоящем рынке мы еще не жили...»

Ждите ответа.

До чего неистребима в нас наивная вера, что все образуется — повезло бы только найти, отыскать, вымолить заветное слово. Как бы оно ни звучало: Социализм, Рынок, Бог, Царь, Герой, Брокер, Дилер.

Но странное дело: любые общепринятые слова, попадая в наш обиход, немедленно ошестиваются неведомым прежде смыслом. Меняем лампочку Ильича на лампочку Эдисона — искрит, переделываем рельсы на европейский манер — поезда летят под откос, заводим бизнесменов — получаем рвачей, создаем налоговую службу — плодим госвятоточников, выбираем жизнь — ускоряем смерть.

И когда я пошел на брата,
и дороги когда развезло —
я увидел Добро и Зло;
они вместе бежали куда-то...
И тогда я услышал:
«Эй ты!
Видишь там, на бугре,
земляника?»
И оглох я от этого крика.
И ослеп.
И умер.
Как ты...¹

Американские ученые раскопали где-то в дебрях Галактики планету, которая по всем параметрам, кроме размеров, напоминает Землю. Предполагают, что там есть жизнь. Предполагают, что планету населяют наши братья по разуму.

Советские ученые скептически отнеслись к заморской гипотезе.

А я думаю: зачем перестраховываться? Неведомая планета далеко, какие мы, там еще не знают.

Другая страна

Эти два слова повторяют сегодня чаще других.

«Мы проснулись в другой стране...»

«Президент вернулся в другую страну...»

«Он^и будут иметь дело с другой страной...»

Неправда это. Самообман.

Без малого 74 года назад забрели Захар Павлович и Саша в казенный дом, где помещались тогда все партии, и каждая считала себя лучше всех.

«За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

— Ты что? — спросил он у Захара Павловича.

— Хотем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?

— Социализм, что ль? — не понял человек. — Через год. Сегодня только учреждения занимаем».

Сегодня «партия с самым длинным названием» приказала долго жить, но, как говорится, дело ее живет — любимым занятием современников остается захват учреждений, обряд назначений и вечные праздники переименований: Ленинград назван Санкт-Петербургом, ПТУ — лицеем, а бройлерный цыпленок двуглавым орлом. Газеты озабоченно считают и пересчитывают партийную казну, читатели мысленно делят ее, независимые лидеры независимых государств клянутся в верности единому экономическому пространству и буднично ладят таможенные заборы, исчезает разменная монета и печатаются купюры то ли достоинством, то ли убожеством в полтыщи рублей, карманник-жизнелюб Павлов играет сам с собой в ап-энд-даун, новые врачеватели отечественной

¹ Стихи Александра Орлова.

экономики деловито готовят скальпели, ланцеты, зажимы, тампоны к очередной операции и столько холодной удали в их очах, что хочется назвать их не хирургами, а патологоанатомами — Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа, — и в сопредельных странах на всякий случай усиливают охрану границ, опасаясь лавины голодных и рабов: «разум возмущенный» уже вскипел.

И все же пока это та же страна, и мы все те же, и молитве своей не изменили: только б войны не было да с погодой повезло.

Павлов, конечно, нехороший человек, редиска, но в последовательности ему не откажешь: еще во время инаугурации запустил ручки в наши карманы и не вынимал их оттуда, пока прокуратура не вырвала его из наших рядов.

Но все наши финансовые беды не стоит валить на него, хотя и в правительстве Рыжкова он не курьером был. Однако кровь несчастного рубля лежит едва ли не на каждом из нас, как кровь жертвы на ночных пассажирах из «Убийства в «Восточном экспрессе». Но там хотя бы мстили. Там за старое преступление убивали. А за что же ополчились на рубль мы? За что мы ему мстили? За вечную свою нищету, за унижительную неспособность быть собой?

Лет пять назад, в самом начале периода, который кончился утром 19-го августа, а до этого назывался перестройкой, я был свидетелем строительства очень зрелого социализма в отдельно взятом хозрасчетном вертолетном отряде. Надвигался сезон забоя оленей, оленеводским совхозам позарез требовались борта для вывоза туш, и тут «финансисты-титаны-стойки» из вертолетного отряда решили поправить свои дела устроением тарифов.

— А вы все вегетарианцы? — поинтересовался я тогда.

— Нет. А что?

— Да не пройдет и недели, как оленеводы начнут драть шкуру не с оленей, а с вас. А заодно и с тех, кто к вашей финансовой затее никакого отношения не имеет.

Я ошибся. Суток не прошло, как вертолетчикам перекрыли вентили на заправке — тамошние кореша потребовали свою долю, прочие наземные службы от керосиновых королей не отстали, оленеводы в этом списке оказались аж во втором десятке.

Правда, такой поворот никого и ничему не научил.

И не только по той причине, что наша экономическая система такова, что едва ли не каждый производитель не без оснований мнит себя монополистом, но еще и потому, что — уже безо всяких оснований — любой думает: это не про него, это про других, дескать, нас-то за что? Возможно, кому-то и удавалось воспользоваться ситуацией или, быть может, с и ю т а ц и е й, ибо извлекалась лишь сиюминутная выгода, перечеркнутая вскоре иными потерями, да и общий итог оказался плачевным: ком бумажных денег катился по стране и, как к мокрому снегу, к нему прилипали, закатывались в него опавшие листья несостоявшихся идей, отношений, судеб.

Перед соблазном сиюминутного хапка не сумел устоять никто — предприятия, кажется, только в манипулировании ценами и углядели свою самостоятельность; объявившие себя независимыми прибалты первыми попытались вырезать из всеобщего свинства свой кусочек ветчины, одновременно повысив цены и выплаты, но, внося ощутимый вклад во вселенский хаос, уберечься от инфляции не сумели, да и не могли; предприниматели, кожей ощущая конфискационную сущность законов, пытались любой ценой умножить свой прибыль, но умножали энтропию, — помимо законов и обстоятельств, объективно способствовавших такому развитию событий, примеры эти объединены еще одной закономерностью — в просторечье она именуется совковостью. Суслов и Брежнев оказались правы — новая историческая общность «советский народ» таки существует; его отличительные черты: вера вместо знания, острые локти вместо умелых рук, абсолютное неумение и нежелание предугадывать последствия своих шагов.

Все-таки надо отдать должное строю: что-то, а человека в человеке он вытравил последовательно, вдохновенно и целеустремленно. Тоталитаризм убивал не только тех, кого убивал, он убивал и тех, кому сохранял телесную оболочку. И делал это во имя всеобщего блага. Пытаясь спланировать количество пуговиц и характер поступков, начальную скорость полета пули и направление развития мысли, он оставил за пределами жесткой, громоздкой, статичной конструкции, а значит, по существу сделал н е б ы в

ш и м, огромный пласт жизненной энергии: недаром для Фридриха фон Хайека, автора всемирно известной, но только сегодня пришедшей к нам «Дороги к рабству», ключевой является концепция рассеянного знания — именно оно, оставшееся, остающееся неузнанным при социализме, определяет самодвижение общества.

Иначе говоря, могло бы определять. Наша несвобода поступков и мыслей, наше воинственное неверие в себя умножает нашу зависимость от любого правительства — умного и глупого, хорошего и плохого, демократического или считающего себя таковым.

Горько признавать, но ведь мы сами позволили изуродовать себя безумным компрачкосам всеобщего равенства — нету его, равенства, нету, и кривое не может сделаться прямым, а то, чего нет, нельзя пересчитать. Меня всегда умиляло своей бессмысленностью выражение — первый среди равных. Это что же — примус среди чайников?

Взорванный мост

У меня создалось впечатление, что некоторые из моих коллег по ремеслу, уходя на баррикады под стены Белого дома на Красной Пресне, оставляли на своих письменных столах завещания: «Прошу считать меня секретарем Союза писателей...»

Ей-Богу, еще и баррикады на Садовом кольце не успели разобрать, как в Доме литераторов начались такие баталии, что Верещагин, наверное, умаялся бы менять холсты на подрамнике. Несколько дней подряд, сменяя друг друга, «патриоты» и «демократы» давали гала-представления.

Вот только две сценки.

День «демократов». Евтушенко, закончив чтение длинного списка, патетически восклицает:

— Они навечно запятнали себя сотрудничеством с...

Зал дружно скандирует:

— Позор! Позор! Позор!

День «патриотов». Неизвестный мне поэт пытается сообщить прозой:

— А этот Евтушенко...

Зал взрывается:

— Не произноси имени этого узурпатора!

— А как мне его называть? — растерянно произносит поэт. — В общем, этот Евтушенко...

— Нет! Не произноси этого имени! — неистовствует зал.

Так или иначе, но в Московской писательской организации сейчас то ли два, то ли три состава секретарей, и все первые, ни одного дублирующего.

Стыдоба-стыдобоушка, о ней писали достаточно и порою весьма сочувственно, а «Лит. Россия» просто-таки полномера отвела под этот скандал, полагая его спором принципов. Куда менее замеченным общественностью оказался другой конфуз — неожиданная отмена Международной книжной ярмарки, открытие которой планировалось 3 сентября.

На пресс-конференции, устроенной группой американских издателей в гостинице «Октябрьская», открылись по меньшей мере две занятных подробности этого казуса.

Одна — просто пикантная: судя по телеграммам, отправленным союзным ведомством печати, 19 августа обстановка благоприятствовала проведению ярмарки, а 27-го — стала противополоказанной.

Другая — любопытная: на ярмарке впервые должна быть представлена продукция почти ста советских независимых издательств, и это обстоятельство сильно нервировало и госиздаты, и «Межкнигу», не привыкших ни с кем делиться: «Мимо носа носят чачу, мимо рта алычу...»

На пресс-конференции преобладали иностранные участники. Немногочисленные соотечественники, рисуясь перед телекамерами, непременно сообщали о чувстве стыда, который они испытывают по случаю коварного поведения госструктур, сорвавших такое важное мероприятие.

Я слушал эти страстные монологи и не мог ответить себе вот на какой вопрос: коль именно эта ярмарка сулила независимым издателям заманчивые перспективы роста, коль она могла бы явиться мостом, надежно обеспечивающим не только культурный обмен, но и технологическое обновление нашей дряхлой и немощной полиграфической базы, то почему же инициаторами пресс-конференции да и наиболее активными ее участниками

оказались американцы, а не мы? В конце концов несколько вариантов я нашел. Это не факты, а гипотезы, но все же рискну ими поделиться.

Во-первых, привычка: против лома нет приема.

Во-вторых, тоже привычка: а нас-то за что?

В-третьих — и это, по-моему, самое существенное: в те же сроки забрезжила возможность дележки полиграфических мощностей и бумажных запасов из бывшей собственности КПСС, и сиюминутные выгоды представлялись пионерам отечественного книжного бизнеса куда более важными, нежели когдатопные результаты международного сотрудничества.

Сейчас все ревниво следят друг за другом и взвешивают шансы. Ну конечно, у прибалтов другая ментальность, большевизм не успел окончательно угробить их предпринимательские традиции, и они выплывут. А эти, со своими зелеными мандаринами, еще сами с собой должны разобраться. Ну, а мы — мы-то не пропадем: у нас нефть, газ, леса, пенька, пушнина и другие неокOLONиальные товары.

Только ментальность здесь ни при чем.

Да и большевизм мы чаще всего поминаем только для самооправдания.

Выбор

Ельцина я не выбирал.

В тот день, когда Россия выбирала своего первого президента, меня вообще не было ни в Москве, ни в России — я был в Литве, хоронил маму.

Боже, как она не хотела ложиться в литовскую землю. Хотя прожила на ней половину своей жизни — сорок два года.

Однако последний год все переиначил.

Прежде, когда я приезжал — поезд в Клайпеду приходил рано, еще не было шести утра, но мама уже ждала с завтраком, — мы неспешно пили чай с горячими пирогами, а потом садились на кухне и так же неспешно лепили пельмени: мама рассказывала клайпедские новости, а я отчитывался о своих командировках.

Но в последний год лада уже не выходило — разговор и завязаться не успевал, как тут, словно черт из табакерки, выскакивали то Горбачев, то Ландсбергис, то Ельцин.

Ельцина мама не любила.

И была не одинока в этой своей нелюбви: среди тех, кого принято трактовать русскоязычным населением национальных республик, сторонников политики Ельцина немного.

По-моему, это оттого, что считать демократическим режим, основанный на национальной идее, можно лишь при неодолимой страсти выдать желаемое за действительное.

Этой страсти хватило не только Ельцину.

А маме хватило того, что на ее глазах восторженно крушат могилы тех, кто защитил эту землю, но себя защитить уже никогда не сможет.

Должно быть, здесь не обошлось без одного российского синдрома — его я называю «синдром Степана Разина»:

я пришел дать вам волю;

я пришел дать вам землю;

я пришел дать вам небо.

Ну да: «Мы их освободили, а они...» Ага, спасибо за вашу и нашу свободу, но вот Бог, вот порог. Что ж, имеют право: чувство благодарности — это тоже рабское чувство, оно иссякает и, по математическим выкладкам Моисея, через два поколения перестает быть совсем.

Но не для нас эта еврейская арифметика с арабскими цифрами: как известно, у советских собственная гордость.

Мама моя была очень советская.

Я долго допытывался у нее: как же так вышло, что в 18-м, когда всюю бушевала гражданская война, маминого отца, моего деда, со всеми домочадцами отправили через полстраны из рязанского сельца в городок на Алтае поднимать какой-то мукомольный заводик. Мама всегда отвечала кратко, словно отрезала пельменный сочень от только что раскатанной ею колбаски теста:

— По декрету Ленина.

И терпеливо поясняла мне, великовозрастному тупице:

— Там мастеровых не хватало. Хлеба на Алтае хорошие и хлебобобы отменные, а мастеровых не хватало, мукомольные заводы стояли. Твой дед, мой папа, был мастеровым первой руки...

Посылали, говорила мама, временно, заводик наладить, — но остались навсегда: сначала бабку унес холерный год да еще прихватил моих несостоявшихся дядьев и теток. Дед дожил до глубокой старости, там и похоронен — на городском погосте Камня-на-Оби: мама с гордостью говорила мне, что на могиле деда завод поставил памятник из нержавеющей стали.

А в Клайпеде неугодные памятники продолжали сносить — только уже без шума и энтузиазма, аккуратно и с бюрократической пунктуальностью, согласно предписаниям новых городских властей.

Маршрут

Пожалуй, сейчас самым сильным демократическим увлечением является политическая эксгумация — недавно десятка полтора независимых газет устроили тусовку над разрытой могилой чилийского мученика и когдатощнего любимца отечественной печати Сальвадора Альенде.

Наверное, он был плохим экономистом.

Наверное, среди его советников оказалось слишком много зубрил — отличников боевой и политической экономии социализма.

Но у него не отнимешь чести и достоинства, не умалишь его личного мужества и не опровергнешь его любви к своему народу.

Когда он понял, что пришел час платить по своим идейным векселям, Альенде не стал призывать народ на свою защиту, постарался остаться один — только с теми, кто сам решил разделить и его заблуждения, и его последний прямой маршрут.

К началу января прошлого года положение Ландсбергиса было аховое — его политика вызывала раздражение даже у сторонников; уже могло бы прийти к власти иное, реалистическое правительство; разумеется, оно не отказалось бы даже от запятой в своей Декларации независимости, но предпочло бы другой, хотя бы эстонский, более пластичный, рационалистический и осторожный путь к цели.

Вот тогда-то и наступили три дня и три ночи Ландсбергиса — кажется, трое суток он не покидал телеэкрана, неутомимо вещал то с трибуны, то с балкона, то с каких-то мраморных ступенек — призывал народ независимой Литвы на защиту своего правительства, на которое точит зубы «восточный сосед».

Тогда-то и вылез из подполья злосчастный Комитет спасения. Мне кажется, логика этого поступка была такова: приход к власти умеренного правительства не дал бы более никаких шансов коммунистам — нужно самим спихнуть Ландсбергиса и успеть занять его место.

Нет, я всегда считал, что не надо совать пальцы в колесо Истории.

И все же, сколько бы Ландсбергис ни призывал к суду над «тайными агентами Кремля», в душе, я думаю, он благодарен своим невольным спасителям.

Только мамы у меня никогда больше не будет.

После январских событий она вдруг вспомнила, что отцовский дом в деревне Канино, в восьми верстах от станции Ухолово Рязанской железной дороги, так и не был продан — ведь уезжали временно, а потому оставили весь скарб, только ставни наспех заколотили.

И мама загорелась идеей вернуться в свою деревню, в свой дом.

Напрасно мы все — отец, сестра, брат, я — отговаривали; в стране беженцев уже под миллион, куда, столько лет прошло, либо дома давно нет, либо он переменял столько хозяев, что никто и не вспомнит, что когда-то жила здесь одиннадцатилетняя девочка Нюра.

Нет, отговорить ее было невозможно. Она принялась писать письма — в сельсовет, райсовет, облсовет, в Президиум Верховного Совета. Естественно, ниоткуда и никакого ответа мама не получила, но продолжала писать.

— Ландсбергису мы не нужны. Ельцину мы не нужны. Горбачеву мы не нужны. И мне не нужна чужая земля. Я хочу лежать в своей, — повторяла она, как молитву.

Однако похоронили ее мы в чужой земле. Присмотревшись к табличкам на соседних могилах, я вдруг обнаружил: то ли по странному совпадению, то ли по какому-то дьявольскому плану загробной селекции в этой части кладбища покоились только русские или русскоязычные усопшие.

Но еще до похорон отец сказал нам с братом:

— Заказывайте семейную могилу. На двоих. Я лягу рядом.

На поминках, как мы ни уговаривали друг друга не говорить о политике, однако все же не удержались: к программе «Время» телевизор был включен, и диктор, кривясь, будто его заставили съесть лимон вместе с кожурой, нехотя сообщил, что, по предварительным данным, на выборах президента России победил Ельцин.

Мы с братом тут же загадели, у нас давно распределены роли: я, понятно, космополит и левак, он патриот и консерватор. Отец поморщился было, а потом вдруг сказал:

— А мы с братом Андреем тоже два дня как бы по разные стороны баррикад были.

Старший брат отца Андрей, боец Первой Конной, в начале двадцатых был начальником уездной милиции, где-то на юге Тюменской области.

— Когда началось ишимское восстание, брат Андрей прискакал в Михайловку и наказал, чтоб я не высовывался. Шестнадцать мне тогда было, но я здоровый был, уже женихом считался... Едва брат за порог — снова стук в двери: повстанцы, ищут брата. Не нашли, конечно, тогда за меня взялись: конь есть? Есть, говорю. А у меня хороший конь был, Карька, я пятистенок срубил, продал и Карьку купил... Хороший конь, его потом в колхозе сгубили. Ну, а эти мне говорят: бери коня, подводу, будешь у нас повозочником, мобилизуем тебя. А шли они Ялуторовск братья. Но что-то у них там не заладилось — те, кто с ними соединиться должны были, не подошли, и эти отходить стали. Но до Михайловки не дошли, верстах в пяти на ночлег стали. Я крайний двор выбрал — внизу там речушка мелкая, если напросец, то до Михайловки рукой подать. Дружку своему, нас вместе мобилизовали, говорю: коня не распрягай. Ладно. И как стемнело, мы с ним за ворота, я лег в повозку: ну, Карька, выноси! Пальба поднялась, но мы вниз, к реке, на ту сторону — ушли. Но в Михайловке останавливаться не стали — мимо проскочили, на займку. Дня через три возвращаемся потихоньку и узнаем: брат Андрей в ту же ночь окружил повстанцев, всех порубал, а повозочников мобилизованных вывели на берег реки да и расстреляли той же ночью...

«— Каин, где брат твой Авель?»

— Разве я сторож моему брату?..»

Авель принял смерть бездетным.

Господи, да неужели мы все — дети Каина? — предположил один старый писатель.

Нет, ни два, ни четыре сменившие друг друга поколения не истребили в нас страсти к братоубийству. Красные, белые, большевики, меньшевики, демократы, монархисты, анархисты, русские, латыши, евреи, азербайджанцы, армяне... Для нас по-прежнему легкий поиск причины, по какой человеку отказывают в праве быть собой, в праве быть, обывать на земле.

Погасшая свеча

Я не знаю, я не хочу знать, кто первый начал. Но мне хочется дождаться, дожить, услышать: хватит!

Я не знаю, я не хочу знать, чья ментальность угодна Богу — литовская или татарская, русская или молдавская. Но я знаю: победителей в этом споре не будет.

Я не знаю, я не хочу знать, кто первым заселил горы, называемые азербайджанцами Карабах или армянами Арцах. Но я знаю: живая кровь, пролитая, проливаемая здесь, всего лишь холодный аргумент в далеком кабинетном споре.

Ах да, тому свидетельству языческий сенат... Три года назад я ездил по разрушенному землетрясением северу Армении. Все перепуталось, и некомо сказать, что, постепенно холодея... Все перепуталось, но повторять не сладко. На севере Армении были собраны, наверное, самые крупные строительные силы страны — одни строительные краны стояли до горизонта, как на старых «огоньковских» фотографиях выстраивали комбайны тогдашние фотопушкарки. Но дома не строились — материалы задерживались

на азербайджанских дорогах: блокада. Это было горько, но это не была вся правда — к той поре уже были выброшены из своих жилищ едва ли не в одночасье двести тысяч азербайджанцев, проживающих в Армении, но об этом как-то не было принято говорить. И это было тоже горько, но и это не была вся правда. Я не знаю, где она, вся правда. Все перепуталось, и некому сказать, что, постоянно холодея... Три года назад в ереванском доме я смотрел любительский видеофильм — армянские женщины и дети укрылись в монастыре, туда пытаются сесть вертолет, и съемка с вертолета, и глаза людей внизу, приближаясь, оживают надеждой, но вертолет сесть не может, вот он взлетает, выше — и умирают, отдаляясь, глаза. Два года назад я был в Баку, где еще не забылся свой кровавый январь, когда Советская Армия штурмом взяла этот советский город. Я стоял на Аллее Шехидов, ставшей местом последнего приюта январских жертв, и, цепenea, вчитывался в короткую эпитафию: «Убит слепым штыком». А мой спутник, мой провожатый Айдын Мамедов прошептал: «Тут перевод не точный. Надо было: «Слепой. Убит штыком».

Боже правый, какая жестокая корректура!

В Баку я приехал на международную конференцию по межнациональным отношениям, организатором которой был Азербайджанский центр художественного перевода, а душой — его председатель Айдын Мамедов.

В последний день конференции принималась Декларация о неприменении оружия против мирного населения.

Которое, как говорилось в преамбуле, уже применялось — в Тбилиси, в Баку.

— А Звартноц? — спросил я. — Аэропорт в Ереване, где впервые прозвучали выстрелы перестройки?

Айдын Мамедов цемного замаялся, но твердо сказал:

— Нет. Там армяне сами виноваты.

— Айдын, не удивляйся теперь, — в сердцах произнес я, — если вам тоже скажут: вы сами подбросили своих мертвых на улицы своих городов.

Так и сказали.

Но уже в Вильнюсе.

И с Айдыном мне не доспорить — весной он погиб в Карабахе, попал в засаду.

Когда-то — теперь кажется: давным-давно, хотя прошло всего три года — я увидел в Ереванском музее детских рисунков, собранных Генрихом Игитяном, поразившую меня акварель: среди картин, изображавших невиданных зверей и неведомые растения, рожденные детской фантазией, среди красивых принцесс и беззаботных королей притаился на маленьком рисунке человек с закутанным шарфом лицом — в руках он держал автомат Калашникова. То был рисунок палестинской девочки, то был зрительный образ ее мира.

Но с той поры в разных местах своей страны я видел изуродованные трупы взрослых и детей — то были жертвы так называемых межэтнических конфликтов, которые честнее было бы назвать медленным самоубийством.

Однако Армения дала мне еще одно зрительное воспоминание.

Есть под Ленинаканом, который теперь снова называется Кумайри, деревушка Джаджур — я приехал туда в музей Минаса Аветисяна.

Джаджур и музей Минаса землетрясение не пощадил.

Картины, правда, удалось спасти, их перевозили из города в город, я никак не поспевал за ними, пока не настиг наконец в Раздане.

И тогда наконец понял, почему все два месяца поездок по Армении я, словно голос мне был, упорно стремился увидеть неведомое мне прежде собрание полотен Минаса.

Я понял, что искал именно ее, едва лишь увидел, — маленькая картина в самом углу зала: вечер в горном селенье, женщина выходит из дома, прикрывая ладонью свечу.

Долго мне вспоминалась эта свеча и долго теплилась надежда.

И все же свеча погасла — ее не ветер задул, а кровь залила.

Пока политики, большие и маленькие, популярные и не очень, решали свои задачи.

ТАСС, кажется, уполномочен заявить, что наступает переходный период.

К рынку.

Но нам предстоит куда более сложный переход из зоны рискованного земледелия в зону рискованного бытия, где каждый будет отвечать за себя и перед собой. На государ-

ственную опеку имеют право только те, кто уже отдал социалистическому молоху все свои силы, и те, кто еще не набрался сил.

Неуютно? Ага, неуютно. Свобода приходит нагая, утверждал поэт. Может, пронесет? Нас-то за что? Вы нервно переключаете программы, а там все говорят, говорят, говорят... Выключите телевизор. Они опять упиваются возможностью поставить новый эксперимент. Лучше перечитайте бессмертного Басё:

Год за годом все то же:
Обезьяна толпу потешает
В маске обезьяны.

Улыбнитесь. Все очень плохо. Но будет еще хуже, если вы не перестанете доверять им во всем и не начнете верить в себя.

1991 год, сентябрь

Между политикой и рынком

Критика

В 1988 году «ДН» предложила советским и зарубежным критикам подвести «предварительные итоги литературного года» (так называлась анкета). То был год реализации на журнальных полосах ранее несбыточных «литературных мечтаний» — многочисленных архивных находок, републикаций зарубежных изданий, обнаружения произведений, написанных «в стол».

Завершая свои размышления, критик из Латвии Улдис Берзиньш тогда заметил:

«Время снятия запретов всегда интересно. Но «залежи» иссякнут... Что скажем нового в новых условиях, когда уже не отговоришься, как прежде: «А не печатают..»?» Это время наступило. Нам представляется интересным, чтобы о новой общественно-политической и литературной ситуации высказали свои суждения те же критики, что и 4 года назад. В этом номере мы начинаем печатать их ответы. Написаны они в середине августа — начале сентября 1991 года. Надеемся на продолжение публикаций.

Николай Крышук (Санкт-Петербург)

Плохим я стал читателем. Неаккуратным и нелюбопытным. Читаю от случая к случаю, преждевременно скучнею от одного только внушительного объема текста. Журналов не выписываю. А ведь совсем недавно два месячных оклада на это отдавал. Теперь жду, придет кто-нибудь из друзей со свежим номером журнала и скажет потрясенно: прочитай. Не идет. То ли сами невнимательно читают, то ли ничего такого не попадается.

Думаю, не было десятилетия в истории нашей словесности, когда бы критики не жаловались на оскудение литературы. Сегодня тоже сетуют. Не хочу присоединяться к их печальному хору. Хотя искушение выразить свою частную обиду есть. Но не хочу. Нет здесь никаких абсолютных критериев. У разлюбившего, как и у разлюбленного, ох, сколько претензий друг к другу. Но что в них проку? Главное, сюжет закончен, жизнь не задалась, что-то там такое случилось. Исчезли волшебство и доверие. Возлюбленный еще, может быть, и вернется, а это вот благословенное состояние?

Роман между читателем и литературой переживает тяжелый кризис. Разладилось. И дело, возможно, совсем не в том, что кто-то из двоих поплошел и изменил идеалам.

Говорят, рынок задавил, коммерция... Во-первых, они не более враждебны литературе, чем предшествовавшие им номенклатурно-тематический отбор и цензура. А во-вторых, принесите мне рукопись, исполненную высоких достоинств, я хочу издать ее (ведь мы теперь чуть ли не все еще и издатели). Ищу усиленно, но пока не нашел.

Еще говорят, что все мы зацемлены в экономический капкан, нет времени, денег нет, не то настроение. Все правда и все неправда. Истинный читатель и на каторге тянулся к книге.

Откуда же такое безлюбие?

В «Новом мире» прочитал «Песни восточных славян» Людмилы Петрушевской. Оценил прозрачную связь с опытом Пушкина. Понятно про что. Понятно для чего. Мастерство само собой. В общем, провел час за чтением совсем не бездарно и вернулся бестрепетно к своим делам. Все.

«Знамя» напечатало «Цыганское счастье». Открыло новое имя. А я вот как раз имени и не запомнил. Митрофанов? Илья? Чудовищная неблагодарность с моей стороны. Ведь повесть, действительно, хороша. Я, конечно, виноват, но сам не понимаю, в чем дело? Много лет назад повесть «Суббота, о, суббота!..» принесла нам имя Дины Калино-

вской (где, правда, оно?). И «Смирненное кладбище» не просто само по себе поразило, но открыло нового писателя — Сергея Каледина.

Потерял интерес насчет личности писателя, потому, наверное, что и к тексту не предъявляю уже чрезмерных требований, щадя себя и автора одновременно.

К прозаикам, вообще говоря, отношение может быть просто вежливо-уважительное. Но поэтов — либо любят, либо не любят. Я и сейчас люблю тех, кого любил. Но чувствую с грустью, что страсть в наших отношениях пропала. А в некоторых случаях появилась даже нервозность. Причем чудится мне, что это взаимно. И дело не в том, что они стали рассказывать мне о странах, в которых наконец-то побывали, а я хотел бы проверить их стихами собственное зрение и впечатление, но пока не удастся. У Блока ведь тоже есть «Итальянские стихи», а у Пастернака «Марбург», а у Цветаевой «Стихи к Чехии» (это, впрочем, совсем уж другая история). Но в нынешних «заграничных» видится мне что-то туристски необязательное, к судьбе не прирастающее и произрастающее не из судьбы.

Иосиф Бродский все время важен. Повседневный беспредел. Сквозь него проглядывает беспредел Замысла, в котором корчится гармония. Живу в нем, дышу исцеляющим ядом, который каждую секунду может убить. Тимура Кибирова узнал в толпе — возраст ли общий, опыт ли, геометрия переживания. Но и то пугаюсь: а вдруг личность при встрече окажется важнее стихов?

Еще две горькие оговорки в угоду жанру. П у б л и ц и с т и к а. Перестал понимать, что это такое. Решайте свои экономические, социальные, демографические, экологические, формалистические, потусторонние проблемы в компетентных кругах, печатайтесь в специальных журналах. Я пришел с работы, мне хочется про себя.

А в а н г а р д и с т ы. Сексуальная, некрореалистическая или политическая метафизика. Я готов не на поминки, на день рождения принести им цветы. Но не питаю меня это. Хуже — не развлекает. Все они похожи друг на друга, как и соцреалисты, только с другим знаком. Быть непонятым — трудный талант.

Вот, кажется, всех обидел. А в действительности, виноват только я сам. Конечно, хочется сказать — время. Но я понимаю, что это было бы похоже на донос. Сам.

Прочитал тут Генри Миллера. «Тропик Рака». Какая уходящая в будущее фраза, какая талантливая рефлексия на Рабле, свобода. Но ведь опять не наш. И долго добирался. И что, наконец, за случайные встречи...

Андрей Битов в разговоре сказал, что, может быть, и есть эта новая, нервом времени рожденная литература, но только обслуживает она не нас. Может быть. Но мне-то, мне-то хочется крикнуть: «Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б!» Но кого упрекать? Сам пишу чернилами.

Тамара Чабан

(Минск)

В удивительное время мы все-таки живем. По насыщенности событиями, по крутым и неожиданным (хоть и долгожданным!) изменениям в жизни народов, в психологии человека, даже в бытовом укладе год равен десятилетиям, а месяцы — годам...

А что ж литература? Она живет по своим законам и, кажется, непоправимо отстает, опаздывает, но кто знает, может, в конечном счете, окажется впереди? Ведь и предмет — не социальные сдвиги, а человеческая душа, старая и вечно новая.

Что изменилось в литературной жизни независимой, суверенной Республики Беларусь, под бело-красно-белым державным стягом и гербом «Погоня»? Исчезает тревога за судьбу литературного наследия — запрещенные имена, каждое из которых отвоевывалось с боем, произведения из архивов, которые спешили напечатать — было ощущение, что вот-вот захлопнется форточка... Теперь появилась уверенность — будет напечатана и забытая классика, и литература эмиграции, и добытые из архивов КГБ произведения репрессированных писателей 20–30-х годов...

Но не исчезает тревога и неуверенность — кто будет читать? Кто будет продолжать? Тревога за судьбу белорусской культуры, языка, литературы в условиях национального нигилизма, умноженного на массово-потребительскую конъюнктуру рынка. Не станет ли все это богатство — от скориновской «Библии» до произведений Ларисы Гениуш — надгробным памятником белорусской литературе? Исчезают провалы в исто-

рии, в духовной жизни народа, наводятся мосты литературной преемственности из минувшего в сегодняшнее. но — для кого? Кто на этом берегу? Где вы, наследники богатого наследства? Тишина... Прошумели «Тутэйшыя», оставив несколько имен — Сыс, Глобус, Федоренко, Соколов-Воюш...

Правда, издается много прозы, поэзии молодых — в библиотечке «Маладосці», сборниках «Літаратура»... Но, кроме произведений А. Федоренко да некоторых вещей А. Наварича, А. Глобуса, Х. Лялько — все на стадии ученичества. «Штудии» эти разнообразны — тут и мифологизм, и антиутопия, и китч, и пробы экзистенциализма... Но в основном все сводится к форме — утверждению новой, «европеизированной» и подчеркнутому отрицанию традиционной, во многом соцреалистической. Но, к сожалению, даже лучшие из них — рассказы А. Глобуса, А. Минкина — воспринимаются как неплохие переводы, как — вторичное...

Ситуация, чем-то напоминающая 20-е годы, когда каждый грамотный пробовал писать что-то художественное.

Сейчас каждый национально «свядомы», более-менее владеющий белорусским языком считает себя литератором. Богатство — от бедности. Отсюда — снижение уровня. И языкового, и художественного, и духовного. Доходит до казусов — в книжке «Под знаком Стрельца» автор рассказа, давшего ей название, конструирует характер героя ... по гороскопу. Ну, чем не новое направление в литературе — гороскопическое? Бери гороскоп, а их сейчас предостаточно, и пиши — под знаком Рака, Скорпиона. Блинецов...

В 20-е годы из «котла» полупрофессиональной литературы вышло много талантливых писателей, впоследствии погубленных сталинскими репрессиями — Зарецкий, Микулич, Дубовка, Пуца, Мрий, Ходыка... Выйдут ли теперь? Пока что всерьез можно говорить о прозаике Андрее Федоренко, чьи рассказы и повесть «История болезни» привлекают произительной, беспощадной глубиной самоанализа, высокой духовностью, серьезностью, истовостью размышлений над «вечными» вопросами бытия. Если говорить о литературной «школе», он продолжает традицию Максима Горьцкого. О других талантливых именах — прозаиках В. Степане, А. Навариче, А. Козлове, А. Асташонке, поэтах Л. Рублевской, О. Куртанич, А. Бадаке — пока трудно писать с определенностью как о явлениях в литературе.

Снижение уровня молодой литературы имеет мало общего с «китчевостью», коммерческим направлением в литературе. У нас написанное на белорусском языке — заведомо «не коммерческое», будь то детектив или эротический роман. Есть пробы и того и другого, например, «Сава Дым и его любовницы» Г. Марчука. Читать его, правда, довольно скучно — и всерьез нельзя воспринимать, ибо характеры и мысли весьма поверхностны, и как развлекательное «чтиво» не годится — слишком однообразен и нравоучителен.

90-е годы в белорусской литературе начались под знаком Скорины, празднования его 500-летия. Это всколыхнуло литературную жизнь — вышла целая «Скориниана», от факсимильной «Библии», серии научных исследований, до художественного романа-эссе О. Лойко «Франциск Скорина» (на русском языке издан в серии «ЖЗЛ»). Это, кстати сказать, первый белорусский интеллектуальный роман, не жизнеописание, а роман д у х о в н о й жизни первого белорусского интеллигента.

С интересом встречается немногочисленной белорусской читающей публикой художественно-историческая проза — «След оборотня» Л. Дайнеко, «За морем Хвальнским» О. Ипатовой, «Белая дама» А. Карцюка, «Сын императора» В. Орлова, «Крест милосердия» В. Ковтун...

А наше время и наш советский человек — совок, самое страшное наследие, оставленное тоталитарной системой, человек, для которого «бога нет и все дозволено»? Похоже, как сказал поэт, «наше время ждет своих Шекспиров». В эти страшные и непредсказуемые глубины человеческой души пока пытаются заглянуть С. Алексевич в документальных исповедях афганцев «Цинковые мальчики», В. Козько — в повести «Но пасаран».

Трагедию белорусского народа, разделенного социальными, классовыми, религиозными межам и ведущего столетнюю братоубийственную «тихую» войну, глубоко и смело показал В. Адамчик в романе «Голос крови брата твоего». О Великой Отечественной войне написано много, но т а к о й правды мы еще не знали.

В чём же корни удивительной живучести народа, лежащие, где-то в подсознании, на

«генном» уровне — об этом роман А. Рыбака с красноречивым названием «Надо было жить».

Впрочем, есть серьезная опасность, что даже «генетическое» стремление народа к самосохранению, продолжению жизни подорвано. Свидетельство — «чернобыльская» литература, рассказы И. Пташникова, В. Карамазова, документальные повести В. Гигевича, Б. Саченко. Впрочем, и о Чернобыле можно, оказывается, писать с профессиональным равнодушием, как написал И. Шамякин в романе «Злая Зорка».

Самое интересное из «возвращенной» литературы — в жанре исповеди, дневников.

«Исповедь» Ларисы Гениуш получила широкий резонанс не только в республике, но и за ее пределами, хотя, казалось бы, «лагерной» темой уже никого не удивишь. Но удивительна цельность характера героини, не жертвы, а сознательного борца против сталинщины, тоталитаризма.

В жанре исповеди написана и «лагерная» трилогия Сергея Граховского, на материале собственной жизни писатель раскрывает три круга сталинского ада: лагерь, ссылка, жизнь «с волчьим билетом»...

Живая, бессмертная душа Владимира Короткевича — в его «Дневниках», напечатанных в «Полымя». И уже нечто совершенно неожиданное, удивительное — «Дневники» белорусского художника, писателя, странника, легендарной личности — Язэпа Дроздовича («Маладосць»). Человека, который странствовал не только по земле, но и по небу в прямом смысле этого слова. В его записях и зарисовках — реальнейшие пейзажи Витебщины и рядом такие же подробные, реальные описания, зарисовки путешествий по Луне, Марсу...

Такова вкратце картина литературной жизни Беларуси. В этом году мы отмечаем столетний юбилей гениального белорусского поэта Максима Богдановича. И в 10-миллионной суверенной республике не можем набрать 10-тысячного тиража его трехтомника. Есть о чем задуматься. Что перевесит — процессы распада или возрождения? Одно несомненно — литература не сможет существовать без обретения народом действительной суверенности, национального самосознания. И наступил такой момент, когда мы не можем кивать и пенять ни на Восток, ни на Запад. Все зависит от нас самих.

В. Турбин

(Москва)

Мы взглянули окрест себя и спросили: «Что же произошло?»

Что произошло со страной, отбывшей невиданный семидесятилетний срок каторги, с ее народом, с историей? Какова же социальная подоплека наметившихся в середине 80-х годов изменений и к чему они приведут? И четыре года назад, обращаясь к прошедшему году, попытались мы, кто как пожелал, на такие неподъемные вопросы начать отвечать.

Я тогда — впервые, на ощупь, весьма приблизительно — сформулировал ответ-догадку, за прошедшие годы переросшую в твердое убеждение. Суть ее заключалась в том, что искомая подоплека кроется не в сфере экономики или политики: начинать целесообразней с ... эс-те-ти-ки. Но для этого необходимо освободиться, всего прежде — от марксистско-ленинского подхода к рассмотрению мира.

Да, по видимости марксизм-ленинизм испарился: он исчез в небытии под выкрики зубоскальских лозунгов, каламбуров. Но от этого наваждения не отделаешься остротами да мазюканьем суриком бородатого Маркса, громыхающего пудовым кулачищем по трибуне в центре Москвы. В нас он, Маркс. И его кулак прочно вбил нам в сознание совершенно ирреальную, если вдуматься, схему: базис (производственные отношения) и определяемая им надстройка (политика, наука, право, мораль, искусство и тут же, с краешку где-то, религия). Сзади Маркса подпирают не догнавшие его Чернышевский, Добролюбов со скрижалями «реальной критики», заунывной и монотонной: «искусство отражает жизнь». В результате их дружных манипуляций и марксист-ортодокс, если таковые остались и живут, затаившись; и отчаяннейший либерал; и угрюмо подвывающий свои заклинания «почвенник», пребывая в единодушии, почитают искусство по отношению к жизни вторичным — *следствием*, а никак не стимулом и не *направляющей силой* ее развития. Меж собой живут они, как нетрудно заметить, недружно, но их распри

— подобие ссоры братьев в едином семействе, потому что все они Карловичи, дети Маркса, или Фридриховичи, Энгельса, изучавшего по романам Бальзака... политическую экономию (до подобного извращения, вероятно, надо было долго-долго додумываться).

Я с малярной кистью и с баночкой краски по городу не пойду. И кувалдой Маркса с Энгельсом не стану крушить. Но в себе, в душе своей, в своем профессиональном сознании Маркса я сокрушил, потому что реальность настойчиво убедила меня: отношения между базисом и надстройкой настолько релятивны и обратимы, что и сами эти понятия вряд ли вообще правомерны; а в контейнер «надстройка» немислимо втискивать на равных правах, перечислив их через запятые, политику и искусство, право и ту же религию. Это разные вещи, и лежат они в совершенно различных плоскостях истории человечества.

Начиная — разумеется хронология, тут приблизительно — со времен Петра I и чем дальше, тем интенсивнее, Россия отходила от Бога. В октябре 1917 года этот длительный и противоречивый процесс завершился взрывом; все последующее должно было стать оправданием и обоснованием правомерности содеянного. И отныне надо было напряженно, до назойливости неустанно доказывать себе самим, что, во-первых, мир, на Бога ориентированный, был куда как плох, во-вторых же, что теперь-то, в освобожденном от Бога мире, жить поначалу и трудно, но зато в перспективе уж «Хорошо!» (Маяковский). Совершенно очевидно: *первенствовала идея*. В данном случае, специфически социалистическая идея тотального безбожия, ибо социализм — это социально организованный атеизм, и других определений у него быть не может.

Но коль скоро Бога, как это доказала наука, нет; и контакт, диалог с Ним составляет лишь некую не обязательную частицу надстройки, религию, человек оказывается единственным властелином вселенной. Он становится *великим*. И этот комплекс величия логически неизбежно стимулировал всеохватывающий расцвет *эпического сознания*: эпос, он же и утверждает величие. Мир стал строиться как художественное произведение эпического характера, грандиозный эпос, впопыхах замешанный было на социальной основе («диктатура пролетариата»), а затем на более для него органичной, национальной: откровенная национал-эпизация реальности началась с середины 30-х годов, с патетической реабилитации русских былинных богатырей, с пышно поданного юбилея «Слова о полку Игореве» и «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. Причем эпос исконный на ходу редактировался, отторгаясь от его исконных эстетических связей, от религиозного мифа.

Да, господствовала идея величия, специфически эпическая идея. И теперь индивидуальное, «я», человек превращался в *аргумент*, призванный доказывать подлинность, несомненность его величия. Дело тут не в Сталине только, хотя был он аргументом № 1. И стахановское движение с его невероятными рекордами, и колхозница-трактористка, и полярные летчики — все и всё аргументировали эпическую величественность и непобедимость человека, одолевшего Бога. Аргументом стала и экономика: миллион тонн угля, хлопка, пшеницы, гектары пахоты, километры автопробегов и перелетов. Удивительно, что все это как бы то ни было иногда появлялось в реальности. А вообще-то ни угля, ни зерна, ни хлопка могло и не быть: зерно, скажем, в начале 30-х годов куда-то исчезло. Но существенен был их *образ*, из-ображение их, восходящее к единому образу, к образу величия освободившегося человека. Прометей, похитивший огонь у богов и к тому же с хохотом поведавшего людям о том, что огонь-то вот он, лежит на ладони, а богов никаких он не видел. И героем времени стал безнаказанный Прометей. Прометей, который лихо сбросил с кремлевских башен восседавших на них орлов: неровен час, потрянув стариной, учнут клевать ему печень. Создавались впечатляющие соцветия: уголь — черное, белое — хлопок, золотое — пшеница. И такие люди, как, скажем, Трофим Лысенко, воцарялись в силу пробудившегося в них эпического артистизма; пусть бы с голоду пол-Украины повымерло, важен был опять-таки *образ*: социалистический Микула Селянинович, человек-хлебодар, позирующий перед объективами фотокамер в обнимку с пышным снопом пшеницы. Он сильнее какого-то там Иисуса Христа. пятью хлебами насытившего толпы алчущих. Объяснять все эти феерии как показуху и как хитрости дорвавшихся до власти партократов — верх наивности. Некорректно то, что из таких объяснений изымается исконное: спор, полемика Человека с Богом. А призвание, историческая миссия социализма — в завершении тысячелетней полемики категорическим отрицанием, в ходе коего человек на место Бога ставит *себя*.

Там, где есть величие, неизменно появляются и его спутники: из них первый — *страдание*, второй же — *возмездие*. Страдание оказалось или где-то в минувшем («свинцовые мерзости прошлого») или в отдаленном пространстве («капиталистическая эксплуатация»). А возмездие... Оно было задано художественными нормами эпоса и оно осуществлялось неукоснительно. Обрушивалось оно всего прежде или на носителей мифического мировосприятия, на приверженцев веры и на «идеалистов» вообще, или же, напротив, на рационалистов-скептиков, ибо эпос социалистический, отбросив миф, не мог допустить по отношению к себе и малейшего скептицизма (да он эпосу исконно противопоказан).

Эпос начал размываться в середине 50-х годов. В правление Леонида Брежнева состоялась его уже ясно комическая реставрация, а последний всплеск ностальгии по эпосу — 19-22 августа минувшего года: «Слово к народу» при всей его ритмизованной патетике и кликушеской заунывности — чисто эпическое стилевое явление. Отголосками эпоса, уже совершенно жалкими, пронизаны и поистине исторические обращения ГКЧП. Тут уж — полная агония эпического сознания.

Илья Муромец представим в чистом поле, представим и на князьем пире. Но нелеп он на... баррикадах: баррикады — место действия типично романное; на баррикадах был убит и тургеневский Рудин, и Гаврош из «Отверженных» Виктора Гюго. Пережитый нами грустно-победный август, он вообще явил собою какой-то разыгранный в жизни роман с элементами политического детектива: тут тебе и едва ли не похищенный президент, и его неизменная верная спутница, и коварные недруги, коих он приближал к себе, и великодушные друзья, коих он отвергал. И смятенный город. И Гаврош был, и Рудин. Неужели и после августа все еще можно верить в постулаты Чернышевского — Маркса? Неужели люди все еще не видят закономерности: сейчас, в новую, атеистическую историческую эпоху социальная реальность определяется *жанровым мышлением*, эстетическим, художественным началом?

Наша жизнь была предсказана не каким-то одним художественным произведением, а самим *содержанием литературного процесса XIX столетия*, когда эпос, роман и религиозный миф перманентно вели меж собой до сих пор не увиденный нами и, тем более, не осознанный спор, то смыкаясь и ища примирения, то разделяясь. Роман все же взял верх, и вполне закономерно, что роман как жанр так свирело, под корень уничтожался эпическим социализмом. И однако же, когда-то победив в литературе, романное мышление одержало верх и в реальности.

Поживем в романе с букетом его героев: бродяг-бомжей, проституток, воров, гангстеров, хищных предпринимателей, но и честных тружеников, прекраснородных интеллектуалов, немудрящих искателей правды, вышедших из народных глубин.

А потом что будет?

Говорят о борьбе за власть. Согласимся, однако, что власть над человеком, отнятая, как мы полагаем, у Бога и теперь принадлежащая человеку же, — вещь весьма неопределенная. Не пора ли задуматься над вопросом: да *над чем же*, собственно, власть? *Объект* власти, каков он? И *что именно* отобрал человек у Бога?

Ответ может быть лишь один: объект власти — частица духа, воплощенная в каждом из нас. До нее-то тоталитаризм добраться не мог, оттого и ярился он, пытаясь количеством брать: побольше людшек уничтожить, унижить. Тем не менее цели, которую ставит перед собой атеизм, он отнюдь не достиг. Он не знал, где же все-таки пролегает дорога, ведущая... Нет, не к храму, а как раз в противоположную сторону: *от* храма. Он не мог создать и сформулировать свою концепцию индивидуального «я», изложить ее теоретически внятно. Не по силам это и демократии, эклектичной по природе своей: тут и Маркса огрызки, и Фрейд, и Хайдеггер с Бердяевым, всех понемножку. То же — в жизни: одни храмы вежливо признают потому, что там учат нравственности, а другие истошно демонстрируют свою набожность. Некто Павлов в бытность свою нашим обер-министром, и тот в храм наведаясь, свечку поставил, а другой рукой одновременно тянул из-под матрацев старух сбереженные для похорон полусотенные. Этот хаос, разброд атеизму, конечно, тоже на пользу. Но в конечном счете, радикально цель, которую он ставит перед собою, достижима ли... кол-дов-ством. Всевозможной магией, причем очень доброжелательной, обаятельной и такой, которая большинству придется по нраву.

От симптомов наступающей магической эпохи аж в глазах рябит; наступление ее неотвратимо. И появятся чужеземцы-строители нашего не только душевного, но и духов-

ного «я»: колдуны национальные, областные, районные — ох, почище секретарей райкомов или, в общем-то, славных парней, туповатых и недалеких уполномоченных КГБ. К тем таскали, как правило. А к этим люди потянутся сами да еще и просить будут о милости попасть на прием.

Моему поколению еще хорошо: своевременно Господь приберет. А за тех, кто помоложе, тревожно...

Впрочем же, социологические прогнозы мои производны. А главенствует в бесхитростных моих рассуждениях ме-то-до-ло-ги-я, утверждающая очевидный примат художественного начала, эстетики над общественным бытием атеистической, гуманистической нашей эпохи.

И не знаю я, жалеть ли мне о том, что меня до сих пор не слышат, или радоваться по этому поводу...

Григорий Сивоконь

(Киев)

Отток активных писательских сил в политику, реальности и перспективы рынка, уже заметно повлиявшие на издательские дела, соответственно и на бюджет писателя, даже издающегося... В основном ситуация на сегодня здесь ясна: перемены. Однако, как мне кажется, литература серьезно пострадает не столь от конъюнктурно-экономических (с политическими вкупе) сложностей, сколь от колебания веры в свою необходимость для человека и общества. И дело даже не в переходном «смутном» времени, а в подпорченном генетическом коде нашей словесности: пропагандируемая литературой многих десятилетий «правда жизни» в гносеологическом и моральном аспекте дискредитирована, а надежда на то, что красота в силах спасти мир, особенно в последний период человеческой истории, оказалась призрачной. Следовательно, творческая энергия и здоровое честолюбие писателя нуждаются в каких-то иных спорах.

Несомненно, таковыми будут стимулы национального возрождения состоявших при «старшем брате» народов, их право строить независимые государства с принципиально новыми возможностями развития национальных культур. Сегодня на Украине энтузиазм этой «новостройки» ощутим явственно, и ко времени появления данной публикации в «ДН» многое еще может проясниться.

Впрочем, нельзя утверждать, будто литературная жизнь наша в затянувшийся переходный период (даже переходный к кризису) увяла вовсе. На этот счет, правда, были разные мнения. Так, «пессимистка» Л. Федоровская с ее выступлениями в «Литературном обозрении» (1991. № 2), получила резкую отповедь «оптимиста» М. Наенко в «Літературний Україні» (от 16 авг. 1991). И то факт: в литературном процессе уже четко обозначились достойные внимания явления. Это возвращение в литературную память несправедливо забытого, точнее, изъятого («білі плями»); это приток, по моему уже высказанному печатно определению, в т о р о й украинской литературы, создававшейся в диаспоре на весьма альтернативной идейной, а отчасти и эстетической основе; это активизация литературного авангарда, особенно в поэзии; это зримое претворение нашей периодики, организация новых, в частности, международных изданий (например, украинско-американский сборник «Світо-вид»); это, наконец, почти полный распад «старой» литературной критики и ростки, яркие, но, к сожалению, редкие, критики молодой, профессионально более глубокой, эрудированной и, естественно, резкой в суждениях о нынешнем состоянии литературы.

Понятно, что в рамках всех этих явлений, а также вне их обозначается ряд существенных тенденций современного литературного мышления. Скажем, требует изучения и оценки такая реальность, как «жесткая эстетика», спровоцированная темой ГУЛАГовских страданий человека. Пока что эта тема для нас преимущественно источник страшной информации о прошлом, но ведь она будет иметь влияние, этическое и эстетическое на последующее литературное развитие. Явственно обозначился в литературных интересах феномен Великой Вины — не только, к примеру, писателей, входивших в неблагоприятную роль «инженеров» душ (и своих собственных тоже), но шире — нашего общества, возглавленного коммунистами и натворившего бед в масштабе всемирном. Или взять такой симптом, как прогрессирующая феминизация литературы. Не только о количестве женщин-писателей речь, — скорее о специфике мировосприятия,

которая не может не накладывать отпечатка на творчество. Кстати, в украинской литературе это явление с глубокими историческими традициями.

Ряд особенностей современного литературного процесса на Украине, естественно, повторяется и в других национальных литературах бывшего СССР. Однако еще более важна специфика литературного момента. На Украине, как мне кажется, она наиболее отчетливо проявляется в постановке и решении некоторых ранее не осознававшихся теоретических проблем.

Конечно же актуализируется вопрос о национальном своеобразии литературно-художественного творчества. Раньше оно раскрывалось преимущественно «на материале» русской литературы. Почему? Во все не только в силу того, что русское литературоведение было помощнее, а у нас не хватало кадров даже для приличного университетского преподавания, но и потому, что в «регионах» такие исследования не поощрялись, они были подозрительны изначально. Естественна обида «за бесцельно прожитые годы», и многое придется компенсировать.

Кроме того, существуют довольно запутанные или запущенные теоретические вопросы, над которыми бьется уже не одно поколение литераторов, и сохраняющие свою значимость и сейчас. Например, так называемая неполнота украинской литературы, не имевшей возможности по причинам неестественного развития в условиях имперского угнетения нации сформировать в достаточной степени полный спектр жанров, стилей, форм творчества. Или ее преимущественно крестьянская фактура и обращенность к крестьянству, предопределившие и достоинства, и недостатки (подлинные и мнимые), а также послужившие поводом для своеобразной дискриминации творчества украинских писателей на том основании, что оно-де для домашнего употребления, не вписывается в европейский культурный контекст по уровню и т.п.

Наряду с такими фундаментальными историко-литературными и теоретическими проблемами, требующими нового освещения, обозначились трудности, так сказать, методического характера. Неотложного решения требует вопрос о непротиворечивой истории украинской литературы XX века, в которой следует по-хозяйски сохранить все ценное из творчества последних 70 лет, на приемлемых принципах соединить в «монолит» подлинные художественные достижения писателей, независимо от того, где они жили и создавали свои произведения.

Не говорю уже о таких вещах, как разработка дееспособной терминологии, функционального аппарата понятий для адекватного истолкования литературы, творчества писателя, конкретного произведения. Ведь начиная от понимания заангажированности («писатель-революционер», например, это критерий и точка отсчета в былых наших представлениях, способ прочтения) и кончая весьма употребительными инструментами в истолковании текстов («положительный герой», «партийность», «типический», «национальная по форме» и несть им числа) — все это должно выглядеть по-иному. Как именно? Отважиться на мгновенный ответ не решаюсь.

Словом, в литературе работать по-прежнему интересно, дел много. Жаль только, пора нынче... тревожная, противоречивая, крутая.

С. Шведов

У книжного развала

Оптимистические заметки

За несколько перестроечных лет мы уже отвыкли от жалоб на «отсутствие литературы», от претензий в адрес ленивого и неразборчивого читателя.

Но вот понемногу возвращается старая отечественная привычка — время от времени горестно восклицать: да есть ли у нас литература? и какие молодые дарования появились за последние два-три литературных сезона? И что делать читателю, после того как открыта и освоена «возвращенная литература»?

Ощущение не новое. Развитие российской словесности всегда сопровождалось вопросами такого рода и сомнениями относительно самого ее существования. Какими бы благополучными, богатыми ни казались при ретроспективном взгляде те или иные годы и литературные эпохи, всегда современники могли услышать, что литература в упадке, читатель тщетно надеется удовлетворить свой интерес и т. д. В 1923 г. А. Толстой писал о современной литературной ситуации: «Споры, скандалы, громовые статьи... А читатель спокойно поглядывает на эти битвы, на эти группы и спрашивает настойчиво и терпеливо: «А когда же книжечку напишете? Ведь читать нечего»¹.

А ведь это, наверное, был не самый бедный год для российской словесности: нет нужды перечислять имена, произведения, школы и течения, которыми отмечено начало 20-х. «Книжечек» было написано достаточно.

Сегодня привычное ощущение, что с родной литературой происходит неладное, что она — в глубоком упадке, опять кажется очень актуальным. После многолетних победных рапортов и славословий, после казенного официального оптимизма простительным выглядит стремление к публичному самобичеванию, к обнаружению все новых и новых областей жизни, где все у нас обстоит на редкость уныло и безнадежно. Но хоть и выглядит такая смена

мироощущений понятной, демонстративный алармизм обладает способностью не только распространяться на все новые и новые сферы, но и перерождается иногда в заурядную привычку жаловаться на все подряд и прежние свои достоинства — все без разбору — выдавать за пороки. И громогласно о них извещать тех же самых заинтересованных слушателей, которые еще недавно составляли аудиторию славословий.

Жалобы такого рода столь привычны для русского общества, что их можно без труда упорядочить. О паническом чувстве, что «у нас нет литературы», уже сказано. (Кстати, задумавшись, почему обнаружение других пропаж и нехваток, может быть и более насущных, не вызывает такого напряжения и таких переживаний? Не потому ли, что литература для нас — «край», нечто последнее, чего уж никак нельзя терять?)

Теперь о читателе. Сложилось несколько способов жаловаться на положение дел с читателем. Во-первых, время от времени спохватываться и громогласно заявлять, что у нас никто ничего о читателе толком не знает, что он не изучен.

Тут есть, пожалуй, здравый подход: раз так, начни изучать. Благо читатели всегда под рукой. Но характерная особенность состоит в том, что люди, громче всех «бьющие в набат» и кричащие о нашем чудовищном неведении относительно того, кто и что читает, сами как раз не собираются заниматься этим трудоемким и кропотливым занятием. Они специализируются на другом: поднимать тревогу, привлекать внимание общественности.

Не раз на протяжении советского периода отечественной истории создавались — каждый раз с новым энтузиазмом — специальные центры и организации, призванные детально заняться изучением читателя. Большинство из них носило чисто декоративный, витринный характер. Главное было показать: у нас это есть; в других случаях — главным образом в Секторе книги

¹ «Человек читающий» Сб. М. 1989.

и чтения Ленинской библиотеки — велась многолетняя систематическая работа; но все равно в нашем обществе закрепилось, преобладает ощущение, что «о читателе мы ничего не знаем».

Это ощущение подтверждается и тем обстоятельством, что информация, накапливаемая теми немногими центрами, которые реально вели такую работу, не пользовалась спросом. Это либо нельзя было публиковать вовсе, либо публиковалось в ведомственных изданиях символическими тиражами и потому все равно как бы и не существовало. Так или иначе, общество не нуждалось в точном знании, не заказывало его и даже отмахивалось от готовых результатов. А нуждалось оно в совершенно ином — в мифологизации такой в общем-то безобидной, обыденной вещи, как чтение. В культивировании ощущения, что это особая область в нашей культуре.

Во-вторых, всегда были в ходу категорические и бездоказательные утверждения о том, что «на самом деле у нас никто и ничего не читает». Особенно популярной стала эта формула в первые перестроечные годы, когда, принявшись за борьбу со старыми предрассудками и стереотипами, дружно начали открещиваться от провозглашаемого только вчера тезиса о «самом читающем народе»¹. Такую позицию тогда можно еще было объяснить, как уже говорилось, реакцией на бесконечные рапорты о достижениях, в том числе — и в области чтения. Но саморазоблачительные признания такого рода раздавались и много раньше; можно слышать их и сейчас. Они не нуждаются в каких-либо доказательствах, они могут противоречить тому, что мы видим своими глазами. Главная функция их — показать, что мы понимаем, что у нас все плохо. В последние годы жалобы на то, что никто ничего не читает (или: «молодежь отвыкает от книги», или: «у нас вырастает уже второе нечитающее поколение, воспитанное целиком на ТВ») прекрасно ложатся в контекст рассуждений о «бездуховности», «духовном одичании» и прочих неведомых вещах.

И в-третьих, не менее распространен был и другой упрек в адрес читателя. За ним признавали определенные достоинства, но тут же указывали, что читает он «не то». Читатель, может быть, больше,

чем какая-нибудь другая социокультурная группа в нашем обществе, пострадал от неумного желания воспитывать и поучать, столь распространившегося в последние десятилетия. Страсть к непрерывному педагогическому прессингу выражалась и в практическом библиотечном обслуживании, где настойчиво предлагали, рекомендовали и советовали; и в привычке упрекать читающего в дурном вкусе, в привязанности к чтиву и нежелании всецело сосредоточиться на высокой классике; и, занятным образом, в акцентах научной работы, где непомерное место заняла такая «теоретическая дисциплина», как «работа с читателем»; и, конечно, в планировании издательской деятельности, где особенно сильна была забота, чтобы до читателя доходили только «нужные ему» книги.

Сам по себе такой «воспитывающий» подход был бы оправдан — если бы он ограничивался начальными классами школы, стенами детской библиотеки, где педагог и библиотекарь в какой-то степени могут претендовать на роль «руководителя чтения». Но перенесенный на масштабы всей страны, он выглядел, конечно, редким уродством: все взрослое население страны (а точнее — самая развитая часть, то, что раньше называлось «читающая публика») оказывалось объектом массивного воспитания.

Итак, перед нами — более или менее стройный хор жалующихся из числа тех, кто напрямую связан с созданием текстов, их публикацией и прочтением. Эти голоса, в свою очередь, органично вписываются в еще больший хор рассказывающих о собственном бедственном положении, желающих привлечь всеобщее внимание и всеобщий интерес к своим нерешенным проблемам. Тональность эта, как уже было сказано выше, стала чуть ли не определяющей для сегодняшней нашей жизни.

Прислушаемся повнимательнее к перечисленным lamentациям. Похоже, что основная сила их воздействия — в громкости голоса, в нетерпимости тона; основное их назначение — обратить на себя внимание. Истинность их содержания между тем остается как бы сама собой разумеющейся. Но именно она, на мой взгляд, заслуживает самого пристального внимания.

Итак, аргумент первый, об отсутствии у нас литературы, т. е. новых произведений наших современников. (Теперь надо бы добавить: живущих с нами на одной территории.) Вообще-то вопрос оценки текущего литературного процесса, фиксации моло-

¹ Отметим такую неслучайную деталь: родившись в нашей стране и применительно к нашему читателю, этот лозунг стал применяться и в ГДР, обществе нам во многом близком.

дых дарований — дело литературного критика. Социолог не должен брать на себя таких функций. Поэтому обратим внимание лишь на одно: на используемые критерии.

Как, на каком основании оценивается состояние, уровень литературного процесса?

Предполагается ли, что одновременно должны продуктивно работать несколько признанных «классиков современности» и вдобавок к этому с определенной регулярностью появляться «новые имена»?

Глядеть ли на текущую литературу глазами современников, вполне довольных чтением тех произведений, которые потом, может быть, покажутся не заслуживающими упоминания? Или принять за истину суд истории, определивший, что такая-то эпоха была отмечена существованием гения? А если он не был признан или, хуже того, замечен и прочитан? И как оценить английскую литературу XVIII века, когда Шекспир был полузабыт, когда его не читали и не ставили на сцене. Наверное, в реальное содержание понятия «английская литература» Шекспир входит после возрождения к нему интереса, когда к нему обращается более-менее значительная группа читателей. И «Мастер и Маргарита», написанный в 30-е, доходит до читателя в 60-е, именно с того времени начинается его настоящая литературная судьба. И «Москва — Петушки», известные в 60-е годы сотням и тысячам, только в последнее время сделали культурным событием для десятков и сотен тысяч. А раз так, то речь уже заходит о функционировании литературы. И в свои права может вступить социолог литературы.

И с этой точки зрения закономерно посмотреть на всю ситуацию в целом глазами читателя. В частности, присмотреться к жалобам, их направленности. Особенно к позиции книгоиздателя.

М. Ненашев, глава нынешнего Министерства информации (а до того — глава Госкомпечати, а еще раньше — с перерывом на руководство Гостелерадио — Госкомиздата), летом 1991 года утверждал: «...в результате коммерциализации издательского дела произошел значительный перекос в выпуске книг, газет и журналов. На первое место в коммерческой печатной продукции вытеснили бывшие подцензурные темы: история, религия, секс. В результате читатели недополучили около по-

лумиллиарда книг классических произведений и детской литературы»¹.

Все в этом кратком заявлении замечательно. И хорошо знакомые слова-символы, например, «перекосы». А обозначает это слово в данном случае позицию, с которой дается оценка. Позицию, с которой заведомо правильно видно, каким должно быть истинное соотношение выпускаемых книг. И, кстати, проскальзывает мысль о том, что такое «правильное» соотношение возможно. Ну еще бы, ведь в Госкомиздате были специальные подразделения и управления, занимавшиеся исключительно установлением пропорций между выпуском разных видов литературы.

И, кроме того, если принять точку зрения (четырежды) министра и допустить, что существует высшая государственная целесообразность, относительно которой бывают допущены действительно «перекосы», то неужели они возникли в «результате коммерциализации»? Т. е. в течение последних 3—4 лет? А все предшествующие десятилетия, когда Госкомиздат бдительно руководил и следил за «взвешенностью пропорций», все было гармонично и без перекосов? Желанной нормой оказываются годы, когда выпускались горы томов нашего обществоведения, тысячи массовых брошюр, «общественно-политической» литературы, собрания сочинений живых классиков советской литературы?

К тому времени, когда выйдет в свет эта статья, не будет, наверное, Министерства информации. Но, боюсь, останется неумирающий тип министерского государственного мышления, при котором так легко, так естественно объединяются в один ряд «история, религия и секс». С точки зрения высших государственных интересов они естественным образом оказываются рядом. Напомню, что еще во время первого своего министерского срока М. Ненашев отговаривал («как историк, как доктор наук») широкие слои трудящихся от «ажютажного» интереса к Соловьеву и Ключевскому, убеждая, что это сложная и недоступная неспециалисту литература.

Попробуем, однако, вырваться из порочного круга жалоб, lamentаций, уверенных всех и вся в собственной несчастной доле. Рискнем предположить, что, может быть, не все так плохо. Или, по крайней мере, не все в равной степени. Разведем

¹ «Известия» от 24 июля 1991 года.

нерасчлененным «мы» (старая отечественная привычка — думать, что если спасемся, то все вместе, если пропадать, то на миру не так страшно). В сегодняшнем дифференцированном обществе нельзя все время говорить от лица «всех», «наваливаться всем миром», действовать неизменно «сообща».

Согласимся для начала, что интересы людей пишущих, издающих и читающих совпадают не во всем. Да, у издателей есть непривычные для них сложности, реальные поводы для жалоб. Впрочем, и издатели бывают разные. Как среди критиков есть «птицы певчие» и «птицы ловчие», так и среди издателей одни успевают создавать новые издательства и выпускать книги, другие — только жаловаться на дороговизну бумаги, отсутствие производственных мощностей, невыполнение обязательств смежниками.

Но уж для читателя ситуация остается — с самых первых проявлений «перестройки» и до сегодняшнего дня — более чем благоприятной. Для того чтобы ее адекватно оценить, надо только избавиться от ничего не значащих, пугающих слов — например, коммерциализация, рынок, секс, насилие. Секс, конечно, это ужасно, но полно, так ли уж он нас «захлестывает»? Предпочтем ли привычное ханжество и ригоризм? Коммерциализация, конечно, куда как плохо, но лучше ли сплошная идеологизация от которой, кажется, не успели еще и отвыкнуть? А кто-то вот уже и соскучился. Воздержимся от употреблений к месту и не к месту таких вошедших в моду и абсолютно ничего не значащих слов, как «духовность», посмотрим непредвзято, что принес и что проявил тот рынок, которым склонны пугать нас издатели, тянущиеся к гарантированному бытию при госзаказе.

Рынок — сколь бы плохим и несовершенным ни считать наш вариант рынка — означает для любого интересующегося возможность купить книгу. Антиподом даже тому вечно гонимому книжному рынку, который в доперестроечные годы крутился главным образом около Кузнецкого моста, можно считать ВОК, там же, кстати, располагавшийся. Всесоюзное общество книголюбов — одно из олицетворений распределительной системы, куда одни «допускаются», а другие — нет. Где деньги восторженны.

А книжный рынок обозначает большую степень свободы. Можно не состоять чле-

ном общества книголюбов; не включаться в систему личных отношений; никому не быть обязанным. Это — азбучные истины.

Но что же показал наш легализующийся книжный рынок? Да только то, что с интересом к чтению и любовью к книге у нас все в порядке.

Мы привыкли — по чужим рассказам и заочным описаниям — умиляться старым букинистам, роющимся в «книжных развалах на берегу Сены». Но разве наши книжные ларьки — только плохи? Разве свидетельствуют они об утрате интереса к чтению? Да как раз наоборот. На уличных лотках раскупаются лингвистические словари по 50—60—70 рублей. Ну ладно, спрос на них можно списать на потребности отъезжающих, на жажду пристроиться к деятельности хоть какой-нибудь совместной фирмы. Библия и Бердяев — спрос на них можно объяснить модой. Но трехтомник Флоренского за 120—160 рублей? Но Энциклопедия ислама; но двухтомник Чаадаева — их повальная мода пока еще, кажется, не охватила. Так, может быть, признаем, что оживленнейшая книжная торговля — отрадное явление. На многотомные собрания сочинений 50-х годов в букинистических магазинах установились высокие цены, — но ведь не иностранцы же, пересчитывающие все на доллары, задешево покупают Романа Роллана и Мельникова-Печерского. Нет, это внутри нашего общества происходит нормальное движение книг от одних хозяев к другим. Кстати, над теми, кто обставлял квартиры этими собраниями сочинений, вдоволь в свое время иронизировали, обличая их в мещанстве, вещизме, в том, что подбирают библиотеки под цвет обоев. Но вот у этих книг объявляются новые хозяева; наверное, это свидетельствует о сохраняющемся интересе — пусть у других социальных групп, пусть по иным, даже непонятным нам мотивам. Говорить в этой связи можно о чем угодно — только не о «бездуховности». Вот если бы всюду валялись по дешевке предлагаемые и никому не нужные книги — это могло бы стать поводом для беспокойства. Но наш рынок свидетельствует о прямо противоположном.

Отбросим лишь — чтобы увидеть неискаженную картину — несерьезные разговоры о засилии детективов, порнографической литературы и т. д. Самоочевидно, что в предложении и спросе доля развлекательной, поверхностной, наконец, просто плохой литературы неизбежно должна

быть больше, чем серьезной, классической. Неужели кто-то из жалующихся на засилие «чтива» всерьез может представить себе ситуацию, когда читатель или покупатель продирается через десятки томов Шекспира и Фолкнера в поисках «приключений космической проститутки»...

Соотношение серьезной и развлекательной, «плохой» и «хорошей» литературы (что бы мы под этим ни понимали) — саморегулирующийся процесс, и жалобы и причитания здесь ничего поменять не могут.

Книги предлагают и покупают сегодня везде — от вновь открывающихся букинистических магазинов в «хороших» районах вроде улицы Герцена, где и место букинистической торговле, до барахолки на Тишинском рынке. Плохо ли это? Свидетельствует ли о «бездуховности»?

И еще. Полезно бы избавиться — как от несерьезных — от разговоров о гибели культуры, о том, что за несколько перестроечных лет «довели культуру до ручки». Для этого хорошо было бы договориться о терминах и критериях. Наверное, в самом плачевном состоянии культура (если понимать под этим, как это чаще всего делают, материальные объекты и уровень зарплаты музейных и библиотечных работников) находится все-таки не тогда, когда эта тема становится общим местом и все наперебой жалуются на заустынные храмов, десятки лет используемых под овощехранилища, на социальную незащищенность работников культуры. Настоящий кризис приходится на те годы, когда храмы взрывают, передают для использования в качестве клубов и т. д. И когда никому не приходит в голову вслух об этом печалиться. Для отдельных граждан, понимающих смысл происходящего, это слишком опасно; а общество в целом занято другим и практически не видит этой проблемы. Проблематика разрушаемых храмов и низкооплачиваемых учителей просто не вычленяется обществом; оно не считает это за серьезную проблему; тут не о чем говорить, нет предмета для разговора. Вот про такие периоды есть основания говорить, что культура находится в кризисе.

Сейчас наше общество переживает совсем другой этап. До эпохи восстановления, систематической реконструкторской работы еще далеко, но сама проблематика — пусть декларативно, демонстративно, но обществом признана. При всей непродуктивности этого этапа это все же лучше, чем нерелексирующее и деловитое разрушение.

Тяжелыми нынешние времена кажутся тем, кто на самом деле обеспокоен не разрушением культуры, а исчезновением государственной иерархической системы под названием «культура», где каждому элементу было уготовано свое место и своя функция.

Возвращаясь к нашему читателю. В его распоряжении сейчас богатство и разнообразие, о котором трудно было мечтать (непосвященные о богатстве этом не догадывались, а посвященные не дерзали предположить, что известное им делается общедоступным). Неожиданно обретенным наследством, как водится, нелегко умно распорядиться. Потому и получают хождение неоправданные уподобления литературы кладовой — вот вычерпали до основания — и остались ни с чем. Вот узан и прочитан Набоков — и ничего подобного больше не предложат. Счастливая и незаслуженная ситуация с «возвращенной литературой» отчасти и провоцировала подобные сравнения и направление мысли.

Но культура — не кладовая; и прочитанное нельзя уподобить уже использованному и ненужному. Открытый, прочитанный, освоенный Набоков не делается «пройденным» и неинтересным. И вообще адекватнее было бы представлять не кладовую, откуда нам посчастливилось достать то одно, то другое, а процесс, в котором всему важно определить свое место, свою роль. И тогда речь пойдет не о счастливым вылавливании шедевров, а о постоянном процессе, который помимо всего прочего, является тем или иным отражением нашей жизни.

Не стоит вести речь об одних лишь исключительно шедеврах. По-своему поучительно содержание нашей правой прессы, особенно, скажем, раздела поэзии в «Нашем современнике» и «Молодой гвардии». Интерес представляют и сборники поэтических и литературно-критических произведений, ежегодно теперь выпускаемых С. Куняевым. Без этого картина нашей литературной жизни была бы неполна.

Существование правой прессы — один из признаков нормализации жизни, и у определенных сторон общественного сознания появилась возможность адекватного самовыражения.

Для читателя наступают очень неплохие годы — полноценные и разнообразные. Кончилась наивная пора всеобщих полудетских увлечений, когда все дружно любили одно и то же: сегодня — «Детей Арба-

та», завтра Солженицына. Когда газета «Книжное обозрение» ежегодно проводила конкурсы на лучшую книгу года и первые строчки занимали то Библия, то Пикюль. Когда в вагоне метро все дружно разворачивали то Дюма, то «Огонек». Теперь — и это видно невооруженным глазом — одни открывают «Столицу», другие — «Коммерсантъ». Это разные группы, их интересы невзаимозаменяемы.

Результаты опросов ВЦИОМ свидетельствуют, что если несколько лет тому назад еще можно было выделить бестселлер года, книгу, которой отдала предпочтение значительная доля опрошенных, то сегодня таких беспорных лидеров нет. Об этом же говорят данные исследований ИСЭПН АН СССР, проводившиеся при участии автора. Предметом изучения стала одна из наиболее продвинутых групп читающей публики — подписчики журналов «Химия и жизнь» и «Знание — сила». Прессовый опрос, проведенный в январе 1991 года, через первый из названных журналов, показал, что на первое место среди прочитанных в последнее время художественных произведений опрошенные ставят «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо»; их назвали 17,2% ответивших. Явное лидерство Солженицына, однако, не столь уж бесспорно, если учесть, что ненамного «отстают» другие мемуарные и публицистические произведения, касающиеся лагерной темы (10,4%); достаточно устойчив интерес к развлекательной литературе (10,3%) и к «возвращенной» литературе в целом (12,3%). Кроме того, вопрос, предложенный в январе 1991 года, относится главным образом к 1990 году, времени публикации «Архипелага» и «Красного колеса», которых долго ждали, ради которых специально выписывали годовые комплекты толстых журналов. В 1991 году таких «сверхпубликаций» не было, и картина читательских предпочтений должна быть еще более ровной.

Сходную картину более или менее равномерного распределения читательских предпочтений дает и анализ ответов на вопрос о наиболее запомнившемся нехудожественном произведении — мемуарной, публицистической литературы.

Отход от всеобщего согласия и единства в читательских вкусах тоже может быть сочтен обнадеживающим признаком. Не вечно же нам поклоняться одним кумирам и любить наших лучших поэтов так властно и требовательно, что они неизбежно превращаются в каменных истуканов.

Рискнув однажды взять оптимистический тон, рискну и другой раз, предположив, что мы присутствуем при уходе целой культурной эпохи. Эпохи, исчерпывающе описанной Бродским в эссе «Меньше чем единица».

Культурные возможности послеблокадного ленинградского поколения были необычайно сужены: нельзя было вообразить не только поездку за границу, но возможность сменить жилье, как-то изменить стиль жизни. Вся творческая энергия, вся фантазия уходила в чтение. Это была пожалуй, единственная сфера, где человек не был жестко, безжалостно детерминирован. Здесь он был подчеркнуто свободен, здесь индивидуальность встречала меньше всего ограничений. И в этой единственной сфере, оставленной для более или менее свободной жизни духа, разыгрывались свои драмы, свои конфликты. Из-за несовпавшей оценки последнего прочитанного романа — Диккенса или Бальзака — могли рассориться закадычные приятели. Проявление дурного вкуса в чтении могло стать концом дружбы. Свободное волеизъявление было ограничено сферой чтения, но уж внутри этой сферы жизнь была предельно напряженной: все там было помечено как сверхценное.

...Да, кончается целая эпоха — назовем ее временем безоглядной, ненасытной любви к книге и чтению. И нам теперь делается видно, что не только тяга к знанию двигала молодыми — и немолодыми — людьми, заполнявшими залы общественных библиотек с их прославленными зелеными лампами. Нам теперь при несколько другом угле зрения, при изменившейся перспективе видно, что эти люди были не только бескорыстными любителями изящной словесности, но и... жильцами коммуналок. У которых просто не было своего угла, и часто некуда было пойти вечером.

Теперь можно заметить и то, что многократно воспетая русская любовь к книге и чтению — не только плод свободного выбора. Постоянно цитируемые слова Горького: «Всем хорошим во мне я обязан книгам», — на этом не обрываются. Из дальнейшего делается понятной природа столь исключительной любви: «Величие звездного мира, гармонический механизм вселенной... не трогают меня, не вызывают во мне энтузиазма. У меня такое впечатление, что вселенная совсем не так удивительна, как представляет ее астрономия, и что в рождении и смерти миров несравненно больше бессмысленного хаоса, чем бо-

жественной гармонии». И дальше: «В природе, которая окружает нас, и враждебна нам, красоты нет...»¹ И любовь к чтению начинает выглядеть единственным светом в окошке при довольно однообразном, ущербном существовании. Это любовь человека из подполья.

...Жизнь сегодня, может быть, не стала лучше, но, конечно, стала разнообразнее и веселее. Надо прощаться со скудным детдомовским детством, где единственной разрешенной радостью была книга, изданная государственным издательством или полученная в общественной библиотеке.

А может быть, кончается и какая-то большая эпоха — кусок российской истории, отмеченный литературоцентризмом. Меняется роль писателя, который не может более претендовать обязательно на статус учителя или пророка (о чем писала в «Независимой газете» от 10.08.91. Наталья Иванова). Книга не обязательно предстает предметом поклонения, почти священной дрожи. А чтение уж точно превращается в сугубо частное занятие — а не долг гражданина, возвращаемый им государству.

Отношение индивида с государством в очередной раз принимает форму возвращения долга. Государство, проводя кампанию по ликвидации неграмотности, выучило (бесплатно!) гражданина читать, попутно привив ему любовь к книге. За это сознательные граждане словно обязаны, в знак благодарности за сделанное для них, усердно читать то, что им предлагают. Чтобы полученные знания и навыки не пропадали впустую. Государство, в свою очередь, распространяет сюда сферу официальной статистики и всеобщего учета, стремится заранее определить разумные потребности и издать в соответствии с ними «золотую полку» (шестьсот или тысячу, или шесть тысяч «лучших» книг). Извечная мечта государства, родившаяся еще прежде советской власти...

Чуть ли не единственной нишей, оставленной государством частному человеку, было чтение. Государство успешно контролировало и эту область, издавало только нужные, «хорошие» книги, стремилось, чтобы процесс чтения протекал публично — в массовых библиотеках, но, во всяком случае, количественно эту страсть не ограничивало. И эта зона сделалась местом социального эскапизма. Роль читателя была одной из немногих дозволенных и обрела она совершенно гипертрофированные размеры. В эту роль

вылилась вся нерастроченная, невостребованная социальная энергия. Не слишком кощунственной будет аналогия с пьянством?

...Любовь к книге — страсть благородная, но будучи привита к государственному дереву, сделавшись обязательной, дала она диковинные и уродливые результаты. С чем только не сравнивали книгу! Не повторяя общеизвестных метафор, приведем лишь несколько нетривиальных. Сравнение с первой любовью (О. Форш) к неожиданному не отнесешь, но вот утверждение Розанова о том, что «книга — не публичная девка», заслуживает упоминания. Сколько мудрых мыслей высказано писателями о высоком призвании читателя, о том, что без читателя их труд напрасен. Сколько сборников изречений о пользе книги было издано! Какие дискуссии о вреде ТВ, отвлекающего от чтения, велись в прессе! Не чрезмерны ли были эти усилия?

Превращения, происходящие сегодня с отечественным читателем, встраиваются в более общий контекст перемен. Намечается процесс некоторого повзрелости общества, что всегда связано с известной нормализацией, расставанием с излюбленными идеологическими формулировками, заклинаниями и идеалами. Расставания эти болезненны, но все же не невозможны. Уж на что дороги отечественному сознанию тютчевские слова об «особенной стати», но, как выясняется, и этими утешительными строками сегодня многие готовы поступиться.

В уже упомянутом прессовом опросе в журнале «Знание — сила» читателю было предложено высказать свое отношение к этой спасительной формулировке («Умом Россию не понять...»), знакомой с детства. Преобладающее число ответов — за более рациональное отношение к собственной истории, за нежелание вечно ее мистифицировать, превращать ее исключительно в объект веры.

Хочется думать, что именно в деидеологизированной среде смогут найти «свое время и место» новые представления о писателе, литературе и читателе. Писатель не обязательно будет выступать пророком и учителем жизни и, может быть, представит просто мастером, профессионалом-литератором. Литература не будет «нашим всем», не претендуя на то, чтобы быть одновременно философией, религией, позитивной наукой и т. д. Читатель делается прежде всего частным лицом, имеющим право на свой индивидуальный выбор в таком сугубо интимном занятии, как чтение.

¹ «Человек читающий.» Сб. М. 1989

Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ

Года два назад, в пору, когда «парад суверенитетов» разыгрывался еще в форме первых осторожных репетиций, но уже обозначился с такой непреложностью, что его невозможно было не замечать, один радикальный читатель сказал мне следующее:

— Если вы честный человек, то должны признать полное фиаско всей вашей литературно-критической деятельности. Все эти идеи: контакты этносов внутри советской культуры, общение и обогащение литератур в рамках общесоветского целого, диалог национальных душ в пределах общего государства и т. п. — все это окончилось крахом. Вы не только не почувствовали обреченности, выморочности этих ваших истин, не только не предупредили читателей о том, по какому вулкану ходим (а должны были почувствовать, должны были предупредить!), вы фактически сеяли иллюзии. Книга ваша «Контакты», да и последняя из «межнациональных» — «Локти и крылья» — сплошное прекраснотушие. Ваши книги устарели в тот самый момент, когда литовцы, столь любимые вами, первыми рванули из Союза. Где оно теперь, ваше «межнациональное общение»?

Честно скажу, от этой речи я скис. Защищаться в такой позиции, то есть защищать свои тексты нельзя ни в коем случае: тексты вообще должны сами себя защищать, а если нет — их надо молча проводить взглядом в корзину, а не объясняться по их поводу. Но скис я больше по другой причине — от полной невозможности объясниться по главному вопросу: о крахе объединяющей, общесоветской, общесоюзной идеи.

Все теперь строится на «заднем уме» и на подмене смысла общеупотребительных понятий.

Да, это правда, что «русская идея» практически слилась с идеей «имперской», что к русским приклеилась дурацкая кликуха «старший брат» и что в реальности национальное достоинство «младших братьев» попиралось и игнорировалось.

Результаты этой практики мы и имеем сегодня.

Но если в противовес этой практике сейчас выдвигаются идеально-теоретические модели национального сознания, построенные на «имперской идее», то позвольте напомнить вам и ее идеально-теоретический замысел.

И с этой точки зрения — неправда, что «русская идея» лежала в основе и в замысле общего государства как бы в противовес и в подавление идей инаконациональных. В замысле лежала идея всемирная, вселенская, кафолическая, выросшая не столько на матрице «России» или «Руси», сколько на матрице «Рима», за которым стояла Византия.

Неправда, что русские вносили эту идею ради того, чтобы возобладать над другими народами. В Российском (и в Советском) государстве им жилось едва ли не хуже всех. И теперь, когда произошедшее осмысливается (пересмысливается) в национальном поле, и вещи называются (переназываются) национальными именами, в самом тяжелом, самом «безнациональном» положении оказываются опять-таки русские — народ соединяющий, и именно потому, что они привыкли разменивать свою «русскость» на «вселенскость».

Неправда, что другие народы, входя в Империю, подчиняли ей свое национальное лицо. Когда они первоначально входили, и понятия «национальный» в теперешнем смысле не было, а было: «народность», и народности эти, в большинстве своем, через Москву входили именно в мировую структуру, в «Третий Рим», кто хотел — в «христианское царство», потом — в «мировую коммунистическую систему».

Я знаю, что на любой «идеальный» пункт мне выставят ватагу практических разбойников, ушкуйников, воевод и экспроприаторов, которые под «праведными» знаменами, грабили, убивали и давили. Равно как и я, в ответ на любое «идеальное» нацио-

нальное движение, припомню соответствующих башибузуков. Но речь-то о том, что для меня — распад империи. Мне не жалко тех насильников, которые ее именем пускали в расход сопротивлявшихся. Мне жалко глобальной идеи.

Крах системы, крах мировой идеи, мировой роли означает катастрофу и конец света только в том случае, если описывать происходящее в терминах «национальных», но самой этой терминологии от роду всего-то двести лет. Есть ритмы куда более глубокие: католические периоды чередуются в мировой истории с периодами дроблений, и Римская Империя, а потом Священная Римская Империя такие же закономерные этапы в жизни человечества, как калейдоскоп итальянцев, немцев, французов, англичан, греков и других народов, расцветших порознь «на развалинах империй» между гигантскими объединительными этапами. «Единство» приходит на смену «междоусобию», а потом «расцвет всех цветов» на смену «унификации».

Мы вступаем в период дробления и плюральности — примем это как неизбежность. Люди пляшут на улицах Кишинева и Киева — просто потому, что рады почувствовать себя «независимыми», — обрадуемся их радости. Им сейчас ничего другого не надо, только крикнуть на своем языке: «Мы независимы!» — и они пляшут, эта телесная радость не хочет знать проблем завтрашнего дня: экономических, культурных, духовных; главное — освободиться, прокричать по-молдавски: «Свободны!».

Да и мы, русские, пляшем на радостях, ликуем на площади Освобожденной России, что освободились... от чего? От «союзных структур»?.. От «бюрократии Центра»? От мировой роли?

Дробление государств скомпенсируется экономическими связями. Дробление языков — усердной работой переводчиков. И лучше не заикаться сейчас про «нерациональность» языковой пестроты в хозяйстве господ-бога — рационально такие вещи и не объясняются. Так или иначе мы присутствуем при крахе одного из «зональных» языков, языка «межнационального общения». Это серьезное поражение русского языка, и любой русский интеллигент, настроенный на «мировые коммуникации», должен сказать себе эту правду.

Я, впрочем, не очень хорошо знаю, в чью пользу мы должны отказаться от этой роли. В пользу английского, как может почудиться сегодня? Ой, не уверен... скорее уж в будущем веке главным языком Европы окажется немецкий: это нетрудно высчитать, оценив витальный потенциал объединенной Германии. Нетрудно представить себе и англичан, зажатых на своем «острове». И держащихся (через океан) за англоязычную северную Америку, и испанцев, отжатых на другой конец Европы (на полуостров), откуда они уже теперь, через океан же, укрепляют «испаноязычный союз» — с Америкой же южной. Так что малым европейским народам, плящущим сегодня на новоселье (празднике отселения), придется все-таки осваивать вместо русского некий другой «межнациональный язык», все равно придется. Еще и потому, что пестрое языковое множество само по себе способно и дальше дробиться, и молдаванин, сегодня отталкивающийся от русского языка, завтра может оттолкнуться, пожалуй, и от румынского, храня особенности именно молдавского его варианта, и еще вопрос, легко ли поменяют украинцы разных «краин» свои неповторимые «суржики» на единую государственную «мову», учрежденную на «галицийской» базе и обязательную для всех полста миллионов. Будет дробёж. А потом будет опять «единение». На какой базе — сейчас нечего гадать.

Что станется с русской речью, с русской культурой? — вот вопрос, трагически встающий ныне перед русской интеллигенцией. Речь идет не об этническом возрождении русских, каковое силою вещей пойдет сейчас полным ходом, хоть и с неизбежными издержками: провинциализмом, ксенофобией, преувеличенной самостийностью и неистовым очищением от «примесей». Речь о другом: об утрате масштабности, об утрате вселенской задачи, об утрате духовной миссии, а именно этой масштабностью, задачей, миссией и было оправдано русское самосознание.

Иными словами: кому будет нужна наша русская своеобычность, когда вместо отзыва, все спинами повернулись, затылками, все — бегут?

Бегут — от слабых духом, от нищих, от прокаженных, от «напроказивших у господ».

Корень беды — в том, что русский народ «надорвался» в своей исторической работе, что силы кончились, что две мировые войны и сталинская межвоенная казарма вычерпали силы. Отсюда — и истерия, и эйфория (включая, простите, и водку — момент духовного отчаяния). Отсюда — наше бессилие управлять «собственностью». брошенная

земля, бесхоз хозяйства, казачье кочевье, российская неприкаянность на огромной «шестой части суши».

Если найдет силы и поднимется русский человек, — тогда вновь побегут, и не от нас — к нам. Помните? — «На ловлю счастья...» И в свалке этой, в проклятом месте очертится «Клондайк». И если это будет не только Клондайк материальный, но — Клондайк духа («Эльдорадо», как говорили когда-то), то мировой смысл вернется в эти пределы. Ходом вещей, неизбежностью логики все равно будет возрождение: здесь, на стыке Европы и Азии, в точке встречи той и этой бесконечности. От нас зависит только одно: через нас или помимо нас это возрождение реализуется. Окажется ли русский человек в «точке встречи» или уйдет в культурную тень, в провинциальную глушь.

Что делать русскому интеллигенту сейчас, когда кругом пляшут от радости, отделяясь от нас, люди, еще вчера клявшиеся в чувствах братского единения?

Ничего особенного: делать свое дело. Улучшать жизнь, углублять культуру. Работать. Работать, как если бы ничего не разрушилось. Работать — из одного упрямства. Мы поднимемся!

На месте развалившегося «унитарного государства» остается не только общее экономическое поле, остается и общее поле духовности. И оно еще потребует людям, пляшущим на похоронах многонациональной советской культуры.

А что до того, что я как автор книги «Контакты» опростоволосился, — ничего, переживу. Есть чем утешиться: Наталья Кузнецова, блестящий литературный критик из русского зарубежья, сидя в немецком Нидернхаузене, почувствовала же, читая мои «Контакты», что если связи рушатся в «реальности», то тем важнее не дать им разрушиться — в книге:

«Вероятно, не найти лучшего места для встречи, где бы писатели разных народов могли обменяться своими уникальными вкладами, сообщить о них друг другу, чем под обложкой одной книги. А в наше время — обострения межнациональной розни, взаимной ненависти — такая книга представляется не только лучшим, но, пожалуй, и единственно возможным форумом. Когда так трудно понять друг друга народам, вся надежда — что хотя бы писателям это удастся...» (Континент. 1991/66, с. 368).

В разгар плясок по случаю обретения суверенитетов лучше всего, конечно, сплестись вместе со всеми. Но пляски кончатся. Начнется жизнь, тяжелая, полная риска и напряжения. Мы еще потребуемся друг другу в этой продолжающейся работе.

Handwritten text in a circular arrangement, possibly a signature or a decorative element. The text is written in a cursive style and appears to be a name or a phrase, though it is difficult to decipher due to the stylized script. The text is arranged in a circle around a central mark that resembles a stylized '9' or a similar character.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Христос в Евангелии Своим, говоря о самом великом, что может сделать человек, о самой высокой мере, до которой он может вырасти, нам дал заповедь любви: Никто большей любви не имеет, как тот, который душу свою положит за друзей своих... И вот, в эту таинственную рождественскую ночь Сам Господь и Бог наш воплощением Своим исполнил этот закон победоносной жизни и любви.

Мы рождаемся во временную преходящую жизнь, из ничего возникаем державным творческим светом живого Бога, и через это временное бывание становимся причастниками вечности и входим в жизнь вечную. Господь же и Бог наш, воплощением Своим, из п о л н о т ы бытия, из торжествующей полноты жизни, входит в область смерти; из полноты нетварного бытия Он заключается в узкие, подлинно тюремные рамки падшего мира, будучи вечным, рождается во времени, чтобы в этом мире, узком, тесном, оторванном от Бога, жить, показывая нам пример того, как изо дня в день можно отдавать жизнь за своих друзей, и умирает, показывая нам, что и смертью можно явить торжество жизни.

Одна из древних греческих икон представляет нам ясли вифлеемские не в виде трогательных яслей, а в виде жертвенника сложенного из камней, на которых лежит ребенок, предназначенный к смерти; но не случайной, бессмысленной, бесцельной смерти, а к смерти жертвы, которая осмысленно, свободно приносится Богу во очищение грехов, ради победы над самой смертью, для соединения неба и земли, для соединения отпавшей твари и живого, любящего Бога.

Сегодня вечный Бог рождается во время, Бесплотный облекается плотью. Тот, кто за пределами смерти, входит в область смерти; сегодня начинается крестный путь Господень; сегодня является нам жертвенная, крестная, божественная Любовь. Сегодня ясли вифлеемские предзнаменуют нам ту пещеру, куда будет положен Господь наш Иисус Христос снятый с креста после мучительной смерти... И весь путь жизни Господней не является ни чем иным, как исполнением этой заповеди о любви, которая не знает ни границ, ни предела, о той любви, которая свою жизнь отдает за друзей своих.

Но за друзей ли одних? Кто был другом Господним, когда Он родился, кто дал приют Матери, ожидающей Ребенка, и сопровождающему их Иосифу? Выкинутые из человеческого селения, они нашли себе обиталище только среди зверей; и так в течение всей жизни Христовой: когда в завершение Его пути израильский народ, человечество, исключит Его из града людей, останется Ему только умереть одинокой смертью на Голгофской горе. Путь начатый Господом «ради друзей своих» есть путь любви — но к т о т а к и е эти друзья? Враги — это не те, кто нас ненавидит, это те, которых м ы, по безумию, по слепоте сердца и отуманенности ума называем врагами; Христос врагов не знал. Все люди, которых державное, творческое слово Божие призвало к бытию, были Его братья и сестры, были возлюбленные Божиим дети, которые потеряли свой путь и которых Он пришел разыскивать.

Он Сам дал нам образ, когда сказал, что добрый пастырь оставляет 99 овец, чтобы идти на розыск одной заблудившейся, потерянной овцы. Так и по отношению к нам: тех людей, которые называют себя врагами Христа, Х р и с т о с признает за Своих братьев и сестер, за детей живого Бога, Чьим Сыном Он является, Он врагов не знает, для Него нет врагов; и поэтому за всех и ради всех Он становится человеком, за всех и ради всех Он живет изо дня в день, отдавая все силы тела и души; и, наконец, з а всех и р а д и всех, после Страстной седмицы, после страшной Гефсиманской ночи, после издевательств, поруганий, после того, как Он был предан близким учеником, оставлен другом, Христос умирает на кресте з а всех и р а д и всех... И если мы — Христовы, то мы должны научиться в эту сегодняшнюю торжественную ночь этому Христову пути; с е г о д н я мы можем, мы, покаянием, то есть переменной мысли и сердца, войти в путь Христов, можем новыми глазами осмотреться и с изумлением увидеть, что нет у нас врагов, и есть только дети Божиим заблудшие, к которым посылает нас Господь жить и, если нужно, умирать, чтобы они ожили во веки веков.

Вот, о чем говорят нам жизнь, смерть Христовы, вот о чем нам говорит сегодня Рождество — то есть рождение живого Бога человеческой плотью. Оно такое таинственное; казалось бы, мы видим своего Бога, мы можем держать Его благоговейно и трепетно в своих объятиях: но в этом Воплощении нам открывается Бог б о л е

таинственный, чем Бог небесный, непостижимый человеческому уму, а только чаемый человеческим сердцем, потому что в этом Младенце таится вся полнота невидимого, непостижимого Бога; прикасаясь к ребенку, рожденному в Вифлееме, мы с ужасом познаем, что Он — живой Бог, ставший живым человеком нас ради; мера любви Божией к каждому из нас, к последнему грешнику и к самому святому праведнику — это жизнь и смерть Сына Божия, ставшего сыном человеческим...

Разве мы не обернемся к к а ж д о м у, кто вокруг нас, с подобной любовью, разве мы м о ж е м перед лицом Воплощения Христова иначе отнестись к людям, чем Сам Бог, ставший человеком? Заповедь н о в у ю Он нам дает, новую тем, что не только Он нас призывает любить в с е х, и т а к о й мерой любви, которая называется «положить жизнь свою за друзей своих»; признать друзьями тех, кто тебя другом не признает, жить для них изо дня в день, а если нужно — ради них умереть, с последней молитвой на устах: Господи, прости им: они не знают, ч т о творят! Аминь.

6 января 1974

АНТОНИЙ, митрополит Сурожский

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

«С легкой руки Диккенса в наших газетах и журналах привился обычай кормить публику на Рождество специально скомпонованными рассказами. Рождественский рассказ должен бить на нервы и вызывать меланхолию. Прочитав его, читатель должен три дня и три ночи плакать...» Так в 1888 году писал анонимный автор популярного юмористического журнала «Шут», и добродушный цинизм его тона аудитории «Шута» был близок и внятен: что такое рождественский (или святочный) рассказ и чего ждать от него, к тому времени, знали уже, кажется, все.

«Легкая рука» Чарльза Диккенса, успев вывести заглавие будущего памфлета «К английскому народу, в защиту ребенка-бедняка», вдруг застыла над бумагой — писатель понял, что художественное доказательство может прозвучать пронзительней и ярче даже самого искреннего публицистического выступления. Работа над памфлетом обернулась созданием теперь уже классической «Рождественской песни в прозе», а затем и других «рождественских повестей». Вряд ли стоит объяснять, что значит «Рождество» Диккенса; пылающий очаг и ненастье за окном, всеобщее веселье и любовь, милость к падшим и вера в счастливые перемены — мы хорошо знаем и чувствуем это не только по книгам, но и по собственному опыту (семьдесят лет не встречая Рождества, страна отмечала Новый год, почти в неприкосновенности сохранивший бытовые идеалы рождественского праздника).

Честертон недаром называл Рождество «самым типическим и специфически британским праздником», и в том, что место рождения святочного рассказа — Англия, нет ничего загадочного. Католический и протестантский Запад всегда острее ощущал потребность максимально приблизить, придвинуть к себе священных персонажей и священные события, оттого и празднование Рождества быстрее, чем в России, приобрело здесь не только религиозное, но и совершенно домашнее значение. Жалостливые же святочные истории весьма успешно адаптировали и переводили праздник с духовного на душевный человеческий язык. И хотя тень памфлета, по сути, светской проповеди, навсегда зависла над ними — они все же оставались в рамках художественной литературы, подчиняясь вполне конкретным требованиям, — главное из которых состояло в приуроченности действия к событиям святочного вечера. А уже это, в свою очередь, настраивало автора — в зависимости от целей и склада — либо на сентиментально-умиленный, либо на таинственный лад, но подчас, как в той же «Рождественской песне в прозе», например, одно сливалось с другим.

«Рождественские повести» появлялись на свет одна за другой и незамедлительно переводились на русский язык. На дворе стояли 1840-е годы, «роковые сороковые» по слову Блока. Не сразу российская словесность оказалась в состоянии отозваться на диккенсовский жанровый вызов и призыв.

Семя упало на камень, но камень стал обрастать землей. К середине прошлого века в России заметно возросло значение журналистики, расширялась, а следовательно, и демократизировалась читательская аудитория, началось энергичное создание массовой литературы, рассчитанной не на придворный, не на аристократический круг, но на среднего читателя, на разночинца, на мещанина, на небогатого служащего. Появился особый тип «тонкого» журнала для семейного чтения — с иллюстрациями и репродукциями, с портретами и биографиями наиболее знаменитых общественных деятелей, с незамысловатыми повестями, публикующимися из номера в номер, с популяризаторскими статьями. Читать (или хотя бы листать) и «Ниву», и «Петербургскую жизнь», и «Звезду»,

и «Родину» без всякого усилия над собой — мог каждый. и стар. и млад. для детей к тому же здесь часто отводилась специальная страничка.

Святочный рассказ с его доступностью, простотой тематики, а главное приуроченностью к определенному временному промежутку пришелся периодической печати необычайно к стати. И начиная с 70-х годов вплоть до 1917, в канун Рождества специальные выпуски альманахов, сборников, столичные и провинциальные. центральные и периферийные газеты и, конечно же, «тонкие» журналы буквально захлебывались слезами замерзающих сироток, доведенных до отчаяния бедняков, несчастных влюбленных, стариков, скорбящих о бесплодно прожитых годах. Лепту в эту бездонную святочную «копилку» вносили как знаменитости (Ф. Достоевский, Н. Лесков, В. Короленко, А. Чехов, А. Куприн), так и безвестные анонимы, как русские писатели, так и зарубежные (Г. Х. Андерсен, Франсуа Коппе, Анатолий Франс, Жюль Леметр, Сельма Лагерлеф).

Повторим еще раз: это чтение было подчеркнуто общедоступно, не случайно на рождественских изданиях то и дело появлялись подзаголовки типа «сборник для всех», «альманах для всех», что, по-видимому, было связано еще и с природой самого праздника. Хрестоматийными стали пастернаковские строчки, с такой силой выразившие вселенский, всеохватный масштаб события, уместившего в себя «все мысли веков, все мечты, все миры». Никто и ничто не должно было остаться в стороне — ни взрослый, ни ребенок, ни нищий, ни принц, ни даже... зверь: собака — частый гость в рождественском рассказе, причем, как правило, в качестве одного из главных героев (см. например, рассказ П. П. Гнедича «Пудель», перепечатанный в недавно вышедшем сборнике «Петербургский святочный рассказ». Л. 1991).

Внутри каждого рождественского номера или альманаха господствовали свои, негласные законы: при соблюдении известной цельности требовалось все же разнообразие материала, поэтому желателен был и стишок, и «картинка с натуры» — обычно небольшой этнографический этюд о праздновании святок в деревне, а за повествованием о бедственном положении «униженных и оскорбленных» непременно следовал «рассказ о необычайном». Вообще светлые и темные силы с удивительной непринужденностью поселялись составителями под одну обложку. Редкий святочный рассказ обходился без элемента чудесного, однако фантастическое начало было представлено не только ангелами, Девой Марией, Иисусом Христом, но и привидениями, призраками, а то и самим нечистым, явившимся легкомысленным девицам в виде суженого. И такая двойственность — отражение жизненной реальности: благочестивое церковное празднование Рождества уживалось на Руси с жутковатой, игровой атмосферой святок. Строго говоря, святочные рассказы появились у нас задолго до Чарльза Диккенса — правда, в ином виде и в ином культурном пространстве. Примеры подобных рассказов приводит в своих этнографических сочинениях С. В. Максимов, чьи очерки о Святках и Рождестве открывают подборку — это типичные «страшные» истории, существовавшие только в устной форме; в святочные вечера уже пожилые, «бывалые» женщины рассказывали их молоденьким гадалщицам. Какие-то отголоски достигали и города — здесь тоже гадали, по квартирам ходили христомсласы, а деревенские «страсти» на городской почве перерождались в привидения, явления спиритизма и магнетизма.

...Ветер революции смел святочный рассказ со страниц газет и журналов, но бесследного уничтожения не получилось: происходило постепенное перетекание святочного рассказа в другие жанры — прежде всего в кинематографические (что понятно, ведь кинематограф — тоже ориентируется на массовое восприятие). Вспоминаются не только десятки новогодних детских мультфильмов и сказок, не только «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова, но и сам настрой большинства советских фильмов застойных времен, неизменно тяготевших к так по-святочному подслащенной развязке.

Хочется верить, что наша подборка — не простое ретро, не пустая экзотика. Глубокие перемены, произошедшие за последние годы в укладе России, вернули нам Рождество — а оно «во веки то же» — в отличие от святочного рассказа, который в прежнем своем виде, конечно же, не будет существовать уже никогда. Но какая-то абсолютно новая страница его истории. возможно, и откроется; поживем — увидим.

Что же до «старых» рассказов, то хотя и пытались мы представить все основные грани святочной литературы — и сентиментальную, и шутиливую, и «страшную», хотя и собрались здесь рассказы мало похожие друг на друга — без огрублений и обобщений — все они: об одном (о том, о чем всегда вовремя и к стати). Имя этой теме — любовь. Явлена ли она в конкретном милостивом поступке по отношению к другому (как в «Краденой свадьбе» и «Художнике и черте»), сквозит ли в легкой, ласковой атмосфере рассказа (как в «Призраке секунд-майора Кунце» и «Кувшинчике») или проступает через отношение автора к герою (как в рассказе Андрея Осипова) — она присутствует здесь неизменно.

Конечно, стоит помнить, что все это писалось не в нашем, в другом веке, а значит, и в другом

ритме и для другого читателя. Не сразу привыкаешь к тому, например, что в этой прозе нет жесткости, особой взрывчатости и напряженности стиля, ныне ставших нормой, и почти нет недосказанности, недомолвок — воистину она проста. Ее пространство — трехмерно. Ее герои обыкновенные люди, она построена на нравственных трюизмах. Она непритязательна, но это тот самый случай, когда непритязательность значит не серость, а скромность. святочный рассказ ни на что не замачивается, не проталкивается на ведущие роли. это — только эпизод праздника, только голос в общем хоре.

Массовая литература она и есть массовая, и среди святочных рассказов б о л ь ш е было слабых, плохих, и одни перепевали другие, и читательские слезы, действительно, просчитывались загодя, и было где разгуляться пародистам (остроумнейших пародий на святочные рассказы не счесть). Но во всем этом художественном неправдоподобии, в этих невероятных и порой совершенно завиральных сюжетах все-таки нет лжи, лжи по большому счету, и если только взглядеться зорче, мы заметим без труда, что как-то даже помимо всего, сквозь все и надо всем здесь встает некая высшая правда. И вряд ли это обман зрения. Потому что — пусть сиротка, замерзающий под окошком (а за окошком, само собой, блещет елка, а на столе, понятно, жареный гусь), пусть этот сиротка замерзает тут уже в двадцатый раз и за это время стал он уже беспол, мальчик ли, девочка. — лица не видно, но зато, по-прежнему, в двадцатый раз отчетливо видно, как холодно ему, как неуютно, как бьет ветер — и в двадцатый раз его все-таки жалко. Снова. Как это происходит, почему? Бог весть. На Рождество всегда случаются необъяснимые вещи...

М. КУЧЕРСКАЯ

С. В. Максимов

Святки*

В крестьянском быту святки считаются самым большим шумным и веселым праздником. Они обнимают собой период времени от Николина дня (6 декабря) до Крещения (6 января), т. е. как раз месяц, когда земледельческое население, обмолив хлеб, и покончивши со всеми работами, предается отдыху.

Святки считаются праздником молодежи по преимуществу, хотя и взрослое население не остается равнодушным к общему веселью и к тому приподнятому, несколько торжественному настроению, которое свойственно всем большим праздникам в деревне. Но все-таки центром празднеств служит молодежь: ее игры, песни, сборища и гаданья дают тон общему веселью, скрашивают унылую, деревенскую зиму. В особенности большой интерес представляют святки для девушек: в их однообразную, трудовую жизнь, врывается целая волна новых впечатлений и суровые деревенские будни сменяются широким привольем и целым рядом забав и развлечений. На святки самая строгая мать не заставит дочку прясть и не будет держать за иглой в долгие зимние вечера, когда на улице льется широкой волной веселая песня парней, когда в «жировой» избе, на посиделках, заливается гармония, а толпы девушек, робко прижимаясь друг к другу, бегают «слушать» под окнами и гадать в поле. Гаданье составляет, разумеется, центр девичьих развлечений, так как всякая невеста, естественно, хочет заглянуть в будущее и, хоть с помощью черта, узнать кого судьба пошлет ей в мужья, и какая жизнь ожидает ее впереди с этим неведомым мужем, которого досужее воображение рисует то пригожим добрым молодцем, ласковым и милым, то стариком-ворчуном, постылым скрягой, с тяжелыми кулаками.

О том, как совершаются гаданья, мы подробно скажем в главе «Новый год», здесь же отметим только, что, обычай называть своего суженого и, в особенности, так называемые «страшные» гаданья довольно заметно отражаются на душевном состоянии гадальщиц. Почти на протяжении всех святок девушки живут напряженной, нервной

* Печатается по изд. С. В. Максимов. Собрание сочинений, т. XVII, СПб. 1912.

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901) — русский писатель, этнограф, академик. Много путешествовал, участвовал в этнографических экспедициях по Северу, Амуру, по берегам Каспия и Уралу. — Здесь и далее звездочками отмечены примеч. составителя, цифрами — авторские.

жизнью. Воображение рисует им всевозможные ужасы, в каждом темном углу им чудится присутствие неведомой страшной силы, в каждой пустой избе слышится топот и возня чертей, которые до самого Крещения свободно расхаживают по земле и пугают православный люд своими рогатыми черными рожами. Это настроение поддерживает не только самое гаданье, но и те бесконечные рассказы о страшных приключениях с гадалщицами, которыми запугивают девичье воображение старухи и пожилые женщины, всегда имеющие про запас добрую дюжину страшных историй. Чтобы дать читателю представление об этих «святочных» рассказах, являющихся плодом народной фантазии, приведем рассказ крестьянки Ефросиньи Рябых, в Орловском уезде. «Пришла я с загадок и задумала суженого вызвать — страх захотелось мне узнать, правда это, или нет, что к девушкам ночью суженые приходят. Вот я стала ложиться спать, положила гребенку под головашки и сказала: «Суженый-ряженный, приходи ко мне мою косу расчесать». — Сказавши так-то, взяла я и легла спать, как водится, не крестясь и не помолившись Богу. И полез кто-то мне под головашки, вынимает гребенку и подходит ко мне: сдернул с меня дерюгу, поднял на кровати, сорвал с моей головы платок и давай меня гребенкой расчесывать. Чесал, чесал да как дернет — ажно у меня голова затрещала. Я как закричу... Отец с матерью вскочили: мать ко мне, а отец огонь вздувать. Вдули огонь, отец и спрашивает: «Чего ты, Апрось, закричала?» — Я рассказала как я ворожила, и как меня кто-то за косы дернул. Отец вышел в сенцы, стал осматривать двери — не видать ничего. Пришел он в избу, взял кнут и давай меня кнутом лупцевать — лупцует, да приговаривает: «Не загадывай, каких не надо, загадок, не призывай чертей». — Мать бросилась было отнимать — и матери досталось через меня. Легла я после того на постель, дрожу вся, как осиновый лист, и реву потихоньку: испугалась, да и отец больно прибил. А утром только поднялась я — вижу голова моя болит так, что дотронуться до нее нельзя. Глянула я около постели своей наземь — вся земь усыпана моими висками. Вот как «он» меня расчесывал. Стала я сама расчесывать косу, а ее и половины не осталось — всю почти суженый выдернул».

А вот еще один рассказ, записанный в Череповецком у. Новгородской губ.: «Собрались, это, девки на беседу в самый сочельник, перед Рождеством — не работать (в сочельник — какая работа: грех) а так — погадать; да « послушать » сходить. Вот погадали, погадали, а одна девка и говорит: «Пойдем-кось девоньки к поросенку слушать: у нас сегодня большущего закололи и тушу в амбар стащили, пойдемте». Вот и пошли, надо быть, пять девок. Сняли с себя кресты, немытика помянули, очертились ножиком, и одна, которая посмелей, говорит: «Чушка, чушка, скажи, где мой суженый-ряженный?» А поросенок им из амбара: «Отгадайте три загадки, тогда отгадаю всем суженых. Наперво отгадайте, сколько на мне щетинок?» — Отгадывали-отгадывали, не отгадали: где сосчитать щетинки на свиные? А поросенок им другую загадку: «Сколько на мне шерстинок?» — Тоже думали, думали девки — не отгадали. — А поросенок опять: «Сколько во мне суставов?» Опять не отгадали девки, а поросенок как рыкнет: «Ну так я вас всех задавлю». — Девки бежать. Прибежали на беседу — лица на них нет. А хозяйка-то беседы, видно, догадливая была, бывала в этих делах: сейчас четверем девкам на голову горшки глиняные надела, а этой, которая загадывала, подушку положила. Вдруг, как вломится в избу свинья. Схватила с одной девки горшок, думала, это — голова, да о пол, схватила с другой — о пол, да так со всех четырех, а с пятой схватила подушку и убежала».

Как не страшны сами по себе эти рассказы для напуганного воображения молоденьких слушательниц, однако в веселые святочные вечера даже эти ужасы не могут удержать девушек в хатах и, как только на селе зажгут огни, они как тени, скользят по улице, пробираясь на посиделки. Да и не мудрено: до страха ли тут, когда впереди ожидают танцы, маскарады, игры, песни, и когда к этим беседам так долго и так много готовились. Почти целый месяц приготавливались: девушки шили наряды, парни готовили маскарадные костюмы и выбирали «жировую» избу.

Последний вопрос — о выборе избы для посиделок — считается очень важным и решается сообща. Чаще всего за 2 за 3 рубля какая-нибудь одинокая солдатка или полунищая старуха уступает молодежи свою избу, позволяя вынести домашнюю рухлядь и убрать все так, как захотят наниматели. Деньги за избу платятся наличными, или отработываются, причем только в очень немногих местах девушки освобождаются от взносов. В большинстве же случаев деревня не знает привилегии дам и обкладывает девушек наравне с парнями, а местами заставляет их платить даже больше, так, что если

парень платит шесть коп., то девушка должна платить 12 коп., а в случае бедности — день жать.

Святочные посиделки начинаются обыкновенно не ранее 6 декабря и отличаются от всех других тем, что и парни и девушки рядятся. Это своего рода деревенский бал-маскарад. Правда ряжение — в особенности в первые дни святок бывает самое незамысловатое: девушки наряжаются в чужие сарафаны (чтобы парни не узнали по одежде) и закрывают лица платком, и только самые бойкие наряжаются в несвойственную одежду: парни — в женский, девушки — мужской костюм. Это последнее переодевание практикуют чаще всего гости, приходящие на посиделки из чужих деревень, чтобы легче было интриговать и дурачить знакомых. Самая же «интрига» в таких случаях бывает также крайне незамысловата: обыкновенно парень, переодетый девкой, выбирает себе в кавалеры какого-нибудь влюбчивого и простоватого парня и начинает его дурачить: заигрывает с ним, позволяет вольные жесты и пощипывания, назначает свиданье и даже дает нескромные обещанья. К концу вечера простофиля-кавалер обыкновенно пламенеет от страсти и умоляет свою даму, чтобы она его осчастливила немедленно. Но дама, обыкновенно, кокетничает и уступает не сразу. Зато потом, когда все-таки она выйдет на свидание, и влюбленный парень заключает ее в объятие, из избы выскакивает целая ватага хохочущих молодцов, которые быстро охлаждают любовный пыл простофили, набивая ему полные штаны снегу. Приблизительно такой же характер носят интриги девушек, наряженных парнями. Они также выбирают себе наиболее простоватых девиц, ухаживают за ними, уговаривают за себя замуж и даже выпрашивают иногда в залог платок, колечко и пр. Справедливость требует, однако, заметить, что интриги подобного рода далеко не всегда отличаются скромностью. Случается, что какая-нибудь расшалившаяся солдатка, наряженная парнем, выкинет такую штуку, что присутствующие девушки сгорают от стыда. Но таких солдаток обыкновенно успокаивают сами же парни, которые с хохотом и криками разоблачают озорницу почти до нага и в таком виде пускают на улицу, где еще вывалиют в снегу. Вообще, сдерживающим началом на посиделках служит присутствие в «жировой» избе посторонних людей, в лице ребятишек и пожилых мужчин и женщин. Особенно стесняют ребятишки: иной парень и рад бы позволить себе какую-нибудь нескромность в отношении интересующей его девушки, он видит, что с полатей свесилась голова мальчишки, брата девушки, который все примечает и, в случае надобности, скажет матери, а то и отцу шеннет. Эти лежащие на полатах контролеры иногда так раздражают парней своим неусыпным надзором, что дело кончается побоями: один из парней берет веник и с ожесточением хлещет ребятишек в то время, как другой припрет дверь и никого не выпускает из избы. Экзекуции такого рода сплошь и рядом достигают цели, и ребятишки, с ревом и плачем, без души разбегаются по домам, как только их выпустят.

Сдерживающим началом служит до некоторой степени и присутствие на посиделках чужих парней и девок, пришедших из соседних деревень. Их принимают как гостей, и стараются, чтобы все было прилично и чинно. Хозяева беседы, как парни, так и девушки, встают с лавок и предлагают их занять гостям, а во время танцев обращают строгое внимание, чтобы чужие девки не оставались без кавалеров, и чтобы с парнями-гостями танцевали девки «первого сорта», т. е. самые пригожие. Впрочем бывают случаи, когда именно присутствие на посиделках чужих парней, явившихся незваными гостями, служит причиной ссор и даже драк. Вот что на этот счет сообщает наш корреспондент из Никольского у. Вологодской губ.: «Если какой-нибудь парень из чужой деревни вздумает «ходить» (ухаживать) за девкой и посещать игрища, то он непременно должен выставить парням, однодеревенным девушки — в виде отступного — водки в противном случае он платится побоями и даже увечьем. Избитый, в свою очередь, редко оставляет побор без отмщения и, подбивши парней своей деревни «выставкою» им водки, является в сопровождении целой ватаги в село к оскорбителям и врывается на игрище, где и завязывается обыкновенная свалка. Девки в таких случаях разбегаются по домам, а парни выходят на улицу и дерутся уже не на кулаки, как в избе, а «плахами» (поленьями). Драки подобного рода происходят по нескольку раз, возобновляясь все с новой силой, и кончаются или тем, что коренные парни, как побежденные, соглашаются принимать на игрище чужаков «без водки», или, как победители, «сдирают» с противников водку, которую и распивают на посиделках»¹.

¹ Такие драки в большом ходу не только в Вологодской губернии, но почти повсеместно.

Кроме танцев (кадриль, ленчик, шестерка) и гаданий, любимым развлечением на посиделках являются так называемые игрища, под которыми следует разуметь, между прочим, представление народных комедий, где и авторами и актерами бывают деревенские парни. В одной из таких комедий фигурирует, например, какой-то король Максимилиан, его непокорный сын Адольфий и приближенный короля, Марк, — гробокопатель; в другой главным лицом является Степан Разин со своими разбойниками и красными девушками, причем центром пьесы служит кровавая расправа Разина с корыстным купцом; в третьей, наконец, центральной фигурой является помещик и т. д. Обо всех этих пьесах мы скажем, несколько ниже, здесь же позволим себе заметить, что игрища, в огромном большинстве случаев, поражают наблюдателя грубостью нравов, так что отцы церкви не напрасно называли их «бесовскими». Конечно нельзя отрицать, что в доброе старое время св. отцы подходили к вопросу с известным предубеждением и видели в игрищах только остатки язычества и того двоеверия, с которым они так энергично боролись. Но невозможно в то же время упускать из виду, что добрая половина игрищ, сама по себе составляет остаток варварства, поражающий стороннего наблюдателя своим откровенным цинизмом. Этот цинизм ужасен еще тем, что он почти всегда переходит в жестокость и издевательство над слабыми, т. е. над деревенскими девушками, за которых некому вступиться. «Деревенские парни — пишет наш корреспондент из Череповецкого у. Новгородской губ. — позволяют себе на беседах такие дикие выходки, что только привычки здешних девиц к терпению и цинизму мужчин останавливает их от жалоб в суд». Для образца укажем несколько святочных игр, практикуемых почти повсюду.

1). Игра в кобылы. — Собравшись в какую-нибудь избу на беседу, парни устанавливают девок попарно и, приказав им изображать кобыл, поют хором:

Кони мои, кони
Кони вороные...

Затем один из ребят, изображающий хозяина табуна, кричит: «Кобылы, славные кобылы! Покупай, ребята!» Покупатель является и выбирает одну девку, осматривает ее, как осматривает на ярмарке лошадь, и говорит, что он хотел бы купить ее. Дальше идет торговля, полная неприличных жестов и непристойных песен. Купленная «кобыла» целуется с покупателем и садится с ним. Затем, с теми же жестами и песнями происходит переторжка, после чего начинается ковка кобыл. Один из парней зажигает пук лучины (горн), другой раздувает его (мехи), третий колотит по пяткам (кузнец) а покупатель держит кобылины ноги на своих, чтобы не ушла.

2). Игра в блины. — Эта игра столь же популярна, как и предыдущая, и состоит в том, что один из парней берет хлебную лопату или широкий обрезок доски, а второй поочередно выводит девушек на середину избы и держа за руки поворачивает их спиной к первому парню, который со всего плеча дует их по спине. Это и называется «печь блины».

3). Игра в быка. — Парень, наряженный быком, держит в руках под покрывалом, большой глиняный горшок с приделанными к нему настоящими рогами быка. Интерес игры состоит в том, чтобы бодать девок, и при том бодать так, чтобы было не только больно, но и стыдно. Как водится, девки поднимают крик и визг, после чего быка убивают: один из парней бьет поленом по горшку, горшок разлетается, бык падает и его уносят.

4). Игра в гуся. — Гусь приходит тоже под покрывалом, из-под которого виднеется длинная шея и клюв. Клювом гусь клюет девок по голове (иногда пребольно), и в этом состоит все его назначение.

5). Игра в лошадь. — Над лошадью ребятам приходится много трудиться, чтобы приготовить ей сверх покрывала голову, похожую на лошадиную. Но смысл игры все тот же: лошадь должна лягать девок.

6). Игра в кузнеца. — Это более сложная игра, представляющая собой зародыш деревенной комедии. В избу, нанятую для беседы, вваливается толпа парней с вымазан-

Объяняется это тем, что на девок своей деревни парни смотрят как своего рода коллективную собственность, которую и защищают от ухаживания посторонних людей. Во всеобщем употреблении также и водка, которая одна дает право ухаживать за «чужими» девками.

ными сажей лицами и с подвешенными седыми бородами. Вперед всех выступает главный герой — кузнец. Из одежды на нем только портки, а верхняя голая часть туловища разукрашена симметрично расположенными кружками, изображающими собой пуговицы. В руках у кузнеца большой деревянный молот. За кузнецом вносят большую скамейку, покрытую широким спускающимся до земли пологом, под которым спрятано человек пять, шесть ребятишек. Кузнец расхаживает по избе, хвастает что может сделать все, что угодно: замки, ножи, топоры, ухваты и, сверх того, умеет «старых на молодых переделывать». — «Не хочешь ли я тебя на молодую переделаю?» — обращается он к какой-нибудь девице не первой молодости. Та, разумеется конфузится, и не соглашается. Тогда кузнец приказывает одному из ряженных стариков: «Ну-ка, ты, старый черт, полезай под наковальню, я тебя перекую». Старик прячется под пологом, а кузнец бьет молотком по скамейке, и из под полога выскакивает подросток. Интерес игры состоит в том, чтобы при каждом ударе у кузнеца сваливались портки, и он оставался совершенно обнаженным. Когда всех стариков перекуют на молодых, кузнец обращается к девушкам, спрашивая у каждой: «Тебе красавица, что сковать?» «Тебе, умница, что сковать?» И каждая девица должна что-нибудь заказать, а затем, выкупая приготовленный товар, поцеловать кузнеца, который старается при этом как можно больше вымазать ее физиономию.

Все перечисленные игры (в которых мы должны были опустить наиболее циничные пассажи), при всей грубости и жестокости, все-таки не заключают в себе ничего такого, что оскорбляло бы религиозные чувства человека, и, что так или иначе, связывалось бы с христианскими верованиями и обычаями. Но, к сожалению, существует целая группа других игр, которые окрашены не только в цинизме, но содержат в себе элемент несомненного кощунства. Такова игра, например, в покойника (местами эта игра называется «умрунь» — «смерть» и т. д). Состоит она в том, что ребята уговаривают самого простоватого парня или мужчину быть покойником, потом наряжают его во все белое, натирают овсяной мукой лицо, вставляют в рот длинные зубы из бряквы, чтобы страшной казался, и кладут на скамейку или в гроб, предварительно привязав накрепко веревками, чтобы в случае чего не упал, или не убежал. Покойника вносят в избу на сиделки четыре человека, сзади идет поп в рогожной ризе, в камилавке из синей сахарной бумаги, с кадиллом в виде глиняного горшка или рукомойника, в котором дымятся горячие уголья, мох и сухой куриный помет. Рядом с попом выступает дячок в кафтане, с косицей назад, потом плакальщица в темном сарафане и платочке, и, наконец толпа провожающих покойника родственников, между которыми обязательно имеется мужчина в женском платье, с корзиной шанег или опекишей для поминовения усопшего. Гроб с покойником ставят среди избы, и начинают кощунственное отпевание, состоящее из самой отборной, что называется «острожной» брани, которая прерывается только всхлипыванием плакальщицы да хождением «попа».

По окончании отпевания девок заставляют прощаться с покойником и насильно принуждают их целовать его открытый рот, набитый бряквенными зубами. Нечего и говорить, что один вид покойника производит на девушек удручающее впечатление: многие из них плачут, а наиболее молоденькие заболевают после этой игры¹. Кончается игра тем, что часть парней уносит покойника хоронить, другая часть остается в избе и устраивает поминки, состоящие в том, что мужчина, наряженный девкой, оделяет девиц из своей корзины шаньгами — кусками мерзлого конского помета.

В некоторых местах та же игра в покойника варьируется в том смысле, что покойника, обернутого в саван, несут по избам, спрашивая у хозяев: «На вашей могиле покойника нашли — не ваш ли прадедка?» Находящиеся в избе, разумеется, приходят в ужас. Бывали случаи, когда маленькие ребятишки падали в обморок и долго после того бредили.

К игре в покойника взрослое население относится с полным осуждением. В народе ходят даже слухи, что тот, кто изображает покойника, будет схвачен им в лесу и утащен неведомо куда. Так в Никольском у. Вологодской губ. рассказывают, что один парень, надевший на святках саван, был утащен покойником в болото и отдан во власть дьявола. Дьявол долго бил парня дубиной, заставляя снять с себя крест и бросить в болото. Однако

¹ Характерно, что и в этой игре парни намеренно вводят скабресный элемент, приводя в беспорядок туалет покойника: «Хоша ему и самому стыдно», говорят они: «да ведь он привязан ничего не поделает».

несчастный, несмотря на жесточайшие мучения, все-таки не покорился и креста не снял, чем и спасся от смерти, отделавшись тяжкими увечьями.

Но, несмотря на такие «страшные» рассказы, обычай рядиться покойниками еще очень распространен по всему нашему северу, и в том же Никольском у. Вологодской губ. покойниками наряжается не только молодежь, но и женатые мужики, и притом по несколько человек сразу, так, что в избу для посиделок врывается иногда целая артель покойников. У всех у них в руках туго свитые жгуты, которыми они беспощадно хлещут парней из чужой деревни и приезжих девиц (гостей). Достается, впрочем и своим девицам, которым без дальнейших разговоров, наклоняют голову и хлещут по спине до синяков.

Из числа других игр, представляющих собой зародыш младенческой комедии, необходимо указать на очень распространенную «игру в барина». Эта комедия несомненно, носит сатирический характер, и происхождение ее восходит ко временам крепостного права. В избу для посиделок ряженые вводят под руки человека необыкновенной толщины, в высокой шапке, с лицом, густо вымазанным сажей, и с длинным чубуком в руках. Это и есть «барин». Подле него суетится казачок, подающий огня для трубки, и кучер (он же бурмистр), гарцующий на палочке верхом и хлещущий бичом то палочку, то девок. Барин неповоротлив, глух и глуп, кучер, наоборот, хитрая бестия, хорошо знающая барские вкусы и повадку. Барин усаживается и начинает ворчать и ругаться, а кучер подобострастно вертится около и поминутно спрашивает: «Чего прикажете, барин-батюшка?». Самое представление начинается с того, что кучер, обращаясь к парням, спрашивает у них, не желает ли кто жениться, и приказывает спрашивать разрешение барина. Вслед за тем один из парней приближается к барину, кланяется в ноги и говорит:

- Батюшка-барин, прикажи жениться.
- Что-о? Не слышу, — переспрашивает глухой барин.
- Жениться! — кричит во весь голос парень.
- Телиться?
- Жениться!
- Ягниться?
- Жениться!
- А, жениться! Ну, что ж, женись, женись, выбирай девку!

Парень выбирает девушку. Товарищи его подхватывают ее под руки и подводят к барину. Девушка, разумеется, всеми силами упирается и не идет. Тогда кучер бьет ее «шелепугой» (бичом) и кричит: «Благодари барина, целуй барина». Как только девушку подведут к барину, с него как рукой снимет прежнюю апатию и сонливость: он делается необыкновенно подвижен, оживлен, рассыпается мелким бисером и то лезет целовать и обнимать девушку, то делает полные непристойности жесты. Кучер же в это время изо всех сил помогает барину ухаживать и придерживать увертывающуюся от поцелуев девушку. Потом к барину подходит второй парень, который тоже испрашивает разрешения жениться, и так продолжается до тех пор, пока все не переженится.

В некоторых местах эта сатирическая комедия представляется с различного рода вариантами: причем характерно, что комедия не застыла в раз и навсегда определенной форме, а подвергалась новому ряду изменений, сообразно с новейшими переменами в судьбе барина. Так, например, в ней нашло свое отражение и современное помещичье оскудение. По крайней мере, наш смоленский корреспондент свидетельствует, что в Юхневском у. действующими лицами пародии является промотавшийся помещик и его слуга пройдоха. Пародия начинается монологом помещика, который жалуется на трудные времена и на то, что народ от рук отбил. Ему, барину, сейчас нужны деньги, он вчера дотла проигрался в карты, а староста, между тем, не несет оброка¹, хотя давно должен был явиться. От нетерпения барин кличет слугу:

- Ванька новый!
- Чего изволите, барин голый?
- Что-о? Что ты сказал?
- Я говорю: чего изволите, мол, барин?

Барин посылает слугу в лавку набрать товару в долг. Но слуга возвращается и говорит:

¹ Анахронизм этот не так велик, как может показаться.

— Не дает лавочник-то. Говорит: «Этакому шерамьжнику да в долг давать? Твой, говорит, барин, больше ничего, как мазурик...»

— Молчи, молчи, дурак! — прерывает барин расходившегося лакея. Но лакей не унимается:

— Я что ж-с, я молчу... А только лавочник говорит: «Этакому, — говорит, — жулику — и в долг? Сохрани меня, Боже... Ежели бы, говорит, порядочному господину — я с моим удовольствием, а твоему, — говорит, — беспартошному барину ни в жисть... Много, мол, развелось их нынче, рвани всякой...»

Барин, наконец, не выдерживает и кидается на лакея с чубуком. Лакей убегает, и на его место является староста. Барин очень рад старосте, но боится прямо спросить про оброк и заводит разговор издалека, осведомляясь о деревенской жизни и о своем хозяйстве. Староста начинает с того, что на деревне все обстоит благополучно и незаметно возбуждает у барина надежду на получение денег. Но как только эта надежда переходит в уверенность, староста докладывает, что хотя и все благополучно, но жеребец издох.

— Что? — кричит барин. — Мой жеребец?

— Ваш, батюшка-барин, ваш. И дом сгорел.

— Что-о? Мой дом?

— Ваш, сударь, ваш. И рожь уродилась такая, что сноп от снопа — столбовая верста, а копна от копны — целый день ходьбы. — Помещик подавлен всеми этими известиями, а староста не унимается и выкладывает все новые и новые беды, пока барин не прогоняет его.

Кончается пьеса тем, что к барину является кредитор, и барин опрометью, без души, улепетывает от него на улицу.

Эта пародия очень нравится крестьянам, так, что актеров-любителей не только принимают с распростертыми объятиями, но угощают и дарят деньгами.

До сих пор мы останавливались преимущественно на таких играх и забавах крестьянской молодежи, которые рисуют святочные развлечения нашего народа с отрицательной стороны. Но есть, разумеется, много игр совершенно невинных, характеризующих лишь наивность и простоту деревенских нравов. Из таких игр можно указать, для образца, хотя бы следующие.

Игра в голосянку. — На посиделках какой-нибудь бойкий парень выходит на середину избы и громким голосом произносит:

Ну давайте-ка, ребята,
Голосянку тянуть.
Кто не дотянет,
Того за волосы-ы-ы-ы...

И парень, а за ним и все другие начитают тянуть это «ы» до бесконечности. Посторонние же посетители (ребятишки и пожилые) всячески стараются рассмешить участвующих в игре и тем заставить прервать звук «ы». «Эй, ты, Егорко, лопнешь! — кричат они какому-нибудь парню, — смотри, как шары-то (глаза) выпучил!» Окрики эти сопровождаются обыкновенно самым заразительным смехом, и потому Егорка, не удержавшись, в конце концов расхохочется и оборвет звук «ы». Тогда на него наскакивает целая толпа и теревит за уши, за нос, за волосы. Азарт при этом бывает так велик, что теревят даже не участвующие в игре.

Почти такой же азарт вызывает игра в молчанку. Она состоит в том, что по команде «раз, два, три» все парни и девушки должны хранить самое серьезное молчание. Эта игра напоминает «фанты», потому, что не выдержавшие молчания подвергаются какой-нибудь условной мере, например, съесть пригоршню угля, поцеловать какую-нибудь старуху, позволить облить себя водой с ног до головы, бросить в рот горсть пепла, сходить на гумно и принести сноп соломы (последнее наказание считается одним из тяжчайших, так как ночью на гумно не ходят из опасения попасть в лапы «огуменчика», одного из самых злых домашних чертей). Исполнение штрафов за нарушение молчания производится по всей строгости уговора, а если кто-нибудь откажется съесть, например, уголь, то его начинают «катать на палках». Для этого толпа бойких ребят находит где-нибудь три, четыре круглых и гладких полена, раскладывает их на пол и всей артелью валит на эти поленья виновного, после чего парни подхватывают несчастного за ноги и

за руки и начинают катать по поленьям (операции этой часто подвергаются девушки, хотя и кричат при этом от боли).

С посиделок молодежь расходится далеко за полночь. Но, так как веселое настроение, поднятое танцами и играми, не проходит сразу, то парни, обыкновенно, не идут по домам спать, а продолжают шалости на улицах. Объектом этих шалостей служат чаще всего мирно спящие крестьяне, над которыми продельваются всевозможные шутки. Сговариваются, например, два парня подшутить над каким-нибудь дядей Семеном и придумывают такую «игру»: берут конского мерзлого помета, распускают его в горшке с горячей водой — так, чтобы образовалась жижина, затем вместе с этим горшком и метлой подходят к Семеновой избе и становятся — один подле окна, а другой с горшком у самой стены. — так, чтобы его не было видно из избы. После этого стоящий под окном начинает стучаться и кричать чужим голосом:

— Эй, хозяин, а, хозяин! подь-ка сюда на минутку!

Встревоженный дядя Семен слышав шум, встает, лезет, кряхтя, с полатей и первым делом отворяет окно и высовывает голову:

— Что надуть?

Но в эту минуту, парень, прижавшийся у стены, быстро макает метлу в горшок и машет дядю Семена по лицу. И пока Семен, отплевываясь и чертыхаясь, разберет в чем дело, парни будут уже далеко, и долго в тишине деревенской ночи, будет раздаваться их смех и ожесточенная брань дяди Семена.

Еще чаще расшалившиеся парни «пугают» спящих обывателей стуками в стены избы. Для этого толпа головорезов приставляет к переднему углу, где стоят иконы, толстый «стяг». (жердь) и из всей мочи ударяет концом стяга в стену. Удар нередко бывает так силен, что вся изба приходит в сотрясение, и иконы, если они плохо прикреплены к божнице, падают на пол. В таких случаях расвирепевший хозяин, в одной рубашке выскакивает из избы и с топором в руках преследует озорников. Это «стуканье», разумеется, вызывает со стороны степенных домохозяев искреннее негодование, тем более что тут замешано, некоторым образом, неуважение к святым. Поэтому, если разбуженному хозяину удастся настигнуть кого-нибудь из озорников, то дело часто кончается тяжкими побоями и даже увечьями. Впрочем, для предупреждения «стуканья», некоторые хозяева соединяются даже в компании, и подстерегая парней на месте преступления, беспощадно бьют их батожем.

Но самой излюбленной шалостью молодежи деревни следует признать заваливание ворот и дверей изб всяким деревенским хламом: дровами, бревнами, сохами, боронами и проч. Взявшись за это дело целой гурьбой, озорники так завалят все выходы из избы, что утром все хозяева очутятся как в плену, и нередко до вечера будут потом разбираться. Иногда для большей потехи, парни взбираются на крыши заваленных изб и выливают в трубу ведро воды, после чего хозяева, как очумелые носятся по избе и даже взывают о помощи к соседям¹.

До сих пор мы останавливались главным образом на святочных забавах деревенской молодежи. Но и взрослое население в эти веселые вечера не любит сидеть дома и предается свойственным его возрасту развлечениям, в ряду которых едва ли не главное место занимают хождения в гости, взаимные угощения и отчасти азартные игры. Последние, с развитием путей сообщения, проникли даже в такие медвежьи углы, как Вологодская губ., где играют и ребятишки, и парни, и взрослые мужики. Ребятишки, конечно, играют на денежки из тонко обструганной березы, а взрослое население на настоящие деньги. Любимая игра — «хлюст», «мельники», «окуля» (окуля — дама бубен, она ничем не кроется и ничего не кроет)². Игра сопровождается большим воодушевлением и нередко переходит в такой азарт, при котором крестьяне забывают все, бранятся и жестоко дерутся, нанося друг другу тяжкие побои. Характерно, что такой же азарт овладевает мужиками и тогда, когда они играют не на деньги, а например, в бабки. В Никольском у. Вологодской губ. бородатые игроки в бабки часто из-за одной или двух ладышек сорются и дерутся, как ребятишки, а некоторые, как уверяет наш корреспон-

¹ С меньшим удовольствием молодежь утаскивает в поле (иногда за несколько верст) сани и телеги спящих однодеревенцев, разрушает поленицы дров и разваливает печи в банях.

² Масти на крестьянском языке носят несколько иное названия в образованном обществе, тrefы называются «кресты», пики — «вини», дама — «краля», валет — «холоп», король — «бардадым», козырной туз — «необыгримка» и пр.

дент охотно соглашаются чтобы изо всей мочи ударили кулаком с ладышкой в лоб, но с условием, чтобы спорная ладышка была отдана им. При игре на деньги азарт доходит до того, что некоторые азартистые игроки не только проигрывают большие деньги (до 10 руб. и более), но оставляют своим счастливым соперникам даже одежду, так, что возвращаются домой почти нагишом, в одной рубашке. Есть деревни, где все крестьяне обратились в страстных игроков, сражающихся в карты даже летом, в сенокос и жатву.

Чтобы закончить характеристику деревенских святок, необходимо еще, хотя вкратце, упомянуть о святочных, или как их называют крестьяне «святковских» песнях. Особенность этих песен состоит в том, что они сопровождаются играми, различными хождениями, то рядами, то кругами. Игры, разумеется, придают значительный интерес посиделкам и вносят оживление в крестьянские вечеринки. Вторая особенность «святковских» песен заключается в том, что они составляют исключительную принадлежность рождественских и новогодних вечеров и в остальное время года предаются совершенному забвению, так, что самое пение их, помимо святок, считается в народе грехом. Понятно, таким образом, что песни эти составляли запретный плод в течение целого года, являются любимыми святочными развлечениями деревенской молодежи. На беседах они начинают входить в употребление уже с зимнего Николы, но пение их в это время еще не сопровождается играми, и только с наступлением рождественских вечеров игры вступают в свои права.

Наш вологодский корреспондент (Никольского у.) разделяет святочные песни на три группы, в зависимости от сопровождающих их игр. В первую группу он включает те песни, при пении которых девицы, присутствующие на беседе, разделяются на два равных ряда, причем оба ряда устанавливаются таким образом, чтобы лица обоих рядов девушек были обращены друг к другу. Когда послышатся первые слова песни, первый ряд девушек начинает идти ко второму, который в это время стоит на месте. Подойдя к нему, первый ряд расступается, девицы поворачиваются в другую сторону, спиной к лицу девиц второго ряда, берутся за руки и идут к своему прежнему месту. А в то же время и второй ряд оставляет свое место и идет вслед за первым рядом до другого конца избы, где оба ряда, расступившись, поворачиваются на своих местах и, взявшись за руки идут туда где стоял второй ряд: здесь, снова расступившись опять берутся за руки и вторично идут к месту, занимаемому первым рядом, и т. д. Как образчик святковских песен первой группы можно указать следующую записанную в селе Юзе, Вологодской губ., Никольского у.:

По горам, да девки ходили
 Да по крутым красны гуляли
 Да мечем горы шибали ¹
 Да напишу ль, я грамотку
 Да с по белу бархотку,
 Да отошлю ли я грамотку.
 Да родимому батюшке:
 Да что велит ли мне батюшка,
 Да мне с поиграшам ходити?
 Да ты ходи, дочи, веселись,
 Да с кем не сойдешься, поклонись.
 Да ты по старому-то поклонись,
 Да ты со младым-то пошути,
 Да ты от молодого, прочь пойдн.

Ко второй группе святочных песен относятся такие, которые поются с «отпевами», т. е. вопросно-ответные или диалогические. Для пения их участвующие разделяются, как и в первой группе, на два равных ряда и точно так же, взявшись за руки, становятся на двух противоположных концах избы. Но так, как песни второй группы состоят из вопросов и ответов, то при самом исполнении их сохраняется диалогическая форма, вопросы поются одной стороной, а другая только «отпевает» (отвечает).

¹ Бросать, бить, кидать.

Вот образец такой песни:

Загануть ли,
Загануть ли.
Да красна девка,
Да краснопевка.
Да семь загадок,
Да семь мудреных,
Да хитрых, мудрых
Да все замужеских¹,
Да королецких²
Да молодецких.

Это вопрос, который поется одной стороной. Другая же отвечает:

Да загни-ко,
Загни-ко,
Да красна девка,
Да краснопевка,
Да семь загадок,
Да семь мудреных — и т. д.

Когда вторая сторона пропоет свой ответ, первая предлагает вопрос-загадку:

Еще греет,
Еще греет,
Да во всю землю.
Да во всю русску
Да во всю святорусску?

Вторая отвечает:

Солнце греет,
Солнце греет,
Да во всю землю,
Да во всю русску,
Да святорусску.

Дальнейшие загадки по своей трудности, ничем не отличаются от первой. Спрашивают, например, что светит во всю ночьку — отвечают — месяц светит, что сыплет во все небо — звезды сыплют и т. д.

Третью группу святочных песен составляют песни хороводные. Участвующие в игре девицы образуют круг и стоят, не передвигаясь с места, во время песни. По за-кругу же ходит одна какая-нибудь девушка, изображающая собой «царевеня» (царевича), который обращается с вопросами к царевне (царевну изображает весь хор).

Ц а р е в е н ь
Ты пусти во город,
Ты пусти во красен.

Ц а р е в н а
Те по ще во город,
Те по ще во красен?

Ц а р е в е н ь
Мне девиц смотреть,
Красавиц выбирать.

¹ Т. е. таких, которые под силу только мужскому уму.

² Королевских.

Ц а р е в н а
Тебе коя любя,
Коя прихороша,
Коя лучше всех?

Ц а р е в е н ь
Мне ка эта любя,
Эта прихороша,
Эта лучше всех.

С этими словами «царевень» выводит из круга выбранную им девушку и, взявши своей левой рукой ее правую руку, с пением быстро ведет ее по за-кругу. Когда песня кончится, ее начинают сызнова и поют так до тех пор, пока царевень не выберет из круга всех девиц. Таким образом в конце игры образуется целая «пленица» (вереница) девушек, предводимая царевичем. При пении же в последний раз «Возьму я царевну» — царевень, увлекая за собой всю цепь, делает несколько спиралеобразных поворотов, и на том игра кончается.

Рождество Христово

Рождественский сочельник повсеместно проводится крестьянами в самом строгом посте. Едят только после первой звезды, причем самая еда в этот день обставляется особыми символическими обрядами, к которым приготавливаются загодя. Обыкновенно, перед закатом солнца, хозяин со всеми домочадцами становится на молитву, потом зажигает восковую свечу, прилепляет ее к одному из хлебов, лежащих на столе, а сам уходит во двор и приносит вязанку соломы или сена, застилает им передний угол и прилавок, покрывает чистой скатертью или полотенцем и на приготовленном месте, под самыми образами, ставит необмолоченный сноп ржи и кутью. Когда таким образом, все приготовлено, семья снова становится на молитву, и затем уже начинается трапеза.

Солома и необмолоченный сноп составляют неременную принадлежность праздника, они знаменуют собой пробуждение и оживление творческих сил природы, которые просыпаются за поворотом солнца с зимы на лето¹. Садовые же растения и плоды, а также подсолнечные зерна считаются в народной мифологии как символ оплодотворяющего землю дождя.

Кутья или каша, разведенная медом, также имеет символическое значение. Она знаменует собой плодородие и употребляется не только в сочельник, но и на похоронах и даже на родинах (в последних двух случаях она подается с маслом) самая трапеза в сочельник совершается среди благоговейной тишины и почти молитвенного настроения, что, однако, не мешает крестьянам тут же, во время трапезы, гадать о будущем урожае, выдергивая из снопа соломинки, и заставляя ребят лазить под стол и «цыкать» там цыпленком, чтобы хорошо водились куры.

По окончании вечера, часть оставшейся кутьи дети разносят по домам бедняков, чтобы им дать возможность отпраздновать «богатую кутью», и затем в деревнях начинаются колядки.

По свидетельству большинства наших корреспондентов, обычай колядовать в рождественский сочельник за последние 5-10 лет стал выводиться, но все-таки и теперь он далеко не повсеместно забыт деревенской молодежью, которая видит в нем не только веселое препровождение времени, но своеобразную доходную статью. Есть места, где практикуется не только рождественская каляда, но и васильевская (под Новый год) и крещенская (в крещенский сочельник). Каляда состоит в том, что парни, девушки и мальчики собираются группами, и, переходя от одного двора, к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни то в честь праздника, то как поздравле-

¹ По календарю этот перелом зимы приходится на Спиридона-поворота, 12 декабря.

ние хозяек, то просто ради потехи и развлечения. За что им дают копейки, хлеба, а иногда потчуют водкой.

В Грузинской волости, Новгородского у. из колядованья выработался интересный обычай «цыганичанья», который по словам нашего корреспондента, состоит в том, что в первые два дня великого праздника молодые девушки, одевшись в разноцветные и шитые не по возрасту платья, накидывают себе на плечи большие распушенные платки (на манер цыганского костюма) и ходят по дворам и домам — одни с гармонией и балалайкою в руках, другие с лукошками. Вся эта веселая ватага распевает цыганские песни, играет, пляшет и выпрашивает все, что попадает на глаза, при чем, в случае отказа хозяев «по цыганской совести» бесцеремонно тащит все, что плохо лежит. Часто случается, что эти русские цыганки уносят различные вещи у своих соседей, но соседи редко обижаются и обыкновенно предлагают выкуп за свое добро. На вырученные деньги девушки покупают себе гостинцев на весь праздник, причем обычай запрещает, чтобы на «колядовье» деньги покупалось что-нибудь полезное.

Кроме деревенской молодежи, в колядах принимает участие и сельское духовенство, хотя справедливость требует отметить, что обычай этот распространен чрезвычайно мало и имеет значение чисто местное. Но тем не менее, он существует, и притом не где-нибудь в лесном захолустье, а в Курской губ. Вот что пишет нам по этому поводу один священник: «Эта «коляда» была для меня совершенно новостью, я о ней даже и не слышал, а теперь самому пришлось волей-неволей ехать за подаванием. — «Да ваше дело такое, что вам нужно ехать. — подбодряет меня церковный староста: — покойный отец благочинный по несколько возов с одной деревни, случалось, собирал, а вам всякий даст, я с вами поеду». Отправляемся в деревню «в коляду», в дом идет староста и говорит: «Батюшка в коляду приехал». Выходит хозяин. «В коляду приехали?» — спрашивает у меня. — «Да», — отвечаю я в смущении. — «Что же. ваше дело такое, на нови нужно дать, пойдете в амбар». Я стараюсь как можно скорее уйти из амбара, чтобы не смотреть, како мне сыпают коляды. Видя, мое смущение, некоторые хозяева замечали: «Вы дужа рахманны, нужно быть посмелей, покойный отец благочинный сам каждого хлеба требовал. Ну ничего, Бог даст, поживете с нами, пообвыкните»...

Как на оригинальную особенность, связанную с колядованием, нужно еще указать на следующий обычай, практикуемый в Вологодской губ. Кадниковского у. Здесь мальчишки 7—10 лет ходят по избам собирать лучины на вечера, при чем распевают такие песни:

Коляда, ты коляда,
Заходила коляда.
Записала коляда.
Государева двора
Государев двор среди Москвы,
Средь каменной.
Кумушка-голубушка,
Пожертвуйте лучинки
На святые вечера,
На игрища, на сборища.

Если лучины дали, то в благодарность еще споят: «Спасибо, кума, лебедь белая моя, ты не праздничала, не проказничала, на базар гулять ходила, себе шелку накупила, вышивала, дружку милому, отдавала. Дай тебе Господи сорок коров, пятьдесят поросят, да сорок курочек».

Если же лучины не дали, то пожелания принимают совсем другой характер: «Дай же тебе Господи — одна корова, и та не здорова, по полу пошла, и та пропала».

День Рождества Христова, как почитаемый одним из самых великих благочестивым образом — отстоят литургию, разговееются и только потом уже начинаются те бесшабашные празднества, которые заканчиваются поголовным пьянством и неизбежным в таких случаях бесчинством и драками. Пьют очень много; в некоторых местах, как например в Краснослободском у., Пензенской губ., существует даже обычай, в силу которого каждый, кто хочет, будь то знакомый, незнакомый, русский, татарин, мордвин — все равно, может зайти в любую избу и пить сколько угодно, при чем никто из хозяев не скажет ему ни слова. К концу дня, обыкновенно все мужчины за 25 лет еле ноги

волочат, многие женщины тоже. Среди этого разлитого моря и ненасытного разгула отрадное исключение составляет только деревенская детвора (и отчасти парни и девушки), которые ходят по дворам и славят Христа. Славильщики обыкновенно поют тропари и кондаки празднику и лишь в конце вставляют так называемые присказки. Вот для образца одна из таких присказок:

Пречистая Дева Мария
Иисуса Христа народила,
В яслях положила.
Звезда ясно сияла.
Трем царям путь указала —
Три царя приходили,
Богу дары приносили,
На колени припадали,
Христа величали.

Христославов крестьяне принимают очень ласково и радушно. Младшего из них обыкновенно усаживают на шубу, посланную в переднем углу мехом вверх (делается это для того, чтобы наседки сидели спокойно на гнездах и выводили больше цыплят), а всех остальных одевают мелкими деньгами, пирогами, мукой и баранками. На вырученные деньги ребята нанимают обыкновенно избу для бесед, куда кроме девушек и парней, ходят молодухи, вдовушки, солдатки и пожилые люди из числа непьющих.

П. П. Гнедич

*Призрак секунд-майора Кунце**

Святочный рассказ

I

Дедушка Иван Федорович очень любил, когда ему читали вслух. Для этого дежурили у него по очереди внуки и правнучки. Более всего он любил слушать шестнадцатилетнюю внучку Дорочку и десятилетнюю правнучку Липочку. — Дорочка читает ему английские романы, а Липочка из «тех книг, что в детской». Дедушка слушает внимательно, сидит в креслах аккуратно, сложив руки на животике, и глаз его из-под зеленого зонтика совсем не видно. За его креслом стоит старый Василиск, который скучает с тех пор, как упразднили сальные и пальмовые свечи: ему не с чего снимать нагар, и уже лет тридцать он не держал в руках щипцов. Внуки или правнучки сидят рядом с дедом на низеньких креслах и тоненьким голоском отбарабанивают строки. Дедушка относится к чтению весьма скептически.

— Это, друг мой, все украдено им, — замечает он про автора, — я это лет пятьдесят назад читал, и в гораздо более интересном изложении.

Даже когда Липочка читала сказки Андерсена, и тут находил дедушка на каждом шагу посягательство на чужую собственность.

* «Нива» № 51. 1895.

Гнедич Петр Петрович (1855—1925)— известный прозаик-беллетрист, драматург, критик и историк литературы.

Секунд-майор — офицерский чин в русских войсках.

— Все это. друг мой, украдено датским сказочником у нашего Державина. Только у Державина нет «Нехорошего мальчика», а есть романс:

— Я — ребенок, как-то сбился
В ночь безлунную с пути,
Весь дождем я замочился,
Не найду куда идти*.

И старичка никакого глупого у Державина нет, а есть сам стихотворец, который говорит, что амур —

... стрелу мгновенно
Острую в меня пустил,
Ранил сердце мне смертельно,
И, смеясь, говорил:
— «Не тужи, мой лук годится,
Тетива еще цела».
С тех пор начал я крушиться,
Как любви во мне стрела...

Очень эти стишки были модным романсом, друг мой, и хотя они и хуже пушкинских, но все же лучше ваших нынешних сказок.

II

Дорочка читала дедушке недели две подряд «Лондонские тайны»**. Дедушка был очень доволен, и хвалил роман своей кузине, семидесятилетней девице Annette, приехавшей к нему в двенадцатые праздники.

— Недурно, Annette, весьма не дурно. Представь себе начало: на Темзе туман; скользит черная лодка, едва видная над водой. За ней гонится полицейский катер. Полисмен кричит: «именем закона!» Лодку притягивают багром, — она оказывается без дна. Не только контрабанда, но и пассажиры провалились. А в таверне «Кружки и трубки» мокрые мазурики смеются над полицией. Я тебе рекомендую, Annette.

— Это Евгения Сю***? — спрашивает Annette так громко, что скучающий Василиск вздрагивает всем телом.

— Тролопп****, ma chère. Там описывается подкоп под лондонский банк, повешение преступника с серебряной трубкой в горле, торговля трупами... Преинтересно. Жаль только: нет ни одного привидения. Это очень странная черта: в каждом порядочном английском романе должно быть привидение. А тут нет. Я теперь непременно хочу прочесть что-нибудь с привидением.

Дорочка долго рылась в старых романах и, наконец, нашла необычайно толстую книгу, называвшуюся: «Призрак в парке лорда Салисбюри»*****. Читали ее недели три. Дедушка слушал с усиленным вниманием, и, когда дело доходило до явления тени какого-то предка, жившего при каком-то короле Иакове, он заставлял прислушиваться к

* Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Купидон» (1797).

** «Лондонские тайны» — автор этой книги Поль Анри Феваль (1817—1887), французский писатель, прославившийся откровенно бульварными романами, необычайно популярными в России прошлого века.

*** Евгений Сю — Эжен Сю (1804—1857) — французский писатель, автор множества занимательных приключенческих рассказов и романов.

**** Тролопп — псевдоним Поля Феваля, под которым он выпустил «Лондонские тайны» (1844).

***** «Призрак в парке лорда Салисбюри» — по-видимому, название книги вымышленное

рассказу и Василиска, который впрочем особенной любознательности к такому чтению не обнаруживал. Когда книга была прочитана, Иван Федорович задумчиво пожевал губами и спросил у Дорочки:

— Так это призрак-то в самом деле являлся?

Дорочка с горячностью подтвердила, что в самом деле. Дедушка выразил на лице полное разочарование.

— В самом деле, душа моя, этого не бывает. Я все ожидал, что автор подробно изложит всю подкладку такой мистификации, а он это серьезно?

— Да разве, дедушка, вы не верите в привидения?— спросила внучка.

— Не могу я, душа моя, верить в то, что подвержено сомнению в своем существовании.

Василиск вдруг проснулся.

— Ваше превосходительство изволили кое-что запомнить.

Когда Василиск говорил, казалось, что бьют старые-старые часы. Такие часы еще встречаются на глухих хуторках: когда начнут бить,— ни дать ни взять поет по очереди полдюжина хриплых петухов.

— Что запомнил?— нахмурился дед.

— Касательно видения. Сами сподобились видеть секунд-майора Кунце, через тридцать лет после его смерти, происшедшей от перерезания кровяных жил в духовом горле.

Сдвинутые брови деда вдруг расправились, рот растянулся в улыбку, как будто ему напомнили о чем-то весьма приятном; он с удовольствием высморкался и сказал:

— Да, призрак секунд-майора Кунце... Я даже могу подтвердить, что призрак этот играет роль в родословном древе нашей фамилии не меньшую роль, чем призрак графов Салисбюри в их роде.

III

Сказано это было громко, в гостиной, после обеда, где вокруг дедушки было сгруппировано многочисленное стадо его потомков. Такое неожиданное открытие поразило всех до чрезвычайности. Один из внуков, прокурор по профессии, даже пересел немедленно к самому креслу деда.

— Вы утверждаете,— спросил он,— что видели собственными глазами дух секунд-майора, совершившего над собой самоубийство за несколько десятилетий до этого?

— Да... пожалуй,— спокойно подтвердил дедушка.

— И можете подтвердить реальность видения фактами?— не отставал внук.

— Да что ты с меня допрос снимаешь?— крикнул Иван Федорович. — Пошел вон. Ты не в суде у себя, а у меня в доме.

— Дедушка, это очень страшно, очень?— спрашивала Липочка, теребя деда за руку.

— Не то, чтобы уж очень,— начал было дед, но Василиск опять захрипел:

— И посейчас помню, ваше превосходительство, как вы изволили выйти из зала бледненький, ровно вас пудрой обсыпали; и челюсть нижняя трясется.

— Уж и трясется!..

— Как сейчас вижу, ваше превосходительство.

Деда со всех сторон окружили.

— Дедушка, милый, расскажите про секунд-майора, расскажите!

— Но почему же господин Кунце мог повлиять на наше родословное дерево?— не отставал прокурор.

— А потому,— ответил дед,— что призрак секунд-майора несомненным образом повлиял на свадьбу мою с твоей бабинькой, Юлией Алексеевной.

— Из загробного мира?

— Да, должно быть, оттуда.

— Дедушка, дедушка, не томите! — кричала Дорочка. — Это должно быть так хорошо, так хорошо!

— Не взволнуетесь ли вы очень, ваше превосходительство? — обеспокоился Василиск, нагибаясь над дедовскими креслами.

— Не взволнуюсь! — возразил дед. — Ведь ты сам, старый хрен, ничего не знаешь из этой истории. Да и никто, кроме меня, ничего не знает.

И, заинтересовав таким образом общество, дед приступил к рассказу.

IV

«— Было это пятьдесят шесть лет тому назад. Отец мой купил дом на Фонтанке, — трехэтажный особняк, с греческим фронтоном и колоннами, и купил очень дешево. Дешево же продали его потому, что он пользовался, как это оказалось после покупки, дурною славой: его строитель секунд-майор Кунце, проигравшись в карты, зарезался в угловом кабинете. Дом стал переходить из рук в руки, но жить в нем никто не мог, потому что секунд-майор считал своей обязанностью, в годовщину смерти, являться в угловой комнате и сидеть три ночи подряд в креслах, с перерезанным горлом и выпученными глазами. Призрак этот видели многие, и все указывали на одно и то же место, в углу у камина. Находились лица, которые видели секунд-майора и в течение года, — но только не летом: очевидно, светлые северные ночи были не благоприятны для появления призрака.

Матушка, узнав всю эту историю, очень рассердилась и хотела выезжать из дома, — насилиу ее отец уговорил. При этом всей дворне было строго-настрого предписано, если даже кто и увидит секунд-майора, то барыне о том не докладывать. В случае нарушения этого завета, лиц мужского пола драли на конюшне, а женского — ссылали в деревню. Поэтому, явно секунд-майор никому не показывался.

Комнату всю переставили, а отец даже снял целую стену, преобразив ее в арку, и тем соединил кабинет с огромной залой, которая отпиралась только в торжественных случаях, когда танцевала молодежь. Но это несколько не помешало секунд-майору являться по окончании танцев, когда тушили огни. Барыне об этом не докладывали, но мы знали отлично, от достоверных свидетелей, что самоубийца не только сидит частенько на креслах, но и головой мотает, и хрипит. Кое-кто из дворни нарочно ходили смотреть его и видели отлично.

Мне в это время шел уже двадцатый год, и у меня почти была невеста. Почти — потому что я все никак не решался сделать предложение хотя мне казалось, что я не противен Юличке. Дело идет как вы чувствуете несомненно, о вашей бабынке.

V

Юличка гостила у нас на святках с своей маменькой. Юличка была красоты трогательной: ротик бантиком, носик узенький, глазки прелести неопишуемой. Примечать ее я начал уже третий год, но все меня одолевало сомнение. Был у нее альбом. Тогда у всех барышень были альбомы. Еще за год я вписал ей туда пречудесные стишки, которые оканчивались куплетом:

Взглянь на розы и лилеи —
 Лель из них венки плетет;
 Вкруг твоей приятен шеи
 Розовый и белый цвет...

Отчего она даже весьма покраснела.

Прокурор перебил дедушку:

— Откуда у вас такая коллекция допотопных куплетов?

— Это, мой милый, не допотопные. Допотопные — те другого штиля. У моей матушки, в ее альбоме, был такой стишок, на подобный же мотив:

Слияние роз и лилей при груди любимой
Нудило сдаться очам ее необходимо...

Вот это — допотопное. Ну-с, так вот, влюблен я был в Юличку жестоко. Вдыхал, не спал ночей, рисовал кудри и факелы, бегал по набережной Невы, очевидно, с целью утопиться, плакал и изливал друзьями моим всю бездну моего отчаяния и горести. А Юличка сидела за обедом ангелочком и только изредка, когда никто не видел, стреляла в меня глазками так, что у меня сердце переставало биться, в груди чувствовалось томление, руки и ноги холодели.

Держали в то время молодежь строго, в разных этажах: мы жили в третьем, а девицы во втором. Но это не мешало нам по вечерам играть в фанты и веревочку, и танцевать под фортепиано. Вот раз как-то накрыли меня с Юличкой большим оренбургским платком, так как я изображал исповедника. Мы сперва стукнулись носами. Я извинился. Она спросила:

— Ну, что же?

Я что-то промычал дикое. А она и говорит:

— И кислятина же вы, Ваничка,— то есть такая вы размазня...

Навьючила мне на голову весь платок и вынырнула на свободу.

Дня два я ходил с разинутым ртом, и, наконец, решил, что так или иначе докажу свою храбрость. Я даже сожалел, что не поступил в военную службу. Мне все хотелось доказать Юличке, что я не кислятина, а человек беззаветного мужества и доблести.

VI

Танцевали мы как-то в большой зале. Свечи тогда были дорогие, и маменька поэтому велела зажечь только две канделябры, по две свечи каждая. Нельзя сказать, что было светло, но весело — удивительно. Юличка танцевала vis-à-vis меня с каким-то кудлатым лицеистом, которые тогда только что входили в моду, и несомненно отдавала ему передо мной предпочтение. Этого было достаточно, чтоб я был свиреп, как носорог. Танцевал я, как теперь помню, с кузиной Annette, которая была такая же размоченная, как и теперь. Мне всегда казалось, что она обкормлена черносливом, и потому в ослаблении чувств. Вдруг она, в пятой фигуре, как завизжит — и голову ко мне на грудь. Конечно, все к ней, а она и говорить не может, зажмурила глаза, и бегом из залы.

Отпоили ее, привели назал. Упирается, нейдет. Оказывается, что показался ей в углу секунд-майор. Все мы пошли смотреть таинственный угол. Нет ничего, — камин как камин. Стыдись принялись Annette, а она плачет рекой: «видела, говорит, видела»

Тут лицеист показал себя: «Это, говорит, галлюцинации. Я не верю ни в какие фантомы. Я однажды выиграл бутылку шампанского, прибав поэму на кладбище в ночь на Иванов день».

Все заахали, а Юличка смотрит вызывающе так на меня и говорит:

— Ну, а вы могли бы в Иванову ночь прибить на памятник поэму?

Я приосанился.

— Я право, не знаю, говорю,— вероятно на кладбище бы не поехал, потому что здесь далеко. А вот здесь, в зале, я безо всякого пари готов ночь провести.

У Юлички и глаза сверкнули.

— Взаправду?— спрашивает.

Ну, тут уж я обиделся.

— Я на ветер слова не бросаю.

— Сегодня останетесь? До утра?

Я пожал плечами и нижнюю губу выдвинул.

— Пожалуйста, сколько хотите.

Молодежь решила, что все это останется в тайне от старших; иначе бы наш проект был разбит. Решено было, что после ужина, когда все в доме смолкнет, два ассистента отведут меня в залу и запрут там. С рассветом же опять они придут и

выпустят на волю. Я бросил презрительный взгляд на лицеиста, опять сказал «пожалуйста», и все стали опять танцевать.

VII

За ужином я чувствовал себя героем. Все украдкой посматривали на меня и перешептывались. Я мало ел и был молчалив. На дуэлях мне никогда не доводилось драться, но, думаю, что дуэлянты испытывают нечто подобное накануне поединка. Лицеист, напротив того, был чрезвычайно весел, сидел возле Юлички и говорил без умолку. Но Юличка отвечала ему рассеянно и тоже поглядывала на меня.

Наконец, гости разъехались, огни стали тухнуть. Я простился с барышнями. *Annette* чуть не упала в обморок, прощаясь со мной, а Юличка только сказала моему брату, назначенному ассистентом:

— Смотрите, Петр Федорович, покрепче его запрягите, и ключ под подушку к себе.

Все угомонилось. Я сидел одетый на кровати. Брат Петя и гостивший у нас далекий родственник, армейский гусар, тоже не раздеваясь ожидали общего затишья. Ложились у нас рано, и в половине первого брат, посмотревши на часы, сказал:

— Пора.

Мы тихо сошли с лестницы. По спине моей точно поливали из душа холодной водой. Но шел я бодро. Быть может, даже почти наверно, я был бледен, но так как было темно, то этого мои провожатые не заметили.

Вот и дверь. Отворилась. Черная пасть залы. Какие-то полосы просвета. Белесоватые пятна окон: за окнами уличные фонари. Стен нет: стены ушли куда-то; беспредельный вокруг волнующий сумрак. Я один, я заперт до утра. Заперт. Окна двойные, уйти нельзя.

Остановился я на месте: ноги прилипли к полу, ни взад, ни вперед. А главное, ведь как раз теперь, на Рождество, и приходится эта проклятая годовщина!

Но, все-таки, преодолел страх. Двинулся вперед, ступаю громко по паркету, и каждый удар каблука со звоном отдается в зале. Иду смело, прямо к камину. Никого нет. Так-таки совсем никого. Ощупываю камин, угол, — никого.

Прошелся по зале раз, два, подошел к окну. Горят фонари, белеет замерзшая Фонтанка. Тишина, спокойствие. Чего бояться темноты? Что-то странное, белое висит надо мною. Но это оттого, что темно, и я не могу разобрать, что за странный четырехугольник надвигается сверху. И опять я начал ходить и стучать сапогами на всю залу.

И вдруг мне показалось что-то ужасно скверное. В углу зашевелилась какая-то белая фигура. Поднялась какой-то спиралью. В затылке стало у меня очень нехорошо. Но все это вздор и пустяки...

Кто-то вздохнул, — хрипло, поганно. И люстра звякнула. За окном слышен свист: проехал извозчик. От этого, понимаете, и люстра бренчит. На душе прегадко: скрябает, царапает что-то. Несомненно, надо ходить скоро и не обращать ни на что внимания. И я начал ходить скоро и не обращать ни на что внимания.

Ходил, ходил. А потом сразу замер.

У камина что-то белеет, клубится, ползает по стене, — может, это свет от фонаря, — а, может быть, и секунд-майор.

И вдруг у меня над головой удар: бумс! бумс!

Не знаю почему, я кинулся к двери. Кинулся, нажал ручку, отпер. Дверь подалась, открылась, и я побежал вверх по лестнице...

VIII

Мне показалось, когда я пробежал вторым этажом, что на лестнице стояла Юличка и говорила: «Постойте, стойте, куда вы!» Но я все бежал. Прибежал к себе, и повалился ничком на кровать. А рядом лежал брат Петя храпел, покрывшись простыней и изредка чавкая во сне губами.

Ну, словом, я потерпел фиаско. Около полудня составился совет. Я был посрамлен.

— Пробыть только полчаса и убежать! — стыдила меня Юличка. — Да я, вот, и то не побоюсь никаких привидений, я сколько угодно времени пробуду там ночью. А вы!...

Я себя считал совершенно посрамленным, и даже не пошел в университет, ссылаясь на нездоровье, хотя мне нужно там было быть по делу в библиотеке. А и университет-то был он нас не далеко: ведь он тогда помещался в Кабинетской.

Вплоть до обеда я пролежал на кровати, и все ломал голову, что бы придумать такое страшное, чем бы объяснилось мое бегство. Но ничего не выходило. Все-таки после обеда я должен был рассказать, по условию, молодежи свои впечатления. Я собрался с духом и начал. Когда я дошел до ужасающего изображения крови, льющейся рекою из горла, и хватил несколько через край, уверив, что эта кровавая река подхватила меня и понесла не только чрез двери, но чуть ли не вверх по лестнице, тут уж брат Петя не выдержал.

— Ну, уж это ты врешь, — сказал он, — рассказывай им сказки, я еду в Царское. И он уехал к тому лицеисту, что был накануне.

К вечеру у гувернантки m-lle Marie сделалась мигрень. Она повязала голову фуляром, легла в постель, и заклинала девочек всеми святыми, чтоб ее оставили в покое. Вот этим-то обстоятельством и воспользовалась Юличка. Она выбрала ассистентами себе Annette и гусара, потребовала, чтоб ее не так, как меня, а «как надо» заперли до рассвета в залу, и ключ унесли с собой. При этом она смотрела на меня во все глаза, и, как мне казалось, с невыразимым презрением.

— Юлия Алексеевна, — простонал я, в первую удобную для этого минуту.

— Подите вы, — ответила она, — трусишка.

Глубоко оскорбленный лежал я на кровати. Я чувствовал, что меня все презирают. Шум внизу уже утихал. Скоро должны были повести Юличку в ее заключение.

Вдруг меня озарило: блеснула молния, — и все стало ясно. Я вскочил с кровати и задохнулся. Потом я потушил свечу, проскользнул из своей комнаты, тихо-тихо спустился по лестнице, отворил дверь в залу и вошел туда... Вот сердце-то билось, так билось!

IX

Сел я в угол за камин и стал ждать. На этот раз я не боялся нисколько. Никаких шумов и стуков, кроме собственного сердца, я не слышал. Голова вертелась как волчок, я ничего не понимал.

Из-за двери блеснул луч света. Смутно пошептались. Слышно, как щелкает замок, как ключ вынимают. И вот мы с ней вдвоем — она на одном конце залы, я — на другом.

Но тут мне пришла в голову ужасающая мысль: что же я делаю! Ведь если я не только скажу слово, а пошевельнусь, то напугаю насмерть Юличку, потому что черт меня угораздил плюхнуться-то на проклятое место секунд-майора. И вдруг она упадет в обморок, умрет от разрыва сердца, или завизжит, перебудит весь дом, и нас вместе с нею застанут?

Однако, ничего подобного не случилось. А случилось нечто гораздо более странное. Юличка, не торопясь ступая, подошла к арке и уверенно так, спокойно, полупшепотом спросила:

— Ваничка, вы здесь?

Я ответил: — Здесь, — и вышел из засады.

Она положила свои руки вокруг моей шеи и сказала:

— Господи, какой ты дурак!

Тут я понял, что был дурак действительно, и поумнел только в эту минуту».

— Ну, дедушка, дальше, дальше — говорила Дорочка.

— А ведь ты, стрекоза, вылитая Юличка, — задумчиво сказал Иван Федорович, приглядываясь к внучке.

— Нет, дальше-то что было, дедушка, миленький?

— А после Пасхи свадьба была.

— А тогда-то, ночью, как вы вышли?

— Проходили мы с ней до шести часов по зале. Под конец обоим спать захотелось

Друг перед другом бодримся, а веки так и слипаются. Еле дождалась рассвета. Как ее вывели, — я бегом наверх, и часов до двух проспал, так что матушка обеспокоилась и за доктором послала.

— А бабушка что?

— А Юличка после обеда говорила, что никакого секунд-майора не было, и нисколько ей не было страшно, и она готова еще раз ночь просидеть в зале, если ей не верят, только надо днем выспаться перед этим.

— Так, значит никакого не было призрака? — спросил разочарованный прокурор.

— Как же нет, — рассердился дедушка, — ведь дворян же видела, значит, он был. А мы с Юличкой по молодости лет не видели. Юличка созналась, что она накануне над моей головой стучала, — это так. Но почему же и не быть призраку секунд-майора Кунце?

— Ваше превосходительство, — сказал Василиск. — Я пойду к повару за молоком для вашего превосходительства.

Дедушка мотнул в знак согласия головой, взял в обе руки миниатюрное личико Дорочки, близко наклонился к ней и долго на нее смотрел.

— Ну, как две капли! — проговорил он и, откинувшись на спинку кресла, задумался, улыбаясь беззубым ртом и вспоминая давно-давно минувшее время.

Андрей Осипов

В последний раз*

Святочный рассказ

Часы торопливо и звонко пробили восемь. Все тихо в меблированных комнатах, и по коридору не слышно ни веселых разговоров, ни хлопанья дверью, ни даже шлепанья туфель горничной Акулины, которая с утра до ночи с бледным озлобленным лицом мечется из одного номера в другой.

Все разошлись. Жилец из третьего номера, богатый холостяк, которого почему-то прозвали женихом, надел фрак, долго вертелся перед зеркалом и уехал, наконец, на елку к генеральше Тупиковой, которая умеет всегда удивительно соединять и оживлять общество. Учительница из четвертого номера ушла с утра и сказала, что вероятно, останется ночевать в гостях, а аптекарь из девятого удивил всех, послав за водкой.

— Что это ты батюшка до звезды! — удивилась Акулина, подбрасывая серебро на руке

— Звезда моя матушка, давным-давным потухла, — мрачно ответил он ей и бросился с такой силой на кровать, что она вся затряслась. Сама Акулина последовала его примеру и, опустив огонь в лампе на мышинный глазок, прилегла на своем сундуке, сладко мечтая о деревне. Там теперь веселятся, по всему селу идет гомон, из печей вырывается чад всяких вкусных кушаний, а тут сиди и скатывайся горошком при каждом звонке. Слезы показались было на ее глазах, но за ручку двери задергал почтальон и заставил ее принять целую кучу карточек. Она положила их на полочке в углу; завтра управляющий разберет их; грамоты Акулина не знает, отчего и получает всего шесть рублей с своим чаем. Конечно, господа понакидают пяток рублей теперь к празднику, но она бы охотно отказалась от этого, лишь бы вырваться на несколько дней из омота, как называла меблированные комнаты, и подышать свежим воздухом, а не керосиновой копотью. И снова она прилегла на сундуке.

Тишина все сильнее и сильнее охватывала всю квартиру, только в седьмом номере слышался легкий шорох; там второй год уже живет одна старушка по фамилии Костылева. Все жильцы меблированных комнат знают ее и называют по имени, Муза Павловна. Впрочем, в коридор она выходит редко и все больше сидит у себя в номере,

* «Рождественский альманах», Казань, 1899.

Предположительно авторство рассказа принадлежит писателю и журналисту Осипову Андрею Андреевичу (1868—1910).

положив руки на колени. Лицо у нее белое, с тонкой, нежной кожей, глаза с длинными ресницами, смотрит ласково, одета Муза Павловна очень чисто, и всякое пятнышко на платье ей неприятно. Из дома она никогда не выходит и живет на средства, получаемые ею из какого-то благотворительного общества. С первого взгляда она производит впечатление совершенно нормального человека, но стоит с ней поговорить хотя немного, чтобы убедиться, что разум ее давно угас и живет она вся в прошлом.

Впечатления настоящего скользят по ней как тени, не оставляя никакого следа. Выслушав сказанное ей, она тихо улыбается, но видно, что ее мысли идут своей чередой, не сбиваясь с раз определенного пути и не допуская новых. Только несколько дней тому назад, узнав, что Рождество близится, она засуетилась и заволновалась. На другое утро она надела салоп с коротенькими рукавами, капот и, тяжело ступая калошами, в которых давным-давно жила моль, пошла в город. Акулина долго смотрела ей вслед и, необдуманно покачав головой, произнесла только:

— Ну ну!

И снова начала метаться из одной комнаты в другую. Муза Павловна ходила долго, и когда вернулась, то общему изумлению не было пределов. В одной руке она несла небольшую елку, а в другой несколько пакетиков. Акулина не замедлила рассказать об этом пившему у нее чай кухонному мужику из второго этажа который меланхолически заметил:

— Денег у них много!

— Да не то совсем, — отмахнулась Акулина, — зачем ей эта самая елка?

— Господская забава!

— Ну тебя! — разозлилась Акулина, но вспомнив, что он гость, тут же любезно добавила. — Еще будешь чай пить?

— Да что чай, одна вода!

Акулина посмотрела в коридор и убедившись, что там никого нет сунула гостю двугривенный. Он понял ее и лицо его расплылось в широкую улыбку.

Между тем, Муза Павловна доплелась до своего номера, аккуратно заперла дверь и начала разбирать покупки. Елку она поставила на стол и закрыла ее скатертью. В коробочке рядами лежали — оловянные солдатики с розовыми лицами, в пакете, перевязанном розовой лентой, оказалась кукла с пушистыми русыми волосами. Стекланные глаза ее смотрели весело, а из полукрытых губ светился ряд зубов. Наконец, в корзиночке были бережно сложены бусы, цепочки, свечки ярких цветов и другие украшения.

С своей постоянной улыбкой Муза Павловна начала убирать елку. Работала она не торопясь и несколько раз присаживалась, любуясь деревцем, которое постепенно теряло свой скромный вид. К вечеру елка была готова. Муза Павловна спрятала ее за кровать и уселась ждать той минуты, когда на небе заблестит первая звездочка. Сумерки наступали медленно. Сначала какие-то сероватые тени начали сгущаться в углах, затем они поползли по стенам и заволокли всю комнату. Тогда Муза Павловна поставила елку на стол и начала медленно зажигать одну свечу за другой, предвкушая тот миг, когда озарится вся комната, и дети, войдя, поразятся ее блеском.

Миша конечно, вскрикнет и бросится к солдатикам, а Аня возьмется за куклу и начнет ее целовать.

Злая старческая болезнь вычеркнула целый ряд годов из памяти старушки. Она думает что Миша жив, между тем как он уже давно покоится на большом кладбище на окраине города.

Как ему не хотелось умирать!

Нужда, вечная забота о завтрашнем дне, хлопоты, все это подточило его слабое от природы здоровье, и он начал подозрительно кашлять и худеть. Когда товарищи намекали ему, что он болен и болен серьезно, он улыбался и отмахивался рукой.

— Пустяки! Окончу курс, уеду в провинцию, там поправлюсь!

Но окончить курса ему не удалось! Он умер ранней весной, когда по голубому небу тихо таяли и проплывали перистые облака, в воздухе пахло свежестью и молодостью, а ветер чуть шевелил ветвями, усеянными клейкими листиками. Он смотрел в окно слеза навернулась у него на глазах.

— Что ты?

— Как жизнь-то хороша! — сказал он, хотел вздохнуть полной грудью, но уже не мог. Из нее вырвался какой-то не то хрип, не то стон и все было кончено.

И это забыла теперь Муза Павловна!

Ну, а Аня, та пошла торным и тяжелым путем сельской учительницы. Уезжала она на свое дело полная надежд, с горящими от радости глазами.

— Там хорошо живется, просто! — говорила она провожавшим ее на вокзал.

Но деревня скоро опутала ее своими интригами. Не сошлись с помещиком, не поклонилась волостному писарю, да и местный туз Мироныч смотрел на нее далеко не ласково.

— Тверда ли в деле своем? — говорил он и, не добавляя более ничего, неодобрительно качал своей лысой головой.

Деревенские ухаживатели встретили суровый отпор, и чтобы отомстить ей, прибегли к старому, но верному средству — сплетне. Она быстро разрослась и пошла гулять по селу, и когда учительница скромно пробиралась к себе домой, она невольно замечала усмешки и чувствовала, как за спиной у нее шепчутся. Пришлось переменить место.

Словом, она стала лицом к лицу с нуждой. Это бы еще не особенно страшило ее, так как она к этому привыкла, но тяжело было то, что все, чем она жила, было смято и исковеркано. Оставался один исход...

Однажды утром ее нашли лежащей на постели со стиснутыми зубами и перекошенным ртом. Небольшой клочок бумаги валялся на подоконнике. Там была единственная просьба к людям: не винить никого в ее смерти.

Хоронили ее осенью.

Надоедливый косой дождь поливал и гроб, и разрытую могилу. Большие тяжелые тучи, роняя слезы, проносились, куда-то все дальше и дальше, точно торопясь уйти из этого села, затерявшегося среди голых, черных полей...

Когда весть об ее смерти дошла до матери, она места себе не находила. Плакала, грозила, сама не зная кому, и все это теперь забыто.

Болезнь подготовила Музе Павловне беззаботную старость. Из прошлого она помнит только свои светлые дни, и потому решила, как в былые годы, устроить детям елку.

Миша, вероятно, будет доволен подарками, а об Анне не стоит и говорить!..

И старуха сидит в ожидании того момента, когда с криками веселья ворвутся дети, и оживится ее номер.

Но беспокойство начинает постепенно закрадываться в ее душу.

В коридоре все тихо, только доносится чей-то звучный, раскатистый храп.

«Вероятно, они подкрадываются, — думает старушка, — хотят меня испугать!»

Но тут туман рассеивается на одно мгновение, она сознает свою одинокую старость, и слезы одна за другой начинают сбегать по ее щекам и падают и на оловянных солдатиков, и на улыбающуюся куклу.

Н. Морской

*Кувшинчик**

Рождественская фантазия

Когда Еничка, одетый в праздничную куртку, вошел в зал, — он положительно вытаращил от изумления глаза. Вся комната буквально была усеяна прелестными розами, розами, покрывающими потолок и стены, обвивающими окна, зеркала и люстры. В серебряных, без позолоты, канделябрах и подсвечниках горели розовые восковые свечи, лампы прикрывались розовыми абажурами и шарами — и в добавление всех эффектов — к Еничке бежала навстречу хозяйка этого очаровательного жилища, круглолицая Людмила, одетая в роскошное розовое платье. В ушах Людмилы дрожали крупные бриллианты; в темно-русой косе трепетала, сделанная из розовых яхонтов и алмазов, бабочка; с декольтированного корсажа сбегали волны розового крепа, падающего струистым каскадом на тяжелый шелковый трэн. Людмила на ходу развертывала

* «Нива» № 52, 1880.

Л е б е д е в Николай Константинович (псевдоним — Н. Морской) (1846 — 1888) — писатель, журналист, автор критических статей.

своими маленькими ручками, одетыми в длинные до самого локтя перчатки, розовую бархатную, с серебряными застежками, книжечку и чертила в ней что-то посредством самого миниатюрного карандашика. Подбежав к Еничке и приветливо улыбаясь, она торопилась ему сообщить:

— Представьте мою рассеянность, — я не вычеркнула до сих пор целых три дня. И, не дав сказать что-либо гостю, спешила осведомиться:

— А вы не забыли?

Она смотрела на Еничку своими круглыми, небесно-голубыми глазами, перевертывая маленькими пальчиками листики записной книжки. Всегда легкомысленная, Людмила предложила по обыкновению нелепый вопрос. Конечно, он не забывал: вот еще!.. Будь у него такая книжечка, он только бы и знал, что заглядывал в нее... Он и без всякой подобной книжечки аккуратно вычеркивал каждый остающийся до Рождества день; иногда из удовольствия разом сделает много крестиков — умышленно не заглядывал в листок, — из удовольствия, а уж никак не по рассеянности. С степенной важностью, начавшего посещать школу мальчика, Еничка ответил на вопрос Людмилы:

— Конечно, я помнил.

Легкомысленная Людмила не остановилась долее на этом предмете. Спрятав книжечку в карман и развернув розовое шелковое опахало, кокетливо обмахиваясь им, она торопливо осведомлялась:

— Видали звездочку?

Не дождавшись ответа, Людмила взяла за руку и повела его по убранному розами залу, в котором никого кроме их двоих не было:

— От меня звездочку видно превосходно.

Людмила остановилась перед задернутым шелковыми гардинами окном, поставив Еничку посередине, и вдруг распахнула обе половинки занавеси.

Взглядам Енички представилось огромное окно, с нарисованными на нем извне рисунками мороза, блестящими не хуже алмазов, окно, через которое виднелось усеянное ярко дрожащими синеватым, зеленым и красноватым светом звездами, небо... Как бы окруженная роем мелких звездочек, на этом темном небе сияла кротким белым светом одна звезда, превосходящая размерами все остальные. Людмила указала на нее Еничке:

— Не правда ли, как хорошо?

При этом Людмила сделалась серьезнее и как бы задумчивее, перестала неустанно болтать своим язычком и поясняла Еничке с некоторою солидностью:

— Это — Христова звездочка. Знаете, когда она появляется, — все дети на земле — и хорошие, и дурные, становятся одинаково добрыми и видят прелестные сны.

Оба — Людмила и Еничка — стояли в каком-то радостном умилении, смотря на звездочку, которую Еничка видел и у себя дома, но которая из окна его спальни казалась не настолько прелестною, насколько отсюда, из зала Людмилы. Легкомыслие вернулось к Людмиле, и она, выпустив из ручек занавеси, — неожиданно для Енички, закрыла перед ним прелестную звезду и громко рассмеялась. Еничка медленно повернулся на каблучках и столкнулся лицом к лицу с одним чрезвычайно странным существом.

Где-то он видал этого милого мальчика, но где именно — никак не мог припомнить. То был низенький и толстый бутуз, розовый и смеющийся, чистый амурчик, одетый маркизом, в розовом шелковом, вышитом серебром, кафтане, в белых атласных панталонах и жилете, в кружевном жабо и манжетах. Заложив руки за спину, Еничка с интересом рассматривал этого крохотного маркиза, который и говорить-то, по-видимому, еще не особенно хорошо умел, а все только смеялся, вертеться и что-то лепеча своим маленьким языком. С трудом Еничка разобрал смеющегося крошку:

— Хотите — я сделаю фокус?

Еничка посмотрел с некоторою важностью на мальчугана и снисходительно соглаговолит:

— Сделайте, пожалуй.

Тогда мальчуган, не без грации подвинул Еничке стул, приглашая присесть. Как учтивый кавалер, Еничка хотел было уступить свое место даме, но, оглянувшись, не увидел около себя Людмилы, как-то незаметно для него исчезнувшей. Тогда он сел с

важностью и повернул свое личико к мальчугану. В руках этого последнего виднелась нитка, на которой был надет красный деревянный шарик. Мальчуган показал Еничке на шарик.

— Из одного, хотите, сделаю — три.

И не дождавшись ответа, взял нить посередине так, что красный шарик очутился у него под руками, затем раздвинул ручки вдоль по нити, в открывшейся середине которой теперь прыгало целых три шарика: красный, зеленый и желтый. Это просто удивительно!.. Мальчуган отбросил нить и поднес к самому носику Енички маленькую черную коробочку, открыв крышку:

— Посмотрите.

Еничка заглянул с червзычайным любопытством в коробочку, в которой ровно ничего не оказалось.

— Смотрите: я положу туда гривенник.

Мальчуган на глазах Енички опустил на дно гривенник, закрыл крышку, перевернул два раза коробочку и, снова открыв ее, показал Еничке.

Непостижимо! гривенника в коробочке не было. Еничка изумленно смотрел на маленького фокусника, который положительно был мало того, что фокусник, но даже волшебник. Он махнул шапочкой направо, и из дверей соседней комнаты потянулась целая несметная рать пеших и конных деревянных солдатиков, впереди которых шли музыканты, а солдатиками командовали генералы и разные офицеры; махнул налево — и, погоня вороных и серых лошадей, выбежали разноцветные полишинели, за которыми шел белый паяц, расставляя все принадлежности кукольной комедии. Весь розовый салон покрылся игрушками, превратился в громадную игрушечную лавку. Еничка сидел пораженный всем этим, не будучи в силах произнести ни слова. Вдруг в это самое время двери салона стремительно распахнулись и в них вбежала переодевшаяся во все белое Людмила, толкая попадающихся ей навстречу солдатиков, отгоняя лошадей и крича:

— Кувшинчик, господа, кувшинчик! Идите встречать кувшинчик!

Все засуетились. Трахнули барабаны, генералы и офицеры скомандовали солдатикам, и полки, при звуках торжественного марша двинулись по направлению к дверям, через которые только что вбежала Людмила. Полишинели и паяц с кукольной комедией ступсевались куда-то. Людмила схватила Еничку за руку.

— Пойдем... Скоро двенадцать часов и кувшинчик близко.

Еничка встал. Сколько раз, о сколько раз он стремился посмотреть, как появляется этот таинственный кувшинчик, — и все не удавалось. Четыре раза в год после Рождественского, Великого, Петрова и Успенского поста прилетает наполненный молоком кувшинчик, прилетает никем не видимый, во время сна. На Рождество этот кувшинчик белый с серебряными цветами, На Пасху — красный с золотыми, в Петров день — голубой с незабудками, и на Успенье — зеленый, с нарисованным на нем виноградом. Сколько лет, ложась в постель, накануне одного из поименованных дней, слушая не знаю в который раз повествование о таинственном кувшинчике, Еничка употреблял невероятные усилия, чтобы не заснуть, но помимо собственного желания и воли впадал в крепкий сон, утром досадуя, что кувшинчик уже прилетал, наполняя разные сливочки и горшочки молоком и затем отлетая в другой дом. Кто видел этот кувшинчик? Тот видел, этот видел, а Еничка до сих пор никогда не видал.

И вдруг!.. Схватив Людмилу за ручку, Еничка побегал с нею через розовый салон, направляясь к следующей комнате. Оба прошли голубую комнату, наполненную незабудками, освещенную лампами с голубыми абажурами, тонущую в какой-то лазурной синеве, — прошли зеленую комнату, где виноградные лозы, пока еще без гроздей, — обвивали зеркала и стены, где горели зеленые свечи и лампы с зелеными шарами. Все эти комнаты были безлюдны, но подходя к дверям белого зала — Еничка и Людмила услышали смешанный гул голосов, видимо многочисленной публики. У входных дверей стояло два маленьких мальчика, одетых в костюмы пажей, сделанные из белого атласа, два мальчика красивых как херувимы. При приближении Енички и Людмилы — пажики распахнули перед ними двери.

Еничка невольно отступил шаг назад, пораженный представившеюся ему картиной. Громадный белый зал был освещен серебряными огнями, точно звездочками, снятыми с небес. Массы белых роз высились горами, из которых одна прямо против входных дверей уходила в высоту теряясь в какой-то беспредельной дали. У подошвы этой горы собра-

лось множество народу, преимущественно одетых в белое женщин и детей. Все со светлыми лицами ожидали наступления праздника и появления ровно в двенадцать часов таинственного кувшинчика. Людмила кланялась почти со всеми, сообщая в то же время своему спутнику.

— Тут много бедных матерей, дети которых не видят по целым годам молока...

Еничка любопытствовал:

— И кувшинчик им даст?

— Непременно, — ответила с важностью Людмила.

И потом прибавила:

— Станем тут в сторонке. Всем будет видно отлично.

Часы начали медленным, серебристым боем бить двенадцать; все стоящие около горы смолкли, ожидая торжественной минуты появления кувшинчика. С последним ударом гора белых роз заволновалась и в ней открылся сплетенный из цветов грот. Освещенная мягким серебристым светом, в гроте стояла, одетая в белое легкое платье, с пепельными волосами, с небесной улыбкой на лице женщина, с молочно-белым кувшином в нежных руках...

Еничка открыл глаза. Яркое солнце светило через разрисованные морозом окна и играло на оклеенных голубыми обоями стенах. Дрова трещали в печке. Старческое лицо няни склонилось над мальчиком.

— Проспали, батюшка, кувшинчик-то, проспали!.. До будущего года уж не увидите!..

II. Полевой

Краденая свадьба*

Святочный рассказ

I

Анфиса Ниловна Кузовлева, богатая вдова думного дворянина** Алексея Кузовлева, — женщина уже не молодая, полная и степенная — сидела на лавочке в теплых белых сенях своего московского дома на Варварке, окруженная целым роем женской прислуги и всяких дворовых старух, приживалок и захребетниц. Анфиса Ниловна занята была хозяйственными заботами.

Перед домовитою хозяйкой, на особом низеньком столике, выставлены были рядами, в крошнях***, в кадушечках и лукошках пробы разных солений и мочений, а в ендовах****, ковшах и жбанах — пробы разных напитков. С полдюжины сенных девушек накладывали эти пробы на особые блюда и отливали в чарочки и стопки; затем, поочередно, они подходили к Анфисе Ниловне, с поклонами, прося ее «отведать» и «пригубить». И опытная хозяйка, чуть касаясь яства или питья губами, тотчас же заявляла, как следовало поступить с запасом, чтобы он годился впрок и не испортился.

— Яблоки и груши в квасу у тебя нонче удались, Фешенька, — обратилась Анфиса Ниловна к старой, седой, сгорбленной ключнице, почтительно стоявшей около нее.

* «Нива» № 52. 1888.

Полевой Петр Николаевич (1839—1902) — критик, историк литературы, специалист по народной германской и славянской поэзии, с 70-х годов начал выступать и как писатель.

** Думный дворянин — младший член царской думы, заседавший ниже бояр и окольных людей, приближенных к царю.

*** Крошня — плетенная из прутьев корзина.

**** Ендова — широкий сосуд, обычно с носиком

— А вишни и лимоны закисать стали — плесенью подернулись... Ты бы их рассольцем долила, что как пригоже, да рассытила бы.

— Слушаю, государыня, и рассычу, и долюю.

— Да, вот еще не забыть бы, какие есть у нас морсы, меды и пива — ты все вели в бочки в лед поглубже засечь.

— Так и засечены, матушка.

— Да которые моченья и соленья початы — те чтобы дощечкой были пригнетены и камнем тяжелым; а огурчики — решеточкой, да камнем легким. И то еще помни, коли что начнет портиться — то вперед есть, и в заем давать, и в милостыню, и нужным людям. Ну, а коли уж очень затхолью отдавать станет, то и на базар вывези, и продать можно...

Фешенька собиралась отвечать своей госпоже своим обычным ответом, но собаки на дворе залаяли, заливаясь разными голосами; девушки бросились к окнам, выходящим на двор, и поспешили доложить госпоже:

— Матушка-государыня, Бог гостью дорогую дает.

— А кто же бы такая? — степенно спросила Анфиса Ниловна, не поднимаясь с места и не отрываясь от своих хозяйственных забот.

— Да должно быть не Матрена ли Ивановна изволила пожаловать? — прозвенела самая бойкая из девушек.

— Ну, уж ты, воструха, всегда все вперед всех знаешь! — полушутя заметила хозяйка. — А впрочем, кто бы ни жаловал — гостью рады. Слава Богу, запасисто живем: угостить любого гостя можем.

В это время полозья саней заскрипели под самым крыльцом, а немного спустя дверь внизу сеней хлопнула, облако белого морозного пара ворвалось с надворья в сени... На крыльцо, крихтя и охая, стала подниматься какая-то очень тучная женщина, окутанная сверх широкой шубы и теплой шапки большим пестрым бухарским платком. Две дюжие сенные девки почтительно поддерживали гостью под локоток, между тем как та приговаривала:

— Ох, старость не радость, голубки мои, годы не в сладость! Бывало я, в ваши-то лета, как прыгала! А нонче вот из каптаны¹ еле вылезешь, на крыльцо еле всползешь... Ах, матушка Анфиса Ниловна, — заговорила гостья, завидев хозяйку дома, которая поднялась с лавки ей навстречу, — веришь ли слову: кабы не к тебе мне ехать, ни в жизнь бы с места не крякнулась.

— Давненько не бывала, Матрена Ивановна! Я уж по тебе и скучать стала.

— Ну, вот и здравствуй госпожа в своем дому! Коням твоим не изъезживаться, цветному платью не изнашиваться! Вот теперь за госпожою и вы все здравствуйте, — проговорила Матрена Ивановна, кланяясь одним общим поклоном всем домочадцам Кузовлевой, после того как две девки освободили ее и от платка, и от шубы.

— Да что же мы в сенях-то стоим, Матренушка! В комнату милости просим... А ты, Фешенька, поскорее вели девкам на стол накрыть, да что есть в печи — все на стол мечи...

— Не хлопочи, Анфиса Ниловна. Велик еще день впереди. И так знаю, что придется у тебя есть с утра вплоть до вечера... Приняла бы утробушка! А мне, признаться, родимая, и не до хлеба теперь... О дельце о нашем с тобою побеседовать душа горит...

— Ну, уж, мать моя, без соли без хлеба — плохая беседа, — заметила, смеясь, хозяйка дома, вводя гостью в столовую избу и усаживая ее на почетное место. — Живее, девушки, шевелитесь! Да закусочку ставьте и настоечку любимую Матренушкину, сорокатравную...

Девушки не заставили себе повторять приказания. Они распорядились так проворно, что не прошло и десяти минут, как перед хозяйкой и гостьей раскинулась на столе скатерка-самовертка, а на ней в пестром беспорядке расставились латочки, блюда, горшочки и сковородочки со всякой снедью, пузатые братины с медом и

¹ Каптана — зимняя крытая повозка.

квасом, и долговязые сулеи с настойками и наливками. Радужной хозяйке было чем угостить Матрену Ивановну.

— Хороши у тебя настойки, Анфиса Ниловна, больно хороши!.. Чарочка за чарочкой, что мелкие пташечки, так и упархивают! Того и гляди голову затуманит — пожалуй, и о деле запамятуешь.

— Не запамятуешь, Матренушка. Знаю тебя. Ты уж так уродилась — деловита!

— Будешь деловита, матушка, как муженек-то вотчин больших не оставил! Такое уж наше вдовье дело: надо как-никак жизнь комкать. Своих дел нет — приходится по чужим делам хлопотать. А чужое дело — не доспи, не доешь, а, взявшись, сделай. Так-то...

— А вот этой ты еще не пробовала, Матренушка! — угощала хозяйка, видимо желая оттянуть подольше разговоры о деле.

— Спасибо, спасибо! Невмоготу больше! — отговаривалась гостя, отодвигая свою чарочку, и вдруг, как будто спохватилась и воскликнула, обращаясь к Анфисе Ниловне:

— Ах, мать моя праведная! Что же это я? Или уж впрямь хмельть стала? И не опомнюсь, не спрошу тебя о доченьке твоей возлюбленной, о Настасье Алексеевне? Все ли она подобру-поздорову?

— Спасибо на твоей доброй памяти, Матренушка. Здорова доченька — милует Бог. В гостях вот уж третий день...

— В гостях?.. Третий день? Что это, сдается мне, матушка, она прежде никогда так долго не гашевала?

Анфиса Ниловна поправила концы своего головного убруса, сказала с некоторым смущением:

— То было прежде, Матренушка; а то — теперь...

— Как так? Я в толк не возьму, Анфиса Ниловна! — с видимой тревогой заговорила Матрена Ивановна. — Так неужели же и наше дельце на крив-бок пошло?

— Твое дело с Васенькой? — воскликнула Анфиса Ниловна. — Да об этом деле я теперь и вспомнить не смею!

Матренушка так и подпрыгнула на лавке; даже в лице изменилась...

— Да как же мне-то теперь быть, матушка? — горячо вступилась она, размахивая руками. — Сама посуди! Мне Васенька пять сороков соболей посулил, да кубочек серебряный с кровелькой, коли я ему это дело слажу... А не слажу: пять возов батожья на мне обломать хотел! А ведь он слово-то сдержит: сама изволишь знать, каков он есть!..

— А что же я-то поделаю? Крутенок твой Васенька, да и моя Настенька не мякóнька! Я и мать ей, а правду всегда скажу: добра, добра, а коли заладила «не хочу», так уж тут ты ее ножом режь и калеными щипцами жги — все едино! Вся в покойного батюшку уродилась нóровом.

Матренушка откинулась от стола к стене, завешенной пестрым ковриком, опустила руки и прошептала:

— Ну, значит, пропала моя головушка!

— Да ты пойми, Матренушка, — поспешила ей пояснить Анфиса Ниловна, — и Васеньке так от меня поясни: я бы, то есть всей душой рада за него дочку отдать, да ведь девка-то не груздок, не уложишь в кузов, коли сама не полезет...

— Да откуда же вдруг такой ветер подул? Ведь я же у тебя о Николине дне была, и мы с тобою при ней же сговаривались: когда сватов засылать, когда рядную запись писать? И она же сама в уголку шепотком меня выспрашивала: «а что, мол, очень я ему приглянулась? а точно ли он меня без души любит?» А теперь вот тебе и с праздником!.. И что на нее нашло такое? Уж не околдовал ли кто?

— Не без того, Матренушка! Чует мое сердце материнское — не без того! Мать Маргарита, игуменья-то наша здешняя (монастырек-то у нас в приходе), вернулась из Володимира и внучку свою с собою привезла... Хворенькую — что ли? Пес ее принес — прости Господи! С нею Настенька дружбу свела — и с той поры с ней о замужестве не заговаривай!.. Я было попытала на нее, как мать — и пригрозила, и прикрикнула. А она мне прямо так и отрезала: «Я-де замуж идти отдумала; а будешь нудить — в монастырь уйду, постригуся». Вот тебе и сказ весь!

— Э-э, матушка Анфиса Ниловна, вот оно куда пошло! Так я тебе скажу, что это мать Маргарита ее испортила... Пронюхала, что за дочкой твоей наделок не малый водится — вот она ее в обитель и сманивает... А мы ее колдовство отведем! Есть у меня

такой старичок — сведущий... Я его к тебе приведу и он эту худобу с твоей дочки вот как снимет...

— Так ли, полно, Матренушка? Да я бы кажется, всем тебе служить готова! Помоги!

— Помогу, родимая, помогу! Только и ты меня не забудь — мое вдове дело беспокровное. Я тебе это дело как раз с моим старичком обтяпаю... И вот мы что с ним сделаем...

Тут Матренушка поближе подседа к Анфисе Ниловне и стала ей шепотом излагать свой план.

II

Анфиса Ниловна любящая и слабая мать, и Матрена Ивановна, опытная сваха, — обе ошибались... Настенька вовсе не прочь была выйти за того жениха, которого ей прочила Матрена Ивановна. Богатый боярский сынок, красавец, Василий Китай пришелся ей по сердцу. Бывало она и сама им любовалась с садовой вышки, украдкою выглядывая из-за тына, когда он, молодцевато избоченясь и заломив алую бархатную шапочку набекрень, скакал мимо ее сада на своем гнедом аргамаке*, звеня серебряными гремучими цепями уздечки и озирая острым соколиным взглядом Кузовлевские хоромы.

Любовалась она на Василья и сквозь косячатое окошечко своей девичьей горенки, когда знала, что он промчит мимо по улице на своей вороной, заветной троечке. Да было чем и полюбоваться-то! Кони подобраны — шерстка в шерстку гривка в гривку сани-вырезни разукрашены, раззолочены собольками увешаны медведем покрыты; сбруя на конях наборная, как жар горит. А сам Василий Кузьмич стоит в санях, конями правит. Да как правит! Пристяжных в кольца гнет коренника в комок собирает. Да вдруг как гаркнет молодецким окриком, как присвистнет! Взвились кони вихрем, разметав по ветру косматые гривы, залились малиновым звоном бубенцы с колокольцами — и мигом скрылась из глаз тройка, в белом облаке сверкающей снежной пыли.

— Молодец этот Василий Китай! — невольно шепнет Настенька, любуясь и седоком, и тройкой.

К тому же, все кругом Настеньки говорили, что «старый-то Китай — во какой боярин! Не другим боярам чета!» Она знала, что сын его, Василий — куда бы ни заслал сватов, нигде не получит отказа. И потому она очень ласково посматривала на Василья Китая из-под своей шелковой фаты, когда этот стройный и высокий красавец, встречаясь с ней на паперти церкви раздвигал перед нею серую толпу и почтительно кланялся Настеньке и Анфисе Ниловне.

«Всем взял этот Васенька! И красой и осанкой и вежеством!» думала про себя молодая девушка, и ей было очень приятно когда «вдова Матреница» (так звали ее в кузовлевской дворне) стала жаловать к Анфисе Ниловне и высватывать Настеньке такого славного богатого и родовитого жениха. Казалось бы вот-вот еще немножко и веселым пирком да за свадебку; а вышло-то иное неожиданное и негаданное.

Однажды утром в то время как Настенька только уселась в своей чистенькой, нарядной девичьей светелочке за плетень золотого кружева, вошла к ней Анфиса Ниловна и сказала:

— А ну-ка, Настенька, угадай-ка! Кого тебе Бог в гости дает?

Не успела Настенька и ответить матери, как на порог явилась благообразная старушка-инокия и вступая в комнату, ласково протянула к Настеньке руки, обмотанные четками.

— Мать Маргарита! — радостно воскликнула молодая девушка и бросилась обнимать вошедшую. — Давно ли ты здесь? Когда приехала? Не уедешь больше? Ах, как я по тебе соскучилась!

Не уеду, мое дитятко! Никуда не уеду. Все здесь около тебя буду. По-прежнему с тобою золотом по бархату вышивать станем и стихи духовные распевать разными гласами. — отвечала инокия, нежно лаская Настеньку и присаживаясь к ней на лавочку.

— Ну, ты тут посиди, мать Маргарита, поворкуй с моей доченькой, а я пойду прикажу собрать вам полдничек.

* А р г а м а к — верховая лошадь восточной породы.

И Анфиса Ниловна вышла из светелки.

Настенька нежно взяла мать Маргариту за руку, поглядела ей в очи и вдруг спросила ее с тревогой:

— Что у тебя на душе, голубушка моя? Горе, что ли, какое? Говори скорее — облегчи свою душу... А потом, может быть, я тебя и развеселю, и порадою.

— Нет, милая девонька! Не снять тебе тоски-злодейки с моего сердца; не выгнать оттуда кручинушки... Засело туда горе лютое, да еще не свое горе-то, а чужое..

— Свет ты мой ясный, мать Маргарита! Разве же ты не знаешь, как тебя Настя Кузовлева любит! Ты меня и грамоте обучила, и мастерству всякому — и с детства ты меня ласкала и лелеяла! И как же не грех тебе от меня свое горе скрывать?

— Да говорю же я тебе, дитя мое, что не мое, а чужое горе у меня на душе! Как же я с тобой чужим горем делиться стану? Вот приходи завтра ко мне в гости... Сама мое горе воочию увидишь!

Как раз в это время в комнату вошла Анфиса Ниловна и с довольной улыбочкой проговорила:

— Милости просим к нашей трапезе, мать игуменя! У нас все припасено для тебя постное. И ушица налимья, с печеночками, и груздочки с рыжичками. И пирог-пряженец на три угла загнут. Пожалуй, матушка, не обессудь, не побрезгай!..

III

Дня три спустя, боярский сын, Василий Кузьмич Китай, подскакал под вечерок к воротам небольшого дома на Лубянке и, не слезая с коня, стал что есть мочи стучать рукоятю плети в ворота. Злые дворяжки так и залились во дворе; их брыластые, мохнатые морды с недобрим ворчаньем выставились из-за подворотни. Из-за их ворчания и лая послышался за калиткой пискливый бабий голос:

Кто там стучится?.. Ишь в какую пору! Кого тебе?

— Отворяй, старая чертовка! Китай к Матренице приехал!

— Ай, батюшки! Не спознала я твоего стука, кормилец... Сейчас, отмыкаю!

И калитка распахнулась настежь. Китай соскочил с коня, бросил поводья на руки бабе и пошел прямо на крыльцо, в избу. Видно было, что эта дорога ему давно знакома.

В избе, чистенько прибранной и хорошо натопленной, в углу накрыт был ужин, и сама вдова Матреница, принаряженная, ходила по избе, видно поджидая кого-то.

Не ломая шапки, не крестясь на иконы Василий, как вошел в избу, так стал у порога и крикнул на Матреницу:

— Говори скорее. старая ведьма, зачем меня звала... Зачем потревожила? Что еще мне врать станешь?

— Что ты, батюшка, Василий Кузьмич, словно нехрись какой — в избу вошел и шапки не снимешь? Так-то не водится.

— Молчи, проклятая! Надоела ты мне! Измаяла, истомила меня! — продолжал кричать, не унимаясь, Василий Китай. — И если ты теперь еще меня за нос водить станешь...

— Да полно тебе орать-то, блажнóй! — преспокойно отвечала ему Матрена Ивановна. — Ну, стану ли я тебя, экова мудреного. да тревожить даром! Ведь у тебя не ровен час — и ног, пожалуй, не унесешь... Снимай шапку, разоболокайся, садись за стол, да слушай что стану сказывать... А так-то, стоя да походя, и говорить не стану, хоть лопни от крика!

«Блажнóй» снял шапку со своих рассыпчатых кудрей, скинул лисий тулупчик, оправил пояс на щеголеватом кафтане и, хмурясь и ворча, как прихотливый ребенок, сел за стол.

— Вот так-то лучше, — сказала Матреница. — Вот теперь и здравствуй, батюшка. отецкий сын! Поздравляю, батюшка, с удачею.

И она, наполнив две чарки старым хмельным медом, с поклоном подала одну чарку Василию.

— Убирайся и с чаркою! Не до нее мне теперь... Говори скорее, с какою удачею!

— Не изволишь отведать из чарочки, так я тебе как рыба нема. Сам знаешь, как у нас говорится: коли пить до дна, так и видать добра, а не пить...

Китай схватил чарку со стола, разом ее осушил и, стукнув ею по столу, крикнул Матренице:

— Да ну же! сказывай! Не мучь ты меня!

— Сказала я тебе: поздравляю с удачею — так, значит, тому и быть! Ведь красны девки, что ветер переменчивы... Сегодня одно заладит — потянуло от нее северяком, как с полуночи; а завтра от нее теплом несет, как с полудня! А только я все же одно скажу: экого беса-девки я и не видывала!

— Да говори толком: что, и как? Когда к ней сватов засылать?

— Сватов? Ишь ты — больно прыток! Да она уж о свахах-то и слышать не хочет!

— Как слышать не хочет? Да ведь ты же поздравила меня с удачею. Или шутить вздумала?..

— Да я же тебе говорю: бес-девка! То от свадьбы открещивалась — замуж не шла, в монастырь постригаться хотела; то теперь такой стих нашел, что сейчас ее под венец веди! Никаких, говорит, мне сватов не нужно; коли мы полюбились друг дружке, так и без сватов обойдемся!

Василий Китай вскочил из-за стола и воскликнул в сильном волнении:

— Ничего-то я не пойму... Пожалей ты меня, Матрена Ивановна! Расскажи мне все по порядку!

— Садись да слушай! Тогда и сам все поймешь... Одно слово: нравная девка, забалованная — на ней жениться и врагу не пожелала бы!

— Да ну!.. не ври! Не то говоришь, — перебил Василий Китай: — жигуча крапива родится, а во щах уварится! Рассказывай: как было?

— А вот как: пришла я к ней, все любовь-то твою расписываю... Она меня слушала, слушала, да и говорит мне: «Хорошо, Матренушка! согласна я за него замуж идти, да только не так, как все...»

— Как же не так?

— Не хочу, говорит, как все свадьбу играть... Станут, говорит, петь над тобою, да косу расчесывать, да с поезжанами в церковь повезут — ни дать, ни взять как мыши кота погребаят! Ей-ей, так и сказала! Суший бес-девка...

— Да ну, дальше-то что?

— А вот, говорит, пусть он краденую свадьбу сыграет — тогда пойду за него. Выйду я на перекресточек — а он подхватит меня в саночки-самокаточки, да в церковь! А из церкви прямо в дом к нему — да вот-те и здравствуй, мужняя жена!

— Ну, так что же? И верно — и согласен я! — радостно воскликнул Василий Китай.

— Погоди радоваться! Ведь у нее все не по-людски! Она и еще уговор один сделала: я, говорит, поеду с ним в церковь фатою покрытая, как невесте быть должно, и если он мою фату хоть пальцем тронет, пока в дом к себе привезет — так он только меня и видел! Вот она какая мудреная!

— Ну что же? Согласен! Уговор лучше денег... Принимаю! Так и скажи ей. Мне с нею век вековать — успею насмотреться. На все согласен — пусть только скажет, когда да где.

— Сказала, батюшка, — и это сказала... Да уж ты не прогневайся... Прежде свой уговор со мною исполни, а потом и я твою душеньку потешу — все тебе скажу. Так-то!

Василий Китай быстро откинул полу кафтана, вытащил из кармана кожаную кису, достал из нее горсть голландских корабленников и немецких талеров и рассыпал их по скатерти перед Матреницей.

— Это тебе сверх уговора! А завтра приезжай получать уговорное. Ну, сказывай, что ли?

— Вот и спасибо! Вот и ладно! — весело проговорила Матреница, поспешно огребая червонцы и талеры в лукошечко и ставя его за иконы, на полицу. Потом, с плутоватой улыбкой, шепнула Китаю на ухо.

— Послезавтра, чуть смеркнется, припасай коней под косогором, около задней садовой калиточки, в тыну Кузовлевых. У них будет святочная вечеринка: станут девушки гадать, да в игры играть... Тем временем я тебе ее в калитку и выведу, будто бы на перекресток — прохожего об имени спросить... Сажу ее в санки... да прямо в церковь и мчи! Пусть уж поп тебя ждет — и чтобы все наготове было... А-то ведь она у нас мудреная, нравная...

Василий Китай и не дослушал Матреницы. Схватил ее своими железными лапами

за плечи и расцеловал в обе щеки: а потом, опрометью бросился из избы в сени, на ходу натягивая тулуп и нахлобучивая шапку.

«Ишь, ведь, какой шальной! То все приказывал, что он-де меня на воротах горохом расстреляет... А теперь вон ни за что — облапил да расцеловал! И выискал же себе сокровище — нечего сказать! Еще напляшется он с этим бесом-девкой... Ну, да мне только бы с рук долой... только бы своего не упустить», — думала Матреница.

И затем, заложив дверь на крюк, она потянулась на полицу за иконы, достала лукошечко и, высыпав деньги на скатерть, стала считать их, перебирая каждую монету своими жирными пальцами и любуясь блеском червонцев.

IV

Святочная вечеринка в доме Анфисы Ниловны была в самом разгаре. Просторная, средняя комната обширного дома Кузовлевых была ярко освещена: хозяйка не пожалела восковых свечей и приказала их много расставить на столах и по окнам, в тяжелых медных подсвечниках, и даже по стенам развесить, в немецких шандалах. Не поскупилась хозяйка и на угощение; столы, по углам комнаты, были завалены всякими лакомствами, заставлены всякими прохладительными напитками. Тут были и орехи в меду, и вишни в соку, и пряники, и смоквы, и пастилы всех сортов. Анфиса Ниловна хотела угостить подруг Настеньки на славу, и сама думала про себя:

«Дай-то Бог, чтобы это была последняя дочкина вечеринка в девичестве! Кажется, у ней с Матренушкой дело опять на лад пошло?»

Вероятно то же думали и подруги Настеньки, прослышавшие о сватовстве Василия Кузьмича — и веселились в тот вечер до упаду. И сама Настенька была развеселая: шутила, смеялась звонче и громче всех, придумывала игры за играми, запевала песни за песнями... А тут еще и Матрена Ивановна угодила ей: привела с собою своего знакомца, старичка-забавника, который и на гусях играл, и сказки девицам сказывал, да такие, что кругом его звонкий смех девичий не смолкал ни на минуту.

— Право-слово говорю, боярышния, а вы не верите! — говорил посмеиваясь старый шутник, — от людей старых и бывалых не раз слыхал, что есть где-то за морями, за горами роскошная, развеселая сторона, в которой и зимы не бывает, и ночь на землю не сходит. Для всех про всех по дорогам там столы поставлены, преукрашенные, и на тех столах всяких яств множество; а рядом со столами озера с разными медами, реки с разными пивами — бери ковш, черпай сколько душа примет... А чуть кто охмелел — тут и постели рядом устланы, и перины пуховые с изголовьями: каждый спи вволю.

— Ну, уж сторонка! — заметила смеясь одна из девушек, — там, пожалуй, и мужей-то жены не видят, коли им такой простор да воля.

— Мужьям там, боярышня, любо; а женам — еще того любее. Жены там ни прядут, ни ткут, ни платя, ни белья не моют, потому всякого платья готового везде на шестах навешано много. Верхнего платья цветного сундуки и коробки доверху накладены; а сережек да запястьев, да перстней золотых, да жемчугу — во какие груды по дорогам навалены! Лопатой не прогребешь... Выбирай да рядись, пляши да веселись!..

— Ай да старик! Вот уж можно сказать — не любо не слушай! А складно сказывает! — смеялись кругом сказочника подруги Настеньки.

— Сказывать мастер, а дороги в ту сторону никому не покажет! — подтрунила над стариком Матрена Ивановна.

— Отчего не сказать, матушка Матрена Ивановна! — отшучивался старик. — Только ведь если я и укажу дорогу — не многие туда доедут...

— Отчего же? отчего? Тебе какое дело! Доедем коли укажешь! — закричали со всех сторон старику девушки.

— Доехать туда не мудрено — да попасть-то трудно. Ехать надо за Дунай, а заехал за Дунай — домой не бывай; потому там с проезжих берут пошлины не малые: с дуги берут по лошади; с шапки — по человеку; а с обоза — по людям. Зато уж кто там побывает, тот роскошного житья вовек не забывает.

Веселый, звонкий смех покрыл слова рассказчика, который стал посмеиваясь перебирать струны гусель. Он собирается спеть девушкам былинку о Ставре Гоудиновиче и его премудрой жене. Но в сенях вдруг послышалась возня и топот многих ног, раздались дикие голоса, хрюканье и хрипенье, звук бубен и визжанье гудка. Двери распахнулись

настежь — и гурьба переряженных дворовых разом хлынула в комнату... Писк и визг сенных девушек и боярышень, которые показывали вид, что очень напуганы внезапным появлением наряженных, вскоре был заглушен громкою музыкою гудка и волынки, и звонкими ударами в бубен. Наряженные пустились в пляс: медведь, в вывороченной овчине, презабавно переминался с ноги на ногу; его вожак — бойкая бабенка, наряженная парнем, отхватывала присядку; а парнишка, одетый в рядно, с подвязанной у шапки мутовкой, подпрыгивал, изображая козу. Рядом с ними кружился журавль — другой парень, у которого рука с веретеном была подвязана к голове и обмотана цветными тряпицами. Кругом плясали и кружились, то присядая, то прискакивая, толстопузые купцы-молодцы с лотками товаров, пропойцы в лаптях и в рогожанных шубах, бесы на вилах и ведьма на помеле. И не успели еще все на ряженных налюбоваться, не успели рассмотреть, кто и как наряжен — как вся их гурьба, с гиком и визгом, топчась и приплясывая, ринулась к двери и так же быстро скрылась в сенях, как неожиданно из сеней высыпала.

Между тем в разных углах комнаты, среди отдельных групп, у девушек заводились уж новые игры. Тут, около выхода в сени, лили на свечке олово; там собрались около черного большого петуха, который очень важно ходил между кучками насыпанного зерна, озирая всех своими незрячими глазами. А кругом хозяйки и Настеньки кружок подруг собирался «золото хоронить»; — все уселись в кружок, кто на полу, кто на лавках, и быстро стали передавать друг другу золото, которое одна из подруг Настеньки, стоя в кругу, старалась отыскать. Раздалась ее знакомая песня:

Уж я золото хороню, хороню,
Чисто серебро хороню, хороню,
Я у батюшки в терему, терему;
Я у матушки в высоком, высоком...

А в ответ ей хор сенных девушек подхватывал громко:

Пал, пал перстень,
В калину, в малину,
В черную смородину...
Гадай, гадай, девицы,
Гадай, гадай, красные...

И на этот призыв, стоявшая в кругу девушка отвечала тоненьким голоском:

Я бы рада отгадала,
Кабы ведала да знала,
Через поле идучи,
Русу косу плетучи,
Шелком прививаючи...
Ох вы, девушки,
Ох, подруженьки
Вы, скажите, не утайте,
Мое золото отдайте.

— Голубушка, Настасья Алексеевна! — шепнула во время этой песни Матрена Ивановна. — Не пора ли? Чай молодец заждался, встосковался; чай и кони-то назяблись?

— Вот погоди, еще поиграю, Матренушка! Ведь уж больше не видать мне подружек, не слышать их песенок!

— Матушка моя, и над ним надо сжалиться — о нем у меня вчуже душа изныла.

— Да ну, ладно, ладно! Я сейчас пойду оденусь, фатой сверх шапочки накроюсь — и буду тебя ждать; как стукнешь ко мне в светелку, я к тебе выйду в сени, и веди меня куда знаешь...

— Вы тут чего под шупом расшущукались! — вдруг раздался позади Настеньки голос Анфисы Ниловны. — Верно, Матрена Ивановна какую новую игру затевает? Вдумщица старая!

— Да... да, матушка! Угадала! — спохватилась Матреница. — Хочу девушек новой

песне обучить — а как они запоют, хочу с Настенькой на перекресток выйти, суженого об имени спросить. Не Василий ли ей навстречу выйдет?

И Матреница, посмеиваясь, поспешила отойти от Анфисы Ниловны к кружку девушек, которые все еще хоронили золото.

— Голубушки! Не так хоронят! — засуетилась Матреница, вступая в круг. — Я вас во какой песне научу... Арефьич! дай мне костыль-то свой! Я пойду вокруг девушек, будто старица-черничка...

И Матреница, пристукивая в пол костылем, стала обходить круг девушек, припевая весело:

Да не то-то я катиться могу,
Да не то-то я молиться могу!
Я могу-могу по келейке пройти,
Я могу-могу пивца-винца испить,
Из винного ковшичка,
Из злаченной чарочки.

— А тут, где увижу золото, и приставлю костыль... И запою:

Я приставлю свой костыль
К золоту, ко серебру,
Ко девичьему терему,
Злато-серебро верну,
Красну-девицу возьму.

— У кого нашлось золото, та и бери мой костыль, и ступай по кругу, и пой песни сначала:

Да не то-то я катиться могу..

— Так! так! Давайте так золото хоронить, по-новому! — закричали подружки Настеньки. — Так веселее!

Матреница повторила им песню, проследила один круг, и, когда игра завязалась, она, перемигнувшись издали с Анфисой Ниловной, незаметно шмыгнула в сени.

— Настенька! а, Настенька! — шептала она, потихоньку стучась в двери Настенькиной светелки, выходявшей также на сени. — Выходи, матушка! Пора нам с тобою на месте быть!

Тихохонько скрипнула дверь в темноте; над самым ухом Матреницы послышался Настенькин голос:

— Смoтри, Матреница, еще раз скажи ему, чтобы помнил наш уговор!

И сама Настенька, закутанная в шелковую шубку, накрытая густо белой фатою, скользнула в темноте из двери в сени, крепко ухватив сваху за руку.

Матреница осторожно свела девушку с крылечка на задний двор, потом особым палисадничком провела в сад, по расчищенной дорожке подвела к калитке в тыну — и взялась за скобку. Только тут она почуяла, что Настенька дрожит как в лихорадке, что руки ее холодны, как лед.

— Не бойся, Настенька, не бойся, голубонька... Глянь-ка, ночка-то какая светлая для твоего побега выдалась!.. В этукую ночь, да с милым дружкой на тройке... Так бы сама и покатила!

И она дернула калитку, и вышла с Настенькой на косогор, спускавшийся к улице.

— Суженый, ряженный — отзовися! — крикнула Матреница вполголоса. — Как зовут тебя — объявися!

— Васильем зовут, Кузьмичем по отчеству величают! — произнес за углом знакомый голос, и три молодца мигом выросли из-за соседнего сугроба.

— Вот тебе из полы в полу твое золото, Васенька! только смотри: уговор Настенькин помни...

— Буду помнить! Я с ней и в санки не сяду! Впереди верхом поскачу... Эй! Ивашка Звенец, да Яшка Русалка! Сажай боярышню в сани! Во весь дух закатывай следом за мною!

— Тпру! Стой! шалишь! Держи вороного! — слышались внизу, под косогором, голоса людей, прерываемые топотом бешеных воронок и звяканьем бубенчиков.

Матреница видела, как приятели Васеньки бережно свели закутанную Настеньку к саням, как усадили, как прикрыли теплою полостью и сами сели обок с нею. Она видела, как Васенька вскочил в седло и помчался впереди, видела, как бросились в сторону китаевские конюхи, а бешеная тройка взвилась сначала на дыбы, шарахнулась вбок, потом рванулась вперед, направленная чьею-то умелой рукой... Да только и видела! Мигом все скрылось из глаз — словно наваждение бесовское.

«Ну, вот и скатертью дороженька!» — подумала Матреница. — «Вот и в добрый час, во архангельский... Хоть и краденую свадьбу, а все сворошила!»

И она, самодовольно улыбаясь, повернулась к тыну, взялась рукою за скобку, и только хотела толкнуть калитку, как та распахнулась настежь — и Матреница отступила от порога в ужасе, трясясь всем телом, как в лихорадке.

— С нами крестная сила! С нами крестная сила!.. Да расточатся врази его... да расточатся! — шептала она про себя, спешо крестясь под шугаем.

Перед нею, на пороге калитки, явилась Настенька, в собольей душегрейке, накинутой на плечи, и в бархатной шапочке, молодежато сбитой на ухо. Она держалась рукою за вереву калитки, да так и покатывалась со смеху...

— Ха, ха, ха! Сваха умелая! славно меня просватала! Сама за рученьку вела, сама в саночки подсаживала! Ха, ха, ха!

— Тьфу! Пропади! пропади!.. — продолжала шептать Матреница, которая все еще никак не могла прийти в себя, не могла опомниться.

— Да ты небось думаешь, что тебя нечистый обошел? — смеясь продолжала Настенька. — Нет, свашенька! сама ты себя опутала! Захотела продать меня Васеньке, — так вот теперь, заваривши кашу, ее и расхлебывай! Ха, ха, ха!

— Ах, ты... ах... ты, змея подколодная! Ах ты, бес-девка! Да что же ты наделала? Да кого же ты ему на руки навязала?

— Кого навязала — не твоя забота. Завтра все узнаешь... Ха, ха, ха!

— Ах ты... ах ты, разбойница! Да ты думаешь я на тебя суда не найду? Да мы завтра с Васенькой вместе к патриарху с жалобой... на твое обманство... Аль ты не знаешь, что за обманые свадьбы¹ по закону положено? Да, вот увидишь!

— Молчи, не грозись, свашенька! — насмешливо заметила Настенька. — Не очень-то я тебя испугалась! Ступай себе домой, да знай, что к нашим хоромам тебе запала дороженька!

И она под самым носом Матреницы захлопнула калитку и с звонким раскатистым смехом задвинула ее засовом.

— Ну.. ну-у! Уж точно... бес-девка! — злобно пыхтела Матреница, еле-еле сползая с косогора на опустевшую улицу.

V

Вихрем домчал аргмак Василия Кузьмича к маленькой, ветхой старой церковке в Толмачах, на Замоскворечьи. За ним следом, бурею подлетела к церковной паперти заветная воронья тройка. Еле сдержали взмыленных коней приятели Васеньки и те слуги, что уж давно ожидали своего молодого господина на церковной паперти. Храм был уже освещен, когда Василий Кузьмич переступил порог его со своею нареченною невестою. Поп-старичок в облачении давно уже ожидал их на амвоне. Дьяки тотчас запели — началось венчание...

И Василий Китай, страшно взволнованный, венчался словно в тумане... Он не смел взглянуть в сторону невесты, не решался и в сторону приятелей глянуть... Он очнулся от

¹ Обманые свадьбы, при которых одно лицо выдавалось замуж вместо другого, были в XVII в. столь обычным и частым явлением, что жалобы на это явление беспрестанно поступали к патриарху, который сурово карал сторону, виновную в обмане, и допускал в данном случае разводы.

этого тумана только тогда, когда в руке его очутилась холодная как лед, нежная рука его будущей подруги жизни; но и эту руку он не смел пожать... Помнил он потом, как священник надел на эту белую нежную руку обручальное колечко и как заставил его обменяться кольцом с невестою... Потом все опять смутилось в голове Василья, и если бы старик священник не взял его за руку и не повел за собою — он, кажется, не пошел бы сам кругом аналая... Вот дьяки и «Исайя ликуй» запели — и венчанью конец... Подошли к Василью его приятели с поздравлением, подошли слуги с поклоном — и к нему, и к новой госпоже своей; руки у него и у нее целуют... А она стоит, как вкопанная — словечка не проронит, складочкой фаты не шевельнет... Только и видно, как под фатою ее грудь высокая тревожно подымается.

— Пойдем, богоданная женушка, сядем в саночки! Пора нам и к дому, — шепнул Василий Китай своей новобрачной. И она, молча, покорно пошла с ним рядом, к саням.

Васенька сел с нею в сани — и замер в ожидании, что вот, может быть, она сама уговор нарушит: заговорит с ним, к нему приласкается... Но вот и кони помчались, взрывая снег своим бешеным бегом, вот раздались позади взвизгиванья и крики слуг и приятелей, скакавших на других тройках... А новобрачная все молчит, все таится под своей непроницаемою белою фатою, обшитою золотым кружевом.

Вот наконец подъехали к крыльцу той подгородной усадьбы, где Василий Китай думал прожить два-три дня после свадьбы.

— Ну, други, не осудите... Сегодня нам с женою не до пира! Ступайте из сеней налево, там вам стол накрыт, без нас ужинайте и пейте нам во здравие. Завтра и мы от вас в весельи не отстанем — а теперь и отдохнуть пора.

— В час добрый, в час добрый, Василий Кузьмич! — отвечали в один голос приятели, кланяясь молодым в пояс и провожая их до дверей небольшого бокового покойчика.

В покойчике были накрыты два прибора на столе, под иконами. Тяжелый прорезной медный подсвечник, с пятью свечами, был поставлен среди стола около обычного свадебного карая. Новобрачная прямо подошла к столу и в изнеможении опустилась на лавку. Василий быстро скинул шубу с плеч, подошел к новобрачной и трепетною рукою откинул фату с ее лица...

— Ах! Бог мой! не та!.. Прасковья, ты ли это? — воскликнул он в испуге, отступая от стола к стене.

VI

То неожиданное и негаданное, что вдруг заставило Настеньку отшатнуться от Василья Кузьмича, было так глубоко затаено в ее душе, что никто — ни мать, ни сваха — не мог бы понять и объяснить себе ее странные причуды... То собиралась выйти замуж за Китаю, то раздумала и заупрямилась; то вдруг затеяла устроить краденую свадьбу... А в сущности-то дело объяснялось очень просто.

На другой день после посещения матери Маргариты, Настенька захотела непременно утешить инокиню в ее горе. Она выпросилась у матери в гости к матери Маргарите — и птичкой впрхнула в знакомую келью, с белыми как снег занавесочками на окнах, с пучками душистых трав на стене, под иконами, с длинными пяльцами, прикрытыми чистым рядом, в углу.

За пяльцами сидела молодая девушка и, низко наклонившись над вышиваньем, медленно и мерно вытягивала цветную шелковую нить из канвы. Темный, простенький летник обрисовывал ее стройный стан; золотые пряди волос, выбиваясь из-под узкой, шитой девичьей повязки, падали ей на глаза и рассыпались над ее вышиваньем...

Когда дверь кельи скрипнула, девушка подняла голову и оглянулась на Настеньку. «Какая красавица!» — подумала Настенька, взглядываясь в доброе, кроткое и печальное лицо молодой девушки. — «Уж не о ней ли так горюет мать Маргарита?»

Девушка иначе поняла пристальный взгляд Настеньки — и страшно смутилась. Но Настенька быстро подошла к ней, протянула ей обе руки и сказала приветливо:

— Я — Настя Кузовлева. Прощу любить да жаловать. А как тебя величать — не знаю. Не прогневайся!

— Я — Маргаритина внучка... Прасковья Табалина, — тихо промолвила девушка, наклоняясь к Настеньке.

И затем девушки поцеловались и разговорились, как старые знакомые.

Не прошло и недели, как они уж сошлись и сдружились, и Настенька узнала печальную историю Парашеньки. Прошлой весной она встретила своего суженого: встретила и полюбила без ума...

— Он в нашей стороне был заезжим гостем: государеву службу правил, — рассказывала Парашенька. — Чем он меня обошел, околдовал — и сама не знаю; знаю только, что сразу мною овладел, и я бы для него отца с матерью не пожалела, на край бы света белого пошла за ним. Свела нас весна красная — повенчала песня соловьиная... Как теперь помню: ночь тихонько над нами опускается, над головою ветерок ветвями покачивает. словно нас убаюкивая, а над самым ухом песня льется, слаще соловьиной... Клянется мне, божится добрый молодец, что он на мне женится, что не покинет меня, что только на недельку в Москву съездит за батюшкиным благословением... А у меня и страх сердце щемит, и жутко мне, — и бежала бы... И с места не встать, словно я цепью к нему прикована...

И Парашенька закрыла лицо руками.

— И что же? неужели обманул? — нетерпеливо перебила подругу Настенька.

— Обманул... уехал... И след простыл...

— Да он московский — что ли? — спросила Настенька, хватая подругу за руку.

— Московский... Здешнего большого боярина сын... Красавец писаный!

— А как звать-то его — злодея, обманщика? как звать?

— Не брани его, Настенька! я простила ему... Чай ему не такая, как я, а богатая невеста надобна...

— Да говори же, как его зовут? — настаивала Настенька.

— Зовут Васильем... Китай, по прозванию.

— Василий Китай?! — воскликнула Настенька, вскакивая с лавки.

— А ты разве знаешь его? — тревожно переспросила Парашенька.

— Н-н-ет... так... Слыхала о нем...

— А что слыхала? расскажи!..

— Да нет же! Ничего! Только и слыхала, что есть такой боярский сын, — с видимым неудовольствием ответила Настенька. — А вот ты-то мне скажи, что ты теперь заведешь делать?

— Бабушка, чай, сказывала тебе... К пострижению готовлюсь...

— Ну, нет! — решительно сказала Настенька. — Этому не бывать — и не бывать!

Слышишь ли, и думать не смей!

— Да что ты, Настенька? куда же я, бедная, денусь — покинутая, осмеянная...

— Говорю тебе — не бывать! — почти крикнула Настенька. — И вот тебе моя рука... Или я твою судьбу устрою, или я ему...

Она не договорила: бросилась на шею Парашеньки, чтобы скрыть свое волнение. крепко ее обняла, шепнула ей на ухо:

— Жди вестей от меня! — и выпорхнула из кельи.

А Василий Кузьмич все стоял прислонившись к стене, и сам не верил своим глазам... Кровь бросилась ему в голову; мысли путались и мешались.

Параша сложила руки на груди, и медленно опустилась перед ним на колени.

— Обманула я тебя... любя обманула. Другой уступить тебя не захотела! — шептала она, трепеща всем телом и устремляя на Василия умоляющий взгляд.

Василий все еще не мог совладать с собою. Целая буря самых противоположных дум и ощущений боролась в груди его...

— Обманула я тебя... Сама тебе в жены навязалась... Убей меня, коли я тебе постыла! — шептала Парашенька и поклонилась Василию в ноги.

Сердце заговорило в его груди...

— Не ты меня обманула, а я тебя обмануть хотел! — воскликнул Василий Китай, поднимая Парашу. — Да Бог не попустил... Видно и впрямь — суженую ни обойти, ни объехать! Здравствуй же, супруга богоданная!

И он крепко обнял Парашу, которая, громко рыдая, повисла у него на шее...

Художник и черт*

Вечером, за четыре дня до Рождества, содержательница меблированных комнат на Васильевском острове Федосья Никифоровна начинала набожно креститься всякий раз, как только ей нужно было проходить по хозяйству мимо комнаты, на двери которой была прибита дощечка с надписью: № 18. Причины, побуждавшие старушку креститься, были не маловажные. Подслушивая по привычке у двери, она уловила ухом речи очень необычайные и страшные.

В комнате под № 18, увешанной этюдами, набросками и недоконченными картинами и украшенной в углу мольбертом с большим полотном на подрамнике, за хромым столом на продырявленном стуле сидел молодой художник уже на некотором взводе, смотрел с сожалением на осушенную уже водочную посудину и держал сам с собой приблизительно следующую речь.

— Прекрасно-с. Ты — художник Илья Петрович Егоров, тебя ждет впереди несомненная слава, но до славы этой далеко, ибо ты еще не закончил своей картины. У тебя эту знаменитую картину еще не купили, ибо ее еще нет. А посему ты сегодня пропил свой последний двугривенный, и более денег у тебя нет, а между тем выпить еще не только желательно, но и необходимо: это ясно само собою. Предпринять же ничего нельзя: хозяйка не дает, ибо я ей два месяца за комнату не платил, в погребке тоже в долг не дадут, ибо там и без того есть неоплаченный долг. Остается, стало быть, одно: вызвать на сцену господина черта, продать ему душу хоть на известный срок и потребовать от него выпивки.

Эти-то душегубные слова и смутили Федосью Никифоровну. Она хотела было сначала усовестить жильца-художника, но потом заблагорассудила лучше сотворить молитву и уйти к себе в комнату подальше от греха. Она ушла и потому не могла видеть, что происходило дальше.

А происходило вот что.

Художник Илья Петрович Егоров приподнял бутылку за горлышко, посмотрел на свет, опрокинул доньшком вверх и с грустью убедился, что она пуста. Это подействовало на него так удручающе, что он уже без церемонии возгласил громко:

— Да и анафемы же ныне черти стали. Зовешь-зовешь, и ничего из этого не выходит. Душа ли человеческая подешевела или черти банкирским делом заниматься стали — шут его разберет. Эхма, зачем я не Фауст?! Взял бы тогда да и позвал черта серьезно. А что в самом деле: может быть, и черти подчиняются гипнотическому внушению, а во мне этот дар, может быть, есть. Дай-ка, я внушу дьяволу! Эй, сатана, вельзевул, анчутка безпятый или как там тебя звать, явись сюда и утешь меня в горести: подай водки.

— Сейчас — послышался голос

Художник встрепенулся.

— Что это я слышался или уж так пьян, что мне голоса мерещатся? Все это вздор. Но будем продолжать фантазировать, ибо это приятно. Эй, господин дьявол, подай кстати и закуски: сардин, колбасы и хлеба..

— Сейчас, — повторил тот же голос.

— Коньяку и лимона, — договорил уже не художник, а его язык.

— Через десять минут все будет доставлено.

Затем все смолкло. Художник сел, подпер подбородок руками и задумался так, как только может задуматься человек на втором взводе. Он хотя и бессвязно, но сознавал, что будь он чуточку потрезвее, он испугался бы своего состояния, ибо уже допил до галлюцинаций. Но теперь ему все-таки было весело. Начинаются ли галлюцинации или кончаются, черт ли с ним разговаривал или кто другой — не все ли равно? Водки нет, денег нет, так, стало быть, надо хоть не терять веселого состояния духа, тем более, что...

Тем более, что в этот момент в дверь постучались.

— Кто там?

— Водку, коньяк и закуски принесли.

Вслед за этим дверь отворилась, в комнату втискалась корзинка, а за нею какой-то

* «Святочные рассказы», СПб, 1896. Рассказ — анонимный, автора установить не удалось.

толстенький, приземистый, бритый господин с эспаньолкой, очень милого и симпатичного вида.

— Третий министр господина сатаны, — отрекомендовался он. — Прошу вас меня не пугаться. Потому что я, хоть и черт, но зла вам не сделаю, а все, что вы потребовали — извольте получить: вот водка, коньяк, хлеб, сыр, колбаса, омары, сардинки и две рюмки: одна для вас, а другая для меня — я тоже за компанию выпью!

— А разве черти пьют? — спросил художник.

— Не только пьют, но и закусывают. И нашему брату приходится следить за прогрессом. У нас, в аду, в средние века пили токайское, а теперь ни один, даже маломальски порядочный дьявол не станет пить иного коньяку, как финь-шампань. Чтобы иметь дело с вами, с людьми, и нам приходится перенимать у вас. Из ада, например, недавно были командированы два ученейшие химика изучать способы подделки и фальсификации вин и пищевых продуктов. Отпустили их всего на один месяц, а они уже второй год бесплодно толкутся на земле и рапортуют сатане, что нет им возможности вернуться: на земле каждый день является не менее ста новых подделок. Времена стали не те. К Фаусту Мефистофель являлся в плаще, а я ныне должен быть одет не иначе, как в смокинг последнего фасона.

Говоря это, гость проворно разгружал корзину и расставлял на столе бутылки и раскладывал закуски. У художника при появлении каждого нового сорта снеди разбежались глаза и начинали течь слюнки.

— Однако у вас в преисподней умеют-таки покушать, — не выдержал он.

— И выпить тоже не дураки, — ответил гость. — Ну-с, начнем, как и подобает, с водки, и закусим на первый раз хоть икоркой, а там — хлеб-соль на столе, а руки свои. Я — у вас гостем сегодня и потому приглашаю вас стать хозяином и угощать меня.

Илья Петрович недоумевал, но налил две рюмки водки Смирнова № 21. Гость между тем аппетитно делал два бутербродика с икрой. Чокнулись. Гость выпил очень изящно, как подобает субъекту хорошего тона, и стал закусывать. Художник поднес было рюмку ко рту, но остановился в нерешительности.

— Кушайте, милейший, на здоровье, — отозвался гость. — Весь наш ужин и вино доставлены не из ада, а из ближайшего гастрономического магазина. За все даже заплачено не дьявольскими, а самыми настоящими деньгами. Какая чудная семга — так и тает во рту.

Илья Петрович перепрокинул рюмку уже без всякого смущения и крикнул от удовольствия.

— Важная водка. Это не то, что наша простецкая сороковка за 18 копеек.

— Эта будет немножко подороже: полтора рубля за бутылку, — улыбнулся гость.

— Еще бы, ведь у вас, в преисподней, денег, говорят, и куры не клюют.

За первой рюмкой последовала вторая, за второю третья. Гость пил умеренно и с расстановкой, смакуя каждый глоток и каждый кусочек закуски. Илья Петрович, который и до начала ужина был уже на расстоянии, близком ко второму взводу, скоро потерял очередь и стал угощаться самостоятельно. После копченых и соленых снедей была развернута осетрина и раскупорена небольшая бутылка мадеры. При виде такой роскоши Илья Петрович, достаточно уже посоловевший, придвинулся поближе к столу и чистосердечно заявил:

— А ведь ты, братец, хотя и черт, а, кажется, очень хороший мальчик. Ты мне понравился.

— Благодарю за комплимент, — улыбнулся гость.

За осетриной из той же корзины появился жареный холодный цыпленок и полу-бутылка красного вина. Ощупав ее, гость сделал легкую гримасу и заметил:

— Хорошее вино, только очень холодно. Вот если бы его подогреть.

— А это мы в один миг оборудуем, — обрадовался художник. — На кухне в котле всегда есть горячая вода.

Он вихрем выскочил из комнаты и через пять минут вернулся с хохотом и подогретою бутылкой.

— Комедия, братец ты мой, — заговорил он. — Кухарка Афимья не хочет верить, что у меня сидит в гостях господин третий министр самого сатаны. — «Уйди,

говорит, батюшка, не смущай. Уже до чертей допился голубчик. Вспомни, говорит, беспутный ты, какие ноне дни. Лучше бы, говорит, свою холстину мазал: за два месяца ведь за квартиру не заплачено».

Художник весело захохотал, но потом вдруг стал серьезен и вздохнул.

— Недельку еще, пожалуй, потерпят, а там и выселят раба Божия на улицу, на мороз, — грустно пояснил он. — Ну, да все равно: семи смертям не бывать, а одной не миновать. Не надо только терять бодрости духа. Налей-ка мне еще красненького и давай выпьем на ты... Нет, лучше налей мне коньячку.

— Отчего же это тебя с квартиры выселяют?

— За неплатеж, дружище! И в лавку, и в погреб должен, и сапоги каши просят. Чего ты так смотришь на меня? Ты думаешь, я — лентяй и лежебок? Ошибаешься. Вон у меня по стенам висят сто шесть этюдов; взглядишь в них: это одно и то же море, с одного и того же пункта, но при разных освещениях. Это ли не трудолюбие? Говорят, что свое собственное сочинение, простое короткое письмецо переписать трудно; я один и тот же пейзаж сто шесть раз перемахал. Хватило, значит, силы? А на сто седьмом я заплакал и запил.

Гость слушал с большим вниманием.

— Почему же это запил?

— С досады, что во мне нет таланта, что нет сил докончить начатую картину. Четвертый месяц тружусь над нею. Выходит море, выходит вода: все будто бы прилично, но нет в моей воде той жизни, того движения, которые так и выплескиваются сами собою из картин Айвазовского. Во мне самом, в душе, в груди говорит она — эта жизнь. Вот оно перед глазами это море — до того живо, что прямо хоть купайся в нем, а возьмусь за кисть — ничего не выходит. Вот полюбуйся сам, коли что-нибудь смыслишь.

Художник отдернул простыню с мольберта и заплакал.

Перед глазами гостя открылась большая недоконченная картина: скала, синее море, сливающееся с горизонтом. Вдали — дымка парохода; над водою нависли тучи... Гость остолбенел и стоял, как пораженный.

— Да это вид со скалы близ Новороссийска! — воскликнул он.

— Он самый, дьяволе мой безрогий и бесхвостый, — отвечал Илья Петрович, выпивая новую рюмку коньяку и всхлипывая. — Осел я, бесталанная скотина. Зачем я вообразил себя художником, не имея дара, не имея искры?! Не даром мой отец, убогий, недалекий пономарь, говорил: — «Ой, не бросай, ты, чадо мое, семинарии, иди лучше по нашему, по духовному званию. Станешь священником — и меня, и престарелую мать свою успокоишь. Ныне иереи, имеющие академический крест, хорошие приходы без особого труда получают! Не мни, сын мой, себя художником: для достойного живописания, особое наитие свыше получить надо. А есть ли оно в тебе? Размысли, чадо мое, сын мой дорогой». — Прав был старик отец. Надо было действительно поразмыслить. Я — чернорабочий жалкий, а не артист. Я не могу вдохнуть в свою картину жизни как вдыхаю теперь вот аромат этого коньяка... Чудный коньяк!..

— А ты не очень-то на коньяк налегай, — ласково заметил гость, не отрываясь от картины.

— Не могу, господин министр, или как там тебя еще по чину величать надо... Коньяк вливает в мою душу некоторое примирение, успокаивает меня хоть немного. Я теперь — пьяный получил возможность плакать, а трезвый я ведь только молча страдаю, и злюсь, и накопляю всю эту дрянь внутри души.

Гость все еще продолжал рассматривать картину, освещая ее со всех сторон лампою.

Илья Петрович глотал коньяк рюмку за рюмкою и все более и более входил в раж.

— Пойми же ты, нечистая сила, — начал он, колотя себя в грудь, — что в эту картину заложена вся моя мощь, все мои духовные силы. Я ее полюбил и с тех пор весь ушел в нее: я забыл женщин, вино, веселье и стал видеть море даже во сне. У меня уже нет человеческого зрения, я на все смотрю только красками. Я в тарелке щей вижу не капусту, а тоны и краски. Я или кончу ее, волью в нее из мозга и чувства движение, придам волнам игру, синеве моря холод, а лучу неба теплоту или же — поеду и безжалостно утоплюсь в этом самом месте. Если картина не удастся, тогда и мне жить незачем.

Гость вдруг обернулся, поставил на стол лампу и стал пристально смотреть в глаза совсем почти охмелевшему художнику. В его собственных глазах светился какой-то огонек.

— Довольно, не пей больше коньяку и выслушай меня, — сказал он серьезно. — Я всемогущ и дам тебе недостающую искорку. Хочешь?

Художник поднял на него довольно уже пьяные глаза.

— Ты, сатана, дашь мне талант?

— Да. Ты закончишь картину. В ней море будет жить, волны будут двигаться.

— Да ты, анафема, видишь, что я пьян, и вздумал смеяться надо мною? Так я этого не позволю: я тебе и морду побую.

— Нисколько не шучу. Хочешь, заключим условие? — сказал гость спокойно.

— Пошел ты к черту. Нет, погоди, стой! Я для прояснения мозгов выпью еще финь-шампани... Бррр... важно... Ну, теперь говори. Что же ты, душу мою взять хочешь, что ли? Так глуп ты, братец, хоть ты и нечистый, а я пьян. Нынче конец 19-го века, fin du siècle: нынче в душу никто не верит...

— Мне душа твоя не нужна. Какая ей цена, когда она не может вылиться в картину? Я предложу тебе иные, более гуманные условия и, как ты увидишь, более умные.

— Интересно, какие? Вижу, что ты — дурень. Бреши, как говорил мой батька-пономарь, бреши, а я коньяк допивать буду.

— Так вот что: собери в один пункт, в одну точку мозга все то светлое и ясное, что у тебя еще не вполне затуманено спиртом, и слушай внимательно. Первое условие — ты картину свою продаешь мне, а не кому-либо другому; второе — до Рождества осталось только четыре дня. Картина же должна быть готова непременно в первый день Рождества: я за нею явлюсь лично. Третье — ты должен безусловно подчиняться той оценке, которую я дам картине, но наперед гарантирую не менее полуторы тысяч. Согласен?

Художник стоял, неподвижно устремив глаза на гостя.

— У вас все в аду такие дураки, как ты? — спросил он насмешливо. — Ну, хорошо. А ты мне что дашь за это?

— Полное содержание до Рождества; за квартиру будет уплачено, в лавочку и в погреб тоже. Обед — ежедневно в лучшем ресторане по моему выбору, потому что в еде я понимаю толку более, чем ты. Вечером — в любое увеселительное место. Все это — не в счет покупной платы за картину. Не забудь, кроме того, что ты получаешь от меня талант. Согласен?

— Талант? О, глупая голова! Садись и пиши условие. Бедное исчадие ада! Ты не сообразил, что ты даешь мне больше, чем от меня берешь. Если бы у меня оказался талант, так я отдал бы тебе картину даром, ибо таланту ничего не стоит произвести без всяких мук таких десять картин. Садись же и пиши.

Художник выпил залпом две рюмки коньяку и залился неудержимым смехом. Гость, не обращая на него внимания, вынул из кармана два листка бумаги, набросал пункты условия в двух экземплярах и не менее серьезно предложил:

— Подписывай, скептик!..

Художник, не переставая хотеть и, даже не глядя на бумагу, два раза подмахнул свою фамилию; затем он схватил бутылку, поднес ее ко рту прямо горлышком и через минуту зашатался, упал вместе в нею на кушетку, стоявшую около стола, и захрапел непробудным, глубоким сном человека, хватившего спиртных напитков через меру...

На утро следующего дня Илья Петрович проснулся около одиннадцати часов утра от страшной жажды и с сильной головной болью. Внутри у него горело. В глазах ходили круги. Проснувшись, он стал оглядываться и увидел, что он лежит на кушетке одетый, но с расстегнутым воротом сорочки и с распахнутой жилеткой. На ногах были только чулки: сапоги стояли подле кушетки. Простыни под ним не было, но под головой была подушка. Сбоку на кушетке валялось сбитое во время сна в кучу одеяло. Поднялся он с трудом и встал в самом скверном расположении духа.

— Должно быть, вчера дрызнул здорово, — подумал он и стал искать воды, чтобы утолить томившую его жажду. Графин был пуст.

— Этакая чертова баба, — ругнул он кухарку и посмотрел мутными глазами кругом. Этюды висели по стенам, картина была завешена простынею в том виде, как он ее сам завесил вчера, показывая гостю.

— Неужели же на меня так сильно подействовала одна только сороковка? — подумал он. — Похмелье сегодня что-то очень сильно. Надо бы опохмелиться.

Но при этой мысли он только печально усмехнулся. Нечего и думать: в погребке в кредит не дадут. Делать нечего. Надо попросить хоть чаю.

— Афимья! — крикнул он в дверь.

Через минуту вошла кухарка с засученными рукавами.

— Что надо, греховодник вы бесстыжий? — спросила она полусердито.

Он хотел спросить чаю, но язык сам собою выговорил то, о чем напряженно думала голова.

— Нельзя ли, голубушка, опохмелиться? — сказал он.

— Мне что ж? Опохмеляйтесь, если надо. Такие дни на дворе, а он Бог весть, что заводит. Давайте, сбегаяю.

— Да у меня, брат, денег... нет, — замылся он неловко.

— Денег нет? А вы что же вчера себе ничего денег не оставили, когда за фатеру платили да в лавочку и погребок отдавали.

— Что-о-о?

— Эка, забыл, сердешный? Я же сама и деньги носила...

— Я? Платил деньги? Что ты мелешь?

— Что мне молоть? Мне еще трешницу к празднику подарили. Не годится таким манером допиваться, Илья Петрович. Бросьте: забывать уже стали... Да что же вы дуру-то из меня делаете? — сердито окрысилась Афимья: — Ведь вон деньги-то валяются на столе.

— Где?

— Ослеп, голубчик, от питья. Так я побегу в погребок. Чего принести, коньяку, что ли? Вчера коньяк дули. Некогда мне болтать зря.

Афимья через пять минут, запыхавшись, поставила на стол полубутылку финьшампани, стакан и лимон и, взглянув на Илью Петровича, сказала:

— Опохмеляйтесь скорее. Стоит, как одуревший, прости Господи: глаза выпучил.

Илья Петрович действительно стоял неподвижно и смотрел на кучку бумажек, лежавших на столе. Афимья сердобольно плеснула ему на доньшко стакана коньяку и отрезала кусочек лимона.

— Нате, пейте скорее. У меня на плите кипит.

Илья Петрович машинально хлебнул и вздрогнул. Коньяк обжег ему пищевод и желудок, но скоро острая боль превратилась в приятную теплоту. Мало-помалу в голове у него начало светлеть. Он поспешно проглотил новую порцию коньяку и начал делать усилия, чтобы припомнить вчерашнее.

— Афимья! — крикнул он.

— Чего еще?

— Что я вчера делал?

— Известно, что: коньяк жрали да разные страшные слова говорили: черта, прости Господи, поминали...

— А был у меня кто-нибудь?

— Я не видала. Кажись, никого не было. Вы поздно буйнили. Я уже спать легла.

— Откуда же у меня деньги?

— А я почему знаю?! Отстаньте вы от меня. Мне в кухню надобно.

Художник в крайнем недоумении развел руками и принялся считать деньги. Оказалось 48 рублей.

— Что за дьявольщина? — подумал он.

Рядом с деньгами лежала свернутая в несколько раз бумажка. Он расправил ее и стал читать. По мере чтения лицо его вытягивалось все более и более. В руках у него было подписанное им условие с чертом. Он вдруг припомнил все происходившее вчера: и пирушку с чертом, и разговор с ним, и его фигуру. Он припомнил, что показывал ему картину, но затем уже все остальное сливалось в одну бесформенную массу. Нет сомнения, что кто-либо подшутил над ним. Он подошел к картине и сдернул покрывало. Она была в таком же виде, как и вчера.

Афимья подала ему запечатанный конверт.

— Вам письмо. Посыльный доставил, красная шапка. Сейчас принес и велел разбудить, ежели спите.

Илья Петрович быстро разорвал конверт.

В письме значилось:

«Согласно подписанному вами вчера договору с чертом, встаньте скорее; если вы спите, опохмелитесь и немедленно приезжайте к Палкину завтракать. Назовите там себя человеку и вам немедленно укажут столик в зимнем саду. За этим столиком завтракайте и ждите меня. Спешите. Деньги для вас на столе.

Третий министр сатаны».

Илья Петрович взглянул на часы. Было без пяти одиннадцать. Он быстро оделся, хватил еще коньяку на дорогу, взял со стола все деньги и записку, сел на извозчика и крикнул:

— К Палкину, на Невский. Надо поскорее покончить с этой нелепой мистификацией...

Дорога немножко освежила его, хотя воспоминания не стали яснее.

— Кто бы это был? — напрасно усиливался он вспомнить. — Ведь не может же в самом деле в наш век явиться настоящий черт. Это было бы даже в наше время и не чудесно, а прямо смешно. Или я уже допился до чертей, и теперь переживаю галлюцинации? Пил я не очень долго — всего два дня — едва ли успел допиться. Ну, предположим, что у меня в глазах двоится: а деньги? Откуда у меня деньги? Нет ли и тут галлюцинации?

Илья Петрович достал из кармана деньги и окликнул извозчика.

— Приятель, что это такое? Три или пять? — спросил он, показывая ему кредитку. Возница посмотрел сначала на деньги, потом на седока и ухмыльнулся.

— Должно вы, барин, вчера на именинах были. Известно — синенькая...

— Нет, деньги настоящие, — подумал художник. — Значит, не совсем еще до слонов дошел. Ну, трогай дружище, трогай...

Извозчик тащился чрезвычайно медленно. К Палкину прибыли почти к двенадцати. Когда Илья Петрович проходил через большую залу, ударила пушка. Войдя в грот, он остановился и стал оглядывать немногих посетителей, отыскивая вчерашнего знакомого — черта. Его, однако, не было. Подлетел лакей.

— Не спрашивал ли кто-нибудь здесь художника Егорова? — спросил Илья Петрович.

Лакей сразу ослабил и засуетился.

— Как же-с, спрашивали и просили вас подождать их — они обещали быть. Пожалте-с за этот столик. Они уже изволили и завтрак заказать на две персоны: холодная осетрина под хреном, сельанка из рыбы и жаркое. Водку и вина тоже назначали сами. Приказали сказать, чтобы начинали кушать без них: они уехали в банк, и там их могут немного задержать-с.

— Кто это они? — спросил художник.

— Небольшого роста, черный господин с эспаньолкой. Фамилию не сказывали. Прикажете подать?

Художник уселся за столик. Завтрак был сервирован на две персоны. Водки, коньяк и несколько сортов закусок уже стояли в центре.

— Слава Богу, — подумал Илья Петрович. — Приказал ждать, стало быть приедет, и вся история разъяснится. Пока — выпьем и закусим.

За этим делом он провел полчаса. Таинственный незнакомец не являлся. Лакей предупредительно уловил его взгляд.

— Прикажете подавать?

— Нет, погоди еще четверть часа. Авось «они» подъедут.

— Они приказали начать подавать без них. Сказали, что они вас в еде нагонят.

— Ну, тогда давай.

Илья Петрович, поджидая товарища, нарочно протянул завтрак подольше. Ел он, не забывая в то же время и пить, целый час. Затем принялся за вино и просидел тоже не менее часа. Наконец, пробило половина третьего. В окнах на Невском заблестел фиолетовый отблеск электрических фонарей. Художник порешил ехать домой и велел подать счет.

Лакей улыбнулся.

— Они велели с вас не брать ничего-с. Когда заказывали кушать, дали задатка десять рублей.

Ну, если это действительно черт, так он держит свое обещание насчет еды прекрасно, — подумал художник; выпил сверх всего две бутылки пива и, слегка пошаты-

ваясь и напевая, вышел из ресторана. Серый, холодный воздух охватил его со всех сторон. На душе стало весело. Зародились неясные желания.

— Извозчик! — крикнул он.

— Куда прикажете?

— Подавай и не спрашивай, — проговорил он, садясь и застегивая полость. — Валия прямо, а там дорогой выдуманым что-нибудь.

Илья Петрович приехал домой в три ночи и тоже едва-едва добрался до кушетки. На следующий день он утром снова опохмелился на старые дрожжи и, не взглянув на картину, уже по собственной инициативе поехал к Палкину в надежде встретиться с незнакомцем. Лакей опять встретил его так же предупредительно, опять сказал, что «они» заказали завтрак на две персоны и велели себя подождать. Художник позавтракал, просидел на этот раз напрасно до четырех часов и озлился не на шутку.

На третий день повторилось то же самое. Опять обед у Палкина и опять тщетное ожидание разгадки. Со зла Илья Петрович закончил в пивной на Васильевском острове, где обыкновенно собирались художники.

— А я, брат, только что от тебя, — хлопнув его по плечу, сказал товарищ-художник. — Думал застать тебя и покалякать. Говорят, что ты уже третий день пьянствуешь... С чего это ты вздумал! Посмотрел я на твою картину... Ну, да и картина же! Какая в тебе силища, какой талант... Море — только что не шумит, а альбатросы таковы, что вот так и ждешь, что замахают крыльями и передвинутся на полотне... Сила ты, талант, а ты пьянствуешь. Да я за один только свет из твоего маяка на скале задушил бы тебя...

Илья Петрович поднялся из-за столика, бледный, как привидение.

— Какие альбатросы? что ты врешь? У меня на картине никогда их не было, — проговорил он, задыхаясь.

— Ну, вот еще... и маяка, скажешь, не было?

— И маяка не было...

— Ну, допился, братец!

— Нет, стой, едем сейчас ко мне. Едем непременно вместе. Если ты не врешь, то тут замешана какая-то чертовщина.

С Ильи Петровича сразу соскочил весь хмель. Он схватил товарища почти за шиворот, усадил его насильно на извозчика и велел гнать во весь дух.

Вбежав в свою комнату в шубе и в калошах, он в сильном волнении зажег лампу, быстро сдернул с картины простыню — схватился за сердце и вскрикнул.

Перед ним был чудный пейзаж. Море жило и серебрилось; волны набегали одна на другую. Казалось, будто гребешки их, как живые, сердито пенились и стремились поскорее, перегоняя друг друга, разбиться о скалу. Небо хмурилось. Над водою, предчувствуя бурю, вились в воздухе два альбатроса; один из них попал в полосу матового света, отбрасываемого маяком на гребни волн.

На всей картине лежала печать несомненного таланта.

— У меня в волнах не было жизни, не было птиц, не было маяка. У меня все было мертво и безжизненно. Это... это... черт!..

С этими словами он хотел сделать еще один шаг к картине, но зашатался и, как женщина, стал опускаться без чувств. Его подхватил на руки изумленный товарищ.

Черт сдержал свое слово. В самый день Рождества Илье Петровичу, полубольному от пьянства и потрясения, посылным был подан пакет. В конверт было вложено две тысячи рублей и при них письмо. В письме «третий министр сатаны» поздравлял художника с успехом и приказывал отправить картину на выставку, не продавая, однако, ее никому, так как она — по условию — принадлежит ему, черту. Кроме того, черт настойчиво советовал ему не губить таланта и при первой же возможности ехать снова на Черное море и почерпать там вдохновение. В заключение черт обещал с ним еще раз встретиться, где-нибудь на юге. Далее не было сделано никаких намеков на объяснения.

Черт более не показывался нигде и сгинул бесследно.

На выставке картина Егорова имела действительно громадный успех. Художник

только пожинал лавры, но в душе его сидел и глухо точил ее червяк неразгаданной им тайны.

С первыми же проблесками весны он сел на поезд и помчался на юг на берега Черного моря, в тот скромный уголок, где жил его отец-пономарь. Здесь море было под боком, и он изучал его и день и ночь. Этюды появлялись один за другим. За лето успели две новые картины. Он их покажет отцу.

Старый пономарь прослезился, благословил его и сказал:

— Ну, теперь, чадо мое, я могу и умереть спокойно, ибо вижу собственными очами, что Творец вложил в душу твою великий дар.

Года через два картины Егорова были известны уже и за границей, а сам он скромно жил на закавказском берегу Черного моря и спокойно работал. Он был уже женат, и у старого пономаря был уже внук.

Однажды ему понадобилось съездить в Одессу. Он сел на пароход с женою и с ребенком. Погода стояла чудная. Море было спокойно, как зеркало. На рубке первого класса, где расположился Егоров с семьей, два пассажира вели оживленную беседу. Один рассказывал другому о том, что в каюте первого класса едет с матерью известный художник NN. Говорили, будто он в молодости бежал в Италию из лавочников и отдался весь живописи, а мать его, не имея о нем никаких сведений, содержала в Петербурге меблированные комнаты. Два года тому назад он объявился уже богатым человеком, отыскал свою мать, чтобы взять ее к себе в бессарабское имение, а на досуге закончил картину одного из начинающих художников, тайком от него.

Илья Петрович чутко прислушивался к беседе и затем весь бледный прошел в каюту первого класса. Жена встревожилась и пошла издали за ним.

Через минуту ей представилась картина. Ее муж плакал и целовал руки толстенькому господину с эспаньолкой и какой-то неизвестной старушке. Толстенький господин смущенно вырывал у него свои руки, а старушка ласково гладила его по голове и радостно плакала.

— Надя, — закричал Илья Петрович жене. — Иди скорее. Вот моя старая хозяйка, Федосья Никифоровна, а вот и черт, «третий министр сатаны». Ему я обязан своим талантом, своею славою.

Он продолжал радостно плакать и целовать руки старухе и толстенькому господину. У того тоже текли по щекам слезы.

Пассажиры каюты с удивлением смотрели на странную группу.

О. Л. Д'Ор

Как надо писать рождественские рассказы*

Руководство для молодых писателей

I

Всякий человек, имеющий руки, двугривенный на бумагу, перо и чернила и не имеющий таланта, может написать рождественский рассказ.

Нужно только придерживаться известной системы и твердо помнить следующие правила:

1) Без поросенка, гуся, елки и хорошего человека рождественский рассказ не действителен.

2) Слова «ясли», «звезда» и «любовь» должны повториться не менее десяти, но и не более двух-трех тысяч раз.

* «Речь» № 354, за 25 декабря 1909.

О. Л. Д'Ор — псевдоним Оршера Иосифа Львовича (1878—1942), русского советского писателя, журналиста.

3) Колокольный звон, умиление и раскаяние должны находиться в конце рассказа, а не в начале его.

Все остальное неважно.

Писать рождественские рассказы можно следующим образом.

II

Не вредно рождественский рассказ написать в форме легенды.

Легенд на свете нет, да и никогда их не было.

Легенды выдумывались при случае, и всякий писатель волен при необходимости выдумать новую легенду и назвать ее «древней, восточной».

Последние два слова необходимы для легенды, как фабричное клеймо на разных товарах.

Всякую легенду нужно начать так:

«В древние времена, когда еще земля была мокрая от того, что не успела высохнуть, а небо сгибалось, как не затвердевшее железо, жили два мудреца. Один — в долине Ганга, другой — на горе Арарат.

Каждый вечер сходились старцы и вели мудрую беседу о мире, людях, о зверях, о добре и зле.

— Высокочтимый! — сказал однажды старец из долины Ганга старцу с горы Арарат. — Какого вы мнения о поросенке с хреном?

Старец с горы Арарат опустил белую, как снег, бороду на грудь и со вздохом ответил:

— Да... поросенок..

— Высокочтимый! — продолжал старец долины Ганга. — А гусь что говорит вашему великому уму?

Старец с горы Арарат еще ниже опустил на грудь белую, как снег, бороду.

— Высокочтимый! — начал снова старец из долины Ганга. — Кутья с медом...

Но старец с горы Арарат закричал:

— Не раздражай!

И замолчали оба старца. И сидели они молча, думая о том, что теперь в каждом доме горит огнями елка и аппетитно положил ноги на стол жирный поросенок.

А небо гирляндами звезд глядело на мудрые седые головы высокочтимых старцев и ликовало».

Можно, конечно, и другие варианты придумать. Но без поросенка и мудреца нужно избегать писать легенды.

III

Весьма полезный человек для рождественских рассказов — арестант.

Разными утонченными пытками и рассказыванием хороших благородных мыслей его доводят до искреннего раскаяния.

Вор, раскаявшись, становится на колени и умоляет:

— Хочу загладить свои преступления. Назначьте меня в интендантство.

И раскаявшегося вора назначают интендантом.

Но еще проще — украсть старый рождественский рассказ у старого, хорошо забытого писателя, переписать его и понести в редакцию.

Никто, конечно, не заметит, а если накроют, то к следующему Рождеству можно написать рассказ о том, как один писатель свистнул у другого рождественский рассказ.

Уже рождественский рассказ был переписан, и писатель готовился понести его в редакцию, но в эту минуту ударил колокол...

— Что я делаю! — пронеслось в голове у писателя.

И он упал на колени, раскаялся... и понес украденный рассказ в редакцию.

Словом, темы для рождественских рассказов неисчислимы, и каждый человек, имеющий руки, но не имеющий таланта, может написать великолепный рождественский рассказ...

Свистун

Рождественские рассказы*

С легкой руки Диккенса, в наших газетах и журналах привился обычай кормить публику на Рождество специально скомпонованными рассказами.

Рождественский рассказ должен бить на нервы и вызывать меланхолию. Прочитав его, читатель должен три дня и три ночи плакать...

Но так как большинство современных писателей играет гораздо лучше на бильярде, чем пишет рождественские рассказы, то мы считаем нужным преподнести им пару образчиков, которым советуем подражать. *Sine ira et studio.*

Маруся

Марусе было 48 лет. Она была старая дева, так как один офицер хотел было на ней жениться, но в решительную минуту удрал куда-то на аэростате.

Наступал сочельник. Везде ликовали, а Маруся сидела одна. Ей было грустно и тяжело.

Но свет не без добрых людей. Вдруг дверь отворилась и в комнату вошел какой-то господин. Он ей сказал:

— Не плачь, дитя! На тебе на елку турнюр...

Можете себе представить радость Маруси!

Кляча и добрый господин

На небе горела рождественская звезда, а по Садовой тащилась старая-престарая кляча. Ноги у нее подкашивались, дыхание спирало... Она вздыхала:

— Ах, если бы нашелся благодетель, который облегчил бы мою участь!

Судьба услышала мольбу. На другой же день она была куплена одним добрым господином-татариним, который ее зарезал и скушал.

Бедняга и Мещерский**

Один бедняга три дня ничего не ел. Он был голоден, как издатель «Сутки»*** перед подпiscoю.

И вот пришел Мещерский и подарил ему сверток. Бедняга обрадовался:

— Хлеб, хлеб! Ах, как я рад!

Увы, в свертке оказались номера «Гражданина».

Составление, предисловие, примечания М. А. КУЧЕРСКОЙ

* «Шут» № 52, 1888.

С в и с т у н — псевдоним Алексея Петровича Петрова (1863—1892), писателя-юмориста.

** М е щ е р с к и й Владимир Петрович (1839—1914) — князь, русский писатель, публицист, основатель и издатель журнала «Гражданин» (изд. в Петербурге с 1872 по 1914). Журнал не был популярен, субсидировался правительством.

*** «С у т к и» — видимо, название вымышленное.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ	Удаки. Несколько кратких историй	3
ЯНИС РОКПЕЛНИС	В шуме крови прилившей... Стихи. С латышского. Перевод С. Морейно	28
АГАСИ АЙВАЗЯН	Рассказы. С армянского. Перевод К. Халатовой	31
СЕМЕН ЛИПКИН	Пламя. Стихи	35
МАРК ХАРИТОНОВ	Линии судьбы, или Сундучок Милашевича. Роман	38
МИХАИЛ КРЕПС	Геометрия любви. Стихи. Вступительное слово Е. Степанова	118

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АПЕНЧЕНКО ОТТО ЛАЦИС	На пути в Европу	124
ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ	Нечаянная революция	131

НАЦИЯ И МИР

ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ	Рутения	177
Л. ЗОТОВА Т. НИКИТИНА	Братья по разуму	190
ЮРИЙ КАЛЕЩУК	Соседи по разуму	193

КРИТИКА

	Между политикой и рынком. Анкета «ДН»: НИКОЛАЙ КРЫЩУК (Санкт-Петербург), ТАМАРА ЧАБАН (Минск), В. ТУРБИН (Москва), ГРИГОРИЙ СИВОКОНЬ (Киев)	203
С. ШВЕДОВ	У книжного развала	211

ЛЕВ АННИНСКИЙ	После пляски	218
----------------------	---------------------	------------

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ЧТЕНИЯ

АНТОНИЙ, митрополит Сурожский	РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО	222
М. КУЧЕРСКАЯ	От составителя	223
С. В. МАКСИМОВ	Святки. Рождество Христово	225
П. П. ГНЕДИЧ	Призрак секунд-майора Кунце. Святочный рассказ	237
АНДРЕЙ ОСИПОВ	В последний раз. Святочный рассказ	244
Н. МОРСКОЙ	Кувшинчик. Рождественская фантазия	246
П. ПОЛЕВОЙ	Краденая свадьба. Святочный рассказ	249
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР	Художник и черт	261
О. Л. Д'ОР	Как надо писать рождественские рассказы Руководство для молодых писателей	268
СВИСТУН	Рождественские рассказы	270

НА ОБЛОЖКЕ:

на второй и третьей страницах —	С. ЮКИН. Хельмут Ханке. На семи морях. Иллюстрации.
------------------------------------	--

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи менее двух листов редакция не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографин-изготовители,
указанные в выходных сведениях журнала.

СЕРГЕЙ ЮКИН



Известный московский график Сергей Юкин родился в 1941 году. Окончил Московский полиграфический институт, работает в книжной графике, отдавая предпочтение оформлению художественной литературы связанной с морской тематикой, путешествиями, историей. Художник стремится в своем творчестве к достоверности изображаемого, при этом максимально раскрывая тему и оставляя пространство для фантазии зрителя.



Хельмут Ханке.
На семи морях.
Иллюстрации.

**3 р. по подписке,
5 р. в розничной продаже**

Индекс 70250

ISSN 0012—6756. Дружба народов, 1992, № 1, 1—272